Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Литература русского зарубежья

Восточная ветвь

ХРЕСТОМАТИЯ

•

Том первый. Проза

•

Часть 1 (А–К)

Благовещенск
Издательство АмГУ
2020

ББК 83.3 (2 Рос=2 Рус)
Л 64

Рекомендовано
учебно-методическим советом Амурского государственного университета

Рецензенты:
Ли Иннань, профессор Университета Иностранных языков (г. Пекин, КНР);
Агеносов В.В., заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН,
докт. филол. наук, проф. кафедры журналистики и литературы ИМПЭ (г. Москва).

Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: Хрестоматия: В 4-х томах. Т. 1. Проза: В 3-х частях. Ч. 1 (А–К) / Сост., общ. ред. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиевой; вступ. ст. А.А. Забияко; биобиблиограф. ст. Г.В. Эфендиевой; подгот. текстов И.А. Дябкина, А.А. Забияко, К.А. Землянской, Р.В. Поливан, Г.В. Эфендиевой, А.А. Юрьевой. Изд. 2., перераб., дополн. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2020. – 368 с.

ISBN 978-5-93493-182-8

В первом томе хрестоматии «Литература русского зарубежья. Восточная ветвь» собраны прозаические сочинения 40 писателей русского Китая. Все подборки сопровождаются биографическими справками и фотографиями авторов.

Издание предназначено в качестве учебного пособия студентам и аспирантам, обучающимся по направлению подготовки 45.03.01, 45.04.01 «Филология», 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» высших учебных заведений, а также преподавателям и специалистам, занимающимся изучением истории литературы и культуры русского зарубежья.

© А.А. Забияко, Г.В. Эфендиева, составление, 2013; 2020
© А.А. Забияко, предисловие, 2013; 2020
© Амурский государственный университет, 2020

НА ПРОСЕЛОЧНЫХ ДОРОГАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: КАЗУС ХАРБИНСКОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ

«История есть, в сущности, наука сложных аналогий, наука двойного зрения: факты прошлого различаются нами как факты значимые и входят в систему, неизменно и неизбежно, под знаком современных проблем. Так одни проблемы сменяются другими, одни факты заслоняются другими. История в этом смысле есть особый метод изучения настоящего при помощи фактов прошлого»[1].

«В последнее время наблюдается тяготение к беллетристике»[2].

«Безразлично, пишет ли начинающий беллетрист под Джека Лондона или А. Белого»[3].

Проза дальневосточной эмиграции в исследовательском и читательском пространстве русской литературы – во многом «terra incognita».

Это обусловлено разными причинами, и, в первую очередь, тем, что после 1945 года русская цивилизация в Китае практически закончила свое существование. Ю.В. Крузенштерн-Петерец вспоминала: «Вступление советских войск в Маньчжурию сопровождалось невероятными книжными ауто-да-фе. Многие книги жглись самими авторами, книгопродавцами, библиотекарями из боязни репрессий; многие сжигались победителями за ненадобностью»[4]. В.И. Чернышева, с группой хабаровских архивистов приехавшая осенью 1945 г. в Харбин в поисках печатных изданий, вспоминала: «Мы прибыли в Харбин через месяц после капитуляции правительства Маньчжоу-Го; двор, где размещалась японская военная миссия, был покрыт пеплом»[5].

Но процесс рассеяния, распыления и уничтожения книжной продукции русского Харбина начался задолго до падения Маньчжоу-Го. Еще в 1926 году все желающие вернуться на родину были ознакомлены с документом, согласно которому они не имели права ввозить в страну «вредные для СССР в политическом и экономическом отношении документы, печатные произведения, клише, фотографические снимки, киноленты, ру-

---

[1] *Эйхенбаум Б. М.* Литературный быт // Эйхенбаум Б.М. О литературе. М., 1987. С. 428–436.

[2] <*Б.п.*> Работа по студиям // Чураевка. 1932. 27 декабря. № 7 (1).

[3] *Гранин Г.* К пишущим // Молодая Чураевка. 1932. 10 июля. С. 1.

[4] *Крузенштерн-Петерец Ю.В.* Воспоминания // Россияне в Азии. 1998. № 5. С. 52.

[5] ГАХК Ф. Р.-266. Оп. 1. Д. 11. Л. 4,5. Цит. по: *Хисамутдинов А.А.* Русские книги из Китая // Мир библиографии. 2006. № 4. С. 57–60.

кописи, чертежи и рисунки»[1]. По пути следования возвращающихся на Родину железнодорожное полотно не единожды усеивалось книгами – политическими трактатами, экономическими прогнозами и анализами, публицистикой, стихами и прозой…

Последующие скитания по странам и континентам, аресты добровольных и вынужденных репатриантов в СССР, их боязнь за судьбы близких людей неизбежно привели к тому, что многие художественные тексты «русских китайцев» были утрачены. С сохранившимися материалами (зачастую не самыми лучшими) знакомы были единицы – родственники писателей, собиратели коллекций и исследователи-подвижники.

С легкой руки последних характеристика прозаического наследия дальневосточного зарубежья долгое время ограничивалась резюме: «в основном, беллетристика» (Е.П. Таскина). Что разумелось под этой характеристикой, читатели и исследователи определяли в соответствии с границами своих эстетических горизонтов и представлений о «беллетристике». А, как известно, отечественная традиция эпохи развитого социализма осмысляла данную дефиницию исключительно в категориях критики буржуазно-массовой культуры и «ванькиной» литературы[2]. Редкий счастливец, имеющий в наличии антологию «Харбин. Ветка русского дерева», в большинстве представленных там образцов находил подтверждение отрицательным коннотациям понимания харбинской и шире – дальневосточной эмигрантской прозы. Тем более, что составители комментировали: «Да, ни Джека Лондона, ни Ивана Бунина в русском Харбине не было в те годы. Да и позже прозой русский Харбин не был, наверное, примечателен…»[3]

Впрочем, представление о «провинциальности», «мелкотемье», в общем – «второсортности» литературы дальневосточного зарубежья формировалось давно и не без участия западноевропейской эмигрантской крити-

---

[1] *Доброхотов Н.М.* Справочный отдел (Товары, запрещенные к ввозу в СССР) // *Доброхотов Н.М.* Спутник коммерсанта: Ежегодн. экон., железнодор., администр. и обществ. справ. по Сев. Маньчжурии и по г. Харбину. 1926–1927 гг.: Вып. 1. Харбин: Изд. Н.М. Доброхотова, 1926. С. 26. Цит. по: *Хисамутдинов А.А.* Русские книги из Китая. Указ. изд. С. 57.

[2] См., например: *Чуковский К.* Вербицкая // *Чуковский К.* Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1969. С. 16–17; История русской литературы. Т. 10. Литература 1890–1917 годов. М., 1954. С. 607-608; *Келдыш В.А.* Русский реализм начала XX века. М., 1975. С. 6; *Хализев В.Е.* Теория литературы. 2-е изд. М., 2000. С. 132–136. Подробно о традиции отождествления беллетристики и «буржуазно-массовой», «бульварной литературы» см., например, в работе *А.М. Грачевой* «Русская беллетристика 1900-1910 гг.: идеи и жанровые формы» // Поэтика русской литературы конца XIX – начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. Проза. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 543–588.

[3] *Таскина Е.П.* Литературное наследие русского Харбина // Харбин. Ветка русского дерева: Проза, стихи / Сост. Д.Г. Селькина, Е.П. Таскина. Новосибирск, 1991. С. 3–36.

ки[1]. Мнение о том, что на «Западе» (в первую очередь – в Париже) создавалась «высокая литература», а на «Востоке» (в Харбине и Шанхае) процветала продукция «второго ряда», бытовало многие десятилетия и в отечественной россике[2].

В самокритике и самоумалении с первых лет формирования института эмиграции весьма преуспевали и сами дальневосточники. «Дураков нет. Все в Харбин уехали», – ерничали над собой в 1920 году харбинские журналисты[3]. «Литературе на Дальнем Востоке не повезло в том отношении, что все "старшие писатели" эмигрировали на Запад, в Европу, и та литературная жизнь, которая зародилась на Востоке, была предоставлена самой себе. Здесь не оказалось никого из крупных писателей, кто бы мог так или иначе объединить молодежь, влиять на нее, руководить ею», – писалось почти через двадцать лет в шанхайско-парижских «Русских записках»[4]. «Судьба нас обделила, – спустя годы, вторя западным и местным критикам, сетовала Ю. Крузенштерн-Петерец. – К нам на восток попали после революции прекрасные артисты драмы и оперы, художники, музыканты. Мы были избалованы симфонией, камерными концертами, театром, роскошными декорациями, но больших писателей у нас не было. Они ушли на Запад. Контакта с ними не было, молодежи нашей учиться было не у кого»[5].

Архивные разыскания последнего десятилетия[6], публикации художественных текстов известных и малоизвестных авторов[7] дают возможность

---

[1] *Терапиано Ю.* Перечитывая «Антологию» // Журнал Содружества. 1936. № 3; *Струве Г.* Русская литература в изгнании. Париж, 1984.

[2] Как пример негативной инерции по отношению к литературе дальневосточного зарубежья укажем издания лишь последнего десятилетия: *Азаров А.* Диалог поверх барьеров. Литературная жизнь русского зарубежья: центры эмиграции, периодические издания, взаимосвязи (1918–1940). М., 2005; *Буслакова Т.П.* Литература русского зарубежья: Курс лекций. Учеб. пособие. 2-е изд. М., 2005.

[3] *Дионис Евич.* Долой футуристов! Да здравствуют дети! // Маньчжурия. 1920. № 23. С. 3.

[4] *И.Ф.* Эмигрантские писатели на Дальнем Востоке // Русские записки. Общественно-политический и литературный журнал. Париж. 1937. №1. С. 322-330.

[5] *Крузенштерн-Петерец Ю.В.* Воспоминания… // Россияне в Азии. 1998. № 5. С. 65.

[6] Имеются в виду результаты архивных разысканий составителей хрестоматии в фондах ГАРФ, ГАХК, РГБ, ИМЛИ, Дома Русского зарубежья, провинциальной библиотеки г. Харбина (КНР), частных коллекциях В.А. Слободчикова и Л.Н. Андерсен т.д.

[7] Например: Литература русских эмигрантов в Китае: В 10 т. / Собиратель оригиналов, главный составитель, шеф-редактор Ли Янлен. Пекин, 2005; *Хейдок А.* Маньчжурские рассказы // Рубеж. 2006. № 6 (868). С. 97–121; *Юльский Б.* Зеленый легион. Рассказы // Рубеж. 2004. № 5 (№ 867). С. 151–176; *Байков Н.А.* Великий Ван: Повесть; Черный капитан: Роман / Состав. А. Колесова, вступит. ст. Н. Ким. Владивосток: Рубеж, 2009. 528 с.; *Щербаков М.* Одиссеи без Итаки / Повесть, рассказы, очерки, стихи, переводы/ Сост.,

расширить представление о качественном наполнении прозы дальневосточных беженцев. В сочетании с новыми материалами, касающимися литературы западной эмиграции, а также вновь интерпретированными фактами культурного и литературного процесса метрополии 20-30 гг. прошлого столетия[1] эти источники создают довольно сложную, противоречивую картину. Главное при ее характеристике – следование синхроническому принципу толкования понятий, внимание к типологии социокультурных реалий зарубежья и метрополии и апелляция к уже современным теориям интерпретации текста сквозь призму эдиционной проблематики, с учетом особенностей творческой герменевтики авторов.

Начнем с пресловутой *беллетристики*. Ставшее почти ругательным в отечественной науке, понятие и явление «беллетристика» (букв. – «изящная словесность») все же требует терминологического уточнения и адекватного толкования в диахроническом контексте.

Мы не будем углубляться в целую череду определений и характеристик, существующих в отечественном литературоведении, остановимся на самых знаковых. В современной «Литературной энциклопедии терминов и понятий» под беллетристикой разумеется «термин, *иногда* употребляемый для характеристики прозаических произведений невысокого художественного уровня», произведений «на злобу дня» (курсив мой. – *А.З.*)[2]. К произведениям такого рода *сегодня* причислены считавшиеся долгие годы *классикой* советской литературы «Чапаев» Д.А. Фурманова, «Железный поток» (1924) А.С. Серафимовича, «Как закалялась сталь» Н.А. Островского (1932-1934) и др. В данной статье подчеркивается «серединное» положение беллетристики, соприкасающейся «и с "верхом", и с "низом" *массовой литературы*»[3].

В одной из последних работ А.М. Грачевой, опубликованной в фундаментальном труде «Поэтика русской литературы конца XIX–начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. Проза» (М.: ИМЛИ РАН, 2009) и

комм. и вст. ст. А. Колесова (Серия «Восточная ветвь»). Владивосток: Рубеж, 2011; *Хейдок А.* Звезды Маньчжурии: Рассказы / Состав. А. Колесова, примеч. Н. Белоглазовой, состав. и вступит. статья А. Лобычева (Серия «Восточная ветвь»). Владивосток: Рубеж, 2011; *Юльский Б.* Зеленый легион: повесть и рассказы / сост. и комм. А. Колесова; сост. и вступит. ст. А. Лобычева (Серия «Восточная ветвь»). Владивосток: Рубеж, 2011.

[1] Эстетическое самосознание русской литературы. 20-е годы XX века: Антология / Сост. Г.А. Белая. М.: РГГУ, 2003. 720 с.; *Корниенко Н.В.* «Нэповская оттепель»: становление института советской литературной критики. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 504 с.; В поисках новой идеологии: Социокультурные аспекты русского литературного процесса 1920–1930 годов / Отв. ред. О.А. Казнина. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 608 с.

[2] Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. ИНИОН РАН. М.: НПК «Интелвак», 2001. С. 79.

[3] Текст данной статьи почти дословно совпадает с содержанием главы из «Теории литературы» В.Е. Хализева (М., 2000. С. 132–136).

носящей, по замечанию автора, предварительный характер, под понятием «беллетристика» понимается «художественная проза, ориентированная на достаточно обширную, так называемую "демократическую" аудиторию, что обуславливает специфику ее идеологических и эстетических функций. Беллетристика занимает промежуточное положение между "высокой" и "бульварной" (массовой) литературой»[1].

Даже эти, по времени близкие друг другу дефиниции, обнаруживают явное противоречие в том, что же такое беллетристика и какие аспекты при отнесении произведения к разряду «беллетристических» являются определяющими – злободневность, популярность среди широких слоев читателей (что не всегда совпадает со злободневностью) либо эстетическая усредненность. Отметим и тот факт, что «Литературная энциклопедия» в качестве примера беллетристических произведений приводит образцы «соцреалистического канона», а в работе петербургской ученой рассматриваются «бестселлеры» 10-х гг.: проза М. Арцыбашева, А. Каменского, А. Вербицкой и др.[2] Несмотря на разницу подходов (в одном случае преобладает идеологический, в другом – эстетический), их объединяет мысль о том, что «в России термин "беллетристика" всегда в той или иной степени нес печать чего-то легковесного, обозначал некий чем-то сомнительный "элемент" словесной культуры»[3].

Подобное отношение к беллетристике формируется с конца XIX в., когда под жернова оценочных характеристик попадают произведения самых противоположных литературно-общественных направлений. С одной стороны, литература «знаньевская», то есть – демократическая (Л. Андреев, М. Горький, А. Куприн), авторы которой были прозваны «подмаксимниками»; с другой стороны – литература «антидемократическая» (М. Арцыбашев, А. Каменский, А. Маар, Л. Чарская, А. Вербицкая и т.д.), в те годы именуемая «бульварщиной»[4], а ныне приписанная по ведомству «неонатурализма»[5]. Заметим: и само понятие «неонатурализм» лишь несколько

---

[1] *Грачева А.М.* Русская беллетристика 1900–1910 гг.: идеи и жанровые формы. Указ. изд. С. 545.

[2] Аналогичный подход к произведениям перечисленной группы писателей в работе: *Дьякова Е.А.* Беллетристы 1900–1910 гг.: Михаил Арцыбашев, Анатолий Каменский, Анастасия Вербицкая и др. // Русская литература рубежа веков (1890–1920 годов). Кн. 1. ИМЛИ РАН. М.: Наследие, 2000. С. 669–688.

[3] *Грачева А.М.* Указ. соч. С. 545.

[4] Например: *Чуковский К.И.* Книга о современных писателях. СПб., 1914.

[5] *Тарасова А.А.* Что такое «неонатурализм» // Литературно-эстетические концепции в России конца XIX–начала XX в. М., 1975. С. 284–296; *Калита В.М.* Неонатурализм в литературе Серебряного века: История и теория // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 5. К 70-летию профессора В.В. Агеносова: Сборник научных работ / Под ред. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиевой; пер. на кит. Ли Иннань; пер. на англ. О.Е. Пышняк. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2012. С. 25–42.

последних лет слегка «очистилось» от двусмысленных оценочных коннотаций.

Достаточно явно критические оценки в адрес беллетристики обнаруживаются и в переписке З. Гиппиус с Вяч. Ивановым и П. Перцовым[1]. Но при этом радеющие о «высоком смысле» издатели «Нового пути» употребляли понятие «беллетристика» в значении «*занимательная художественная проза*», противополагая ее прозе, исполненной *религиозно-философским содержанием*.

Итак, «сомнительность» беллетристики в разные годы и разными литературными кругами определяется по-разному.

Не беллетристика как таковая, а новые тенденции в литературном процессе 10-х гг. XX века способствовали тому, что беллетристика стала «центром, где скрещивались взаимовлияния высокой и массовой литератур. Отдельными своими новациями она совпала с творческими поисками мастеров высокой литературы и также стояла у истоков авангарда двадцатых годов»[2]. Речь идет о последнем периоде развития русской (и, в целом, мировой) культуры, когда высокая и низкая литература были еще резко противопоставлены. Трансформация жанровой системы начинается с трансформации ценностной иерархии, с изменений социокультурного порядка[3].

Уже в 10-годы прошлого столетия качественно меняется адресат литературы. «Особенно быстро росло число читателей из средних и низших слоев общества, то есть "полуобразованных" и малообразованных. Сильно увеличивалась численность учащихся в сельских школах, что привело к значительному уровню грамотности крестьян»[4]. Это теперь не только салонная аристократия и просвещенная интеллигенция, но и демократиче-

---

[1] «В "Н. Пути" как рассказы – оскорбление искусства, так посторонние статьи – оскорбление мысли <…> Эти пошлые "беллетристики" <…> при каждой новой книжке "Пути" мучат меня как какие-то ведьмы, отпугивают, ошарашивают снова» (*Брюсов В.* Письмо З. Гиппиус (черновик). Цит. по: Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5–6. С. 304); «Насчет "потрафления" и погони за белле-тристикой (такое разделение презрительнее выходит) я с вами до корня согласна» (*Гиппиус З.* Письмо П.П. Перцову от 8 марта 1902 г. Цит. по: Русская литература. 1991. № 4. С. 133–134).

[2] *Грачева А.М.* Русская беллетристика 1900-1910 гг.: идеи и жанровые формы. Указ. изд. С. 585.

[3] Например: *Бройтман С.Н., Магомедова Д.М., Приходько И.С., Тамарченко Н.Д.* Жанр и жанровая система в русской литературе конца XIX–начала XX века // Поэтика русской литературы конца XIX – начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. Проза. Указ. изд. С. 5–77.

[4] Книга в России, 1881–1895. СПб., 1997. С. 305.

ская публика: учащаяся молодежь, рабочие, ремесленники, швеи, мастерицы, приказчики[1].

Легко распределить шкалу читательских предпочтений той поры. Среди студентов и учащейся молодежи, обретших грамотность рабочих популярностью пользовалась продукция издательства «Знание».

В обществе мелких чиновников, служащих, швей, гувернанток, гимназисток была востребована компенсаторная, популяризаторская функция неонатуралистической беллетристики – книги М. Арцыбашева, А. Каменского, Л. Чарской, А. Вербицкой, Н. Нагродской. Писатели этого ряда особым образом и на особом языке обратились к Ницше, Вейнингеру, Фрейду и дали «точный ответ» на духовные и эстетические запросы этого читательского круга. Проблемы пола и характера, гендерной самоактуализации, «практикующего эротизма» в противовес неуловимому Эросу символистов захлестнули публику данного социального слоя. В прозе М. Арцыбашева, А. Вербицкой, А. Каменского философские и эстетические идеи рубежа веков редуцируются, «опрощаются», в доступной форме доносятся до «нового читателя». Одновременно и автор проводит «сеанс» определенной самоактуализации, проясняя отношение к традиции (например, к «большим романам» XIX в.) и на основе сюжетных, образных, жанровых клише русской классики создает новую литературную мифологию.

Но ведь существовало и еще одно «ответвление», а правильнее сказать – понимание беллетристики, при котором авторы свою художественную деятельность связывали с прозаическими произведениями, интересными для широкого круга читателей благодаря новой «морфологии» прозы.

Это отнюдь не отменяло ее рыночной состоятельности.

Начало развития русской беллетристики XX века в последнем истолковании было положено Чеховым. Именно он открыл *новый тип повествования*, синтезирующего анекдотическое и притчевое начало, заключенного, к тому же, в рамки весьма сжатого объема. Чеховская новелла разнообразно преломилась в творчестве последующих поколений писателей: А. Куприна, А. Толстого, Е. Замятина, И. Бунина, позднее – В. Набокова и др. Не удивительно, что многие русские писатели «после-чеховской поры» совершенно свободно именовали себя «беллетристами», не смущаясь, что тем самым определяют себя на низшую ступень литературной иерархии. Так, В. Набоков, которого никак не заподозришь в самоумалении, в «Других берегах» (1954 г.) констатировал: «Кроме *беллетристики* и стихов, я писал одно время посредственные критические заметки»[2]. Вырвавшийся из Советской России и добравшийся до Парижа А. Каменский в 1931 году за-

[1] Об этом: *Вербицкая А.* Писатель, критик и читатель // Утро России. 1910. 6 февраля. С. 3.

[2] *Набоков В.* Другие берега. Собр. соч.: В 4 т. М.: Правда, 1990. С. 287.

являл: «Газета Матэн предложила мне написать 18 фельетонов о Советской России, обещая хороший гонорар. Я отказался от этого предложения, – не хочу делаться журналистом. Я – *беллетрист*, и решил использовать имеющийся у меня богатый материал в *беллетристической форме*»[1].

В практике подобного словоупотребления логично противопоставление беллетристики (художественной прозы) и поэзии, публицистики, литературной критики[2]. Очевидно, что именно такое понимание вкладывал в специфику «беллетристики» и Иосиф Эйгес – философ, литературный критик, автор работ о природе творчества, наследующий русской классической традиции, когда в 1925 г. давал следующее определение: «Беллетристика есть художественная проза повествовательного характера, то есть заключающая в себе последовательное в общем (этому не мешают перерывы, а также возврат назад) – изложение ряда событий, действий, взаимоотношений описываемых лиц и проч.»[3].

Он однозначно дифференцировал беллетристику и «бульварную литературу», подчеркивая: «художественность литературного произведения зависит не столько от достоинств языка и умения автора интересно излагать события, сколько от того своеобразного переживания образов, ради которого можно простить некоторые недостатки изложения»[4]. Он выделил жанровый признак беллетризации – *фабульность, сюжетность*, при этом отказывая беллетристике в *тенденциозности* (в числе «тенденциозных произведений» – *подделок под беллетристику* Эйгес называет, кстати, «Что делать?» Н. Чернышевского).

За *беллетристическими жанрами* (куда исследователь включает *повести, рассказы, романы*) им предвидится большое будущее, так как основа рождения беллетристики – *дух свободного творчества*: «Беллетристика едва ли не более всех других видов литературы способна вместить в себе все разнообразие нашей жизни, стремлений, интересов. Как ответил Тургенев на упреки в публицистических темах своих романов, художник может описывать все, что угодно, если только оно "образом ложится в душу писателя"

---

[1] *Унковский В.* У Леды и ее творца. Писатель Анатолий Каменский – о своем новом романе // Рубеж. 1931. № 22.

[2] Сравнивая публицистические и художественные модификации *очерка,* возникающие на рубеже XIX-XX вв., современные исследователи противопоставляют «художников-беллетристов» и «художников-очеркистов», обнаруживая новые возможности установления ценностной иерархии, не обусловленные критерием «художественное//малохудожественное» (*Завельская Д.А.* Очерк // Поэтика русской литературы конца XIX – начала XX века. Указ. изд. С. 397–437).

[3] *Эйгес И.* Беллетристика // Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. М.; Л.: Изд-во Л.Д. Френкель, 1925.

[4] Там же.

(Пред. к собр. романов), т.-е. романы и повести могут быть бытовыми, общественными, историческими, психологическими, философскими»[1].

Рубежной вехой в развитии подобных представлений о беллетристике в европейской литературе становится, очевидно, Великая война. Апокалипсис Первой Мировой переиначил всю картину мира человека, низвел прежние авторитеты, девальвировал привычные ценности и с болезненной остротой обозначил непреходящее значение «земного», «плотского». Настоятельная потребность в *живых* чувствах *живых* людей усугубляет интерес к литературе динамичной, к меткому и лаконичному слову, к новым жанровым модификациям.

Но русские писатели, не успев отрефлектировать этот опыт, попали в прокрустово ложе новых социальных потрясений.

Годы революции и Гражданской войны внесли в эти процессы классовые акценты. Потому беллетристика 10-х гг. и беллетристика 20-х гг. – феномены, генетически связанные, но отличающиеся по своим субъектно-объектным и художественным характеристикам. После 1917 года читатель меняется кардинально. «Новая стратегия чтения, рожденная в революционном котле, явилась результатом культурного коллапса, когда "старая культура" получила нового адресата. Новый читатель, зритель, слушатель формирует оптику своего восприятия в самом процессе "приобщения к культуре". Это исключительно сложный и болезненный процесс. Он сопровождается резкой ломкой сложившегося эстетического опыта масс и, как следствие, массовым негативизмом к культуре вообще: и к "старой культуре", и к восставшей на ее развалинах культуре авангардной. Процесс этот приводит к отказу от потребления искусства и стремлению создавать искусство самим, к отказу от сотворчества и желанию творчества: *реципиент перерождается в автора*»[2].

Иными словами, писателем становится бывший прапорщик, офицер, рядовой красноармеец, комиссар, анархист…[3]

В начале 20-х гг., когда «новый читатель» еще только осознавал себя в этом качестве, а соцреалистические директивы только-только стали формироваться, судьба *русской беллетристики* как судьба *русской прозы* объединит в единое дискуссионное пространство крупнейших писателей и критиков метрополии и русского зарубежья (О. Мандельштама, Е. Замятина, Н. Чужака, С. Третьякова, В. Шкловского, К. Мочульского, М. Слонима, Вс.Н. Иванова и др.).

---

[1] *Эйгес И.* Указ. соч.

[2] *Добренко Е.* Искусство принадлежать народу. Формовка советского читателя // Новый мир. 1994. № 12.

[3] Об этом, например: *Чудакова М.О.* Опыт историко-социологического анализа художественных текстов // *Чудакова М.О.* Литература советского прошлого. М., 2001. С. 291–297.

Проанализировав прозу предшествующего десятилетия, Е. Замятин придет к выводу: «Традиционной болезнью русских *беллетристов* была какая-то пешеходность фантазии, *сюжетная анемия* – все ушло в живопись» (курсив мой. – *А.З.*)[1]. Потребность в оживлении сюжетов, по его мнению, продиктована самой «сдвинувшейся», «поплывшей» действительностью: «Сама жизнь – сегодня перестала быть плоско-реальной: она проектируется не на прежние неподвижные, но на динамические координаты Эйнштейна, революции. В этой новой проекции – сдвинутыми, фантастическими, незнакомо-знакомыми являются самые привычные формулы и вещи. Отсюда – так логична в сегодняшней литературе *тяга именно к фантастическому сюжету или к сплаву реальности и фантастики*» (курсив мой. – *А.З.*)[2].

В аналогичном ключе констатируя «конец романа», О. Мандельштам будет апеллировать к «формульной» эпохе классицистического XVIII в.: «*Элементарные формулы*, общие понятия восемнадцатого столетия могут снова пригодиться. "Энциклопедии скептический причет", правовой дух естественного договора, столь высокомерно осмеянный наивный материализм, *схематический разум, друг целесообразности,* – еще послужит человечеству. Теперь не время боится рационализма. Иррациональный корень надвигающейся эпохи, гигантский неизвлекаемый корень из двух, подобно каменному храму чужого бога, отбрасывает на нас свою тень. В такие дни разум – ratio энциклопедистов – священный огонь Прометея» (курсив мой. – *А.З.*)[3].

Замятин концентрирует внимание на *фантасмагоричности* реальности, диктующей новый сюжет; Мандельштам, напротив, настаивает на *универсализме* сюжетных формул и *обновлении повествующего слова*. Но, так или иначе, эти размышления обнаруживают нужду в изменении формообразующих прозу элементов.

Замятин закономерно предчувствовал, что *новый читатель* может ждать от прозы только *сюжетную остроту*: «Вероятно, появится другая крайность: иные уйдут просто в бездумную сюжетную игру, в авантюрный роман… Но такой роман отвечает только одному спектру современности; чтобы отразить *весь спектр* – нужно в динамику авантюрного романа вложить тот или иной *философский синтез*»[4]. Как видно, писатель прозорливо прочертил путь развития литературы XX в. в направлении ее массового спроса и выделял возможные «развилки» этой дороги: в сторону *модерниза-*

---

[1] *Замятин Е.* Новая русская проза (1923)// *Замятин Е.* Сочинения. М., 1991. С. 420–433.

[2] Там же.

[3] *Мандельштам* О. Девятнадцатый век (1922)// Мандельштам О. Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1991. С. 195–201.

[4] Там же. С. 432–433.

ции техники литературы, претендующей на «классический уровень» и *низведения этой техники* до *самоценного характера* в так называемой литературе «для масс».

Немного позднее, наблюдая в прозе метрополии развитие обозначившихся в начале 20-х гг. тенденций, эмигрант К. Мочульский резюмирует: «марксистам невдомек, что писатель может перелететь на Марс и сочинить роман из жизни марсиан, как это недавно сделал А. Толстой, и не сдвинуться с мертвой точки; и, наоборот, в сотый раз пересказывая избитый сюжет, создать новый литературный жанр. "*Новое" и "старое" в литературе – не от материала, сюжета или мотива. Об оригинальном быте обычно пишутся банальные рассказы*» (курсив мой. – *А.З.*)[1].

Раздумья писателей, имевших дореволюционный опыт литературного творчества, любопытным образом пересекались с поисками лефовских авторов и критиков. В работах последних на первых порах «беллетристизм» (Н. Чужак) как «литература вымысла» начинает кардинально противополагаться «литературе факта»[2]. Такую «беллетристику» в своей программной статье Н. Чужак определял даже как «опиум для народа»[3].

Стремясь создать «новую техническую базу» в литературе и дать «переоценку» «старых представлений о старой же культуре и литературе», лефовец В. Перцов напишет: «застрельщиками этой переоценки выступают люди со стороны, не "авторитетные", признанные художественные деятели, критики, искусствоведы, а люди пограничных областей – *газетчики, журналисты, этнографы, путешественники, историки, публицисты*, – т.е. люди, поставленные в потоке живой действительности и привыкшие отвечать за каждое свое слово, как за дело» (курсив мой. – *А.З.*)[4].

Фактографичность будет оценена Мочульским как «кризис воображения» современных прозаиков[5]. Однако он обратит внимание прозаиков на «основные виды построения и технику рассказа», при этом, наряду с критиками как «слева», так и «справа», подчеркнув потребность в *новом фабулате*, в новой «морфологии прозы». Оживление «воображения» критик зарубежья, как и лефовцы, будет искать в «проселочных дорогах» раз-

---

[1] *Мочульский К.* Новая проза // *Мочульский К.* Кризис воображения. Статьи. Эссе. Портреты. Томск, 1999. С. 271–276.

[2] Об этом: *Чужак Н.* Писательская памятка // Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа / Под ред. Н.Ф. Чужака. М., 2000. С. 5–19. О литературной практике балансирования на грани фактографизма и беллетристики в творчестве одного из самых «лефовских» писателей см. в работе: *Ли Иннань.* Китай в творчестве Сергея Третьякова: роман «Дэн Ши-хуа» // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 6. Благовещенск: Амурский гос. университет, 2012. С. 237–251.

[3] *Чужак Н.* Писательская памятка. Указ. изд. С. 17.

[4] *Перцов В.* История и беллетристика // Новый ЛЕФ. 1928. № 4. С. 3–8.

[5] *Мочульский К.* Кризис воображения (Роман и биография) // Критика русского зарубежья: В 2 ч. Ч. 2. М., 2002. С. 21–28.

вития литературных жанров. Именно там он находит жанры *биографии* и *автобиографии*. Путь обретения биографией «воображения», что равно для него *художественности*, Мочульский видит в преодолении документальности и освобождении от «рабского поклонения факту». То есть речь идет ни о чем другом, как о *беллетризации* биографии, обрастании ее «вымыслом», внедрении сюжетной занимательности. Общая сентенция о том, что «скудость талантов вовсе не свидетельствует о том, что самый жанр плох. *Плохих жанров нет: есть плохие писатели*» (курсив мой. – *А.З.*)[1] является еще одним аргументом в пользу содержательного переосмысления беллетристики.

«Беллетристический бум» захватит и литературоведов-опоязовцев. Еще не совсем ясно осознавая, «куда несет нас рок событий», теоретики литературы именно принцип *беллетризации* поставят во главу своей полемики о литературной эволюции и задачах литературоведения на современном им этапе[2].

Для Бориса Эйхенбаума, в частности, эта проблема поступательно определится в триаде: «Как писать? Кому писать? Как быть писателем?»[3] В раздумьях о новом пути развития литературоведческого труда он приходит к пониманию необходимости *нового языка* и *нового материала*. Своим путем Эйхенбаум будет двигаться по направлению к «беллетризации» литературоведения «в стиле полубеллетристики или мемуара»[4]. Эти поиски приводят к созданию статьи «Литературная карьера Л. Толстого». Статья вызывает резкое неприятие со стороны друзей – Ю. Тынянова и В. Шкловского, негативно определивших этот опыт как «биографическую беллетристику» и «непреодоленную биографию»[5].

Несмотря на бурные споры о примате «власти факта» либо «власти вымысла», литературный процесс начала 20-х гг. объективно характеризуется *общей беллетризацией литературы*. Время «большого романа» с глобальностью проблемного поля, разветвленным сюжетом и психологическими мотивировками сменяется потребностью в остром сюжете, лаконичности и остроумности характеристик, неожиданности детали. «Интересно читать» – главный критерий беллетризации, и критика 20-х годов предъ-

---

[1] *Мочульский К.* Кризис воображения... С. 21–28.

[2] Об этом: *Корниенко Н.В.* «Нэповская оттепель»: становление института советской литературной критики. Указ. изд. С. 9–71.

[3] См.: *Эйхенбаум Б.* Миг сознания (1921) // Указ. изд.; *его же.* В ожидании литературы // Русский современник. 1924. № 1; Литературный быт // Мой временник. Л., 1928.

[4] *Эйхенбаум Б.* Дневник. Запись от 7 марта 1928 г. Цит. по: *Чудакова М.* Социальная практика, филологическая рефлексия и литература в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова // *Чудакова М.О.* Избранные работы. Т. I. Литература советского прошлого. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 433–455.

[5] Подробно об этом: *Чудакова М.* Социальная практика, филологическая рефлексия и литература в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова. Указ. изд.

является именно это требование к новой литературе в соответствии с принятыми в мае-июне 1925 г. партийными резолюциями[1]. Поэтому к концу 20-х годов слова «беллетристика» и «беллетрист» в литературных кругах метрополии имеет самые разные значения, и они, хотя и связаны с представлениями о «второсортности», «низкопробности», «мелкотемье», но уже исключительно в идеологическом ракурсе. Н. Осинскому, например, «интересно читать» роман Ф. Гладкова «Цемент» (герои «все почти живые люди», «это же впервые описана рабочая Советская Россия»). В этом смысле новая идеология делает упор именно на беллетристику, под ее «механику» подверстывая требования нового «соцзаказа»[2]. Правда, когда речь заходит о попутчиках, возвращаются разговоры о «беллетристическом чтиве». Так, об авторе «Белой гвардии» Н. Осинский высказывается: «Он пишет легко и интересно. Можно даже "взасос" прочесть его описание киевских событий 1918 года – с другой, белогвардейской, юнкерской стороны. <…> это собственно "вагонная литература" высшего качества»[3].

В конце XIX века А.Н. Веселовский задавался вопросом: «Почему известного рода сюжеты популярны, почему одни из них падают, сменяясь новыми? Иногда вопрос решается просто, стоит только признать, что между сюжетом и течением идей есть внутренняя связь, что *и в литературе играют роль спрос и предложение*»[4], «очевидно, мода [на определенные сюжеты, в том числе. – *А.З.*] имела свои причины, действительно, она была результатом душевной борьбы, наполнявшей общество...»[5]

Именно «моду», а также читательский «спрос» исследователи современного литературного процесса рассматривают сегодня как один из основополагающих критериев формирования жанрологии прозы и ее ценностной иерархии[6]. Но писательские интенции зачастую не сводимы только к фактору «спроса». Максимально убедительно поиски «от противного», вопреки и читательскому, и литературоведческому ожиданию, были выражены в декларациях «Серапионовых братьев». «Авантюрный роман есть явление вредное, классическая и романтическая трагедия – архаизм или стилизация, бульварная повесть – безнравственна. Поэтому Александр Дюма (отец) – макулатура, Гофман и Стивенсон – писатели для детей», – воспроизводит Л. Лунц негативную аксиологическую парадигму своего

---

[1] «Счастье литературы». Государство и писатели. Документы. М., 1997. С. 15.

[2] *Осинский Н.* Литературные заметки // Правда. 1925. 26 июля. С. 5. Цит. по: *Корниенко Н.В.* Нэповская оттепель. Указ. изд. С. 55.

[3] Там же.

[4] *Веселовский А.Н.* Поэтика сюжетов // *Веселовский А.Н.* Мерлин и Соломон: Избранные работы. М.; СПб. 2001. С. 652.

[5] Там же.

[6] Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания / Под ред. П.А. Гринцера. М.: Наследие, 1994. 512 с.

времени и продолжает: «А мы полагаем, что наш гениальный патрон, творец невероятного и неправдоподобного, равен Толстому и Бальзаку, что Стивенсон, автор разбойничьих романов – великий писатель, и что Дюма – классик, подобно Достоевскому.

<…> Произведение может отражать эпоху, но может и не отражать, от этого оно хуже не станет…

Потому что мы требуем одного: произведение может быть органичным, реальным. Жить своей особой жизнью.

<…> Не быть копией с натуры, а жить наравне с природой. Мы говорим: Щелкунчик Гофмана ближе к Челкашу Горького, чем этот литературный босяк к босяку живому. Потому что и Щелкунчик, и Челкаш выдуманы, созданы художником, только разные перья нарисовали их»[1].

Как видно, в столь эпатажной для тех лет декларации Лев Лунц пришел к глубинному пониманию природы произведения, вытекающей из органики художника, природы его творческой герменевтики. Произведение интересно читателю постольку, поскольку интересен и глубок авторский посыл (вспомним И. Эйгеса). Правда, как и в творчестве лефовцев, так и в творчестве серапионов литературные зачастую декларации оказывались смелее и интереснее художественных решений...

Таким образом, трактовки беллетристики в 10-30 гг. прошлого столетия постоянно балансировали на границе представлений о «художественном»//«не художественном», «элитарном»//«массовом», «скучном»//«занимательном» чтении, важнейшим критерием при этом оставался вопрос адресации произведения и его «идеологической» (в широком смысле) адекватности.

Учитывая все вышесказанное, в разговоре о беллетристике мы будем, во-первых, разделять два явления: «массовую беллетристику» (она же – «массовая литература») и художественную прозу в целом, включающую прозаические произведения разнообразной жанровой природы, обладающие острой фабулой, занимательные для чтения («беллетристика»), при этом, как правило, небольшого объема. Беллетристика в нашем понимании обладает широким рецептивным потенциалом среди разных читательских слоев, разделенных не только социокультурными, но в идеале – и временными границами[2].

Подобное внеоценочное, но при этом – продуктивное отношение к явлению беллетристики поможет выявить специфику литературного про-

---

[1] *Лунц Л.* Почему мы «Серапионовы братья». П.: Алконост, 1922.

[2] Традицию осмысления процесса беллетризации, учитывающего разницу социокультурного и эстетического подходов, в отечественном литературоведении продолжает ряд исследователей*: Кузнецова Т.Ф., Луков В.А., Луков М.В.* Массовая культура и массовая беллетристика // Знание. Понимание. Умение. Эл. журн. 2008. № 4. Сер. «Культурология».

цесса в дальневосточном зарубежье и его «харбинском крыле» как наиболее ярко выраженном. Развитие харбинской литературы было напрямую обусловлено процессами социокультурного, экономического и политического развития дальневосточного зарубежья в целом.

Сегодняшний взгляд на литературную ситуацию в русском Харбине, лишенный идеологических шор, позволяет обнаружить парадоксальное явление: новоявленные харбинские литераторы-эмигранты оказались в той «особенной ситуации», в которой пребывали и их собратья по перу в метрополии. Ее суть состояла в том, что «постановка (и решение) определенных литературных задач совпала по времени с задачей выработки определенного социального поведения»[1].

И хотя онтологические и идеологические основания формирования литературы «по ту сторону границы и по эту сторону границы» были совершенно полярны, вопросы «как быть писателем?», проблемы «литературного быта»[2] волновали писателей-харбинцев ничуть не меньше, чем их собратьев в метрополии и западно-европейской эмиграции. В речевой практике русских харбинцев явление «беллетристики» коррелирует исключительно с понятиями «поэтическое» и «публицистическое» и абсолютно лишено отрицательных смыслов. «Ремесло беллетриста» в сознании пишущей харбинской братии осмысляется как трудное, требующее не только таланта, но и определенного умения[3].

Новоявленные харбинские писатели представляли собой разнородное в социокультурном и возрастном измерении сообщество. Как и будущие писатели метрополии, те, кто был призван формировать харбинскую литературу, относятся к «одной генерации», которую мы можем определить несмеловской формулой: «дети восемнадцатого года» («Встреча первая»)[4]. Только для будущих харбинских писателей и поэтов данная коллизия наполняется иным содержанием: вчера – российские просторы, сегодня – Восток, Маньчжурия; вчера – гражданин России, сегодня – эмигрант; вчера – офицер царской армии, казак, студент, учитель, сегодня – писатель.

У одних за плечами – Геттингенский университет (Вс.Н. Иванов), у других – незаконченная Петровско-Разумовская сельскохозяйственная академия (А. Ачаир). Кто-то уже до Первой мировой попробовал себя в писательском ремесле (Н.А. Байков, А.И. Несмелов, П.В. Шкуркин), к кому-то

---

[1] *Чудакова М.О.* Опыт историко-социологического анализа художественных текстов // *Чудакова М.О.* Литература советского прошлого. М., 2001. С. 291.

[2] *Эйхенбаум Б.* Литературный быт // *Эйхенбаум Б.* Мой временник. Л., 1929. С. 51.

[3] Ребринский А. О творчестве беллетриста (Литературный ларец) // Рубеж. 1942. № 18.

[4] *Несмелов А.* Собр. соч.: В 2 т. Владивосток: Рубеж, 2006. Т. 1. Стихотворения и поэмы. С. 108.

вдохновение стало приходить в период «омского сидения» (Вс.Н. Иванов) и дни страшного Ледяного похода (А. Ачаир), кто-то начинает творить во Владивостоке (В. Март, М. Щербаков).

Пока торжествовали революционная неразбериха и постреволюционная сумятица, культура русского Харбина словно выпала из исторического времени почти на десятилетие. Те веяния, что определяли развитие культуры России в 10-е годы, законсервировались в русском кэвэжедековском городке на определенном этапе[1]. «Харбин не читает! Харбину нужно все, кроме книг!» – в 1923 году ругали недавнее прошлое харбинские журналисты. «С 1918 по 1920 Харбин жил без книг. Читатели, по привычке приходившие в книжный магазин, смотрели на пожелтевшие корки случайных изданий, помеченных "1912", "1910" и даже "1906" год, вздыхали и уходили. Медленный процесс отвыкания от книги усиливался»[2]. «Первыми ласточками» «пестрого каскада книг», характеризующего подъем издательского дела, стали берлинские книжные издания: «Весь 1922 год – сплошной медовый месяц берлинской книги и харбинского читателя. Харбинцы поглощали сотнями толстовские "Любовь – книгу золотую" и "Хождение по мукам". Раскупали "Театр и жизнь". Расхватывали "Жар-птицу"... Харбин вдруг оказался культурным и великолепно поглощал и нового, испытанного Амфитеатрова, и неведомых для Харбина Ремизова с Пильняком».

Итак, в первой половине 20-х гг. харбинские издатели и сочинители словно с «чистого листа» начинают наверстывать потерянное время: они «сближаются с культурой новой эпохи. Они держат в руках Есенина, Пильняка, Лидина, Ал. Толстого, Эренбурга.

Их не отпугивает масютинский рисунок, название "Серапионовы братья", ремизовская вязь словами»[3].

Иными словами, уже к середине 20-х годов харбинский читатель адекватно воспринимает и «всеядно» поглощает прозу Ал. Толстого, авангардистский сказ Пильняка, орнаментальную вязь Ремизова – все то, что составляет богатое новациями пространство советской беллетристики и новообразованной эмигрантской литературы.

Несмотря на общий рост интереса к книге и знакомство с лучшими образцами прозы метрополии и эмиграции, 20-е годы прошли для харбинцев в творческих поисках. В 1929 г. Вс.Н. Иванов, чей литературный багаж успел стать довольно весомым, а авторитет – солидным, обрушивается на прозаиков дальневосточной эмиграции с провокационными попреками: «Харбинские эмигрантские беллетристы и иже с ними, которые в своих рассказиках помещают то лирические переживания при встрече с некоей

[1] Об этом: *Забияко А.А.* Тропа судьбы Алексея Ачаира. Благовещенск, 2005.

[2] *Менестрель.* После разлуки // Гонг. 1923. № 1. С. 18–20.

[3] Там же.

обворожительной девушкой, то копаются в воспоминаниях, расплываясь в сладкой и теплой водице, не подозревают, в каких возможностях сюжетов они пребывают»[1].

В этой статье прозвучала достаточно трезвая оценка харбинской литературной ситуации тех лет. Но проблема харбинской прозы состояла не в отсутствии талантов. Суровая беженская действительность подвигала русских сочинителей к стремлению применять свои художественные амбиции к жестким условиям рыночных отношений, соотносить меру собственного эстетического вкуса с запросами читающей публики, сопрягать с талант с его «реализуемостью».

Первостепенную роль в литературном обеспечении широких кругов харбинской публики играл иллюстрированный, многоцветный альманах «Рубеж»[2]. Он имел большую читательскую аудиторию (в лучшие годы тираж составлял около двух с половиной тысяч). Главными адресатами журнала являлись средней руки чиновники, служащие, домохозяйки. Реноме «глянцевого журнала» определяло тематический, проблемный и стилистический облик «рубежных» материалов. Как правило, они были представлены стихотворением местного поэта, рассказом общим объемом 2-5 страниц, растянутым на 8-16 из-за рекламы, многочисленных фотографий, развлекательных статей на разные темы. Казалось бы, многие из них сегодня могут представлять интерес лишь в качестве культурных фоновых знаний (разнообразные психологические тесты, модные анонсы, кулинарные рецепты, перепечатки зарубежной прозы и т.д.). Но эти публикации как раз и создают портрет целой эпохи. Статьи же политической направленности, сводки военных действий характеризуют общие настроения дальневосточной эмиграции и отражают сложные перипетии политической борьбы внутри Маньчжурии[3]. Этнографические заметки самих харбинцев (А. Ачаира, А. Хейдока, В. Логинова, Н. Байкова и др.) несут ценнейшую информацию о нравах, обычаях и верованиях коренных народов Востока Азии и обнажают интерес писателей-эмигрантов к окружающей их экзотике[4]. Особого внимания заслуживает рубрика «Книжные новинки»

---

[1] *Иванов Вс.*Н. Об эмигрантской литературе // *Иванов Вс.Н*. Огни в тумане. Рерих – художник-мыслитель. М: Советский писатель, 1991. С. 239–243.

[2] В Харбине выходило огромное количество периодических изданий, на страницах которых публиковались художественные произведения; наиболее известные – газета «Заря», «Рупор», «Гун Бао», журнал «Луч Азии». Весьма содержательной в художественно-эстетическом отношении была «Чураевка» (поначалу – «Молодая Чураевка»), орган одноименного литературного объединения.

[3] Об этом, например: *Трубилова Е.М.* Периодика Дальнего Востока // Литература русского зарубежья. 1920-1940 / Под общ. ред. О.Н. Михайлова; Отв. ред. Ю.А. Азаров. Вып. 3. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 463–518.

[4] *Ачаир Ал.* У священного озера (Спец. корреспонденция для «Рубежа» из Ханьчжоу) // Рубеж. 1929. № 6. С. 11; *Хейдок А.* Город предрассветных сумерек (Впечатления о

с критическими обзорами той литературы, что поступала на полки харбинцев. Каждый номер «Рубежа» является, таким образом, миниатюрным слепком недельной жизни читающего среднего харбинца.

Главный контингент сотрудников журнала составляли харбинцы-беллетристы и целая армия поэтов и поэтесс[1], авторы самых разных художественных дарований и эстетических ориентиров. Их творчество обеспечивало читательской аудитории доступ к литературе, чтению как способу организовать свою жизнь в отрыве от родины, оставленных там близких людях, разрушенного привычного уклада жизни.

Еженедельный выпуск «Рубежа» предполагал появление, как минимум, двух рассказов местных авторов. Как правило, с такого рассказа журнал открывался – соответственно, требовался и заголовок, который привлечет внимание потенциального читателя еще на стадии покупки и пролистывания «Рубежа». Название выполняло функцию манкой афиши (К. Чуковский). Достаточно перечислить их наугад: «Портсигар желтой кожи» (Ю. Крузенштерн), «Поэтический жулик», «Трагедия одного дня», «Чужая жена», «Честный муж»; «Кисть женской руки» (Я. Лович), «Банкротство» (Н. Резникова) и т.д., и т.п. Особенно преуспел в «номинативной броскости», на мой взгляд, Л. Никитин[2]: «Тень отравительницы», «Неужели я развратна», «Ценой своего тела», «Почему я убил свою жену? Дневник инженера Петрова», «Филе из человечины» и т.д. Очень часто в основу произведений с «бьющими не в бровь, а в глаз» названиями были положены немудреные истории с мелодраматической завязкой, «неожиданными» перипетиями и, как правило, «хэппи-эндом». «Сколько было в нем пустячного, легкого!», – писала позднее об этой стороне любимого «безалаберного "Рубежа"» одна из его сотрудниц и авторов-беллетристок Ю.В. Крузенштерн-Петерец[3].

При всех перечисленных недостатках, определяемых требованиями «рубежного формата», на страницах самого популярного в дальневосточ-

---

Гирине) // Рубеж. 1929. №. 45. С. 3; *Кедров И.* Дикари под боком у Харбина // Рубеж. 1933. № 10. С. 3–4; *Забайкалец.* Соколиная охота в Китае // Рубеж. 1929. № 48. С. 6; На отрогах Хингана (Результаты научной экспедиции) // Рубеж. 1931 (?). № 11. С. 5–6 и т.д.

[1] *Крузенштерн-Петерец Ю.В.* О «Рубеже» // Русский Харбин / Сост. Е.П. Таскина. М., 1998. С. 96.

[2] *Л. Никитин* – псевдоним Людмилы Николаевны Никифоровой, супруги Н.В. Никифорова, известного харбинского архитектора и издателя журнала «Архитектура и жизнь». Об этом: *Крадин Н.П.* Н.В. Никифоров – издатель архитектурного журнала в Харбине // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Вып. 5. Благовещенск, 2003. С. 268–274. О творчестве Л. Никифоровой: *Невваленная Т.А.* Поэтика юмора в рассказах Л. Никифоровой // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 2. Благовещенск: Амурский гос. университет, 2008. С. 98–104.

[3] *Крузенштерн-Петерец Ю.В.* О «Рубеже». Указ. изд.

ном зарубежье издания печатались произведения разного художественного уровня. Основатели «Рубежа» считали, что «держа русскую читательскую аудиторию в курсе событий, происходящих в мире, "Рубеж" призван теснее связать читательскую массу с русской культурой, русским литературным творчеством <…>, дать пишущей братии возможность проявить свои дарования, а с другой стороны, дать *читательской массе* хороший литературный журнал»[1].

Публикация в «Рубеже» становилась наиболее верным способом не только заработать на «хлеб насущный», но и вообще – найти читательскую аудиторию. Напечататься в отдельном издании, несмотря на более благоприятные, чем в Европе условия, было все-таки дороговато, сложно обстояло дело и с реализацией книжной продукции. Работа в «Рубеже» давала поденный шанс не остаться голодным. Благодаря «Рубежу» и его редактору М.С. Рокотову в читающей среде русского Китая, а с 30-х гг. и – русской Европы стали известны имена Несмелова, Хейдока, Иванова, Юльского и многих других прозаиков.

«Не пиши мне фраз из рубежных рассказов!» – взывает юный герой рассказа Г. Гранина к своему коллеге-сочинителю[2]. Однако жанр рассказа, регламентированный границами журнального объема и специфическим соцзаказом, сыграл двоякое значение в развитии дальневосточной беженской прозы. За броскими названиями («Черт» Б. Юльского, «Призрак Алексея Бельского» А. Хейдока, «Золотой зуб» А. Несмелова и мн. др.), динамичными фабулами, мистическими мотивами или столь наскучившим «местным бытом» (Ю.В. Крузенштерн-Петерец) зачастую скрывались более глубокие явления. Отчасти вынужденная, малая форма нацелила сочинителей не только на острые наблюдения над единичным эпизодом, событием, частной судьбой, но и пробудила интерес к их «провинциальному» бытию, заставила обратить внимание на инокультурную проблематику, определить своеобразную повествовательную стратегию. Именно «Рубежу» обязаны «вторым дыханием» специфические беллетристические жанры «по случаю», столь популярные в дореволюционной России: «рождественский рассказ», «святочный рассказ», «пасхальный рассказ» и др. Сама ситуация востребованности такого рассказа в праздничные дни рождает, в свою очередь, новый, сугубо «региональный» жанр – «харбинскую быль» (А. Несмелов «Сторублевка»).

Круг чтения русских харбинцев расширялся стремительно, и постепенно он стал необыкновенно разнообразен[3]. Знаменитые библиотеки

[1] 500 «Рубежей» // Рубеж. 1937. № 35. С. 1.

[2] *Гранин Г.* Монна Ванна // Россияне в Азии. 1996. № 3. С. 30–45.

[3] Об этом, например*: Эфендиева Г.В.* «Что читал русский Харбин?» (О литературных пристрастиях русского восточного зарубежья 1920–1930 гг.) // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 6. Указ. изд. С. 182–195.

КВЖД[1], ХСМЛ[2] и Д.Н. Бодиско предоставляли читателям и русскую классику, и литературу русского модернизма, и модные оккультные романы: в анонсах новых поступлений стояли Конрад Принц «Во власти кармы», В.И. Крыжановская «Вампир», М. Осоргин «Чудо на озере», новинки литературы метрополии (М. Зощенко «Воспоминания о Мишеле Синягине», Б. Пильняк «Старый дом»), и образцы современной зарубежной литературы (Э.М. Ремарк «Обратный путь») и т.д.

Из литературных обзоров «Нашего пути»[3], грешащих, разумеется, тенденциозностью, узнаем о том, что харбинцам были знакомы, например, последние произведения Ю. Олеши[4].

В местных библиотеках корреспонденты газеты проводили мини-опросы читательских предпочтений и приходили к выводу о том, что «интерес к серьезной литературе среди читательских масс повышается» (к серьезным авторам в одном ряду были причислены в 30-33 гг. Алданов, Краснов, Гуль – в то время как в метрополии они отнесены вместе с Булгаковым к «вагонным» писателям)[5]. Чураевские авторы, делая соответствующие опросы в собственной библиотеке ХСМЛ, «большого книжного мира, вмещающего 19 тысяч томов по всем отраслям знания»[6], выясняли, что читали харбинцы, имеющие отношение к ХСМЛ. Из классиков – «по необходимости» (очевидно, он тщательно изучался в гимназии ХСМЛ) Достоев-

---

[1] Библиотека Харбинского железнодорожного собрания считалась одной из самых богатых и старейших в городе (она была образована в 1902 г.). Об этом: Бердин Д.В. (Сост.) Краткая инструкция по библиотечной технике: Применительно к библиотеке Харбинского железнодорожного собрания. Харбин, 1923; *В.Р.* О библиотеке института и ее создателе П.А. Казакове // Политехник. 1973. № 5. С. 9–10.

[2] ХСМЛ – Христианский Союз Молодых Людей (YMCA – Young Men's Christian Association), организация, задачами которой являлось «воспитание молодого поколения в духе христианства и культурная помощь» и «гармоническое развитие человеческой личности» (Христианский Союз Молодых Людей (ред. статья) // Чураевка. 1932. № 6; *Ачаир А*. (Грызов А.А.) Бог, Родина и Честность // Чураевка. 1933. № 4. 14 ноября. В этой статье Алексей Ачаир (А.А. Грызов, русский секретарь маньчжурского отделения ХСМЛ) определял ХСМЛ как «независимый национальный центр культуры христианского, рыцарского, русского братства».

[3] Газета «Наш путь» была органом харбинского отделения Всероссийской фашистской партии.

[4] *Баталов Ю.* В красных зажимах. Горькая доля советских литераторов // Наш путь. 1934. 7 мая. № 143.

[5] *Седов И*. Читатели Харбина. Книги-кумиры вчера и сегодня // Заря. 1930. №261. С. 7; Что и как читает харбинская молодежь? Летучее обследование «Зари» // Заря. 1931. №146. С. 14; *Яблоновский А*. Читатели и писатели: Фельетон // Заря. 1931. №99. С. 7; Какими книгами увлекаются харбинцы? На первом месте «Сердце царевича» О. Бебутовой // Заря. 1933. №135. С. 13; Что читают харбинцы // Наш путь.1936. 14 июня. № 149.

[6] *С.С.* (Сергин С.). Мир книг // Чураевка. 1934. № 6 (12). С. 6.

ского; молодежь предпочитала «легкую литературу» – Уоллеса, Оппенгейма. И, наконец, из «беллетристов больше всего читают Куприна, Алданова, Шмелева, Цвейга, Бунина (в связи с получением им нобелевской премии), Осоргина, Сирина»[1]. К 1934 году падает интерес к Краснову, но возросла популярность Минцлова и Наживина. Дамы перестают столь увлекаться Бебутовой и Лаппо-Данилевской, Крыжановской, Уэдсли – но зато расхватывают книги Шавровой и Наваль[2].

Но это – так сказать, срез «массового читателя». А что читали «взыскующие» молодые люди[3]? Весьма содержательны в этом отношении разнообразные рецензии, обзоры и передовицы «Молодой Чураевки» (затем «Чураевки»). В заметках одного только Н. Щеголева (но ведь нельзя забыть и увлекающегося Г. Гранина, и «книжного червя» Н. Петереца, и пресловутого «Сигму» Валерия Перелешина) была проявлена подробная карта начитанности образованного харбинского юноши: здесь Бунин, Достоевский, Пильняк, Яновский, Белый, Пруст, Голсуорси, Ремизов, Эренбург…

Весьма характерно замечание: «нарасхват идут литературные журналы западной эмиграции – "Современные записки", "Иллюстрированная Россия", есть свой круг читателей у журнала "Путь"»[4]. В «Книжных новинках» «Рубежа», рубрике «Библиография» «Молодой Чураевки», в других изданиях то и дело появлялись анонсы-рецензии на новые произведения западных собратьев по перу. Проза западной эмиграции была не только доступна харбинцам, но и подвергалась критическому разбору – например, роман В.С. Яновского «Мир» (Берлин: Изд-во «Поларбола», 1931)[5]. Обнаружив у автора многочисленные влияния русских авторов – Бунина (как «остатки литературной выучки, внешнего лоска»), Достоевского, Андреева («Жизнь Василия Фивейского»), Пильняка («Голый год») (вплоть до обнаружения буквального совпадения некоторых натуралистических образов из последнего), Николай Щеголев завершает свой обзор двусмысленно и иронично: «Уходишь от романа с одним иллюзорно утешительным выводом о живучести людей, ухитряющихся существовать даже при таких физических и психических условиях, созданных автором этой нужной, своевременной, но почти отталкивающей книги»[6]. В заметке Н. Резниковой 1937 г. читаем: «Рассказ В. Сирина "Озеро, облако, башня" очень слаб по

[1] Там же.

[2] Там же.

[3] «И вы, взыскующий поэт, не можете без метронома?» – фраза из стихотворения А. Ачаира «Форма» (1937), адресованного, скорее всего, Н. Щеголеву. Об этом: *Забияко А.А.* Николай Щеголев: харбинский поэт-одиночка. Новый Журнал. Нью-Йорк, 2009. № 256. С. 310–324.

[4] *С.С.* (Сергин С.).Указ. соч.

[5] Там же. С. 4.

[6] Молодая Чураевка. 1932. 24 июля. С. 1.

сравнению со всем тем, что пишет этот талантливый, своеобразный писатель. Вполне очевидно, что написан он очень давно, так как в нем намечаются мотивы, разработанные позднее гораздо более остро и оригинально». Тремя годами позднее дело доходит и до оценки фабулы: «"Отчаяние" В. Сирина оставляет двойственное впечатление. Как всегда, буквально очаровывает смелость, свежесть стиля и выдумки молодого писателя. Но фабула кажется недостойной такого блеска и совершенства, и это раздражает»[1].

Впрочем, Н. Резникова, скорее всего, в своих оценках ориентировалась, на парижскую критику. У большей же части молодого поколения харбинских писателей стилевые новации Набокова находили поддержку. Валерий Перелешин вспоминал: «за живое брали книги шумевшего тогда Вл. Сирина: "Защита Лужина", "Король, дама, валет", "Camera obckura", "Возвращение Чорба". Впрочем, шампанское, которое падало в гортань "холодными звездочками", обжигало не одного меня. И Щеголев, да и все мы, были потрясены и очарованы этими беспощадными панорамами жизни, как она есть, безо всякого морализирования или учительства»[2]. В.А. Слободчиков подтверждал эти слова: «Современными прозаиками интересовались мало. Больше других, пожалуй, нравился Владимир Сирин (тогдашний псевдоним Набокова)»[3]. Скупая информативность этих строк, тем не менее, свидетельствует о том, что литературный Харбин интересовался Набоковым и что «механика чуда» «набоковских» приемов интриговала харбинских сочинителей.

В своей статье Иванов призывал «беллетристов» отрешиться от старого мира воспоминаний и обратиться к «тяготам настоящих дней», потому что до сих пор «в них упорно не видят ни человеческой воли, ни человеческой правоты, ни острых тех переживаний, которые заставляют поставить на карту все – жизнь, близких и так далее и брести проводником, а часто и так, по компасу, взыскуя лишь одного – воли, воли, воли от невыносимого гнета во что бы то ни стало»[4]. Но к концу 20-х гг. эти тенденции уже вызревали в сознании многих дальневосточных писателей. Едва-едва обустроившись в своем эмигрантском бытии, отойдя от тягот бесконечных переходов и переездов, воспрянувшие от былого и новоиспеченные, харбинские сочинители, наконец, почувствовали скрытые толчки литературных им-

---

[1] *Н.Р.* (Резникова Н.) Книжные новинки. Русские записки. Общественно-политический и литературный журнал. Книга II. Париж – Шанхай, 1937 г. [рец.] // Рубеж. 1937. № ?; *Н.Р.* (Резникова Н.) Книжные новинки. Современные записки. Книга 55-я. Париж, 1934 [рец.] // Рубеж. 1940. № 15.

[2] *Перелешин В.* Два полустанка (фрагменты) // Литературная учеба. 1989. № 6.

[3] *Слободчиков В.А.* «Чураевка» // Русский Харбин. 2-е изд., испр. и доп. М., 2005. С. 73–74.

[4] *Иванов Вс.Н.* Об эмигрантской литературе. Указ изд. С. 240.

пульсов. Не случайно именно в эти годы в русском Харбине начинают создаваться подобия литературных салонов и возникать литературные объединения (литературный салон А. Паркау, кружок ХСМЛ-журнала, впоследствии – «Молодая Чураевка»). Провинциальное бытие потворствовало возникновению беспрецедентного в зарубежье опыта «взращивания» молодых литературных талантов, созданию совершенно особого литературного быта[1].

Много богаче литературности была сама дальневосточная реальность. Именно «непреодоленность биографии» становится для харбинских беллетристов мощным источником вдохновения. Трагедия Ледяного похода, тяжелейшие невзгоды, сопровождавшие семьи дальневосточных беженцев на пути в эмиграцию, экзотика русского города посреди маньчжурских болот, процветающий на почве многовластия бандитизм и хунхузничество провоцировали и продуцировали особые темы и сюжеты.

В воспоминаниях И.И. Серебренникова есть сюжет о встрече в Харбине со старым приятелем-генералом и его супругой. В «долгой задушевной беседе» гостеприимная хозяйка поведала «о своих мытарствах, кои ей пришлось претерпеть за последнее время». Женщина теряет следы мужа во время восстания против Колчака. Добравшись до Верхнеудинска и дождавшись прихода каппелевцев, она отправляется в штаб. Чтобы узнать, «смог ли он выбраться из Южной армии и попасть в Омск, остался ли там или пошел с отступающей армией? В штабе ей сказали, что не имеют о ген. Бобрике никаких сведений и ничего утешительного сообщить ей не могут. Взволнованная женщина, подозревая, что от нее утаивают недобрые вести о ее муже, со слезами на глазах вышла из помещения штаба – и на улице встретила своего мужа, целого и невредимого. Можно представить себе этот *исключительный момент*!..» (курсив мой. – *А.З.*)[2]. На этом «одиссея» генеральши не закончилась. Возвращаясь в Харбин из Владивостока, куда она ездила в «бешеной погоне за заработком», но попала «под переворот» (имеется ввиду падение ДВР), женщина вновь оказывается в переделке. «По дороге на поезд, в котором она ехала, совершили нападение хунхузы. Поезд должен был остановиться. Выстрелы, дикие крики хунхузов, вопли и стоны раненных создают необычайно жуткую картину. Убитый пассажир валится с верхней полки вниз, прямо на г-жу Бобрик. Хунхузы отбирают у нее последние деньги. Отважная женщина еще имела мужество в этой кошмарной обстановке перевязывать раненых пассажиров»[3].

Примечательно резюме мемуариста: «Слушая это скорбное и жуткое повествование и наблюдая за нервным лицом рассказчицы, я думал:

---

[1] Об этом: *Слободчиков В.А.* «Чураевка». Указ. изд.; *Ли Мэн.* Харбинская «Чураевка» // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 6. Указ. изд. С. 167–182.

[2] *Серебренников И.И.* Мои воспоминания в эмиграции. Т. II. Тяньцзинь, 1940. С. 35–36.

[3] *Серебренников И.И.* Мои воспоминания в эмиграции. Т. II. Тяньцзинь, 1940. С. 35–36.

– Какие страшные шутки шутит иногда жизнь! *Никакой фантазии романиста не угоняться за ними*…

Порубежье как временная и социально-философская категория тесно связались в сознании эмигрантов с лихолетьем Гражданской и последующими за этим переменами в их судьбе и художественном сознании. Авантюрными сюжетами из собственной жизни могли поделиться и сам Вс.Н. Иванов[1], и Альфред Хейдок[2], Арсений Несмелов[3], Алексей Ачаир[4], Яков Лович[5]…

Но фронтирная (пограничная, порубежная) ситуация была литературогенна и пространственно-географической спецификой. «Загадочная страна Маньчжурия», «дебри маньчжурской тайги» стали художественной мифологемой, определяющей, с одной стороны, крайнюю степень отчужденности русского изгнанника от бескрайних просторов российских степей, его «умирания» в качестве *русского* человека, «возрождения» в качестве *эмигранта*, с другой стороны, его особую выделенность в неоднородном пространстве эмиграции в целом.

«Пограничная жизнь – это огромная канва, по которой можно расшивать узоры бесчисленных, весьма запутанных, обремененных сложной фабулярностью, романов… Недаром в доброе старое время писались повести о контрабандистах, о мрачных следопытах-охотниках, о невероятных приключениях, все это – в связи с жизнью на границе», – писал в середине 30-х гг. критик Аргус[6].

С конца 20-х гг. харбинские сочинители проявляют повышенный интерес не только к региональным особенностям окружающей их Маньчжурии, но и в целом к наследию древнейших культур Востока (Китая, Кореи, Японии), а также к богатейшей литературной традиции этих стран. К тому времени Приморье и Маньчжурия представляли еще единое геополитическое пространство, владивостокцы свободно вояжировали в Харбин, харбинцы – в другую сторону; литераторы могли сообщаться друг с другом – в частности, в те годы в Харбине побывали и Н. Асеев, и В. Арсеньев и др. Шкуркин дружил с Арсеньевым, Арсеньев переписывался с Байковым. Во Владивостоке с Арсеньевым успели пообщаться Щербаков и Несмелов.

В эти годы харбинцы уже имели на руках не только художественно-натуралистическую прозу Н. Байкова, но и «Китайские легенды»

---

[1] *Иванов Вс.Н.* Исход. Повествование о времени и о себе // Дальний Восток. 1994. № 12.

[2] *Хейдок А.П.* Страницы моей жизни. М., 2011. С. 17–42.

[3] *Несмелов А.* О себе и о Владивостоке; Наш тигр, Ленка Рыжая и т.д.

[4] *Ачаир А.* Тайна северной тайги // Рубеж. 1937. № 23. С. 3–8.

[5] *Лович Я.* Враги. М., 2007.

[6] *Аргус.* Роман, написанный жизнью (Книга К. Сабурова «Зеленый фронт», только что вышедшая в Харбине) // Рубеж. 1937. № 17.

П. Шкуркина, «Тигровьи чары» В. Марта[1]. В 1924 г. выходят в свет этнографические рассказы П.В. Шкуркина «Хунхузы», в 1926-1928 гг. – его же китайская быль «Игроки»[2]. Постепенно реалии дальневосточного фронтира, неотделимые от мифологических представлений местного населения, захватили практически всех наиболее крупных художников слова, различающихся по возрастным, эстетическим и географическим ориентирам.

«Тигров больше, чем людей», – словно вынося диагноз всей дальневосточной литературе, резюмировали ее содержание парижские критики[3]. Иронизировать на этот счет можно было только кабинетным писателям, не бывавшим в дальневосточной тайге, не знакомым с ее обитателями. Ситуация, в которой реально оказались дальневосточные беженцы, в самой малой степени была близка «экзотической романтике», мыслимой и чаемой западным эмигрантам. В произведениях Николая Байкова, Павла Шкуркина, Михаила Щербакова, Арсения Несмелова, Бориса Юльского и др. устойчиво либо «редко, да метко» встречаются образ тайги, ее мифического Хозяина – *тигра*, образы *женьшеня* и «таежных людей» – *звероловов*, *женьшеньщиков*, *хунхузов* – «тигров в человеческом обличье». Данное явление, в первую очередь, интересно с точки зрения художественной этнографии[4], но оно характеризует и «дальневосточную» специфику этнокультурной идентификации эмигрантов, и их личную религиозность[5].

Уникален в этом отношении опыт П. Шкуркина, определивший дальнейшее развитие художественной этнографии Н. Байкова и М. Щербакова (повлиял он в определенной мере и на оставшегося в Советской России В. Арсеньева[6]). Обращение Шкуркина к религиозно-философской подо-

---

[1] *Арсеньев В.К.* Китайцы в Уссурийском крае. Хабаровск, 1914; *Байков Н.А.* В горах и лесах Маньчжурии. СПб., 1915; Арсеньев В.К. По Уссурийскому краю (Дерсу Узала). Путешествие в горную область Сихотэ-Алинь. Владивосток, 1921; *Шкуркин П.* Китайские легенды. Харбин, 1921; *Март В.* Тигровьи чары. Владивосток, 1920.

[2] Хроника основных событий культурной жизни русского Харбина // Русский Харбин...Указ. изд. С. 300–333.

[3] Об этом, например: *Голенищев-Кутузов И.Н.* Русская литература на Дальнем Востоке // Возрождение. Париж. 1932.

[4]Под *художественной этнографией* понимается результат художественного освоения культурных, религиозных, психологических установок, нравственно-этических норм, особенностей обустройства быта представителей определенного этноса, населяющих определенные географические пространства – *А.З.*

[5] Об этом: *Забияко А.А.* Мифология дальневосточного фронтира в сознании писателей-эмигрантов. Религиоведение. 2011. № 2. С. 154–170.

[6] О путях становления этого крыла дальневосточной прозы: *Забияко А.А.* Текстологические тропы дальневосточной этнографии (проблема аутентичности текстов писателей 20-40 гг.) // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 5. Указ. изд. С. 84–102.

плеке социокультурного явления хунхузничества базировалось на первоначальном постижении мифологии и лингворелигиозной картины мира народов Дальнего Востока. Именно Шкуркин в предисловии к «Хунхузам» наметил путь самоценного развития дальневосточной этнографии по пути беллетризации[1].

В натуралистических заметках Николая Байкова ученый постоянно соперничает с писателем. Этнограф деловито передает подробности охоты в маньчжурской тайге, научные сведения об «объекте описания», а художник трансформирует эти заметки в поэтизированные зарисовки из охотничьего и военного быта, где мифология играет особую роль. Так, очерк «Корень жизни женьшень» (1926) плавно перетекает в повествование «В дебрях Маньчжурии» (1934); «Маньчжурский тигр» (1925), «Тигры на Дальнем Востоке» (1927), «Охота на тигра» (1927) переплавляются в «Великого Вана» (1936) и т.д.

Своей дорогой к художественной этнографии пришел Михаил Щербаков. Уже в начале 20-х гг. его воображение занимают центральные мифологемы дальневосточного фронтира[2]. Сборник «Корень жизни»[3] формировался почти двадцать лет. Туда вошли рассказы, в основном написанные в 1923-1930 гг., – в них можно обнаружить прозаическое развитие стихотворений 20-х гг. Два рассказа датированы 1935 и 1934 гг. В целом же произведения, составившие сборник, разнообразны по жанровому, сюжетологическому наполнению. Среди них и новелла («Корень жизни»), и «корейская легенда» («Озеро богача»), и фантастические рассказы («Утес Дракона», «Джонни молодой мамонт»), и лиризованные зарисовки («Шанхайские наброски») и т.д. Объединяющим началом сборника становится мифология и мифологические воззрения самых разных народов, населяющих Дальний Восток: китайцев, маньчжуров, корейцев, японцев, коряков, пропущенные сквозь призму восприятия русского человека. В 1932 г. он снискал себе весьма меткую эпиграмму от Н. Светлова:

М.В.Щ.
При драке с ним, хоть удивитесь,
Получите ущерб боков.
То – наш Джек Лондон, храбрый витязь,
Михал Василич Щербаков[4].

Переосмысление топосов фронтирной мифологии осуществилось и в творчестве представителя молодого поколения писателей – Бориса Юль-

[1] *Шкуркин П.В.* Хунхузы: Этнографические рассказы. Харбин, 1924. 138 с. С. 5.

[2] *Забияко А.А.* Мифология дальневосточного фронтира в сознании писателей-эмигрантов. Указ. изд.

[3] *Щербаков М.* Корень жизни: Сб. рассказов. Шанхай, 1943. 236 с.

[4] Чураевцы по белу свету // Молодая Чураевка. 1932. № 5 (30 июля). С. 2.

ского («Возвращение госпожи Цай», цикл «Зеленый легион»). В «очерках» «Зеленого легиона», декларативно нацеленных на «правдивость», мифологический национальный колорит затеняет более глубокий уровень писательской рефлексии. Писатель воссоздает будни лесной полиции. Он, не нюхавший пороху Первой мировой, не прошедший фронты Гражданской, живущий на русском «пятаке» посреди огромного Китая, ощущает себя в ситуации героического служения, борьбы за правое дело. Герои его повествования – хунхузы-китайцы, русские солдаты – помещены в лиминальную ситуацию «жизнь / смерть». Пограничная ситуация, когда смерть заглядывает человеку, проявляет все скрытые в нем потенции, стирает этнические преграды. Раздвигая рамки «своего // чужого», Юльский активно синтезирует жанровые формы славянского и китайского фольклора, соединяет героев разноплеменных демонологий («Возвращение госпожи Цай», «След лисицы», «Господина Леса» и др.). Подобная синкретизация этнокультурных традиций свидетельствует об уникальном процессе врастания в чужую среду, характеризующем культурное пространство дальневосточной ветви эмиграции.

В 1929 г. появляются и первые рассказы Альфреда Хейдока («Кошмар степи», «Призрак Алексея Бельского», «Зов пустыни» и др.), соединяющие средневековую мистику и религии Востока[1] в поэтически осмысленной писателем теософской концепции. Впоследствии его художественно-философские штудии воплотятся в сборник «Звезды Маньчжурии» (1936). Для А. Хейдока, переводившего «Тайную доктрину» Е.П. Блаватской, увлечение теософией явилось ступенью на пути к постижению «Агни Йоги» Николая Рериха. С ним Хейдок встречался в Харбине лично, считая знакомство провиденциальным. Идеи Н. Рериха нашли живейший отклик и понимание в душе молодого писателя. В художественной практике Хейдока впечатления жизни на Востоке, идея многократных духовных перерождений, культ мертвых пропущены сквозь сознание европейского человека маргинального сознания. При этом писатель, постоянный автор «Рубежа», делает ставку на динамичную фабулу и мистическое разрешение конфликта. Личный религиозный опыт Хейдока, пронизывающий эмоциональную атмосферу его произведений, отнюдь не вредит их беллетризации: необычайные происшествия, захватывающая интрига этой прозы исподволь погружают читательское сознание в мистический контекст. Используя жанры фольклорной бывальщины, средневековой легенды и «готического рассказа», Хейдок поверяет европейский скепсис восточным все пронизывающим мистицизмом («Призрак Алексея Бельского», «Шествие мертвых», «Маньчжурская принцесса» и др.).

[1] Об этом: *Забияко А.А., Крыжанская К.А.* Спиритизм, теософия, масонство: харбинский вариант космополитизма // *Забияко А.А., Эфендиева Г.В.* Меж двух миров: Русские писатели в Маньчжурии. Благовещенск, 2009. С. 175–195.

Конец 20-х гг. станет переломным для Арсения Несмелова как прозаика; им будут созданы совершенно разноплановые и разностилевые произведения. События недавних владивостокских лет отразятся в сознательно беллетризованной автобиографии «О себе и о Владивостоке»[1], повести-эсхатопии «Ледяная гибель» [2], рассказе-анекдоте «Удачный заголовок». Трагический военный опыт выльется в «Короткий удар», вписавший Несмелова в редкий реестр авторов Первой Мировой; опасная и авантюрная работа репортера и жизнь в межреволюционной Москве с ее криминальной атмосферой воплотятся в рассказе «Комаровка». В дальнейшем прозаические искания Арсения Несмелова становятся характерным примером диалектического взаимодействия «конъюнктуры» и «вдохновения» в области жанрологии, повествовательной стратегии, сюжетики и стилистики: это и шпионские истории («Золотой Зуб», «Контрразведчик»), и рассказы в духе булгаковского фантастического реализма («Кольцо Цезаря»), и анекдоты из местного литературного быта («Поэтесса Верочка»), и анекдоты-притчи («Чудесный подарок») и многое другое. Он одним из первых в русском зарубежье проникнет в перспективы уникального жанра «беллетризованной биографии», актуальность которого будет предчувствовать Б. Эйхенбаум. Вначале это будет написанное в жанре письма И. Якушеву[3] повествование «О себе и о Владивостоке» (1928), а затем «непреодоленный биографизм» пронижет самые разные жанровые формы – «отрывки из романа» («Ленка Рыжая», «Удачный заголовок»), шпионские истории («Золотой Зуб», «Контрразведчик», «Случай на мосту»), рассказы-анекдоты («Приключение Веры Исаевны», «Поэтесса Верочка»), рассказы-притчи («Чудесный подарок», «Голубое одеяло») и т.д. Метапоэтическая подкладка его художественного мира, явленная в повествовании «Наш тигр» (1940), отлична от набоковской и газдановской лирической саморефлексии – активность его автобиографического персонажа указывает на иные перспективы развития прозы XX века.

Уже в 1931 г. в литературно-художественном сборнике «Багульник» О. Штерн с воодушевлением отметит, что «в последние два-три года литературная жизнь Харбина заметно оживилась»[4]. В 1932 году многие писате-

---

[1] Об этом: *Забияко А.А.* Автобиографизм как метажанровая основа прозы А. Несмелова // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 1. Благовещенск, 2006. С. 81–100.

[2] Об этом: *Забияко А.А.* Ледяная гибель» Арсения Несмелова: между «молотом» пропаганды и «наковальней» искусства // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 6. Указ. изд. С. 132–148.

[3] Переписка А.И. Несмелова с И.А. Якушевым // Рубеж. 1995. №2. С. 238–248.

[4] *Штерн О.* О дальневосточных писателях // Багульник: Литературно-художественный сборник. Харбин, 1931. Вып. 1. С. 183–189.

ли понимают: «*писать можно о чем угодно, лишь бы после прочтения написанного оставалось впечатление внутренней оправданности книги*»[1].

Николай Щеголев, критикуя засилье зарубежных детективных романов среди читающей публики Харбина, тем не менее, видит причины дурновкусия современных читателей в том, что «занимательностью современные писатели пренебрегают: они пишут не романы, не рассказы, а какие-то плохо спаянные фрагменты, лирические по большей части». Пути избавления от «кровавых призраков» и «черных ручек» он видит в том, чтобы «начать перестраиваться психологически, будить в себе закосневшую коммерческую жилку», присмотревшись к Пушкину и Достоевскому, «который всегда остро присматривался к бульварным писателям типа Эжена Сю, потому что хотел, чтобы его романы помимо внутренней ценности обладали внешней занимательностью!»[2]

В русском Харбине находят плодотворное развитие и тенденции модернистской прозы 10-х гг., и прозы военных лет, и новации литературы метрополии. При этом они переплавляются в совершенно особое единство. «Окопная правда» Толстого находит свое развитие в «Рассказах о войне» Несмелова. Традиция романа воспитания продолжена в прозе Н. Веселовского (сборник «Восток и Запад»). Проза, посвященная проблемам женской эмансипации и берущая свое начало в литературе 10-х гг., развивается в творчестве Н. Резниковой. Духом фантасмагорий 20-х гг. (где и Замятин, и Пильняк, и Булгаков) пронизаны «Ледяная гибель», «Кольцо Цезаря» А. Несмелова, роман «Ял-Мал» В. Логинова. Народнический посыл Леонида Андреева помножен на «беспочвенный» скепсис в прозе Б. Юльского («Чудесная королевна», «Цветок у дороги», «Парашютист»). Натурализм ранних шолоховских рассказов, вплоть до совпадения названий, находит отклик в рассказах о Гражданской Несмелова («Родимое пятно», «Кровь на снегу», «Трудный день поручика Мухина» и др.), в сборнике Д. Загоскина «Казаки», прозе Я. Ловича.

На страницах периодических изданий и в сборниках, печатаемых мизерными тиражами, появляются рассказы, посвященные проблемам этнокультурной адаптации (Н. Резникова «Полукровка», А. Несмелов «Поручик Тахакаси», «Ламоза», «Драгоценные камни», Я. Лович «Покорность», В. Перелешин «Любовь господина Нань»); воспитанию подрастающего поколения (Б. Юльский «Парашютист», «Цветок у дороги»).

Именно «детская тема» становится поводом реализовать самые сокровенные переживания о судьбе родины, ее будущем для А. Несмелова. Но это – литература *не для детей*. Адресуемые взрослым рассказы выстраивают эсхатопическую, «гибельную» перспективу в отношении юной поросли со-

[1] *Читатель*. Библиография («Свидетель истории», «Олень», «Побег». Осоргин). Библиотека ХСМЛ // Молодая Чураевка. 1932. № 4 (24 июля).
[2] *Щеголев Н.* О детективных романах // Молодая Чураевка. 1932. № 6 (8 августа). С. 1.

ветских детишек (рассказы «Золото», «Вредители», повесть «Маршал Свистунов» и др.).

Героями лучших образцов харбинской беллетристики, как и чаял Вс.Н. Иванов, становятся люди, которые «устраивают [жизнь] наперекор стихиям, наперекор обстоятельствам, бегут из Сов. России, шоферят на трескучих "фордах"», рубят лес на концессиях, укатывают мостовые на вальках, принимают самые разнообразные подданства, вплоть до советского, и через бурю дней проводят начала жизни во что бы то ни стало, жизни цепкой, сильной и умудренной»[1].

В 1937 г. харбинские критики отмечали: «В наше время пограничная обстановка еще более усложнилась. А здесь, на Дальнем Востоке, она стала особенно богата всяческими возможностями. Хунхузы, отряды самоохраны, чины ГПУ, тайком пробирающиеся "по сю сторону", всевозможные авантюристы, перебежчики с советской стороны, шпионы, бродяги, искатели приключений, и так далее, и так далее. Все эти любопытные разновидности людей создали бурлящую жизнь, полную опасностей, авантюр, пылких взлетов идейного героизма, низменных падений в бездны измены и предательства, невероятной алчности в стремлении к золоту и эфемерной власти»[2].

С конца 20-х по середину 30-гг. шпиономания захватила европейскую общественность, а в провинциальном Харбине шпионские сюжеты были не просто востребованы – ими была наполнена сама жизнь. Интерес к авантюрной сюжетике, в частности – к детективному (шпионскому) жанру также во многом был усилен обстоятельствами приграничного быта, все той же фронтирной ментальностью сочинителей. Двойные агенты советской и японской разведок, детективная подоплека общественно-политической жизни, предгрозовые настроения грядущих военных катастроф – все это было реальностью[3]. Многие писатели – бывшие военные – вспоминали свой предшествующий опыт Первой мировой и шпионские страсти той поры (А. Несмелов, Я. Лович). Томящееся в захолустье дамское общество будоражили истории про известных женщин-шпионок (не случайно с такой страстью откликнулась М. Колосова на заметки о Мата-Хари)[4]. Заметим, что в эти годы в советской литературе шпионский сюжет

---

[1] *Иванов Вс.Н.* Об эмигрантской литературе. Указ. изд.

[2] *Аргус.* Роман, написанный жизнью (Книга К. Сабурова «Зеленый фронт», только что вышедшая в Харбине). Указ. изд.

[3] *Шилов Б.* Пестрая сеть шпионажа в Харбине // Заря. 1931. № 92. С. 11; <*Б.п.*> «Основоположником» женского шпионажа был Бисмарк // Заря. 1934. №15. С. 2, 7; <*Б.п.*> Для шпиона война никогда не кончается // Заря. 1934. №213. С. 3, 6; <*Б.п.*> Шпиономания // Заря. 1934. №231. С. 2.

Сатовский-Ржевский Гр. Правда о «шпионах» // Заря. 1935. №80. С. 2; *Трубников П.* Шпионки // Заря. 1938. № 332. С. 4.

[4] *Колосова М.* Мата Хари (поэма) // Рубеж. 1929. № 40.

на два десятилетия с лишним утратит свою актуальность. Харбинцы, напротив, склонны видеть в детективах и шпионских историях источник оживления литературы: «Нет, никогда не взойдет в русской действительности новый великий писатель, пока торжествует, с одной стороны, беспочвенное презрение к детективным романам, и с другой, слепое увлечение фабулярностью как таковой, как целью»[1].

Так, Несмелов создает целую «трилогию»: «Золотой Зуб», «Контрразведчик», «Встреча на мосту», где, травестируя устойчивые сюжетные схемы, наполняет их каждый раз новыми бытийными и литературными смыслами: то вводя в «шпионскую историю» анекдот о женитьбе («Золотой Зуб»), то рокируя сюжет Первой Мировой с купринской историей о штабс-капитане Рыбникове («Контрразведчик»), то скрещивая шпионский сюжет с эмигрантской рефлексией («Встреча на мосту»). «Женщина из контрразведки» Я. Ловича – своеобразная ироническая реплика на шпионско-эротический рассказ Ал. Толстого «Возмездие» (1916 г.). Ну, а «Ошибка Шерлока Холмса» совсем юного Б. Юльского связала воедино шпионскую историю, детектив и фельетон.

Особо следует сказать о том, что корпус беллетристики русского Харбина во многом создавался поэтами. Алексей Ачаир, не претендующий на крупные прозаические формы, тем не менее, пробовал себя и в рассказах, и в «рассказиках» для рубрики «Юный читатель "Рубежа"» и для журнала «Ласточка». Очевидно, вдохновленный мифопоэтической прозой А. Хейдока («Призрак Алексея Бельского»), он пишет рассказ «Тайна северной тайги»·. Сама ситуация сближает двух авторов. И у того, и у другого топосами разворачиваемых событий становятся святилища восточных народов – языческий склеп у Ачаира и буддийская кумирня у Хейдока. В обоих произведениях герои вступают в поединок с тайгой и с иночеловеческими существами – духами «священных мест». Эта схватка становится поворотным моментом в судьбе главных героев. Однако если Хейдок делает акцент на фабульной остроте повествования и интригует читателя загадками мистических откровений, то Ачаир концентрирует наше внимание на субъекте повествования, его внутреннем мире. Конечно, не все рассказы (из четырех имеющихся) Ачаира столь самобытны, остальные, на мой взгляд, в своем художественном наполнении вполне соответствуют критике Вс.Н. Иванова.

Банальные сюжеты «харбинской беллетристики», осмеиваемые Вс.Н. Ивановым, а затем и Н. Щеголевым, Г. Граниным, А. Несмеловым, становятся для последних не только поводом к созданию сложнейших дискурсивных форм повествования, но и интертекстуальных рокировок, и метапоэтических раздумий[2].

---

[1] *Щеголев Н.* О детективных романах // Указ. изд.

[2] Под *метапоэтикой* понимается художественная рефлексия писателем собственного творчества и творческого процесса в целом, воплощенная в тексте через определен-

Проза одного из самых молодых сочинителей Георгия Гранина – проза интеллектуальная, перенасыщенная цитатами и реминисценциями, полнейший антипод «рубежным рассказам»[1]. К примеру, Г. Гранин берет одну из расхожих моделей «рубежной беллетристики»: некая барышня-эмигрантка мечтает о светлой и чистой любви, читает Метерлинка[2]. Она понимает, что все светлое осталось в прошлом: «Все как будто ничего. Все, как пять-семь лет тому назад. Только складки у губ стали чуть тверже, да – чуть глубже едва заметные морщинки у глаз». В настоящем же – престарелый и пренеприятный «Борис Модестович, упорно пожимавший на встрече Нового года вашу руку». В этом рассказе «рубежный» шаблон – лишь повод для раздумий юного Гранина о высокой литературе и путях собственной самореализации, поэтическая уловка противопоставить обыденное и высокое.

Прозаические опыты харбинских лириков обнаруживают сложнейшую систему интертекстуальных пересечений творчества «младших» и «старших» писателей дальневосточного зарубежья (например, их притяжение–отталкивание с Несмеловым), а также уровень их литературоведческих изысканий и схождений с писателями метрополии и европейской эмиграции (с Набоковым, Пастернаком, Цветаевой). Парадоксально, но Набокова (Сирина) харбинцы не просто читали и «почитали», но во многом – и опережали.

Так беллетристика (проза) русского Харбина замыкает в себе разнообразные литературные тенденции первой половины XX столетия и косвенным образом переоценивает ставшие уже общим местом авторитеты.

Если полноценное развитие поэзии русского Харбина насчитывает «четверть века беженской судьбы» (А. Несмелов)[3], то проза интенсивно развивается приблизительно пятнадцать лет. К середине 40-х годов картина литературной жизни русского Харбина, в кратчайшие сроки переживавшего этапы цивилизационного развития, совсем иная по сравнению с 20-ми годами. В это время как в республике Советов на смену литературному многоголосию и творческому поиску уже как десять лет назад прихо-

---

ный набор тем, особую организацию повествования и использование устойчивых индивидуальных образов – метатропов.

[1] Подробно об этом: *Забияко А.А.* Проза харбинского поэта Георгия Гранина // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2007. № 4. С. 164–173; *Забияко А.А.* Стихотворение в прозе «Полдень» как опыт метапоэтической рефлексии Николая Щеголева // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 3. Благовещенск: Амурский гос. университет, 2009. С. 104–113.

[2] *Гранин Г.* Монна Ванна. Из цикла «Неврастения» // «Чураевка». 1933. 7 февраля (№ 48).

[3] См.: *Забияко А.А., Эфендиева Г.В.* «Четверть века беженской судьбы…» (Художественный мир лирики русского Харбина). Благовещенск: Амурский гос. университет, 2008. 465 с.

дит руководство партийным циркуляром, а повсеместные чистки заставляют замолчать даже самых нейтральных писателей. Литературный Харбин, хотя и живущий под властью Маньчжоу-го, развивается все же в относительной свободе творческого поиска.

Показательным примером является история публикации откровенно тенденциозных сборников «Избранные произведения писателей народов Маньчжоу-го», устроенной марионеточной администрацией Маньчжу-ди-Го. В первый, состоящий из 20 участников (японских, маньчжурских и китайских), вошли и два русских рассказа – Бориса Юльского «Обрыв» и Арсения Несмелова «Кровавый след на снегу». Стремление инициаторов сформировать «новое народное сознание», в конечном итоге приводящее к «новой общности» народов Азии, не оказалось поддержанным русскими авторами. Оба рассказа были посвящены русской жизни, события их происходят в России и не имели «никакого отношения к "строительству" нового "царства гармонии"»[1]. Снискав недовольство «соцзаказчика», русские писатели уже во втором сборнике (теперь уже Б. Юльский в рассказе «Конец Мирона Шибанова» и Н. Байков в рассказе «В отрогах Лао-Лина») вновь проявили свои «старые привычки и старое художественное воспитание»[2]. Характерно, что последующая за этим критика в качестве положительного примера «строительной» литературы приводила соцреалистические образцы – «Цемент» Ф. Гладкова, Гидроцентраль» М. Шагинян, «Лесозавод» А. Караваевой[3].

В 1941 году в Харбине выходит «Литературный однодневник реалистов-динамистов». «Искусство поступает, как завоеватель: преодолевает сопротивление и берет в плен. Динамизм – это **сила в действии, сила, не уравновешенная сопротивлением, а преодолевающая его**. …Иногда случается, что знак меняется: то, что сегодня кажется отрицательным, через десятилетия, наконец-то понятое, – уже расценивается как положительное; например, отношение к Лескову четверть века назад и теперь; различное отношение к Пушкину и многое другое» (выд. авт.)[4], – писал один из авторов «Однодневника», Арсений Несмелов. Слова эти перекликаются с более ранними раздумьями Б. Эйхенбаума и К. Мочульского. Течение «динамического реализма» не имело дальнейшего развития, однако собранные воедино метапоэтические декларации харбинских художников слова даже на уровне риторики свидетельствуют о многообразии творческих устремлений и предпочтений.

---

[1] Об этом: *Рехо К.* Байков // Литература русского зарубежья (1917–1940): Материалы и библиографии / Отв. ред. К.Д. Муратова. СПб., 1993. С. 270–297.

[2] Избранные произведения писателей народов Маньчжоу-го. Токио, 1942. Т. 1. С. 10.

[3] *Сосуму У.* О русской белоэмигрантской литературе // Канко Тоа. Токио, 1943. Т. 1. С. 32.

[4] Литературный однодневник харбинской группы писателей – динамических реалистов. Харбин, Маньчжу-Го. 1941. 21 июля.

«Миг сознания»[1], чаемый Эйхенбаумом и его коллегами в далекие 30-е, все же наступил. Время внесло существенные изменения в аксиологию русской литературы первой половины XX столетия, расставило акценты в понимании художественного наследия эмиграции в целом и вслед за этим – литературы дальневосточного зарубежья.

Да, не был богат романами Харбин – теми «реалистическими» романами, на которых воспитано было не одно поколение дореволюционных русских читателей и о котором тщетно мечтал Арсений Несмелов. Но, находясь, в буквальном смысле, на «проселочных дорогах» литературы, харбинские беллетристы все же смогли сказать свое слово в развитии отечественной прозы. Казус «провинциальной» харбинской беллетристики состоял в том, что в лучших и не обязательно лучших своих образцах она в полной мере смогла уловить тенденции к жанровой перестройке литературы, востребовать региональный материал и не только *отразить* дальневосточный эмигрантский быт, но и *выразить* его в особых индивидуальных манерах.

А. Забияко

[1] *Эйхенбаум Б.М.* Миг сознания // Книжный угол. 1921. № 7.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Книга, которую читатель держит в руках, является первой частью задуманного четырехтомного учебного издания (хрестоматии), посвященного истории литературы восточной ветви русского зарубежья (1-й том – «*Проза*», 2-й – «*Поэзия*», 3-й – «*Критика и публицистика*», 4-й – «*Воспоминания. Письма*»).

Первый том состоит из трех частей (*А–К; Л–П; Р–Я*), в каждой из которых художественный материал дан в соответствии с алфавитной очередностью авторских имен. Читателю предоставляется возможность проследить за развитием дальневосточной эмигрантской прозы, начиная с Алексея **Ачаира**, Николая **Байкова** и заканчивая Борисом **Юльским** и Викторией **Янковской**.

В собрание прозы сознательно включены различные как в жанровом (очерки, миниатюры, рассказы, отрывки из повестей и романов), так и хронологическом отношении, тексты. Так, помимо «харбинских» и «шанхайских» текстов, в пособие помещены произведения, созданные дальневосточными авторами еще до эмиграции или уже после их отъезда из Китая (некоторые сочинения Н. Байкова, Б. Беты, В. Марта, О. Скопиченко и др.). Эти произведения помогут проследить основные этапы творческого пути писателей-эмигрантов, понять особенности их художественных миров, провести идейно-содержательные и стилистические наблюдения, осуществить текстологические сопоставления и аналогии.

Многие тексты, включенные в хрестоматию, до сих пор не введены в научный оборот и не известны современному читателю: произведения разбросаны по эмигрантским журналам и газетам, не перепечатывались в России или были опубликованы в труднодоступных изданиях. При подготовке к печати явные опечатки в текстах исправлялись без оговорок. Все произведения печатаются в соответствии с правилами современной орфографии, но с сохранением специфики авторского написания отдельных слов и выражений.

Произведения сопровождаются фотографиями и небольшими комментариями о каждом авторе. В конце биографической справки помещены ссылки на цитируемые источники и дополнительные литературоведческие исследования и материалы (юбилейные заметки, некрологи, мемуарные очерки).

Надеемся, что данное учебное пособие станет прекрасным путеводителем по вузовскому курсу литературы русского зарубежья и спецкурсам, посвященным истории культуры и литературы русского Китая. Материалы хрестоматии – незаменимое подспорье в организации учебной и научной работы студентов (в подготовке курсовых, бакалаврских и магистер-

ских проектов). Уверены, что и маститые исследователи (аспиранты, докторанты и т.д.) найдут много нового и полезного материала для исследования не только истории литературы русской дальневосточной эмиграции, но и истории русской литературы и культуры в целом.

***

Осуществление данного издания было бы невозможно без помощи многих организаций и учреждений. Выражаем особую благодарность Государственному архиву РФ (и лично сотруднику научной библиотеки ГАРФ Алексею Анатольевичу Федюхину), Российской государственной библиотеке (и лично заведующей отделом литературы Русского зарубежья Наталье Васильевне Рыжак), Дому русского зарубежья им. А.И. Солженицына (и лично заместителю директора по библиотечной работе Татьяне Александровне Корольковой), Институту мировой литературы им. А.М. Горького (и лично старшему научному сотруднику отдела рукописей Ольге Феликсовне Кузнецовой), Российскому государственному историческому архиву Дальнего Востока (и лично главному специалисту читального зала Елене Михайловне Гончаровой), Хабаровскому краевому краеведческому музею им. Н.И. Гродекова (и лично старшему научному сотруднику сектора истории культуры и искусства Наталье Петровне Гребенюковой), Государственному архиву Хабаровского края и его сотрудникам, а также всем, кто в той или иной мере помогал нам.

Наша сердечная признательность участникам харбинской литературной жизни – «чураевцам» Владимиру Александровичу Слободчикову (1913–2007) и Лариссе Николаевне Андерсен (1911-2012).

Составители выражают глубокую благодарность уважаемым рецензентам: Владимиру Вениаминовичу Агеносову, заслуженному деятелю науки РФ, академику РАЕН, доктору филол. наук, профессору кафедры журналистики и литературы ИМПЭ (г. Москва) и Андрею Леонидовичу Ястребову, заслуженному работнику высшей школы РФ, доктору филол. наук, профессору кафедры истории, философии, литературы ГИТИС (г. Москва).



Алексей Алексеевич АЧАИР
(1896-1960)

Поэт, писатель, педагог Алексей Ачаир (настоящая фамилия Грызов) родился 23 августа (ст. ст.) 1896 г. в станице Ачаирской близ Омска в семье офицера Сибирского казачьего войска. В 1914 г. окончил Омский кадетский корпус. Отказавшись от военной карьеры, поступил на инженерное отделение Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии в Москве, где проучился 3 года. Участник Белого движения. С отступающими войсками А.В. Колчака совершил Сибирский Ледяной поход по тайге. В 1922 г. оказался во Владивостоке, редактировал дальневосточную газету «Последние новости». В 1922 г. вместе с отцом эмигрировал в Харбин, где постоянно жил до сентября 1945 г. Служил секретарем образовательного отдела харбинского Христианского союза молодых людей, занимался литературной и педагогической деятельностью. В 1926 г. Ачаир организовал и возглавил литературное объединение «Чураевка» (первоначально – «Молодая Чураевка»). Оно было названо в честь русского поселения Чураевка в Америке (штат Коннектикут), основанного писателем Г.Д. Гребенщиковым, автором романа-эпопеи «Чураевы» о сибирских старообрядцах. «Чураевка» оказала большое влияние на молодежь русского Харбина.
Редактор одноименной газеты. Публиковался в альманахах и сборниках «Вольная Сибирь» (Прага), «Якорь» (Берлин), «Казачий альманах» (Париж), «Ковчег» (Нью-Йорк), «Прибой» (Харбин), «Семеро» (Харбин); журналах«Рубеж» (Харбин), «Луч Азии» (Харбин), «Парус» (Шанхай), «Москва» (Чикаго) и др. В Харбине выпустил книги стихов: «Первая» (1925), «Лаконизмы» (1937), «Полынь и солнце» (1938), «Тропы» (1939), «Под золотым небом» (1943). В августе 1945 г., после входа советских войск в Харбин, был арестован и принудительно депортирован в СССР. 10 лет провел в воркутинских лагерях. После освобождения в 1955 г. жил в г. Байкит Красноярского края, позднее – в Новосибирске, преподавал пение, вел кружки эстетического творчества в средней школе. Умер 16 декабря 1960 г. от сердечного приступа.

Ист. и лит.:
Забияко А.А. Тропа судьбы Алексея Ачаира. Благовещенск, 2005. 286 с.
Забияко А.А. «Лирическая романтика, к сожалению…»: Алексей Ачаир // Забияко А.А., Эфендиева Г.В. «Четверть века беженской судьбы…» Художественный мир лирики русского Харбина. Благовещенск, 2008. С. 174-216.
Забияко А.А., Забияко А.П., Левошко С.С., Хисамутдинов А.А. Русский Харбин: опыт жизнестроительства в условиях дальневосточного фронтира. Благовещенск, 2015. 465 с.
Забияко А.А. Ментальность дальневосточного фронтира: культура и литература русского Харбина. Новосибирск, 2016. 447 с.
Мелихов Г.В. Белый Харбин: Середина 20-х. М., 2003. С. 160-166.
Муранов Д., Звягинцев В. За плотно закрытой дверью: Дело Алексея Грызова // Человек и закон. 1992. № 6-7.
Резникова Н. В русском Харбине // Новый журнал. 1988. № 172-173. С. 385-393.
Слободчиков В.А. «Чураевка» // Русский Харбин / сост., предисл. и коммент. Е.П.Таскиной. М., 1998.
Таскина Е. Поэтическая волна «русского Харбина»: 1920-1940 гг. // Записки русской Академической группы в США. Нью-Йорк, 1994. Т.26.
Таскина Е. Неизвестный Харбин. М., 1994.
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 39-40.

ТАЙНА СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ

Когда земля поворачивалась к солнцу долготой Байкала и черной реки Амалат, когда в голубовато-сиреневой дымке закатных туч вставали картины далекого прошлого царственно-таинственного якутского народа,

будто бы отраженные в небесном Байкале, запечатлевшем столетие, я с окровавленными ногами, в оленьей шкуре, усталый, худой, как обожженная пожаром лиственница, сотрясался от боли: наступил ногой на острый камень. А на ноге, вместо подошвы бродня, был привязан прорванный теперь кусок бересты. Нога кровоточила, береста была окрашена кровью, которая когда-то бывала в моем сердце, которая румянцем горела на щеках и окрашивала когда-то детские губы меня-ребенка.

Сейчас желтое испитое лицо бледно-синими губами было обращено к полю мертвых камней, разбросанных по площади в несколько квадратных верст. «Моря скал»... – вы помните университетские лекции по геологии?..

«Как мне идти дальше? – думал я с болью; именно с болью пронизала меня острая мысль. – Как дальше?..».

И я принялся мостить себе дорожку по направлению к видневшимся вдали лиственницам у группы высящихся скал, похожих на полуразрушенный замок невиданных в этих местах рыцарей.

Я мостил дорожку с упорствоми такой выдержкой, что казалось, – мое сердце окаменело, иначе оно разбилось бы в куски, и его расхватали бы таежные птицы.

Впрочем, здесь никаких и птиц не было. Ни птиц и ни зверя, ни человека, кроме одного меня, которого за человека было признать очень трудно.

Я – полузверь, полудикарь, затравленный и ободранный, изнемогающий от голода, пробирался на Камчатку с моим другом, уссурийским казаком. Приятель мой отстал от меня на несколько часов пути, чтобы поохотиться на какого-нибудь зверя или птицу. Мы не ели уже три недели, питаясь сырыми грибами и голубицей. Винтовки у нас были две, но патронов – только одна обойма, не расстрелянная еще Виктором, который берег ее пуще золота.

Вымостив несколько сажен каменного тротуара, я оглянулся на юго-запад. Дорожка моя среди глыб разбросанных камней отливала на солнце блестящим черным графитом или цветом воронова крыла. И мне показалось, что по ней едет всадник в палево-красном дымчатом плаще...

Уж не Виктор ли на своей Бургунке? Но откуда эта театральная накидка?.. Должно быть, мне показалось. Это туман ползет с пройденного мной таежного болота, и серо-красные закатные тучи горят в этот час всеми цветами покидаемого землей солнца...

Я один на целой земле.

Один и одинок...

А когда-то...

Да что когда-то! Мости, Валерий, мости, свою каменную дорогу к таинственным замкам таежных рыцарей, к оленьим оазисам, к купам широ-

кокрылых лиственниц!..

Только в глубокие сумерки я добрел до видневшихся три-четыре часа тому назад серых скал и остановился в недоумении... На широком камне была высечена какая-то фигура полузверя, получеловека и неведомые мне надписи. Шумящая лиственница наклонилась над громадным камнем, а в синем небе зажигались, как фонари далекого города, к которому подъезжаешь ночью, золотые и красные огни редких звезд...

Подъехал Виктор – проехал по моей дороге, от которой у меня руки были в ссадинах и ранах.

– Смотри, Виктор, что это такое?..

– Где – что такое?.. Брось, давай шалаш строить!.. Опять не убил ничего... Проклятое место – никто не живет... Тишина – как в склепе...

– Это, может быть, склеп и есть.

– Иди-ка, сруби несколько ветвей, спать надо ложиться...

Шалаш был построен, разожжен костер, и Виктор вскоре захрапел.

Шумели вверху под кубовым небом лохматые руки лиственниц, блестели начищенные, как на парад, пуговицы синего небесного мундира, отливающие то сизым серебром, то красной медью, то желтизной латуни, то драгоценными камнями слезящихся, дрожащих звезд...

Меня снова потянуло к большому камню... Я побрел к нему, почти наощупь узнал изображенье и вдруг заметил, что влево зияет пустота, как пасть, чернеющая под щекочущими мое лицо сухими травинками выползших из-за камня растений. Я просунул руку, и оказалось, что совершенно свободно я могу весь протиснуться в отверстие между камней.

«Зачем я это, делаю? Там могут быть змеи или зверь...».

Но неодолимо было желание; как бы подчинился я чужой воле…

Позади меня что-то зашипело, и, обернувшись, я увидел на западе черно-красные крылья приблизившегося вплотную всадника. Его глаза, как светящиеся в темноте гнилушки, были устремлены на меня, и лапа (да, иначе я не мог бы назвать его руку) протянулась ко мне, оцарапала мою шею и за плечо, с резкой и грубой силой, рванула меня назад.

– Назад! – прошипел разъяренно хриплый голос…

О, нет, когда мне говорят: «Назад», – меня назад идти не заставишь. Я могу идти назад только по доброй воле или для того, чтобы обойдя противника, вскочить ему на хребет... Черта с два назад! Я должен теперь узнать, что за тем камнем, – теперь уже очевидно для меня стало, – надгробным камнем, закрывающим вход в склеп, а быть может, в сокровенную пещеру таежного духа...

И, изловчившись, я прорвался в пустоту черного каменного гроба.

Это был, действительно, гроб. Так темнела глыба камней, набросанных небольшим курганчиком на каменную плиту пещеры.

Взошедшая к тому времени луна осветила прорез между камней, и в

полосе ее света я отчетливо увидел, что под курганчиком лежит тонкий камень – действительно, как надгробная плита.

Я нагнулся, чтобы приподнять ее (действовал я, как загипнотизированный, совсем непо своему желанию)... И вдруг раскат грома и молния заставили меня обернуться, и снова я увидел устремленные на меня горящие зеленым глаза, и мохнатая рука тянулась, чтобы схватить за горло...

«Там, под плитой, золото», – молниеносно осенило меня подозрение, и, несмотря на дикое оцепенение, испытываемое мною, я вцепился обеими руками в край каменной плиты и с силой приподнял ее…

Скелет с оскаленными зубами и узловатыми костями рук и ног приподнялся и рухнул снова на свое ложе.

Стон и огонь, и вихрь, и гром оглушили, ослепили, ударили меня, и, обезумев от пережитого, я, не помню как, выбрался из этой пещеры и подбежал к темневшему у ствола лиственницы шалашу, где мирно похрапывал Виктор.

У входа тлел огонек костра, подернутый пеплом... А со всех концов надвигались на меня холодные ночные туманы, как тайны северной великой тайги...

Я не вполз в шалаш, а, остановившись у костра, стал присматриваться к фигуре, которая уверенно приближалась ко мне...

Призрак?.. Это не было призраком... Это был мой старый друг Михаил, коллега по институтув Москве, с которым к этому времени мы не виделись уже три года. Гражданская война разлучила нас. Мы были очень дружны в стенах своей alma mater и поверяли друг другу свои студенческие тайны. Он тоже хорошо знал мою жизнь, как я – его... Поэтому нисколько не было удивительным, что подойдя ко мне или подплыв ко мне по воздуху, он произнес вполне естественным голосом:

– Малыш, здравствуй! – так звал он меня по старой дружбе.

– Здравствуй, Мымыш! Как рад я, что мы встретились… За это время я так скучал по всем вам.

– Я не один – со мной Ксения... Ты, вероятно, рад будешь ее увидеть.

Ксения!.. Рад ли буду я встрече с ней? О, дорогая моя детская мечта!

Когда я увидел Ксению, сердце мое сжалось от жалости к самому себе: как мог я жить так долго без нее!

Ксения протянула ко мне свои гибкие руки, похожие на стебли лианы, и заплела меня в своем плачущем поцелуе…

– Я, прости меня, оставил вас, – извинился Михаил, и я не заметил, как он исчез… Видел я, чувствовал, жил только Ксенией, снова, как прежде, целовавшей меня и прижимавшей своей нежной щекой к моей ободранной и грязной оленьей шкуре, в которую я был одет.

- Мой бедный, мой бедный, мой родной!..

Шепот Ксении и ласка ее рук, и теплота ее прижавшегося тела кру-

жили мне голову… Что за лунная ночь, что за дикая ночь – боли и страданья, и прорвавшегося, вспыхнувшего счастья – длилась до рассвета…

- Ксения!..

- Ты что там бормочешь, Валерий, спать не даешь! – донесся до меня недовольный голос Виктора из шалаша.

- Ксения! Я приду к тебе… Где ты живешь сейчас?

- Разве ты у меня не был? Да, верно, – мы переехали с Петровки… Послушай, запомни: Конюшенный, 41. Запомнишь?

- Это, наконец, невозможно. Ты с ума сошел!.. С кем ты разговариваешь? – заспанная, бородатая, волосатая, смешная фигура Виктора выползла из шалаша.

Я не мог ничего ответить.

На следующее утро Виктор рассказал мне, что силой втащил меня в шалаш, что я сопротивлялся и звал какую-то Ксению и Мишу. Однако Виктор загородил мне выход из шалаша своей собственной персоной и лег около совсем уже потухшего костра. Со всех сторон ползли утренние таежные туманы. Светало… Темные лиственницы чернели силуэтами на молочном фоне туманного таежного рассвета. Знобило...

С восходом солнца мы поднялись и тронулись в путь, а на следующий день были на стоянке якутов, угощавших нас сушеным творогом и пахнущей дымом молочной водкой.

За беседой у закоптелого чайника, где вместо обыкновенного чая кипятился молочно-сальный соленый сливан, я спросил у якута Никанора Никаноровича Никанорова, – не знает ли он, что за таинственное место пришлось пройти нам, что за странные камни с надписями нам попались по дороге.

Якут оживился...

- Знаю, однако, знаю. Кто не знает! Это старая история.

Было такое дело... Якуты двигались тогда с войной на северо-восток со среднеазиатских плоскогорий и степей, из-за великого южного моря... Это был героически поход воинственного племени, искавшего себе приют на земле...

Жил в те поры на склонах южных гор знатный какой-то тюркский хан или князь, – молодой, красивый, храбрый, – и была у него невеста... Забыл, как ее звали... Каждый по разному зовет ее в сказке...

Но знатнее тюркского молодого хана был старик-якут, собравшийся вести свой род на далекий север. Захватил он красавицу, обмотал арканами поперек седла, и, как ни билась она, как ни молила, а не могла разорвать верблюжьих пут, которыми была к седлу приторочена…

Сколько дней, сколько месяцев, сколько лет прошло до той поры, пока якуты подошли к тем местам, на которых мы сейчас живем, – кто знает? Только все не покорилась непокорная... ну, назовем ее Хабар, – своему

насильнику и властелину…

– Умру лучше! – кричала она. – Умру, чтобы встретиться с милым моим и дорогим Натхурамом...

Что поделаешь? Девки и тогда были такие же своенравные, как и теперь...

Пришло время, однако, состарилась Хабар... Какая уж там весна, – так значило ее имя, – наступила бурая, дождливая, холодная осень. И стала умирать Хабар-красавица.

Склонился над ней старый муж и спрашивает:

– Ну, перед смертью скажи, моя ты жена или нет?

– Не была и никогда не буду! – глаза турчанки заблестели ненавистью. – После смерти освобожусь и полечу к Натхураму...

– Не дури, злая башка! Я тебя после смерти так засыплю камнями, что никуда, не сунешься! – разозлился якут.

– Все равно, придет кто-нибудь и разроет мою могилу: человек ли, зверь ли… Ему подарю любовь, ему помогу встретиться с милой, – хоть три тысячи дней пути от этого проклятого места, где завоевал ты мою жизнь, она будет.

И скончалась Хабар-весна.

Улетели птицы, убежали звери, стало глухим место, только свистал и выл ветер над могилой жены якута. А якут-старый рыскал, сторожил вокруг, не идет ли кто разрывать там, где после смерти томились кости в плену, где изнывал дух его красавицы жены…

Сотни лет видят люди, как подымается с запада рыжий всадник. И все бегут в степь прочь…

– А что же, – спросил я рассказчика, – до сих пор не нашлось ни одного человека, кто освободил бы пленную душу?

– Кто знает? Говорят, нет...

Я готов был закричать в смятении, готов был кататься по земле от тоски и счастья…

Счастья?..

Откуда оно приходит, да и счастье ли оно?..

Через неделю мы расстались с Виктором. Нас разлучила красная горная стража, и я решил бросить мечты о Камчатке и двигаться на юг по старому пути сначала, а затем повернуть на юго-восток, к Маньчжурии. Так я и сделал...

Но захотелось мне перед началом пути в неизвестность уйти в полное одиночество, побывать на месте, где была, как я теперь знал, могила красавицы Хабар-весны...

С полмесяца я проблуждал в поисках виденного однажды места и, наконец, подошел, как мне показалось, к группе знакомых лиственниц, склоненных над камнем с фигурами и надписями.

Но не было ни фигур, ни надписей, ни самого камня. Все было разрушено, разбито, как будто пронесся здесь ураган. Осколки черных камней, как каменноугольные россыпи, покрывали площадь, черную, сырую, до далекого горизонта…

«Это ли место? – подумал я. – Как будто это… Сохранилась ли дорожка, которую я мостил? Да, вон она отливает голубоватым светом ясного и северного дневного неба».

Пусто вокруг...

Ау!..

Ни звука, ни эха. Никто не отвечает... Мертво и одиноко, как на кладбище. Ни птицы, ни зверя, ни человека, если не считать меня, погибающего на своей жизненной, таежной тропе…

* * *

Через два-три года после моих таежных скитаний я вспомнил однажды (когда уже был в Харбине) мою ночь встречи с Ксенией в тайге – это было как раз в день ее ангела – и захотелось мне наудачу отправить письмо в Москву по так странно полученному адресу. Ради шутки хотя бы.

Почему бы не испытать судьбу?.. Все равно не дойдет... В тайге еще естественно быть мистиком, а в городе, где на площадях продаются эмблемы человеческого счастья, – сигареты, орехи и сладости, – здесь, в этом мусоре не найти ничего похожего на девственность таежных переживаний.

Письмо было послано...

Прошло месяца полтора, и однажды утром я получил телеграмму:

«Спасибо за письмо. Помню, но не свободна. Всегда твоя и в жизни, и после. Ксения».

На этом мой рассказ придется закончить.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1937. № 23. С. 1-6.

Проза



Николай Аполлонович БАЙКОВ
(1972-1956)

Писатель-натуралист Николай Байков родился 29 октября (ст. ст.) 1872 г. в городе Киеве в семье военного юриста. Окончил Киевский кадетский корпус. Получив аттестат зрелости при 1-й петербургской классической гимназии, поступил на естественный факультет Петербургского университета, но через два года оставил университет. Окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище. Военную службу начал подпоручиком в 1892 г. в 16-м гренадерском Мингрельском пехотном полку в Тифлисе. В 1901 г. перевелся в Маньчжурию, в Заамурский округ пограничной стражи КВЖД. Много путешествовал по краю, производил топографические съемки, делал зоологические сборы, охотился. В годы Гражданской войны воевал в рядах Добровольческой армии. В Новороссийске заболел тифом; по выходе из госпиталя в 1920 г. вместе с семьей покинул Россию. Из Константинополя направился в Египет. Два года провел в Африке, Индии, Индокитае. В 1922 г. возвратился в Маньчжурию, посвятив себя литературной работе. Участвовал в создании Общества изучения Маньчжурии. Его очерки публиковались в журналах «Охотник» (Москва), «Вестник Маньчжурии» (Харбин) и других. В дальнейшем продолжал выступать с научными статьями и заметками натуралиста, но главным его делом стала литература, а основной темой – жизнь маньчжурской тайги и ее обитателей. Автор книг «В горах и лесах Маньчжурии» (Пг., 1915), «В дебрях Маньчжурии» (Харбин, 1934), «Великий Ван: Жизнеописание тигра, быт тайги, легенды и сказания таежников» (Харбин, 1936), «По белу свету: Военные и эмигрантские рассказы» (Харбин, 1937), «Тайга шумит» (Харбин, 1938), «У костра: Воспоминания и беседы» (Таньцзинь, 1939), «Сказочная быль» (Таньцзинь, 1940), «Тигрица: Таежная быль» (Харбин, 1940), «Наши друзья» (Харбин, 1941), «Записки маньчжурского охотника» (1941), «Шу-Хай» (Харбин, 1942), «Таежные пути» (Харбин, 1943), «Черный капитан: Роман-быль из жизни заамурцев по охране КВЖД» (Харбин, 1943; Брисбен, 1959) и др. В 1956 г. переселился в Австралию, в Брисбен, где и скончался от атеросклероза.

Ист. и лит.:
Забияко А.А. Текстологические тропы дальневосточной этнографии (проблема аутентичности текстов писателей 1920–1940 гг.) // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 5. Благовещенск, 2012. С. 181–202.
Забияко А.А. «Фронтирная мифология» в художественной рефлексии дальневосточных писателей (20-30 гг. XX в.) // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Вып. 9. Благовещенск, 2010. С. 119–140.
Забияко А.А. Религиозные традиции дальневосточного фронтира в публикациях Н.А. Байкова 1901–1914 гг.// Религиоведение. 2015. № 1. С. 260–274.
Забияко А.А., Забияко А.П., Левошко С.С., Хисамутдинов А.А. Русский Харбин: опыт жизнестроительства в условиях дальневосточного фронтира. Благовещенск, 2015. 465 с.
Забияко А.А. Ментальность дальневосточного фронтира: культура и литература русского Харбина. Новосибирск, 2016. 447 с.
Ким Р. Байков // Литература русского зарубежья. 1920-1940. Вып. 2. М., 1999. С. 270–297.
Ким Е. По белу свету (Николай Байков. Судьба и творчество) // Байков Н.А. Великий Ван: повесть; Черный капитан: роман. Владивосток, 2009. С. 5–52.
Хисамутдинов А.А. В лесах Маньчжурии (К 125-летию Н.А. Байкова) // Проблемы Дальнего Востока. 1997. № 5. С. 120–125.

КОРЕНЬ ЖИЗНИ

Тихо в лесу. Не шелохнет ветерок в ветвях могучих кедров и лиственниц, не прокричит зверь, не пролетит птица.

Полуденное горячее солнце, накаляя неподвижный воздух, обливало

потоками ослепительно яркого света зеленые пущи лесов и величавые горы, уходящие бесконечными зубчатыми грядами в туманную даль горизонта.

Под сводами дремучего леса вечно царит полумрак, даже летом, в яркий полдень здесь темно и сыро, как в погребе. Гигантские папоротники горделиво подымают свои перистые пальмовидные листья над гниющими трупами великанов растительного царства, над подземною зарослью и гранитными обломками скал, покрытых толстым слоем мха и седых лишаев.

С сухих заглохших ветвей дерев и толстых стволов старых елей свешиваются седые бороды нитевидных мхов, напоминая видом своим отжившие волосы павших здесь богатырей.

Пахло землей и грибами. Где-то среди зарослей дикого винограда, под зеленым покровом больших лапчатых листьев, пробивался ручеек. Холодная, чистая, как горный хрусталь, вода, журча и пенясь, сбегала с камня на камень, пряталась в недрах земли и снова бурлила под стволом поваленного бурей кедра, низвергаясь с высокой скалы каскадом на каменистую россыпь.

Влажные от брызг листья темно-зеленого плюща и маньчжурской лианы шевелились, обдуваемые легким ветерком, струящимся от быстрых волн ручья.

Под нависшими ветвями старой ели виднелся убогий шалаш из кедровой коры. Перед ним на воткнутых в землю шестах висел черный, закопченный котелок; угли в очаге давно погасли и зола успела уже пожелтеть от времени. Внутри шалаша на сухой траве по обеим сторонам лежали две козьи шкурки, какие обыкновенно носят с собой китайцы в путешествии. Посредине, на плоском большом камне виднелись остатки пепла, выколоченного из трубок и темнела кучка остывших угольков.

Пустая коробка от японских спичек, стружки, куски бумаги и лоскут синей китайской дрели, валявшейся на земле возле шалаша, свидетельствовали о недавнем присутствии людей.

Под вечер, когда в лесу стало еще темнее и черные ночные тени залегли в глубоких падях и ущельях гор, у шалаша появились люди. Это были два китайца: высокий, худой старик и молодой, имевший вид юноши.

Оба они одеты были в синие бумажные костюмы, изношенные и изорванные от долгого скитания по дремучим лесам и скалистым горам; легкие башмаки из невыделанной кожи дикого кабана и остроконечные шапки из камыша дополняли незатейливую их одежду.

Войдя в шалаш и сбросив с плеча кожаную сумку на землю, старик проговорил, обращаясь к молодому своему товарищу, разжигавшему огонь в очаге:

– Сегодня нам с тобой повезло! Хороший корешок нашли! Вот уже

три года, как я не находил такого! Тяжелый! И видом совсем человек! За него мы выручим большие деньги! Надо только его поскорее спрятать, а то как раз нащупают хунхузы и отнимут! – с этими словами он вынул из сумки небольшой корешок растения, величиной около четверти.

Часть зеленого стебля оставалась еще не срезанной. Погладив его своею жилистой рукой с крючковатыми длинными пальцами, старик положил к себе за пазуху и вышел из шалаша.

Отойдя шагов пятьдесят, он сделал вправо несколько прыжков по камням и по дну ручья; затем, выйдя на противоположный берег, подошел к груде больших камней, заросших сплошною сетью винограда и лиан. Здесь он остановился и стал прислушиваться, всматриваясь зорким оком в лесную темную чащу. Тишина была полная, слышен был только треск костра и журчанье ручья.

Присев на корточки, старик исчез под навесом зарослей. Отвалив один из камней, он положил под него драгоценный корешок; там лежал такой же, выкопанный ранее, но гораздо ниже по достоинству. Навалив камень на прежнее место, осторожный китаец выполз из потайного хранилища и направился к шалашу, где хозяйничал другой, приготавливая незатейливый ужин из чумизы и пшеничной муки.

Пока оба китайца будут заняты хозяйственными делами, мне может быть удастся вкратце изложить все то, что известно нам европейцам о драгоценном «корне жизни» и его добывании в девственных диких лесах Маньчжурии.

Женьшень – растение, принадлежащее к семейству Aralia, научное название его Panax ginseng.

Кроме названия «женьшень», китайцы дают ему другие, напр.: инсын, бонг-цуе.

Маньчжуры называют это растение орхой-да, японцы – нин-си.

Это редкое растеньице – многолетнее; стебель его в палец толщиною, не превышает 2-х футов. При основании стебля находится характерная мясистая чешуйка; в середине стебля образовано кольцо из 4, крестообразно расположенных симметрических листьев; последние сложные, каждый состоит из пяти длинных эллиптических лепестков, наибольший из них средний. Корень редко достигает длины одной четверти; форма его веретенообразная, он жесток и шероховат, хотя мясист. Иногда он бывает причудливой формы и имеет отдаленное сходство с фигурой человека (мужчины). Толщина в палец. Позднею весной, в апреле и мае, растение это цветет ярко-пурпуровыми цветами, расположенными в виде зонтика. В июне цветы вянут, лепестки осыпаются, и из чашечек образуются красно-малиновые сочные ягоды, имеющие форму сплюснутых сверху шариков. Растение это любит жирную черноземную почву, не переносит солнечных лучей и растет исключительно в глубоких, сырых и темных падях. Распро-

странение его в Маньчжурии не велико: 46° сев. широты можно считать северной границей произрастания этого редкого вида аралий.

Чем южнее, тем чаще встречается женьшень, и, кроме того, на юге Гиринской провинции он достигает своего наибольшего развития и качества. Горы Кентей-Алин, а в особенности южная их часть, так называемая Чан-Линза, славятся этим растением. Южная часть хребта Чжан-Гуан-Цайлин также богата этим растением.

Добывание женьшеня составляет монополию китайского правительства. Занимающимся этим промыслом, подлежащие учреждения выдают свидетельства, оплачиваемые довольно дорого, от 50 до 100 рублей, в зависимости от местности, где промысел будет производиться. Самовольный сбор растения, без установленного разрешения, влечет за собой суровую кару, а именно: отсечение головы.

Промысел этот очень труден, благодаря дикости и малодоступности тех дремучих лесов, в каких попадается женьшень. Кроме того, искатели подвергаются опасности от нападения диких зверей, встречающихся в большом количестве в тех местах. Очень многие гибнут в когтях тигров, пантер и медведей, не меньшее число их погибает от рук двуногих хищников, выслеживающих искателей и охотящихся на них, как на дичь. Дорогое растение это так редко встречается, что сплошь да рядом искатели в течение лета не находят ни одного корешка, между тем, как другие более опытные и знающие могут рассчитывать взять один и самое большее два. Кроме опасностей со стороны зверей и грабителей, искатели много терпят от сырого климата тех мест, где растет женьшень. Лучшим временем сбора считается период цветения, т. е. начало мая, когда самый корень не отдал еще своих соков, для образования плодов, т. е. ягод. Впрочем, собирают его и в другое время, а именно: с конца апреля до сентября. Осенью растение высыхает, теряет листья, и найти его тогда среди массы других высыхающих растений невозможно.

Среди китайцев живет поверье, что раннею весной, когда наливаются бутоны его цветов, оно издает особый белый свет; бывает это только в одну ночь, в начале мая и тогда-то именно выкопанный корень имеет чудесную силу не только врачевать болезни, но и воскрешать мертвых. Добыть корень в эту ночь очень трудно, так как его стерегут дракон и тигр, и всякого осмелившегося приблизиться к цветку, они разрывают. Вообще, с именем этого растения у китайцев связано множество легенд и сказаний, основанных, конечно, на грубом суеверии.

С незапамятных времен китайская медицина приписывает этому корню целебные свойства, даже в таких, на наш взгляд, неизлечимых болезнях как чахотка, старческий упадок сил, параличи нервных центров, острое малокровие и др.; поэтому цена женьшеня в связи с чрезвычайной трудностью его добывания очень высока; в среднем один фунт дикого рас-

тения стоит около трех тысяч рублей, но корешок, особенно похожий на фигуру человека, твердый, прозрачный, янтарного цвета, сорванный в период цветения, оценивается гораздо выше.

Бывали примеры, что за один корешок платили баснословные деньги: до десяти тысяч рублей.

Почти весь сбор дико растущего женьшеня идет на рынки внутреннего Китая и в порты: Шанхай, Кантон и Гонгконг. Особенно ценные экземпляры вывозятся в Пекин, где за них богатые китайцы и принцы крови платят крупные суммы.

Прежде чем поступить на рынок, корень подвергается особой выработке и очистке специалистами.

Кроме дикого корня на рынки Маньчжурии и всего Китая поступает корень женьшеня, искусственно выращенного.

Разведение и культура этого растения требуют особенно тщательного ухода.

Для посадки его выбирают южные склоны гор, среди зарослей и болот; вырубают лес; делают гряды, и землю на них не только вскапывают и разрыхляют, но и просеивают через мелкое сито. Для защиты от солнечных лучей, от которых растение погибает немедленно, над грядами устраивают навесы из плотной материи или досок; с северной стороны закрывают щитами от холодных ветров, к которым растение это чувствительно.

Лучшими корнями считаются выращенные из саженцев, худшими – из семян.

Первый сбор производится только через пять лет, только тогда корень может достигнуть своей нормальной величины.

На зиму гряды с корнями закрываются соломенными циновками и их заносит снегом.

Искусственно выращенный корень отличается от дикого своим цветом, он светлее, менее плотен, непрозрачен, поверхность его более гладкая. Не признавая за ним таких свойств, как за дикорастущим, китайцы все же ценят его довольно высоко, так: фунт культивированного женьшеня стоит от 50 до 80 рублей.

На право разведения этого растения также необходимо взять патент.

Высушенный корень и препарированный по особому способу употребляется в виде порошков, настойки и вытяжек. Европейская медицина, пренебрегающая без всякого основания многими общепризнанными народными средствами, до сих пор еще не обратила должного внимания на этот продукт, пользующийся в Китае, Тибете, Монголии, Японии и части Индии широкой известностью и популярностью. Уж один тот факт, что за маленький корешок в этих странах платят большие деньги, служит несомненным показателем значительных лечебных свойств этого растения. Кто знает китайца, тот может подтвердить, что этот экономный и прак-

тичный сын народа-старца не способен на большие затраты денег без основательных к тому причин.

Без сомнения, корень женьшеня имеет какие-то свойства, сильно действующие на организм человека; исследование этих свойств и строго научные опыты могут дать современной медицине еще одно новое средство, врачующее многочисленные недуги человечества.

Люди, жившие продолжительное время на Дальнем Востоке, знакомые с бытом и жизнью народов, населяющих юго-восточную Азию, знают поразительные примеры лечения этим корнем и терапевтические его свойства.

Большая часть продукта, поступающего на рынки Восточной Азии, приготовляется из культивированных корней, и, кроме того, встречается еще больше грубого обмана и подделки. Настоящий дикий корень женьшеня трудно даже найти в продаже, разве случайно; каждый экземпляр такого обязательно снабжается удостоверением и печатью особой палаты, или правительственного учреждения. В удостоверении приведены точные приметы и размер корня, вес, где найден, время года, фамилия и местожительство нашедшего, словом, полная родословная, без которой корень считается или не настоящим, или контрабандным.

Такова история маленького таинственного корешка, растущего в дебрях лесов дикой Маньчжурии, ради которого люди, отрекаясь почти на полгода от мира сего, подвергаясь лишениям и трудам чрезвычайным, рискуют до безумия, ставя самую жизнь свою на карту.

Промысел этот обыкновенно передается по наследству от отца к сыну; занимаются им преимущественно маньчжуры-звероловы, свободные в летнее время от своего коренного промысла. Корейцы также охотно разыскивают драгоценный корешок, но им приходится заниматься этим делом тайком, контрабандой, так как патенты выдаются только подданным Китая. Скупщики женьшеня обыкновенно сами выправляют патенты для своих клиентов, выдают им вперед все самое необходимое; как то: одежду, обувь, продукты, и, конечно, эксплуатируют простодушных маньчжуров, забирая их всецело в свои крепкие руки. Корейцы обыкновенно уносят корни к себе на родину, где продают скупщикам-японцам. Кроме перечисленных типов искателей корня, есть еще один, это большею частью природные китайцы, выходцы из Чифу или Шанхая. Обыкновенно, они браконьеры, не имевшие свидетельств и занимающиеся этим опасным ремеслом на свой риск и страх.

Постоянное пребывание в темных дремучих лесах, жизнь, сопряженная с лишениями и опасностями, и непрестанная борьба с суровой природой наложили особый отпечаток на этих таежных бродяг. Опытный глаз по внешности сразу отличит искателя женьшеня в пестрой разнохарактерной толпе маньчжуров и китайцев. Сухой, тренированный в ходьбе по го-

рам, крепкий и жилистый, с суровым обветренным лицом, сутулый, одетый в синий оборванный костюм, кожаные туфли (бродни – улы) и остроконечную соломенную шапку, с берестяной котомкой за плечами и железной лопаточкой за широким поясом, – он заметно выделяется среди пестрой восточной толпы.

Поев лапшу тонкими палочками из глиняных чашек, китайцы принялись за вареную чумизу, сдобренную черной едкой соей. Во время еды оба молчали, только слышно было чавканье и причмокиванье ртов да стук палочек одна о другую.

Темная таежная ночь между тем окутала все своим саваном. Кое-где сквозь густой покров леса блестели звезды на темном небе.

– Сегодня в полночь пойдем искать светящейся цветок женьшеня! – проговорил старый китаец Лу-фа-бин, обращаясь к молодому своему товарищу. – Сегодня великая ночь в лесу. Великий дух выходит из земли через стебли и цветы женьшеня и зажигает их чудным огнем! Счастлив тот, кто увидит его! Но, если хочешь иметь успех и взять цветок, – имей каменное сердце и железную волю! Только тогда ты преодолеешь все препятствия, и страх не войдет в душу твою! Чтобы ты ни увидел, – смело иди и срывай цветок, при свете его выкопай корень и тогда не бойся ничего! Через два часа мы пойдем! Я знаю, где растет женьшень, и берегу его для сегодняшней ночи! Ты еще молод и не знаешь многих великих тайн природы! Сегодня будет для тебя испытание, если выдержишь его, – открою тебе то, что доступно немногим! Научу тебя искать и находить это драгоценное растение! Я стар, и мне ничего не нужно, но ты молод, и жизнь твоя еще впереди! Когда буду умирать, передам тебе свои знания, открою тайны Великого Леса, и будешь ты могуч и богат! Меня никто не учил! Почти с малолетства скитаюсь я по этим горам и лесам, зимой промышляя зверя, летом отыскивая женьшень! Вначале, когда я был в твоих летах, и даже постарше, я не мог найти ни одного корня, и только когда отрешился от суеты мирской, постиг великую тайну. Когда мне было уже сорок лет, я нашел первый свой корень! Это было далеко отсюда, там, где рождаются истоки Сунгари, в темных лесах священной горы, в стране Утреннего Спокойствия. Корейцы называют эту гору Пак-ту-сан, она высока, и вечный снег закрывает ее таинственную вершину! Внутри горы этой спит тысячелетним сном желтый дракон; когда ворочается он, – земля дрожит, огонь и дым от дыханья его вылетают из трещин горы; в гневе он рычит, колеблет зубчатым гребнем своим горы и долины и снова засыпает. Старые отшельники горы говорили мне много о нем, когда-нибудь скажу тебе. А теперь ложись, отдохни и подкрепись сном! Дело предстоит нам трудное! – с этими словами старый лесной бродяга отошел в сторону от шалаша, стал на колени на берегу ручья, поднял кверху свои жилистые худые руки и, устремив взор на звезду, ярко блестевшую сквозь темные ветви кедра,

начал молиться, тихо произнося слова и изредка склоняя свою седую голову к земле.

В глубине тайги прокричал филин, рявкнул козел в ближайших зарослях, и снова все стихло, только неугомонный ручей продолжал свою веселую песню.

Пока Лу-фа-бин молился великому духу, молодой его племянник Ван-ли-сан лежал около костра, подложив под голову руки.

– Что не спишь? – спросил его старик, также усаживаясь рядом с ним и набивая длинную трубку табаком из кожаного кисета.

– Спать не хочется, дядя! – ответил Ван-ли-сан, поворачивая к нему голову, и после небольшой паузы продолжал: – Куда же ты продал свой первый корень, который нашел у большой горы?

– Первый корень продавать нельзя, – ответил Лу-фа-бин, закуривая трубку, – иначе это будет первый и последний! Такова примета! Свой первый корень по обычаю я сжег и пеплом его посыпал алтарь кумирни, стоявшей тогда на большом перевале Чан-Бо-Шаня. В те времена дракон просыпался редко, один раз в три года, теперь же чаще слышится его рев, и скоро уже, как говорят, он встанет и пожрет всех белых дьяволов, пришедших к нам издалека ради наживы.

– Пока не было у нас этих варваров, китайцы жили мирно и тихо, по заветам старины, соблюдали законы, чтили своих предков и были честны; теперь же забывают все это, и белые дьяволы радуются, разрушая нашу святую старину, нашу могучую Поднебесную Империю! Из корыстных целей они научили нас военному делу, продают нам пушки и ружья, но горе им, ослепленным жаждой наживы! Скоро, скоро уже наш великий желтый дракон стряхнет с себя долгий сон, выйдет из-под земли, откроет свою страшную пасть и поглотит всех врагов наших, тогда опять настанет в Китае мир и тишина, вспомнит народ наш забытые заветы предков и великих учителей своих, и слава Поднебесной Империи разольется по всей земле! Погибнут враги наши с их хитроумными выдумками, с их дьявольскою наукою! Конечно, мне уже не дожить до этого времени! Но ты, может быть, увидишь под старость великие события, и тебя коснется могучим крылом своим Великий Дракон непобедимых, бесчисленных полчищ Срединного Государства! Теперь не время еще ему проснуться! Пусть белолицые дьяволы рвут его могучее тело, терзают его тяжелые члены! Тем скорее и внезапнее будет его пробуждение, тем гибельнее для них его страшный гнев!.. – так пророчествовал старый таежник, сидя у костерка, вперив в пламя его свои глаза, полные экстаза вдохновения и непримиримого фанатизма.

Молодой китаец лежал около него, затаив дыхание и слушая вещие слова старого лесного бродяги.

– Ну вставай, Ван-ли-сан! – произнес, как бы очнувшись, старый китаец, выбивая пепел из трубки о твердую подошву своих башмаков. – Вста-

вай и собирайся! Не забудь взять с собой лопаточку! Помни, что я тебе говорил! Что бы ты ни увидел, – иди смело за мной и сорви светящийся цветок! Если не уверен в себе, – лучше не ходи, я пойду один! Знай, что страх может погубить нас обоих!

– Нет, нет, я не останусь! Я всюду пойду за тобой и не испугаюсь ничего! Ведь ты со мной, и этого достаточно, чтобы страх бежал от меня! – горячо ответил Ван-ли-сан, собираясь идти с дядей, отыскивать светящийся цветок женьшеня.

Уложив в кожаную сумку все необходимое и надев ее через плечо, он стал возле старика на колени и совершил моление Великому духу о даровании успеха в предприятии. Потушив огонь в костре и взяв в руки длинные сучковатые палки, они скрылись в темноте леса.

Впереди шел Лу-фа-бин, прокрадываясь через заросли и густую чащу с быстротой, присущей обитателям тайги; его привычные глаза видели в темноте так же хорошо, как и днем; Ван-ли-сан едва поспевал за ним, царапал в кровь лицо и руки о шипы и иглы колючей аралии, но, скрепя сердце, шел. Решимость его мало-помалу исчезала, зловещая темнота давила мозг, и таинственные звуки леса наполняли страхом трепетавшее сердце. Сознаться перед дядей было совестно, и молодой китаец шел, с тревогой всматриваясь в непроницаемую тьму таежной ночи.

В зарослях и среди темных ветвей деревьев вспыхивали, как звездочки, летающие светляки, еще более настраивая воображение молодого искателя корня. Шли долго молча, перевалили два скалистых хребта и спустились в глубокую падь.

– Теперь можно отдохнуть немного, – произнес старик, останавливаясь у берега быстрой речки, с шумом и рокотом катящей свои волны по дну каменистой россыпи.

Напившись студеной воды и омыв разгоряченные лица, путники начали осторожно подыматься на высокий горный кряж, покрытый старым первобытным кедровником. Идти было трудно: валежник, камни, заросли и бурелом встречались на каждом шагу.

– Уже скоро полночь! – проговорил Лу-фа-бин, останавливаясь у скалистого выступа. – Я слышу присутствие злых духов! Наверху есть котловина среди скал, и там увидишь ты необыкновенный свет! Иди со мной и не бойся! Если испугаешься и отстанешь, – погибнешь! Ну, пойдем! Не отставай! – с этими словами старик быстро двинулся вперед, прокрадываясь через густые заросли, как барс к намеченной добыче.

У Ван-ли-сана стучали зубы друг о друга, и ужас охватывал все более и более его молодую душу, сердце стучало усиленно в грудную клетку.

Скоро показались высокие скалы; в одну из щелей между ними проскользнул Лу-фа-бин, за ним прополз Ван-ли-сан.

Выйдя на другую сторону каменной гряды, путники увидели среди

непроницаемой тьмы обступившего леса тусклый зеленоватый свет. Казалось, он шевелился, множество длинных нитей носилось над ним, какие-то черные тени мелькали вблизи, слышен был шелест листвы и крики.

Молодой китаец стоял, словно очарованный, вперив безумный взор свой в светлое пятно, видневшееся среди котловины.

– Идем! – шепнул ему старик, не оборачиваясь, и быстро пошел к светящемуся предмету.

Не успел он отойти и десяти шагов, как услышал громовый рев и кашель, исходящий из какой-то гигантской груди, вслед затем шум ломаемых кустов, треск валежника, вой и стоны. Весь лес как будто всполошился, заревел, застонал, какие-то неведомые птицы носились над поляной, задевая голову старика своими мягкими крыльями. Но старый лесной бродяга не струсил, не дрогнуло его закаленное сердце, и, несмотря ни на что, он дошел до своей цели; но вместо светящегося цветка женьшеня перед ним бросал свой тусклый фосфорический свет истлевший пень старого дуба! Вокруг него летали во множестве ночные насекомые; совы и летучие мыши, привлеченные необычным светом, также реяли над ним, маша в лицо бродяги своими мягкими крыльями.

Убедившись, что это дубовый пень, а не цветок, Лу-фа-бин обернулся назад, ища глазами своего племянника, но его не было поблизости.

– Ван-ли-сан! – громко произнес старик, всматриваясь в нависшие скалы, но ему никто не ответил, только с вершины гребня раздались громкое мурлыканье какого-то большого зверя и глухой рев.

Подойдя к скале, старик зажег спичку и при ее мерцающем свете увидел на земле палку своего племянника, соломенную шапку и, немного в стороне, кожаную сумку с оборванным ремнем; здесь же на мягком глинистом грунте ясно отпечатывались следы большого тигра.

Теперь все стало ясно, и старый зверолов понял, что искать Ван-ли-сана бесполезно.

Собрав брошенные вещи своего погибшего племянника и посмотрев еще раз на тусклый свет дубового пня, Лу-фа-бин пошел обратно через скалы и хребты к своему старому шалашу.

«Зачем было брать с собой этого молокососа! – размышлял он, пробираясь по зарослям леса. – Был бы у меня теперь цветок светящегося женьшеня! Струсил мальчишка и не пошел за мной! Великий дух разгневался и пожрал его, а цветок превратился в гнилой пень! Теперь все пропало! Не найти уж мне больше другого цветка в этих местах! Жаль Ван-ли-сана, но такова судьба его!..».

Долго в эту ночь не мог заснуть старый лесной бродяга. Утром, когда вершины гор загорелись под лучами восходящего солнца и седой туман пополз из глубоких ущелий наверх, Лу-фа-бин забылся тревожным сном. Чудилось ему, что он сорвал светящийся цветок дорогого растения и несет

его домой в шалаш; по пути все звери и птицы падают ниц перед ярким светом и восхваляют мудрость и отвагу старого зверолова. Но вот из-за дубового гнилого пня поднялся злой дух в виде белого человека и отнял от него чудный цветок, бросил его на землю и втоптал в грязь; сзади стоял племянник его, Ван-ли-сан, дергал его за рукав и звал к себе. Но старик не мог оторваться от этого зрелища поругания святого растения и отбивался от назойливого своего родственника, как от мухи.

Но Ван-ли-сан не оставлял его и тряс изо всей силы, старик проснулся и увидел перед собой трех незнакомых китайцев. Все они были вооружены винтовками, ленточные патронташи с блестевшими патронами опоясывали грудь и спину крест-накрест.

Лу-фа-бин понял, что это хунхузы, но не струсил; встав со своего ложа, он подошел к ближнему и спросил, что им от него нужно.

– Ты, старая собака, собираешь женьшень? Отдавай все корни, какие у тебя есть, иначе плохо будет! – с этими словами старший из хунхузов дал знак своим товарищам, и старика схватили сзади за руки.

– У меня нет ни одного корня! – проговорил он, стараясь освободиться, но крепкие руки разбойников держали его как в тисках.

– У тебя нет? – возразил хунхуз. – Ну тогда мы заставим тебя говорить! Вяжите его и кладите на землю! А я разожгу огонь в костре! Закоптим ему пятки, тогда старый пес будет разговорчивее!

Несчастного старика прикрутили крепко веревками к кольям, вбитым в землю; он лежал возле своего шалаша на спине; руки были раскинуты. Быстро сняли с его ног кожаные бродни, подняли шаровары выше колен и положили голые ноги старика пятками на горячие угли. Сначала пошел дым, затем распространился смрад от горелой кожи и мяса.

Лицо старого китайца было спокойно, только рот слегка искривился от боли и на глазах показались слезы. Зубы были крепко сжаты.

Бронзовый цвет его лица постепенно перешел в землисто-желтый. Когда кожа на ступнях вздулась пузырем и лопнула, обнажая шипевшее на огне мясо и жилы, несчастный не выдержал, застонал и, по-видимому, впал в беспамятство.

Дикие палачи в это время спокойно курили свои длинные трубки, шутили, смеялись и подкладывали под жарившиеся ноги старика свежие сухие ветки; пламя разгоралось и лизало своими жгучими языками сухие икры и колени несчастной жертвы.

– Ишь, старый черт! – проговорил старший хунхуз, смеясь и скаля свои большие желтые зубы. – Упрям и неразговорчив! Пусть и околевает, если не хочет отдавать корней! Я не знаю! Он богат и, наверное, хранит где-нибудь свои сокровища! Ну-ка, подите, поищите в стороне, может быть он зарыл где-нибудь под камнем, или в старом дупле! Я с ним и один справлюсь!

Оба хунхуза, повесив винтовки через плечи, встали и молча разошлись по разным направлениям.

Предводитель хунхузов тем временем подполз к голове Лу-фа-бина и прошептал ему на ухо:

– Старик! Скажи мне, где спрятаны твои корни? Я отпущу тебя! Ноги твои заживут, и ты еще успеешь разбогатеть!..

Старый замученный зверолов зашевелился, глаза его открылись и повернулись в сторону говорившего. Потухающий взгляд их говорил много, но через мгновение стеклянное выражение его остановилось и потускнело, тело вытянулось, вздрогнуло и замерло навсегда. Жизнь оставила его. Пощупав пульс у умершего и убедясь, что все кончено, хунхуз спокойно набил свою трубку табаком старика, закурил об уголек, вынутый из-под обугленной ноги его, и, поджав ноги, стал дожидаться возвращения товарищей.

Вскоре один из них показался у шалаша.

– Нет ничего в этой стороне! Обыскал все, даже под корнями шарил! – произнес он, в изнеможении опускаясь возле мертвого старика, над головой которого носились уже рои мух и залепляли черными пятнами глаза, нос и полуоткрытый рот.

– А старик-то умер! – мотнул головой пришедший, набивая табаком трубку, как будто ничего особенного не случилось.

Предводитель на эти слова только промычал, продолжая пускать дым кольцами, подымавшимися кверху.

Парило. Солнце высоко поднялось над лесом. В траве и зарослях трещали кузнечики и пели цикады.

– Не мешает осмотреть мертвеца! – сказал младший хунхуз, поднимаясь и стаскивая со старика грязную заношенную куртку.

Разбойники обыскали всю одежду мертвого и не нашли ничего. В шалаше под травой и шкурками козуль нащупали они врытый в землю ящичек из твердого синего дерева.

Сломав его, они обнаружили там множество всевозможных трав, корешков, пилюль, свертков с порошками и одну пачку русских денег.

С жадностью накинулись они на эти бумажки, пересчитали их, оказалось шестьдесят пять рублей. Предводитель отсчитал тридцать пять и положил в свой кожаный кошель, остальные передал товарищу.

Не зная назначения всех этих трав, пилюль и кореньев, хунхузы бросили их в огонь.

Прошло более часа, как ушел третий китаец на поиски корня; остальные начали уже беспокоиться и высказывать предположение о бегстве товарища.

Решили еще подождать немного и отправиться искать его.

Опять расселись у огня, закурили трубки и предались думам. Видно

было, как волновались разбойники, но не давали друг другу заметить это.

Москиты и комары носились тучами над ними, разбойники обмахивались веерами и волосяными опахалами, но все это мало помогало, москиты забирались в волосы и под одежду и жалили немилосердно.

Мертвый старик лежал тут же, холодный и безучастный ко всему. Помутневший взор его, устремленный в синее небо, просвечивавшее сквозь темные ветви лесных великанов, казалось, задавал вопрос: «За что?», – но окружавшая роскошная природа так же была безучастна и равнодушна ко всему.

Посидев немного и выбив пепел из трубок, хунхузы поднялись и направились в ту сторону, куда удалился третий их товарищ.

Долго пришлось им искать на листве и в траве следов его, но наконец, они благодаря своей опытности отыскали тот куст и камень, из-под которого он вынул два корня женьшеня, спрятанные с такой заботой стариком.

Сомнения для них не было, товарищ их нашел случайно корни и скрылся с ними, желая воспользоваться драгоценной добычей один.

Ярость и злоба хунхузов были чрезвычайны, с досады они кусали свои длинные ногти на пальцах, бронзовые лица их потемнели, глаза, и без того дикие, стали похожи на глаза волка, выслеживающего добычу.

Осторожно, шаг за шагом, двинулись они по следам бежавшего, по временам останавливаясь, всматриваясь в едва заметные признаки следов человека, и шли дальше, скрадывая вероломного своего товарища, как зверя.

Выслеживание человека летом в тайге Маньчжурии очень трудно. Густая трава, иногда в рост человека, непролазные заросли и кусты, переплетенные вьющимися растениями: виноградом, плющем и лианами (Maximoviczia chinensis), масса листьев и зелени – скрывают следы, и надо быть опытным лесным охотником и бродягой, настоящим следопытом, чтобы суметь разобраться во всех малейших признаках присутствия зверя или человека в этом зеленом море буйной растительности! Хунхузы, в особенности профессионалы, живущие большую часть года в дремучих лесах этого края, чувствуют себя в девственной тайге, как дома, и, благодаря постоянной практике, являются великолепными следопытами и разведчиками. Если когда либо будет война России с Китаем, то эти местные обитатели, знающие прекрасно местность, закаленные в опасностях и борьбе с природой и людьми, окажут большие услуги врагам нашим. Большинство из них знает также хорошо тайгу Приамурья и нашего Уссурийского Края и, в случае надобности, могут служить хорошими проводниками.

В партизанской войне, весьма вероятной в этой лесистой, пересеченной местности, они дадут многочисленные кадры вполне подготовленных воинов.

Перевалив через высокий становой хребет Чан-Линза, в долину реки Мурени, хунхузы были уже на свежем следу. Недавнее присутствие беглеца обнаружилось, когда они нашли в глубокой пади еще не потухший костерок, где он кипятил себе воду в жестяном котелке.

Преследователи, быстро осмотрев место привала, осторожно без шума двинулись дальше. Они рассчитывали скоро догнать беглеца и подвигались вперед, скользя в зарослях тайги, как змеи.

Уходивший хунхуз пробирался к русской границе и к ночи надеялся достичь селения Полтавки. Преследователи поняли намерение беглеца и, зная, что, перейдя границу, он уйдет от них, напрягали все силы, чтобы настичь его.

Вечерело. Солнце спустилось низко. В тайге потемнели тени.

На лесной прогалине хунхузы заметили своего товарища. Он шел быстро, оглядываясь назад и по сторонам. Фигура его мелькала среди зарослей, то исчезая, то показываясь впереди. Беглец не чувствовал за собой погони и шел беспечно, обмахиваясь веером от москитов. Расстояние между ним и преследователями сокращалось.

Улучив момент, когда беглец вышел на поляну и открыл себя совершенно, предводитель приложился и выстрелил. Гул выстрела зарокотал в чаще и замер в глубине тайги. Взмахнув руками, китаец упал лицом на землю и остался неподвижен. Когда подбежали к нему товарищи, он был мертв. Меткая пуля поразила его в сердце.

Убитого перевернули на спину. Выражение лица его было удивленное, казалось, смерть вследствие своей неожиданности не успела еще положить на лицо свой отпечаток.

Обыскав его и раздев донага, хунхузы нашли в кожаном поясе товарища десять рублей деньгами и оба корня, взятые у старика под камнем.

Десятирублевую бумажку предводитель отдал товарищу вместе с малым корешком, большой же корень, очень высокой ценности, взял себе. Раздел был совершен полюбовно, по обоюдному соглашению.

Между тем ночь наступила быстро. В темном небе уже зажглись одинокие звезды.

В зарослях замелькали светляки.

Найдя ручеек, журчащий по дну ущелья, хунхузы расположились на ночлег. Зажгли костер, закурили неизбежные трубки и, закусив пшеничными лепешками, взятыми у старого зверолова, разлеглись на мягких лапинах елей возле огня.

Издалека доносился вой красных волков, то хищники тайги справляли тризну у трупа убитого хунхуза.

Изредка китайцы перекидывались словами. Им не о чем было говорить, они знали мысли друг друга и потому относились подозрительно к каждому движению, к каждому взгляду, хотя наружно старались сохранить

хладнокровие и спокойствие.

Обмахиваясь веерами и потягивая дым из длинных трубок, они скорее походили на друзей, мирно беседующих о всякой всячине, между тем это были непримиримые смертельные враги, подозревающие друг друга в преступных замыслах.

Время шло. Истома склонила обоих ко сну и они склонили, наконец, свои головы на походные кожаные сумки. Но заснуть никто не хотел первым, из опасения быть убитым товарищем. Как только один шевелился или приподнимал голову, другой проделывал то же самое, давая понять своему соседу, что он не спит.

Наконец, слабейший задремал, не будучи в состоянии преодолеть надвигавшегося сна.

Заметив это, предводитель, называемый своими подчиненными Ван-до, приподнялся на локте и тихо встал, не произведя ни малейшего шума. Спящий его товарищ храпел безмятежно.

Осторожно вынув из ножен кривой нож, висевший на поясе, Ван-до присел и пополз тихо, как удав к очарованной хищным взглядом птице. Мгновение, и быстрый, как удар молнии, взмах кривого ножа прекратил жизнь спавшего последним сном китайца. Он в смертельном ужасе открыл глаза, схватился руками за грудь, приподнялся, вскрикнул диким нечеловеческим голосом, откинулся навзничь и затих навсегда. Последний сон его незаметно для него самого, перешел в вечный сон смерти.

Убийца подержал еще некоторое время свой нож в груди товарища и, убедясь, что все кончено, вынул его, вытер спокойно о широкие шаровары убитого, вложил в ножны и с довольной улыбкой начал обыскивать. Забрав деньги и корень женьшеня, он тщательно спрятал все это в свой кожаный кошель. Табак из кисета пересыпал в свой. Винтовку и патроны завернул в окровавленную куртку и положил в дупло старого ильма, росшего поблизости; для отметки на стволе его он сделал ножом условные зарубки.

Проделав все это, Ван-до оттащил за ноги труп убитого и бросил его в густые заросли. Кожаную сумку, шайку и другие вещи положил в огонь.

Справившись с врагом, он мог теперь спокойно заснуть, не думая о том, что коварный сосед-товарищ готов броситься на него, как лютый зверь.

Разложив побольше костер и выкурив трубку, Ван-до, нисколько не смущаясь близким присутствием убитых товарищей, заснул быстро, как невинный младенец ,под тихую колыбельную песню старухи-тайги.

Красные волки, почуяв запах свежей крови издалека, собрались возле становища, но, видя огонь, не решались, подходить близко. В темноте леса виднелись их горящие глаза, они мелькали, как светляки, сходились и расходились, то вспыхивая ярко, то потухая. Вой хищников зловеще раздавался в тишине таежной ночи и наполнил бы ужасом самое отважное сердце,

но привычное ухо старого хунхуза сквозь сон спокойно слушало эту музыку девственных лесов. Изредка, когда москиты кусали и беспокоили, Ван-до просыпался, закрывал лицо и руки грязным шелковым платком и засыпал снова.

Через день к вечеру Ван-до добрался до города Хун-Чуна. Здесь он прожил два дня, показывал драгоценные корни купцам, но покупателя не находилось, так как цена их была очень высока. Кто-то посоветовал хунхузу отправиться во Владивосток, где есть богатые китайские купцы и торговые фирмы.

Перебравшись через нашу границу под видом купца, Ван-до очутился во вновь зарождающемся городе Посьет, на берегу Японского моря.

Было раннее утро. Солнце только что поднялось над горизонтом, бросив золотые лучи свои на волнистую поверхность безбрежной морской глади. Даль была задернута туманом, и только у берега виднелись гряды набегающих волн с белыми пенистыми хребтами. Одна за другой ударяли они в каменистый крутой берег, крутясь и пенясь, и с ревом и стоном разбивались о гранитные твердыни, обдавая их брызгами и соленою влагой.

Темно-синее бурное море рокотало, предвещая шторм. В воздухе пахло влагой и морскими водорослями.

В гавани стоял пароход, пришедший с казенным грузом. У отмели виднелись шкуны и джонки китайцев с желтыми собранными парусами. Несколько лодок, вытащенных на берег, покачивалось под напором набегающих волн.

На пристани суетились сотни людей: русских, китайцев и корейцев. Выгруженные товары, ящики, тюки и мешки с мукой лежали, сложенные в штабели, покрытые циновками и брезентом.

Одна из джонок готовилась к отплытию. Несколько десятков китайцев, полуголых, с бронзовыми телами, бегали, кричали, перетаскивали какие-то связки и тюки, бранились, торопясь попасть на судно, с которого сняли сходни. Хозяин джонки, он же капитан, стоял у борта и отдавал последние распоряжения. Это был толстый китаец, одетый в голубой шелковый халат.

Распустили паруса, они надулись, как пузыри, и джонка, качаясь и рассекая острым носом своим пенистые волны, быстро понеслась вдоль берега, поворачивая в открытое море.

Пассажиры, столпившиеся у борта, кричали на своем гортанном языке и махали платками, отвечая остававшимся на берегу.

Тут же у борта на джонке стоял Ван-до и смотрел на удалявшийся берег и далекие синие горы, словно тучи поднимавшиеся на горизонте.

Джонка держала курс на Владивосток и, сильно накреняясь на борт, летела, как птица, управляемая опытными старыми мореходами.

В обширном трюме ее сложены были тяжелые, как мельничные коле-

са, круги бобовых жмыхов.

Ветер крепчал. Волны подымали все выше и выше свои пенистые гребни и перекатывались через борта. Мачты и реи скрипели, и весь корпус утлого судна вздрагивал под напором тяжелых водяных гор. Шум моря и вой ветра заглушали голоса матросов-китайцев, убиравших паруса и снасти. Пассажиры притихли в темной тесной каюте и молились богам о даровании благополучного путешествия. Ван-до курил свою неизменную трубку и углубился в думу.

Вскоре справиться с бурей не было возможности, и джонка, предоставленная разъяренной стихии, носилась по волнам, как утлый рыбачий челн.

К вечеру ее прибило к корейскому берегу, где она окончила свое существование, наскочив на камни, едва видневшиеся из воды.

Весь груз ее пошел ко дну, и никто из пассажиров не спасся. Долго еще носились по волнам ее поломанные разбитые деревянные части...

Давно уже стихла буря. Страшный тайфун пронесся дальше, к южным берегам Сахалина. Спокойно и тихо плещет морская волна в песчаные берега, как бы ласкаясь и гладя их после яростной вспышки незаслуженного гнева. Чистый разряженный воздух напоен ароматом моря и душистых цветов, в изобилии покрывающих леса и кустарники на высоких скалах, круто обрывающихся к узкой песчаной полосе отлогого берега. В туманной дали горизонта, как бы подернутые фиолетовой дымкой мерещились силуэты корейских гор.

Мир и торжественная тишина нарушались только тихим ропотом волн да отрывистым жалобным криком сизокрылых крачек, летавших низко над темно-зеленою гладью безбрежной водной пустыни Великого Океана.

Солнце опустилось над далекими горами и бросало свои прощальные золотистые лучи на берег и волны, давая красноватые блики на поверхности переливающейся зыби.

В отдалении, где на берегу темнела группа отдельных высоких дубов, виднелась узкая полоска седого дыма, стлавшегося по берегу и уносимого легким ветерком в море.

Под нависшею скалой приютилась там убогая фанза корейца-рыболова, Ким-ди. Хозяин давно уже выехал закидывать невод, а семья, состоящая из жены, не старой еще женщины, и двух чумазых полуголых ребят, копошилась возле дома.

Ребята, черные от загара, в коротких белых штанишках, с длинными черными волосами, висевшими длинными прядями по плечам и на спине, скорее походили на арапчат. Валяясь в песке, падая в воду и барахтаясь в ней, они играли, брызгали друг другу в лицо и были веселы бесконечно, пока мать не крикнула на них, стоя в дверях фанзы.

Услышав голос матери, детишки притихли и устремили свои взоры на море, где вдалеке виднелись рыбачья лодка и сидевший в ней человек на веслах.

Лодка приближалась, и через несколько минут острый нос ее врезался в желтый песок берега.

Сложив весла на дно ее, рыбак-кореец, одетый во все белое, с большой соломенной шапкой на черных, закрученных в узел волосах, вышел на землю, потрепал ребят по головкам и произнес, обращаясь к жене:

– Закинул невод! Пробовал тащить, – что-то тяжело, уж не акула ли попалась! Как раз порвет сеть!

С этими словами он принялся подтягивать невод к себе. Жена тоже приняла в этом участие, и вдвоем они с большими усилиями подтащили сети к самому берегу.

Еще одно усилие, и невод был извлечен из воды и лежал, наполненный рыбой, мокрый, покрытый причудливыми морскими водорослями.

Открыв его, корейцы увидали вместе с рыбой, блестевшей серебристой чешуей и бившейся своими упругими плоскими хвостами о землю, труп китайца, одетого в богатую шелковую курму синего цвета. Темно-бронзовое лицо утопленника было обезображено гримасой страха и ужаса, желтые большие зубы блестели из-под черных коротких усов. Длинная черная коса его извилась вокруг шеи и на руке, как змея.

– Да это мертвец! – в испуге проговорил рыбак, вытаскивая его из сети. – Я так и знал, что зацепил что-нибудь тяжелое! Не мешало бы его обыскать! Это, по-видимому, богатый купец, и деньги должны быть! Ну, ша!.. Поросята!.. – отгонял он любопытных ребят, мешавших ему снимать мокрое платье с китайца.

В кожаном кошеле на груди мертвеца нашел он только серебряную русскую мелочь, зато в подкладке шелковой кофты (курмы) были зашиты русские бумажные деньги, около двухсот рублей, и какие-то два корешка странного вида и формы.

Повертев их в руках, понюхав и посмотрев на свет, кореец хлопнул себя ладонью в лоб и произнес с оживлением:

– Будь я китайская свинья, если это не драгоценные корни женьшеня! Ты слышишь, жена! Ведь это целое богатство! Теперь нам не надо голодать, не надо кланяться японцам и китайцам, будь они прокляты! Мы будем богаты! Купим землю, скотину, все, что нужно для хозяйства! – с этими словами кореец схватил жену и начал с ней танцевать у трупа погибшего китайца какой-то дикий первобытный танец.

Дети, видя неистовую радость родителей, тоже прыгали и кривлялись, как маленькие ручные обезьянки, хлопали в ладоши и кричали: «А-ля! А-ля!». Солнце между тем зашло. Быстро темнело.

Отдав деньги, одежду и корни мертвеца жене, рыбак взвалил его на

лодку и отвез далеко от берега. Привязав к шее тяжелый камень, он бросил его в море, поглотившее хунхуза Ван-до в свои таинственные темные недра навсегда.

Тихая летняя ночь плыла над уснувшею землей. Темное море, медленно колыхаясь в своем необъятном ложе, рокотало, и волны одна за другой набегали на плоский берег. Бледный серп месяца всплыл из-за неясных морских далей и бросил серебряный столб лучей своих на выпуклую грудь океана.

В одиноком океане рыболовной фанзы светился красноватый огонь.

Счастливая семья бедного корейца сидела, поджав ноги, вокруг низкого стола, уставленного чашками, блюдами и кушаньями. Из тонкого горлышка глиняного кувшина хозяин и хозяйка наливали подогретую китайскую водку и пили из маленьких, величиной с наперсток, чашечек.

Всем было весело. Даже дети участвовали в семейной радости, пили из рук матери сладкий теплый напиток, смеялись, кричали и угощали остатками еды своего любимца, остроухого пса, сидевшего возле них на задних лапах.

Вскоре рыбак затянул глубоким грудным голосом дикую заунывную песню; она плыла над берегом и замирала вдали безбрежного моря; звуки ее неслись, и, казалось, то плачет и стонет она, то в гневе грозит и рокочет, сливаясь с тихим ропотом прибоя.

В песне этой слышались горе и радость, гнев и печаль, отчаяние и надежда; вся жизнь этого тихого, честного, забитого народа рисовалась в ней.

Жена и дети сидели неподвижно вокруг стола и, обняв колени свои, слушали со вниманием эту песню, грустную песню прекрасной «Страны утреннего спокойствия». Могучий Великий океан вторил этой песне, и шумели, набегая одна за другой на песчаный берег, холодные волны вечного прибоя...

Впервые опубликовано и печатается по:
Байков Н.А. В горах и лесах Маньчжурии. Петроград, 1915. С. 440-463.

ВЕЛИКИЙ ВАН
(*Отрывки из повести*)

II. Рождение Вана

За два дня до рождения маленьких тигрица не выходила из своего гнезда и лежала на подстилке из сухой травы и листьев. Только утром рано и вечером она спускалась к ключику, весело журчавшему в расселине скалы, и утоляла жажду.

На третью ночь появились на свет тигрята. Их было двое – самец и

самочка. Они были малы, неуклюжи и крайне беспомощны. Величина их не превосходила небольшую домашнюю кошку. Самец отличался от самки ростом, величиной головы и более массивным сложением. Мордочки у них были как были приплюснуты, глаза закрыты, и ушки плотно прижаты к голове. Мать в течение пяти дней находилась при них безотлучно и, почти не переставая, облизывала их, согревая своим телом. Первые дни после рождения тигрята были чрезвычайно слабы и еле-еле шевелились, причем мать сама подталкивала их мордой к своим сосцам. Наевшись до отвала, они моментально засыпали и в таком состоянии находились до следующей кормежки. Только на шестой день, на рассвете, тигрица оставила свое гнездо и торопливо сбегала на водопой. Возвратившись, она внимательно оглядела своих спящих детей и все логовище, стараясь заметить что-либо подозрительное; но, не найдя никаких перемен в окружающем, она успокоилась и снова легла рядом с детьми, спиной к задней стенке логовища, чтобы всегда иметь на виду выход на случай внезапного появления врага.

Из предосторожности тигрица никогда не испражняется вблизи своего гнезда, так как она по опыту знает, что другие тигры, в особенности самцы, по этим следам могут легко найти ее убежище и причинить вред детям.

Солнце пряталось уже за гребнями сопок, и из глубоких падей повеяло вечернею прохладой. Тигрица только что окончила туалет своих малышей, собираясь отдохнуть и понежится в теплых лучах заката, как до чуткого уха ее долетели сперва неясные, а затем определенные звуки, нарушавшие невозмутимую тишину тайги. В тихом шелесте листьев, в шуршании сухой травы, в звуке сломанного сучка и в звуке сорвавшегося камешка она сразу уловила что-то необычное и, комбинируя факты, получила уверенность в том, что звуки эти имеют особое происхождение. В них она ясно услышала шаги какого-то приближающегося зверя. Мгновенно вся фигура ее преобразилась, подтянулась, как бы съежилась; уши встали по направлению звука, и зрачки сузились. Одну секунду она постояла у входа в логовище неподвижно, а затем скользнула в заросли и, припав на ноги, поползла сквозь их чащу, как змея, извиваясь между стволами деревьев и торчащими камнями. Отдаленные крики сорок убедили ее, что к логовищу приближается зверь одного с ней вида, так как по собственному опыту она знала, что эти назойливые птицы преследуют своим беспокойным криком только тигров и тем выдают иногда его присутствие. Спустившись к ручейку у места водопоя, тигрица остановилась в ожидании, притаившись за выступом гранитного утеса. Звуки шагов слышались все яснее, и, по мере приближения зверя, все мускулы ее тела напряглись, играя под гладким бархатистым мехом. Подходивший зверь, очевидно, не заботился о скрытости своего движения и шел свободно, игнорируя производимые им звуки, иначе его движения не уловил бы даже изощренный слух тигрицы.

Как только фигура тигра показалась на фоне зарослей, тигрица ринулась к нему с угрожающим ревом и, замахиваясь грозными лапами, наседала на него настойчиво и упорно, не давая опомнится.

Это был огромный старый тигр, забредший в эти глухие места случайно, в поисках добычи и новых охотничьих угодий.

По величине он превосходил тигрицу раза в полтора и мог бы дать ей отпор шутя, но, тем не менее, видя перед собой самку и отчаянную ее решимость, могучий зверь не выказал ни малейшей злобы и без сопротивления попятился назад, съежился и, как бы конфузясь, поспешил поскорее удалиться, уступая поле слабейшему.

Тигр-самец понял побуждение, вынудившее тигрицу броситься на него, и решил отступить, зная, что это мать, защищающая своих детей. Великий закон природы руководил обоими: в ней говорило материнство, в нем инстинкт самца – продолжателя рода.

Когда удаляющиеся шаги тигра замерли в чаще, тигрица подошла к ручью и с жадностью начала лакать холодную, как лед, воду. Утолив жажду, она тут же совершила свой вечерний туалет, пригладив своим шершавым, как щетка, языком взъерошенную шерсть.

Сороки и сойки, эти лесные сплетницы, по-прежнему не унимались, крича на весь лес, суетясь и летая над тигрицей, что ей, очевидно, не понравилось, так как она быстро юркнула в кусты и, меняя направление под защитой густых зарослей, вышла с противоположной стороны логовища.

Назойливые птицы бросились за ней, но, потеряв ее из виду, постепенно отстали, рассаживаясь на ветках старого дуба на ночлег.

Пернатые пользуются остатками пищи после трапезы зверя; опыт показал им, что настойчивость их в преследовании почти всегда венчается успехом.

Возвратясь в логовище, тигрица нашла все в порядке. Дети ее безмятежно спали, прижавшись друг к другу, от вечерней прохлады уткнувшись в бока своими тупыми розовыми носами.

Обнюхав свое сокровище и решив, что дети сыты и проснутся не скоро, тигрица осторожно, не производя ни малейшего шума, вышла из логовища и на некоторое время замерла, как изваяние, прислушиваясь к звукам леса, улавливая всякие подозрительные шумы и шорохи. Убедившись, что ничего не угрожает детям и в окрестностях спокойно, она отправилась, наконец, за добычей, чувствуя признаки нестерпимого голода.

Выйдя на ближайший узкий гребень горного отрога, она двинулась по нему, зорко всматриваясь в чащу редкого дубняка, где жируют обыкновенно кабаны.

Заметив группу толстокожих, состоящих из нескольких свиней и прошлогодних поросят, тигрица моментально прильнула к земле и начала их скрывать. Солнце уже закатилось, но на небе горела еще вечерняя заря.

С наступлением темноты свиньи располагались уже на ночлег. Мамаши со своими поросятами улеглись под стволами старых деревьев, а взрослая молодежь все еще не могла угомониться и веселилась, пользуясь отсутствием надзора старших.

Тигрица наметила себе группу расшалившихся легкомысленных юнцов и, прикрываясь мелкими дубовыми кустами, быстро приближалась.

Не прошло и четверти часа, как она была уже в нескольких шагах от животных, затаившись за стволом старого дуба. Все внимание ее, зрение и слух были сосредоточены на молодой свинке, бегавшей взапуски за своей подругой среди зарослей орешника. Хищник выжидал только удобного момента, когда беспечное животное приблизится к нему на расстояние короткого прыжка, т.е. на 6-7 метров. Легкий ветерок тянул от кабанов на тигрицу, так что специфический запах хищника не мог быть ими услышан, что, конечно, учитывалось зверем и было им точно рассчитано. Вот, наконец, в порыве шаловливой резвости молодая свинка, описав небольшой полукруг, подбежала к стволу дерева, за которым скрывалась хищница. В мгновения ока стальные мускулы задних ног ее расправились, и упорное тело всей своей тяжестью обрушилось на бедную свинку, успевшую только издать короткий пронзительный визг. Ударом могучей лапы она была сбита с ног, и в следующие мгновенья острые конические клыки колоссальной кошки вонзились в шею своей жертвы и перекусили ей шейные позвонки. Смерть наступила моментально, и тигрица, не теряя драгоценного времени, принялась с жадностью насыщаться горячим кровоточащим мясом, начиная с задних окороков животного.

Посмертный крик погибшей свинки послужил тревожным сигналом, по которому все стадо ринулось вверх по косогору, спасаясь от смертельной опасности. Не прошло и двух секунд, как шум убегающего стада замер вдали, и в тайге наступила прежняя тишина, нарушаемая только чавканьем челюстей тигрицы, хрустом ломаемых костей на гигантских зубах зверя и довольным мурлыканьем.

Около часу насыщалась тигрица. От животного остались только ноги с копытами и содержимое брюшины, остальное все поместилось в объемистом желудке хищника.

Облизываясь и напевая про себя любимую песенку, тигрица поднялась с земли, выгнула свою упругую спину, потянулась, подошла к стволу старого дуба, поднялась на задние лапы, а передними начала царапать кору дерева, как это делают обыкновенно наши домашние кошки. Глубокие продольные борозды проводили по стволу дерева острые серповидные когти хищного зверя. Голова его в это время была поднята к верху, и выражение морды изображало удовольствие: хвост вытянут параллельно земле, и самый кончик его как змея. Вонзив свои когти несколько раз в мягкую кору, тигрица отошла от дерева и замерла на одну секунду, прислушива-

ясь к тишине ночной, затем быстро зашагала к своему логову, где остались ее любимцы.

Тигры имеют обыкновение царапать кору деревьев в период смены когтей, когда отжившее роговое вещество заменяется новым.

Из деревьев они предпочитают породы с мягкой корой, бархат, орех, кедр и лиственницу.

XXIV. Тайга шумит

Обитатели тайги узнали, что охотник погиб в когтях Великого Вана. Все толковали об этом событии.

Местные звероловы злорадствовали и были довольны, что Великий Ван вступился за них и мстит пришельцам за поругание священной тишины вековых лесов и за уничтожение охотничьих угодий.

Пред алтарями лесных кумирен возносились горячие молитвы Горному Духу, призывно звучал чугунный колокол в тишине лесной. Тайга шумела.

Видя разгром и уничтожение заповедных убежищ и древних, унаследованных от предков, кормовых угодий и пастбищ, четвероногие и пернатые аборигены тайги присоединились к двуногим и объявили непримиримую войну пришельцам.

Каждый по мере сил старался вредить им и не упускал случая уничтожить плоды их рук и всяческие ухищрения их ума.

Случалось нередко, что стада кабанов подрывали телеграфные столбы, валили их на землю и рвали телеграфную проволоку, тем прекращая связь главной линии с ветками.

Поля и огороды новоселов в притаежных районах подвергались нападениям многочисленных стад кабанов и медведей и уничтожались полностью, причем не помогали никакие пугала, трещотки и костры, разжигаемые по опушкам лесов.

Осенью медведи взлезали на телеграфные столбы и рвали проволоку, предполагая, что внутри столба находится пчелиный улей.

Был случай, когда медведь, выйдя на полотно железной дороги, увидел идущий на него поезд. Предполагая, что это невиданный зверь, мишка пошел ему навстречу с целью помериться силами, но, конечно, был смят, раздавлен и погиб геройской смертью.

Вертлявые бурундуки, выйдя из тайги, уничтожали посевы поселян, делая себе в тайге запасы на зиму.

Красавцы фазаны, тетерева и куропатки не отставали от грызунов и наводняли поля многочисленными стадами.

В дремучей тайге охотники нередко становились добычей хищников. Великий Ван, неограниченный повелитель тайги, является представителем этой борьбы.

На жителей поста и линии железной дороги гибель охотника Арсеньева в когтях тигра произвела огромное, ошеломляющее впечатление.

До сих пор хищники тайги избегали встречи с новым человеком, боялись его и уступали ему дорогу, удаляясь в глубину лесов. Теперь же положение изменилось.

В психологии таежных обитателей произошел перелом. Великий Ван, уничтожив пришельца, сбросил с его имени ореол непобедимости.

Шпионы сойки и сороки делали свое дело, сплетничали и кричали, ругали и клеветали, стараясь разжечь обе стороны.

Дикие песни тайги становились громче, и грозные раскаты их приближались к поселениям человека.

Солнце подымалось все выше и выше над диким Шу-Хаем, и в воздухе слышался весенний шум.

Старый Тун-Ли, закончив свои дела, собирался опять в Нингуту, к празднику Нового года.

Берестяная кошелка его, наполненная мехами и увязанная ремнями из оленьих жил, стояла снаружи у стены.

Совершив моление Горному Духу, Великому Вану и ударив в колокол три раза, он взвалил кошелку на свою старую, согнутую годами спину и подтянул ремни. Взглянув на солнце, стоявшее над лесом, он бодро зашагал по тропе, направляясь на восток, вниз по долине реки Хайлин-Хэ.

Старик спешил, чтобы к ночи добраться домой, в Нингуту. Старческие ноги его обладали юношеской силой и выносливостью и быстро несли его по набитой тропе.

Мысли таежного ветерана были далеко и летали, как быстрокрылые птицы, над могилами предков, куда давно уже стремилась душа его.

Проходя по тому месту, где он встретил несколько лет тому назад тигра, старик остановился передохнуть и сел на колоду, поставив кошелку сзади себя.

Вспоминая былую встречу, он вперил свой взор в то место тропы впереди себя, где тогда стоял хищник.

Что это, наваждение или бред старческого воображения?!

На том же месте темнеет огромная фигура тигра.

Только размеры ее как будто больше.

Зверь стоял на тропе и смотрел пристально на старого зверолова.

Жутко стало Тун-Ли от этого тяжелого, пронизывающего взгляда. По спине его пробежал холодок, и старческие руки дрогнули.

Но не дрогнуло старое, закаленное житейскими бурями сердце его.

Убедившись, что это действительность, а не галлюцинация, Тун-Ли встал как ни в чем не бывало, подтянул ремни кошелки и, опираясь на длинную палку, двинулся вперед по тропе.

Не спуская глаз с тигра, стоявшего неподвижно на прежнем месте,

зверолов приближался к нему смелым, решительным шагом.

Великий Ван (это был он) стоял неподвижно, как статуя, высеченная их мрамора, и даже хвост его не шевелился, вытянувшись как струна.

Взгляды человека и зверя встретились. Расстояние сокращалось.

Не допустив до себя Тун-Ли ближе чем на двадцать шагов, Ван медленно сошел с тропы и, грузно шагая по глубокому снегу, исчез в ближайших зарослях.

Человек и зверь поняли друг друга.

В памяти воскрес образ старого зверолова Тун-Ли, и впечатление это осталось навсегда.

Решительность и уверенность движений, несокрушимая воля, светившаяся в его взоре, импонировали царю тайги, и он пощадил старого ветерана, как и тогда, уступив ему дорогу.

Прошли звериные ночи, и Вана потянуло в родные места, в район Татудинзы.

Полный воспоминаний далекого прошлого из времен своего нежного беззаботного детства, он находился под очарованием этих сладостных грез, и картины былого как живые вставали перед ним.

Желая увидеть знакомые места, он обошел всю Татудинзу.

Побывал во всех ее пещерах, на старых лежках и в логовищах, и какое-то неиспытанное чувство закрадывалось в его закаленное, ожесточенное борьбой за существование сердце.

Он поселился в пещере, где родился и где протекали первые дни его жизни.

Все здесь оставалось по-старому, и ничто не изменилось за эти пятнадцать лет. Только как будто уменьшились размеры логовища, и огромное тело его едва помещалось под низкими каменными сводами.

Здесь, в районе Татудинзы и верховьев Хайлин-Хэ, ведя уединенный образ жизни, он остался на продолжительное время.

Летом, в жаркие душные ночи, он с наслаждением купался в холодных струях Хайлин-Хэ, ложился поперек реки, и быстрое течение несло его вниз, пока встречные камни и пороги не подхватывали грузное тело и бурные волны не выкидывали его на низкий берег.

С годами Ван стал разборчив в пище, и его не удовлетворял однообразный стол, состоящий из мяса кабанов и коз. Он искал разнообразия как истый гастроном, стараясь раздобыть лакомые и пикантные блюда среди представителей самых разнообразных отрядов животного царства.

Так, он с увлечением, достойным иного применения, просиживал на берегу реки, подкарауливал быструю форель и жирную таймень, подхватывая их лапой и выбрасывая на берег.

Неуклюжие черепахи, греющиеся под лучами горячего солнца в прибрежном песке, также становились его добычей.

Жирные, отъевшиеся на бобовых полях, фазаны не были гарантированы от его когтей. Выслеживая их на лежках, он сгонял птицу, которая спасалась от него бегством; хищник, делая большой круг, заходил ей навстречу, и фазан взлетал; не давая ему набрать высоту, поднявшись на задние лапы, тигр хватал когтями птицу на лету.

Время летело незаметно. Промелькнули своей неизменной чередой лето и осень.

В середине октября выпал снег, и зимоспящие обитатели тайги спешили занять свои зимние квартиры.

Опоздавшие с этим делом медведи бродили по лесам, осматривая берлоги, и брали те, которые попадутся, так как разбирать было некогда.

Ван, увидев однажды на снегу свежие следы молодого медведя, пошел его скрадывать, но хитрый мишка, подозревая недоброе, решил залечь в берлогу в дупле ближайшего тополя, но чтобы не дать туда следа, повернулся задом и задом же пошел к тополю, предварительно спутав свои следы петлями.

Хищник, идя по горячим следам мишки, остановился в недоумении, видя его обратный след. Пока он распутал все его мудреные петли и догадался, что простачок, таежный увалень его перехитрил, добыча ушла от него в безопасное убежище и спокойно улеглась в своей квартире, расположенной в бельэтаже векового тополя.

По следам хищник дошел до самого дерева. Мишка услышал его шаги и высунул из дупла свою лобастую голову.

Что сказал тогда Вану таежный комик Топтыгин, осталось тайной между ними, так как случайно не было никаких свидетелей, а лесные кумушки отсутствовали. Тайга тихо шумела, напевая свою печальную осеннюю песню.

Печатается по: Байков Н.А. Великий Ван: Повесть; Черный капитан: Роман. Владивосток, 2009. С. 59-64, 168-173.

ХУНХУЗЫ

Глухая ночь. По едва заметной зверовой тропе пробираются два охотника. Темный дремучий кедровник шумит. Стонут вершины могучих великанов. Холодный северный ветер качает ими, с ревом проносясь над землей, застывшей под леденящим его дыханием. Старая угрюмая тайга рокочет, напевая свою грозную величавую песню.

– Где же фанза? – произнес один из охотников, обернувшись к своему товарищу.

– Должно быть близко! Вот пройдем немного, и за поворотом будет фанза, – отвечал другой, рассматривая со спичкой свежие следы китайских ул на тропе.

Пошли, но фанзы все нет; тропа вьется по берегу горной речки, то взбегая на крутые, обрывистые скаты, то спускаясь на лед.

Прошло около часу. Изредка перекидываясь словами, шли не спеша охотники и остановились у раздвоения тропы.

Куда идти? Вправо или влево? Поговорили и условились идти по двум направлениям: один пошел влево, по течению реки, другой вправо, по косогору сопки. За охотниками шли две собаки белой масти, типа гольдских лаек. Постояв в нерешительности на распутье, они стремглав пустились вдогонку за охотником, свернувшим влево. Жутко одному в темную беспросветную ночь пробираться по зверовой тропе в девственной тайге Маньчжурии. Стараешься беззвучно ступать мягкими подошвами суконных сапог, часто останавливаешься и прислушиваешься к звукам и голосам таинственных лесных дебрей. Хрустнет ли валежник под неведомой стопой, прокричат ли таежный зверь и птица, зашумит ли ветер в сухой листве прибрежных зарослей, внимательнее всматриваешься в темноту, напрягая до крайности зрение и слух. Постоишь, послушаешь, затаив дыхание, и опять зашагаешь по тропе, перелезая через камни и гигантские стволы упавших местных великанов.

Собаки идут сзади; они так же, как и человек, чувствуют свою беспомощность в ночной тьме и чутко прислушиваются ко всему, что улавливает их изощренное ухо. Тонкое обоняние их, реагируя на малейшие запахи, предупреждает об опасности своевременно и на большом расстоянии. Их не слышно; они останавливаются вместе с хозяином и сознательно подражают ему, понимая все его действия.

Где-то вдалеке прокричал филин, ему отозвался другой в вершине темного кедра.

Тропа, шедшая по косогору, спустилась к речке. Пройдя по берегу еще верст пять, охотник остановился в нерешительности. До фанзы было далеко; усталость валила с ног; надо было подумать о ночлеге.

Выбор места для ночлега в морозную ночь не так прост и легок, как это кажется новичку и непосвященному в тайны таежной жизни.

Прежде всего надо обезопасить себя от взоров и внезапного нападения, для этого необходимо отойти от тропы на такое расстояние, чтобы огонь костра не бы заметен; но этого мало, надо, чтобы дым от костра не тянул на тропу, иначе по запаху гари привал будет обнаружен.

Такое место найдено в двух верстах от тропы, у таежного ключика, журчащего среди камней под тонкою корою льда.

Найдя уютное местечко под старым кедром и очистив его от снега, охотник разложил костер, для чего пришлось воспользоваться сухостоем и смоляными щепками упавшей лиственницы.

Вскоре приветливый огонек запылал в чаще и закипел медный котелок с ароматными пельменями.

От времени до времени охотник уходил в сторону от костра, прислушиваясь привычным ухом к музыке леса. Собаки настораживались и, отойдя в другую сторону, застывали в позах напряженного внимания. Умные животные отлично уясняли себе обстановку, сливаясь в одно целое с человеком.

Но вот они что-то начуяли, и черные влажные носы их обратились в одну сторону, втягивая в себя морозный воздух. Острые пушистые уши их, как радиоприемники, уставились в одном направлении. Вся фигура их говорила о высшей степени напряжения и переживания впечатлений.

В таком положении они находились довольно долго, пока не уяснили себе в точности происхождения звуков и запахов. Тогда только они отошли к костру и, стараясь обратить внимание хозяина, поджав хвосты, сподняшейся на загривке шерстью, стали жаться поближе к ногам человека, как будто ища у него защиты.

По поведению собак охотник сразу сообразил, что к становищу подошел тигр, так как всякого другого зверя собаки не испугались бы.

Надо было принять необходимые меры предосторожности.

Навалив в костер побольше валежнику и увеличив площадь огня, таежник на некоторое время застраховал себя от нападения хищника; но впереди была еще целая ночь, и заготовленных дров могло не хватить. Волей-неволей пришлось отойти от костра на значительное расстояние, для сбора сухостоя и дров. В это время были ясно слышны осторожные мягкие шаги зверя по мерзлому снегу и его сдержанное ворчанье, подобное клокотанью воды в бочке. По временам в темноте светились его круглые глаза, как два фонаря, и затем снова быстро исчезали. Хищника привлекали главным образом собаки, которые это чувствовали инстинктивно и искали спасения у огня, зная, что эта стихия одна может служить надежной защитой.

О сне уже нечего было и думать, но усталость брала свое, и, лежа на мягкой подстилке из еловых лап, охотник дремал, не выпуская из рук карабина. Собаки пристроились тут же у огня и, свернувшись калачиком, лежали с открытыми глазами, все время поводя ушами в сторону каждого подозрительного шума.

Как только угасал огонь и надвигалась зловещая темнота, собаки настораживались и в беспокойстве поднимали головы, прислушиваясь к шуму лесных дебрей; тогда просыпался усталый охотник и подбрасывал дрова в потухавший костер. Огонь разгорался с новой силой; пламя подымалось к темным ветвям старого кедра; каскады искр неслись в вышину, и враждебная тьма отступала в недра дремучего леса.

Хищник всю ночь бродил вокруг становища, рассчитывая на оплошность человека и в чаянии внезапным нападением добыть собак, но спасительный костер горел ярким пламенем, удерживая голодного зверя на по-

чтительном расстоянии.

Свою досаду и нетерпенье он выражал в сдержанном ворчаньи, которое иногда переходило в грозное рыканье, приводившее собак в трепет и панический ужас, они тогда лезли в самый огонь, и шерсть на их боках шипела, обугливаясь и распространяя удушливый запах.

Владыка тайги предъявлял свои права, но великая стихия огня была враждебна ему, и перед ней он был бессилен.

Это был канун Нового года. Декабрьская ночь, казалось, будет бесконечна. Только перед самым рассветом, когда на востоке зажглась утренняя заря и в небесной вышине начали меркнуть звезды, хищник удалился в горные хребты, откуда, постепенно ослабевая, доносился его грозный голос. Почуяв отступление своего врага, собаки успокоились и улеглись поудобнее в снег, предварительно потоптавшись на одном месте. Теперь уши их бездействовали и были прижаты к голове, пушистые хвосты закрывали нос. Их хозяин также прикорнул у костра, и крепкий, но чуткий сон овладел всем становищем.

Костер потухал, еле мерцая в сумерках наступавшего дня.

Солнце довольно высоко поднялось над лесом, когда бивак зашевелился и охотник, напившись чаю и покормив собак мерзлым мясом, собрался в дальнейший путь. Осмотрев следы хищника, бродившего вокруг становища, он направился в сторону от тропы на перевал, предполагая выйти напрямик к фанзе, где должен был заночевать его товарищ.

Подъем на перевал был очень крут и усеян каменными россыпями. Только к полудню охотник достиг седловины хребта, где по самому гребню извивалась среди каменных глыб и зарослей аралий битая тропа с ясными следами зверей.

Это была так называемая «звериная тропа», по которой таежный зверь совершает передвижение, избегая глубоких падей, где снег лежит глубокими сугробами.

Здесь собаки насторожились и, почуяв подозрительные запахи, втягивали воздух влажными носами. Постояв на месте и делая свое заключение об источниках этих запахов, они стремглав понеслись по тропе и исчезли в зарослях аралий. Охотник, выйдя на тропу, остановился в ожидании результатов разведки своих четвероногих помощников.

Ждать пришлось недолго. Вскоре послышался дружный лай собак, и охотник, взяв наизготовку карабин, последовал за ними.

Какого же было его удивление, когда он, выйдя на гребень седловины, увидел своего товарища привязанного к дереву! Собаки прыгали вокруг него и, выражая свою радость, лаяли, стараясь лизнуть его в лицо.

Когда связанный был освобожден, тогда только он пришел в себя, и к нему возвратилась способность речи.

Вот что рассказал он, когда приятели после радостной встречи сиде-

ли у костра в глубине пади и «баловались» чайком с сухарями.

– После того, как мы разошлись, – говорил он, – я направился вправо по тропе, которая, перевалив через высокий хребет, спускалась в глубокое ущелье. Я знал, что фанза близко и шел уверенно вперед. И, действительно, через полчаса показался в темноте огонек. Перейдя через ручей, я стал подниматься на крутой берег к фанзе. Мой шаги были услышаны, и из фанзы мне навстречу вышло человек пять китайцев с винтовками в руках. Это были хунхузы. Отняв от меня карабин и нож, висевший на поясе под полушубком, они втолкнули меня в фанзу, где на канах сидело еще человек десять полуголых китайцев. Я понял тогда, что попался в лапы Корявого, самого жестокого и дикого предводителя хунхузских шаек.

Корявый лежал на канах и курил опиум. Его желтое скуластое лицо, изрытое оспой, имело зверское выражение и не предвещало ничего хорошего. Увидев меня, он перестал курить и, смерив мою фигуру долгим испытующим взглядом, сказал по-китайски:

– Это тот русский охотник, который выдал наших китайским властям в прошлом году. Пощады ему не будет! Теперь звериная ночь, и Великому Вану нужна человеческая жертва. Отведите его на перевал Лао-Сун-Лин и там привяжите к дереву. Если Ван пощадит его, – значит так угодно Всевышнему! Если нет, то справедливый суд совершится! Я сказал. Идите!

Сказав это, он снова лег на циновку и, не обращая ни на кого внимания, занялся курением.

Четверо здоровенных хунхузов, поговорив между собой и связав мне руки крепкой веревкой, вышли из фанзы. Затем, приказав мне следовать за собой, двинулись по тропе, вверх по косогору на хребет. Передний хунхуз освещал путь смоляной лучиной, которая горела, как факел, бросая красноватые лучи в чащу леса.

Шли мы довольно долго, вероятно часа полтора, причем, не доходя до перевала версты две, свернули в сторону и, выйдя на тигровую дорогу, быстро достигли седловины. Здесь меня поставили спиной к старому кедру и, закинув руки назад, привязали, туго закрутив узлы веревок. Ноги мои были свободны, но я не мог сойти с места и должен был стоять в ожидании прихода Великого Вана, судьи и палача.

Сделав свое дело, хунхузы ушли, пожелав мне на прощанье «доброй ночи».

Таким образом, я остался один на высоком горном перевале. Со всех сторон смотрела на меня темная дремучая тайга. Вверху, над горными хребтами, сияло звездное небо. Мороз был сильный, но я не ощущал холода, так как находился в возбужденном состоянии, стараясь освободиться от веревок, крепко притянувших мои руки к стволу дерева.

Но, не смотря на все мои усилия, я не мог ослабить веревочных петель! Проклятые хунхузы стянули их «мертвыми узлами».

Положение мое было безнадежно! Я усердно молился Богу, прося его избавить меня от мучительной смерти в когтях хищника! Почему-то я был уверен, что молитва моя будет услышана!

Всматриваясь в темную чащу леса, я видел там горящие глаза кровожадных зверей и их полосатые могучие фигуры! Но это было только в моем воображении! Недра тайги были по-прежнему безмолвны и непроницаемы для взора.

Я чувствовал, что рассудок мой начинает мутиться при одном представлении появления тигра и мучительной смерти от удара его ужасных лап и зубов! Я знал, что по этой тропе каждую ночь ходит старый хищник, и просил Бога отклонить его путь в другую сторону.

Как прошла эта кошмарная ночь, я плохо помню, но, когда на востоке загорелась заря, я воспрянул духом, и у меня появилась надежда на спасение! Откуда оно должно было прийти, я не знал, но вера эта с увеличением света и нарастанием дня все увеличивалась.

Когда я увидел первый солнечный луч, пробившийся сквозь темную чащу хвои, я понял, что Бог услышал мою молитву и спас меня. Теперь, при свете дня, я с новой энергией начал освобождаться от веревок и освободился бы, если бы ты не пришел сюда.

Я уверен, что твой путь на перевал указан был тебе свыше, иначе я не могу объяснить своего спасения. Видно, мне не судьба погибать в когтях тигра!

Так описывал мне свои кошмарные переживания мой товарищ по охоте, но, когда я рассказал ему свою ночевку у костра в ближайшем соседстве с хищником, он воскликнул, сделав крестное знамение:

- Да! Теперь я вижу, что меня спас сам Бог! Он отвел тигра, шедшего на перевал! Если бы не это, он растерзал бы меня, как кот мышонка!

Я вполне разделял его мнение, еще более убеждаясь в проявлении воли Всевышнего и в неизбежности судьбы.

Всматриваясь в своего собеседника, я был поражен происшедшей с ним переменой: вся голова его с пышной раньше шевелюрой темно-каштановых волос была белой! Он поседел в одну ночь! Черты лица его как будто также изменились; морщины на лице, в углах рта стали глубже, нос заострился, и в глазах появилось какое-то скорбное выражение.

Только сильные душевные переживания и нравственное потрясение могли произвести такую небывалую метаморфозу во внешности человека! Впоследствии я заметил перемену и в его характере: из веселого жизнерадостного юноши он стал угрюмым нелюдимым человеком.

Этот жизненный эпизод, перевернувший всю его психику, оказал влияние на всю его жизнь: он навсегда отказался от охоты, хотя природу любил по-прежнему, до обожания.

Посидев еще немного у костра, мы двинулись по компасу к северо-

востоку, на линию КВжд, избегая троп и звероловных фанз, где могли снова встретиться с шайками хунхузов Корявого.

Через два дня скитаний по тайге мы вышли на станцию Ханьдаохецзы, где по моему указанию была сформирована из заамурцев команда разведчиков, под начальством известного охотника и стрелка, поручика Альбова, получившего задание во чтобы то ни стало уничтожить шайку Корявого.

Команда его состояла из двадцати надежных солдат, с которыми поручик Альбов и отправился к югу от Ханьдаохецзы в дремучие кедровники Мотяньлина, где хунхузы находили надежное убежище.

Задача была нелегкая, так как шайка Корявого состояла из ста человек, прекрасно вооруженных и знакомых с местностью, но благодаря находчивости и смелости заамурцев шайка была ликвидирована.

Головы Корявого и шести его помощников были принесены заамурцами на станцию Ханьдаохецзы и по приказанию китайских властей вывешены на частоколе у китайского поселка для устрашения других хунхузов, скрывавшихся среди мирного населения.

Эти трофеи долго еще висели на столбах частокола, пугая своим видом мирных обывателей станции.

Огромная скуластая голова Корявого повешена была выше всех. Открытые глаза ее, с желтыми белками, смотрели мертвым взглядом на далекие лесистые горы, и, казалось, веки их шевелились, но это был обман зрения: большие зеленые мухи под лучами весеннего солнца оживились и летали роями над частоколом, садясь на глаза и оскаленные рты хунхузских голов. Длинные черные косы их, блестя на солнце, извивались, как змеи, в палках частокола, и налетавший ветер развевал космы волос, шурша желтой листвой, сохранившейся в ветвях изгороди.

У некоторых голов глаза были выклеваны воронами, и они производили еще более страшное впечатление своей дикой уродливостью.

Сбоку на шесте, у самой дороги виднелась доска с китайскими иероглифами, гласившими следующее:

«Здесь находятся головы семи разбойников, убитых с оружием в руках, среди них голова главного вождя Корявого, который не подчинился закону, за что и понес заслуженную кару. Так будет со всяким, нарушившим справедливые законы Китайской Империи».

Русские, проходя мимо этого лобного места, смотрели с любопытством и отвращением на головы хунхузов и про себя говорили: «Собаке собачья смерть!» Китайцы читали надпись и, созерцая окровавленные головы своих соотечественников, глубоко вздыхали и молча продолжали путь.

Печатается по: Байков Н. У костра. Таньцзин, 1939. С. 35-45.

Проза

ЛАНЦЕПУПЫ

Полстолетия тому назад Восточная Сибирь представляла собой действительно «Далекую окраину» или «Дальний Восток», как ее обыкновенно называли российские обыватели. Чтобы добраться до ее крайних восточных пределов, то есть до берегов Тихого океана, надо было «скакать» десять тысяч верст через всю Сибирь или «болтаться» по «морю-океану» сорок дней и сорок ночей! Обыкновенно тех, кто решался ехать в эти «гиблые места», провожали, как на тот свет! И недаром, так как люди, забравшиеся на Дальний Восток, почти никогда не возвращались к себе на родину и, постепенно теряя с ней связь, становились «камчадалами», то есть людьми со своей особенной психологией и мировоззрением.

Эта оторванность от родины, суровые условия жизни в диком безлюдном крае, отсутствие культурных интересов и сравнительная материальная обеспеченность выработали особый тип дальневосточной интеллигенции, отличавшейся от коренной российской своим широким размахом, деловитостью, энергией и предприимчивостью, но в то же время бесшабашным легкомыслием, самодурством и беспечностью.

Служилый элемент, хорошо обеспеченный материально и не угнетаемый исполнением своих обязанностей, в большинстве случаев не знал, куда девать свободное время. Культурных развлечений, библиотек и научно-просветительных учреждений в то время здесь не было вовсе, но зато в изобилии представлены были кафэ-шантаны, кабачки и различные игорные притоны, поэтому ничего нет удивительного, что многие здесь опускались окончательно, спивались и влачили жалкое существование.

На этой почве возник здесь знаменитый «орден ланцепупов» или общество людей, поставивших себе целью, за отсутствием каких бы то ни было культурных интересов, сильные ощущения.

Члены этого необычайного общества давали клятву подчиняться выработанному уставу под страхом жестокой кары, а также хранить тайну деятельности и собраний ланцепупов. В члены общества принимали с большим ограничением и разбором только людей вполне надежных, выдержавших целый ряд предварительных испытаний.

Само собой разумеется, главным двигателем и возбудителем энергии у ланцепупов была водка, спирт, коньяк и вообще крепкие напитки, под влиянием которых совершались такие дела, от которых трезвый благоразумный человек мог прийти в ужас. Но надо отдать справедливость господам ланцепупам, все деяния их, по существу, не имели в себе ничего преступного, безнравственного и противообщественного. Они не задевали ничьих интересов и не причиняли никому зла.

Власть предержащая смотрела на них сквозь пальцы, так как в ланцепупах состояли иногда люди «с весом» и с положением.

С течением времени, когда связь с Россией была налажена постройкой Сибирского Великого пути и КВжд, когда край приобщился к культуре и просвещению, когда появились здесь другие люди с иными взглядами, идеями и мировоззрением, ланцепупы начали вырождаться, сокращать свою деятельность и, в конце концов, исчезли совершенно, оставив по себе легендарную память в виде трагикомических персонажей далекого прошлого.

Любители сильных ощущений и искатели приключений, ланцепупы пользовались благосклонной снисходительностью общества и до известной степени покровительством сильных мира сего, в силу чего все их причуды и экстравагантные выходки сходили им с рук и были даже предметом восхищения скучающей окраинной интеллигенции.

В своем искании сильных эмоций и душевных переживаний они были чрезвычайно изобретательны и всегда находили способы и случаи испытать свою смелость, доходящую до безумия, выдержку и хладнокровие даже там, где предприятие сопровождалось смертельным риском.

Психологически это явление можно объяснить избытком потенциальной духовной и физической энергии, а также отсутствием культурного развития большей части нашей дальневосточной бюрократии, поле деятельности которой в диком малоисследованном крае могло быть огромно и даже безгранично.

Азартная игра в карты, беспробудное пьянство, кутежи и опасная охота по крупному зверю не удовлетворяли вкусов и желаний ланцепупов: они искали более сильных ощущений, связанных с риском для жизни.

Излюбленным развлечением у ланцепупов была «игра в кукушку», она состояла в том, что играющие запирались в большую комнату с заряженными револьверами в руках; тушился свет; по очереди один из играющих кричал кукушкой, тогда все остальные стреляли на голос; открывался свет и проверялись результаты выстрелов.

Само собой разумеется, все играющие были без обуви, чтобы не было слышно шагов; играющий, крикнув кукушкой, моментально бросался в сторону или на пол, иначе ему грозил расстрел. Игра продолжалась до тех пор, пока все присутствующие не прокричат «куку».

Справедливость требует упомянуть, что пьяные в игру не допускались, как и во всех выступлениях ланцепупов.

Игра в «Звездочку» состояла в том, что участвующие садились на пол, ногами друг к другу и головами врозь, посредине ставилось ведро с водкой. Играющие кружками черпали водку и пили до тех пор, пока, потеряв сознание, не откидывались назад, то есть на спину. Кто ложился последним, тот выигрывал банк. В конечном результате, под конец игры, играющие располагались на полу в виде звезды.

Игра в «Тигра» в общем напоминала игру в «Кукушку», с тою разни-

цей, что очередной не кричал «куку», а бегал среди играющих, которые стреляли в него, по звуку его шагов. Эта игра считалась наиболее опасной и рискованной, так как роковую пулю мог получить не только «тигр», но и любой из «охотников».

Не менее опасной была игра в «Рыбку». Играющие выезжали на шлюпке в море, взяв с собой ведро водки или коньяку. Пили до тех пор, пока играющие не ложились на дно лодки. Все искусство заключалось в том, чтобы не упасть за борт в пьяном виде. Шлюпка с «мертвым» грузом носилась по волнам, пока не прибивало ее к ближайшему берегу. Случалось, что ее уносило в море и тогда погибали все играющие.

Летом ланцепупы устраивали пикники в тайгу, которая подходила тогда к самому Владивостоку. Здесь, на лоне природы, они придумали оригинальную игру в «Хунхуза». Играющие разделялись на две партии и расходились в тайге шагов на пятьдесят-сто. Посредине между ними на пне дерева ставился банк, то есть коробка с деньгами.

По свистку играющие шли к банку с целью его захватить. Стрелять разрешалось только один раз на шорох, так как игра производилась ночью в глухой чаще. Игрок, захвативший банк, делил его между членами своей группы.

Изобретательность ланцепупов была неистощима, так что перечислить все их «игры» нет никакой возможности. Достаточно и приведенных, чтобы составить себе понятие о «невинных» развлечениях доблестных россиян, заброшенных судьбой на пустынные берега Тихого океана. У моего почтенного читателя, вероятно, явится недоуменный вопрос: сколько же убитых и раненых оставили после себя храбрые ланцепупы?

На это могут ответить только они сами, так как в свои тайны они никого из посторонних не посвящали, и начальство смотрело на все их проделки «сквозь пальцы». Лично я не вижу в этом ничего преступного и предосудительного. Как ни странно, но в этом выражались широта натуры, удаль и самобытность русского человека.

Печатается по: Байков Н. У костра. Таньцзин, 1939. С. 46-50.

КОНТРАБАНДИСТЫ

В первые годы советовластия в Уссурийском крае граница не охранялась так строго, как впоследствии, и ее можно было перейти в любом месте, даже в непосредственной близости от постов погранстражи, которая смотрела сквозь пальцы на перебежчиков и даже в большинстве случаев помогала им, извлекая из этого значительный доход деньгами или натурой.

Это обстоятельство способствовало развитию контрабанды, которой в то время занимались не только профессионалы, местные жители приграа-

ничной полосы, но и люди интеллигентные, выкинутые за борты отечественного корабля, захлестнутого волной нашей «бескровной» революции. Не имея никаких средств к существованию и никаких возможностей заработать себе на кусок хлеба, эти люди, в силу необходимости, должны были заняться таким «предосудительным» делом как контрабанда, рискуя не только потерять «доброе имя», но и самую жизнь.

Контрабандный товар доставлялся из больших городов Маньчжурии к советской границе, а оттуда переносился на руках или вьючным способом в Никольск, Барабаш, Новокиевское и Посьет для дальнейшей переотправки во Владивосток, где находились главные склады контрабанды.

Само собой разумеется, ремесло это, сопряженное с большим риском, давало значительный доход контрабандистам, но редкому из них удавалось «поработать» более одного года, так как большая часть погибала от пуль своих же коллег или хунхузов и, в лучшем случае, бросала это дело вследствие полученных ран или болезней.

Наиболее выгодным товаром считался спирт, для переноски которого употреблялись особые жестяные сосуды, укреплявшиеся на спине.

Вес и количество переносимой контрабанды всецело зависели от выносливости и физических сил контрабандистов. В исключительных случаях этот груз достигал веса в 3 или 4 пуда! То есть предельного веса вьюка для лошади!

Среди контрабандистов встречались и женщины, но мужской костюм, скрадывая женскую фигуру, уничтожал разницу.

Почти вся приграничная полоса от Кореи до озера Ханка покрыта дремучей непроходимой тайгой, не имеющей никаких путей сообщения, кроме редких и едва заметных в зарослях тропинок, проложенных самими контрабандистами, хунхузами или зверями.

Под покровом лесных дебрей контрабандисты совершали свою «работу» партиями или артелями, двигаясь по тропам «гуськом», причем впереди шли дозорные на случай засады или внезапного нападения. Все они были вооружены револьверами и винтовками и имели при себе карманные электрические фонари. Артель обычно состояла из 10-15 человек и была подчинена своему выборному «атаману», власть которого распространялась только на время «работы». В смысле коммерческом каждый работал сам для себя, на свой страх и риск. Организация артелей вызывалась только необходимостью общественной солидарности на случай обороны при нападении.

Мой приятель В.В. Троицкий, занимавшийся одно время контрабандой в Приморье, рассказывал мне много интересных и захватывающих эпизодов из своей богатой приключениями жизни. Между прочим он передал мне один эпизод, запечатлевшийся в моей памяти.

Это было осенью 1922 г. Испробовав все возможности и способы зара-

ботать себе на хлеб во Владивостоке, мы с Недомерковым решили заняться контрабандой, для чего необходимо было приобрести знакомство в среде контрабандистов, купцов и местной приграничной администрации. Когда все это было устроено, мы примкнули к одной артели, состоявшей исключительно из интеллигенции; нашими компаньонами по «работе» были: учителя, офицеры, адвокаты, приказчики магазина, чиновники, музыканты, купцы и один парикмахер. Во главе всей этой «теплой» компании стоял старый таежник-зверобой из-под Никольска Никита Мороз. Он взялся провести нас до границы и оттуда назад звериными тропами к Барабашу, где был главный приемный пункт контрабанды.

Мы с Недомерковым взялись за спирт, который должны были нести от границы до Барабаша на расстоянии 60 верст, причем половину пути надо было идти лесом.

Большая часть членов нашей артели, конечно, не были подготовлены к совершению трудных переходов по горам и по тайге, и уже на полпути многие совершенно выбились из сил, изорвали обувь, искалечили ноги и расписались в своей неподготовленности. В особенно отчаянном состоянии оказался парикмахер и приказчики. После первой же ночевки в тайге они заявили, что дальше не пойдут и вернутся во Владивосток. Мы их не удерживали, и они с понурым видом и почти босиком отправились восвояси. Нас осталось десять человек, решивших во что бы то ни стало дойти до границы. Мы шли налегке, неся на себе только продукты и оружие, и то с непривычки многие страдали, проклиная свою судьбу. Недомерков шел молча и пыхтел, как паровоз, расправляя свои богатырские плечи и вдыхая полной грудью ароматный смолистый воздух темного кедровника, в который мы вступили, не доходя 25 верст до границы. Мы двигались без всяких мер охранения, так как нападать на нас никто не собирался.

Всю дорогу и во время привалов нас развлекал своей веселостью и неистощимым юмором адвокат К. Его анекдоты и остроумные шутки заставляли хохотать даже угрюмых и неисправимых пессимистов, не говоря уже об остальной братии, которая покатывалась со смеху. Даже молчаливый наш проводник «Дедушка Мороз», как мы его называли, улыбался себе в бороду, дымя трубкой-носогрейкой.

От его шуток, всегда невинных, доставалось каждому из нас, особенно пузатому тромбонисту, еле поспевавшему за нами на своих коротких кривых ножках. Но никто из нас не сердился на весельчака, так как он разгонял нашу грусть-тоску и невеселые мысли.

На второй день, к вечеру, дошли мы до границы без всяких приключений. Здесь переночевали на высоком горном перевале у китайской кумирни и утром, чуть свет, спустились на маньчжурскую сторону, в глубокую падь, где стояла большая фанза со складами всевозможных контрабандных товаров. Здесь состоялась сделка, и мы нагрузились. Кто взял себе

шелковые материи, кто галантерею, кто парфюмерию, кто табачные изделия, а мы с Недомерковым навьючили на себя бидоны со спиртом.

Я взял себе один бидон весом около пуда, и этот вес казался мне предельным для моих сил. Недомерков же, смеясь над моим бессилием, и вызывая удивление всей артели, нагрузил на себя четыре бидона весом около 3-х пудов.

Зная выносливость и исключительную силу своего приятеля, я не удивлялся, но китайцы были поражены силой русского и выражали сомнение в его выносливости.

Плотно позавтракав и напившись чаю, мы двинулись в обратный путь через границу. Проходя мимо пограничного каменного столба, мы задержались на полчаса, отдав положенную дань погранохране натурой, после чего беспрепятственно пошли дальше на восток, углубляясь все более и более в кедровник, который принял нас в свои темные недра и шумел над нами, качая вершинами своих старых великанов.

С непривычки нести пудовую ношу довольно трудно, и я чувствовал, что она давит на мою спину и гнет меня к земле. Я изнывал, но самолюбие не позволяло сознаться в слабости, и я шел через силу, напрягая волю и все свои ресурсы. В конце концов я свыкся со своей ношей и кое-как дотащил ее до привала. Недомерков согнулся под тяжестью груза и шагал впереди меня, как верблюд; на его лице не видно было большого напряжения, но все жилы на его бычачьей шее надулись, как веревки. Видно было, что всем тяжело, так как у всякого груз был предельный по тяжести. Музыкант Аполлонов, сверх всякого ожидания, нес на себе огромный тюк с галантереей и парфюмерией; получилось впечатление, что двигается один тюк на коротких ножках. Он буквально обливался потом, и его рачьи глаза готовы были выскочить из орбит от напряжения; но он не унывал, рассчитывая на хороший «бизнес». На все шутки юриста он отвечал куплетами из опереток и гримасами, которые приводили всех в веселое настроение.

Первый привал в тайге был довольно продолжительный, так как многие изорвали вдребезги свою обувь и до крови натерли плечи и спины от непривычки таскать тяжести. Пришлось починяться и приводить в порядок израненное и помятое тело. Здесь же на привале подошла к нам другая партия, шедшая к границе. Среди ее членов оказались общие знакомые из Владивостока. Пошли разговоры, угощение табаком и папиросами и непременное чаепитие у костра. «Будьте осторожны! – говорили прибывшие. – В Чертовой Балке засели подозрительные личности! Они вооружены винтовками и намерения у них самые определенные! Назад мы пойдем другой дорогой, чтобы миновать Чертову Балку. Хотя она и длиннее, но безопаснее».

Это известие немного нас смутило, так как мы не знали сил врага и не были уверены в своем превосходстве. Мнения разделились. Решили поста-

вить вопрос на голосование, то есть идти через Балку, или кружным путем целиной. Долго спорили и рядили и наконец, по большинству голосов, решили идти через Балку. Мы с Недомерковым были за это решение и на нашу сторону стали все офицеры, юрист и даже комик-музыкант.

Проверив оружие и патроны и поручив командование отрядом одному из офицеров генерального штаба, мы двинулись дальше по тропе с соблюдением всех тактических приемов походного движения в горном дефиле.

Был выслан вперед дозор из двух человек под командой старого таежника Дедушки Мороза.

Мы продвигались очень медленно благодаря нашей нагруженности. Приходилось часто делать привалы для передышки и отдыха.

К Чертовой Балке мы подошли вечером, когда солнце уже скрылось за зубчатыми гребнями лесистых гор и тайга погрузилась в мрак. Решено было на «военном совете» заночевать на большой поляне, чтобы иметь кругозор на случай обороны. В сторону предполагаемого «неприятеля» выставили секреты.

До Чертовой Балки было не более пяти верст, и мы решили пройти ее под покровом ночной темноты, которая являлась нашей союзницей, так как при дневном свете нас всех могли бы перебить, как куропаток.

В эту ночь, конечно, никто не спал. Сидя вокруг костра, мы вели тихие беседы и прислушивались к неумолчному шуму тайги и реву изюбрей, оглашавших горы и леса своими зычными голосами.

Наш почтенный адвокат даже в виду предстоящей опасности столкновения с «таежными волками» не изменял себе и сыпал своими анекдотами и прибаутками как из мешка. Несмотря на протесты более «мрачных пассажиров», мы его поощряли, так как он поддерживал в нас бодрость и прогонял прочь уныние и пессимизм. Один только музыкант Аполлонов ни на что не обращал внимание и, беспечно развалясь около весело трещавшего костра, спал богатырским сном, и храпел во все «носовые завертки». Его спокойствию можно было позавидовать! Даже Дедушка Мороз, смотря на его безмятежную сонную улыбку, говорил:

– Ну и барин! Видно, душенька его чиста, как голубь! Не боится смерти, которая, может быть, смотрит нам в глаза!

Ночь приближалась к концу. Предрассветный ветерок потянул из Чертовой Балки холодом и сыростью. Изюбри перестали кричать.

Навьючив на себя поклажу и повинуясь выборному «атаману», имея наготове оружие, мы двинулись в ночную темноту, спускаясь по тропе в глубокое горное ущелье, именуемое Чертовой Балкой.

На душе у каждого из нас было неспокойно. Было сознание неизбежности смертельной борьбы с жестоким беспощадным врагом. Тяжелый груз, давивший наши плечи, еще более удручал нас, стесняя движения и

свободу действий.

Мы шли ощупью, не видя ничего перед собой и чувствуя направление только по звуку шагов впереди идущего человека.

Спуск остался позади, и мы вошли в узкое горное дефиле, заросшее старым дремучим лесом. Где-то вблизи журчал ручей и в вершинах кедров перекликались филины.

Вдруг среди этой торжественной тишины спавшего леса раздался резкий звук близкого револьверного выстрела. Пораженные этим звуком, мы сразу остановились, взяв наизготовку винтовки и карабины.

Защелкали затворы заряжаемого оружия.

Настала та зловещая тишина, которая всегда предшествует буре.

Мы насторожились, готовые дать отпор нападению, и стояли молча, сжимая в руках оружие.

Но вот в этой напряженной тишине раздался глухой человеческий голос, исходивший казалось из самой преисподней:

– Стой! Не шевелись! Какие люди идут здесь, сколько их и какие товары несут с собой? Кому не хочется умирать, пусть тот положит оружие и товар на тропу, а сам идет дальше и продолжает свой путь! Через минуту будет открыт огонь с двух сторон!

После этого снова наступила тишина. Я слышал учащенное биение своего сердца, и в моем мозгу мелькнула мысль: «Пришел конец! Надо исполнить приказание или смерть!» Такие мысли, вероятно, были у каждого из нас. Мы стояли в нерешительности, ожидая расстрела.

Не прошло и полминуты, как раздался в тишине тайги другой голос, нашего проводника Дедушки Мороза; он говорил громко, и слова его до сих пор врезались в мою память:

– Нас одиннадцать человек! Все с винтовками! Товару много у каждого! В проводниках я, Никита Мороз! Если можешь – возьми товар, но без боя его не получишь!

В наступившей после этого тишине чувствовалась особенная критическая напряженность! Казалось, что вот-вот грянут выстрелы и начнется смертельный бой в темноте в рукопашную, и тогда, конечно, пощады, никому не будет. Такие мысли приходили мне в голову, когда со стороны невидимого врага раздался тот же «загробный» голос:

– Проходите! Проходите!

Мы все сразу поняли, что критическая минута прошла! На душе стало легче и даже, как будто, звериная злоба, обуявшая сердце, сменилась на добродушное презрение к врагу.

Снова воцарилась прежняя тишина, и мы, один за другим, потянулись по тропе, стараясь сблизиться, для уверенности в шаге.

– Знаешь! А я думал уже, что мы пропали! – проговорил Недомерков, шагая впереди меня, сгибаясь под тяжестью товара, булькавшего у него за

спиной.

– Ничего! На этот раз пронесло! – ответил я ему, чувствуя подъем новых сил после перенесенных испытаний.

К утру мы вышли из тайги и расположились лагерем на берегу горной речки, правого притока Суйфуна.

Сидя у костра и обсуждая между собой все перипетии минувшей ночи, мы благодушествовали, радуясь наступившему лучезарному дню и своей жизни, которой угрожала несомненная опасность.

От Дедушки Мороза мы узнали, что шайка бандитов, остановившая нас, ошиблась в расчетах, так как она поджидала другую партию контрабандистов, плохо вооруженную и состоявшую наполовину из корейцев. Откуда он имел эти сведения, для нас осталось тайной.

После этого случая я бросил рискованное ремесло контрабандиста и занялся другим делом. Хорошего понемножку!

Печатается по: Байков Н. У костра. Таньцзин, 1939. С. 56-65.

ЧЕРНЫЙ КАПИТАН
(*Отрывок из романа*)

Поединок

Как-то перед Рождеством, будучи у меня в гостях на станции Ханьдаохыцзы, Алатаев предложил мне прогуляться с ним по тайге до станции Хайлин через сопки, куда он должен был отправиться по делам службы для производства дознания.

Напрямик до Хайлина было не более сорока верст, и мы предполагали выйти к цели за один день, принимая во внимание битую тропу, соединяющую станцию Ханьдаохыцзы с Хайлином.

Одевшись по-таежному и взяв с собой чайник и продукты на два дня, вооруженные винтовками, мы выступили чуть свет, направляясь к юго-востоку через густые, дремучие кедровники, окружавшие в то время станцию, где я жил.

По пути мы решили стрелять только рябчиков, так как охота на зверя задержала бы нас в тайге на неопределенное время.

Как назло, нам постоянно попадались следы различных зверей, в особенности кабанов и изюбрей, и мы даже вспугивали их с лежек; но, не соблазняясь добычей и трофеями, мы продвигались довольно быстро по тропе, стреляя иногда глупых рябчиков, взлетавших из-под ног и садившихся тут же над нами на березы и кедры. Стрелять их приходилось в голову, чтобы не разбить туловища. Обезглавленный рябчик обыкновенно падал к нашим ногам, но некоторые, зацепившись за ветки, оставались на

дереве, тогда вторым выстрелом, срезавшим сучок, освобождали птицу. К полудню у нас за спинами уже болталось по десятку рябчиков. На этом мы и успокоились и, найдя красивое уютное местечко под скалой у корней векового кедра, расположились на отдых. Вскоре запылал костер, и тучи искр понеслись в вышину, теряясь в густой, темной хвое лесного великана. Пока закипал чайник, наше жаркое из печеных рябчиков было уже готово. Способ этот называется хунхузским и состоит в следующем: потрошеную, но неощипанную птицу зарывают в горячую золу костра, где она зажаривается в собственном соку. Жаркое это очень нежно, сочно и вкусно, но отдает немного дымом, что особенно пикантно в таежной обстановке при наличии волчьего аппетита.

Съев по одному рябчику, мы только раздразнили свой аппетит и в конце концов уничтожили полдюжины птиц без хлеба и соли. Для придания кушанью остроты взамен соли и перца мы начиняли рябчика ягодами рябины, отчего мясо становилось ароматным и вкусным. Чая и сахара мы с собой не взяли, но заменили все это стеблями лимонника, дававшими полную иллюзию чая с лимоном.

Пообедав плотно и опорожнив по пяти кружек чая, мы двинулись дальше и вскоре пересекли совершенно свежий след колоссального тигра.

– Эге! – произнес мой приятель, измеряя рукой гигантский круглый след владыки тайги. – Я таких следов еще не видел! Вероятно, это сам Великий Ван. Дядя с весом! Пудов на двадцать! Не пойти ли нам за ним? Авось подфартит нам, и мы добудем его скоро. Любопытно даже посмотреть на такого великана! – сказав это, Алатаев посмотрел на меня вопросительно.

– Ну что ж! – отвечал я. – Идти так идти! Времени терять нечего: осталось до заката солнца немного. Может быть, на наше счастье зверь не ушел далеко.

Осмотрев свое оружие и посоветовавшись, мы двинулись по следам хищника, которые увели нас в противоположную сторону, то есть к северу, где вздымался крутой отлог главного кряжа, поросший частым ельником. Предполагая, что тигр заляжет на гребне хребта, мы пошли наперерез его направлению и вскоре услышали характерный звук его шагов по замерзшему насту, образовавшемуся на самом гребне в снежных надувах. Зверь шел недалеко от нас, но разглядеть его в густых зарослях молодого ельника не было никакой возможности. Мы ускорили шаги, стараясь его догнать, но тонкий слух хищника предупредил его об опасности, и он, постояв несколько секунд на перевале, спустился по другую сторону гребня и ринулся вниз под откос прыжками. Когда мы достигли перевала, тигр был уже далеко и преследовать его уже не было смысла.

– Экая досада! – произнес Алатаев, снимая папаху и вытирая платком вспотевший лоб. – А счастье было так возможно, так близко! Ну, Пенсне!

Теперь для очистки совести спустимся в падь и посмотрим, куда он пошел дальше. Если нам не по пути – плюнем на него и двинем на Хайлин.

– С тобой хоть на край света, мой милый Черный капитан! – отвечал я в тон своему приятелю, подтягивая потуже пояс.

Идя по следам хищника, мы убедились, какие гигантские прыжки может делать эта кошка. Один из прыжков, измеренных нами, достигал пятнадцати шагов!

Спустившись в глубокую падь, мы вышли на тропу, которая привела нас к фанзе зверолова. Услышав наши шаги, хозяин, старичок маньчжур, вышел нам навстречу и пригласил к себе «суте» и «чифань», то есть спать и кушать. Было уже поздно. Солнце пряталось уже за лесистым гребнем Чжан-Гуанцайлина, и в тайге протянулись ночные тени. Луна всходила поздно, а идти по дремучему лесу в темную ночь нам не улыбалось, поэтому мы решили заночевать в фанзе, приняв приглашение старого зверолова. На этот раз мы для ужина сварили трех рябчиков в котле и угостили хозяина. В свою очередь он угостил нас ароматным китайским чаем с эйнемовским печеньем, что привело нас в недоумение. На наш вопрос, откуда у него русское печенье, старик не мог нам толково ответить, и мы терялись в догадках. Найденные нами трехлинейные патроны и гильзы на одной из полок в фанзе вместе с печенье навели нас на мысль, что здесь бывают хунхузы. На наши вопросы старик отвечал:

– Хуза мэю!

Но мы ему не поверили и на всякий случай, ложась спать, не разделись и винтовки держали при себе. На теплых канах было так уютно, что вскоре мы заснули, накрывшись меховым одеялом, чистота которого находилась под большим сомнением.

– Что, тебя кусают? – спросил меня сквозь сон Алатаев.

– Конечно, кусают! – отвечал я, почесываясь и переворачиваясь на другой бок. – Но это пустяки в сравнении с вечностью и соленым огурцом. Не обращай на это внимания и покорись судьбе. Сегодня мы ели вкусных рябчиков, а ночью нас будут есть насекомые. Все это в порядке вещей и вполне естественно, а потому рекомендую тебе поскорее погрузиться в объятия Морфея, или, как говорят брамины, в нирвану.

Старый зверолов долго еще возился у очага по хозяйству, но наконец и он улегся рядом с нами на кан и вскоре захрапел.

Под утро, когда тусклое бумажное оконце начало светлеть, я проснулся от какого-то шума, доносившегося из тайги. Слышались голоса и далекие сигнальные свистки. Хозяина в фанзе не было. Накинув тулуп, он куда-то вышел. Алатаев крепко спал, завернувшись с головой в одеяло. Зная по опыту значение этих звуков, я сразу понял, что это хунхузы, а потому, недолго думая, бросился к дверям, чтобы запереть засовом, но тут же столкнулся с хозяином фанзы, который взволнованным голосом проговорил:

– Капитан! Шибко худо есть! Хуза юдеши ю! Ига сот хуза. Старшинка Корявый требует сдачи оружия!

Алатаев, услышав сквозь сон последнюю фразу пика, вскочил как ужаленный с кана и, схватив Щитовку, выбежал из фанзы, крикнув мне на ходу:

– Пенсне! За мной!

Выбежав во двор, Алатаев остановился посреди поляны и, положив винтовку на плечо, крикнул повелительным голосом, обращаясь на китайском языке к хунхузам, засевшим на опушке леса вокруг фанзы:

– Я – Черный капитан! Если ваши пули и убьют меня, то знайте, что полтораста казаков и заамурцев придут сюда, и ни один из вас не уйдет живой! Все вы погибнете! Ваши пули мне не страшны! Вас много, нас двое. Вы прячетесь, как трусливые зайцы, в кустах. Пусть один из вас, если вы храбры, выходит на бой со мной и стреляет в меня первый, – сказав это, Алатаев не спеша снял с плеча винтовку и приготовился к стрельбе.

Тогда на окраину опушки вышел один хунхуз и, крикнув что-то товарищам, стал целиться из карабина в Алатаева. Это был сам предводитель Корявый, славившийся храбростью и удачей.

Раздался выстрел. Все ожидали, что Черный капитан будет сражен пулей на столь близком расстоянии, но он стоял как ни в чем не бывало и, подняв винтовку к плечу, произнес:

– Я знаю, что ты храбрый человек и хороший стрелок, но твои пули застревают у меня в кармане. Я мог бы тебя убить немедленно, но твоей смерти мне не надо. Возьми обратно свою пулю, может быть, она пригодится тебе когда-нибудь, – с этими словами Алатаев опустил свою винтовку и, подозвав к себе Корявого, передал ему свинцовую пулю, вынутую из кармана.

Корявый был до того убит и угнетен всем происшедшим, что производил впечатление загипнотизированного. Чтобы не потерять окончательно свое обаяние и престиж у хунхузов, он дружески поздоровался с Алатаевым и громко проговорил, чтобы все слышали:

– Я не знал, что имею дело с Черным капитаном. Я не хотел убивать тебя и стрелял в воздух, но ты мою пулю перехватил, так как ты чародей. В тебе сидит душа Великого Вана. Иди своей дорогой, а мы пойдем своей. Прощай! Встречу с тобой я никогда не забуду, – произнеся эти слова, предводитель отдал приказание своему отряду двигаться дальше, а сам подошел к маленькой божнице, стоявшей вблизи фанзы, и зажег молитвенную свечу, ударив семь раз в чугунный колокол, висевший на нижних ветвях старого кедра. Басовые звуки его, вибрируя на одной ноте, неслись в глубину тайги и медленно замирали в ее недрах. Вождь хунхузов молился великому духу гор и лесов и благодарил его за спасение от смерти. Постояв на коленях перед изображением Великого Вана и посмотрев на восток, где разгоралась розовым пожаром утренняя заря, он встал и, вскинув за плечи

карабин, отправился вслед за своим отрядом.

Старый зверолов, на глазах которого Черный капитан одержал такую блестящую победу над хунхузами, по уходе Корявого бросился на колени перед Алатаевым и, кланяясь ему в ноги, просил прощения за то, что не предупредил нас своевременно о появлении хунхузов.

Подняв дрожавшего старика, Алатаев обласкал его и, хлопая его по плечу, сказал по-китайски:

– Не бойся, старик! Я не сержусь на тебя, так как я раньше тебя знал о приходе хунхузов и был уверен, что они нас не тронут! Спасибо за гостеприимство и приют, а это тебе плата за ночлег и за беспокойство.

С этими словами Черный капитан вынул из кармана золотой в десять рублей и подал старику.

Сначала тот наотрез отказался взять деньги, а потом, подумав, взял монету и, заложив за щеку, ушел к себе в фанзу готовить завтрак и чай.

Закусив жареными рябчиками и напившись чая «с лимоном», мы вышли на тропу и направились на юг, к станции Хайлин, до которой было не менее тридцати верст, к полудню мы вышли из темного кедровника в светлые дубняки, где на каждом шагу попадались свежие следы зверей и даже тигров, но это нас не соблазняло, и мы ходко шли по битой тропе, делясь впечатлениями минувшей ночи, чреватой интересными приключениями.

– Знаешь, Вадим, – говорил я своему другу, шагая ему вслед, – я думал уже, что нам придется бежать в тайгу и там отстреливаться от хунхузов, но вышло иначе после того, как ты вызвал Корявого на поединок. Но я не могу еще до сих пор понять, почему он тебя не убил? Ведь стрелок он хороший.

– Видишь ли, мой друг! – отвечал мне Алатаев, не оборачиваясь и не убавляя шага. – Здесь главную роль играет психология. Я воспользовался только моментом и, зная психику этих детей природы, сразу взял инициативу в свои руки. Если бы мы бежали, то нас перестреляли бы как куропаток. Вызвав предводителя на поединок, я подействовал на их воображение, а пуля Корявого, которую я якобы перехватил, находилась в моем кармане на всякий случай. Это произвело на них огромное впечатление, и они убедились в правдивости слухов о моей неуязвимости. Их воля была подавлена и подчинилась моей воле. Корявый целился в меня хорошо, но в последний момент рука его дрогнула, и пуля просвистела у меня над головой. Перед тем, как нажать на спуск, он понял, что перед ним стоит страшный Черный капитан и что стрелять бесполезно. Как видишь, Пенсне, ларчик открывался просто. А в общем, все это ерунда в сравнении с вечностью и соленым огурцом, как говорят оптимисты вроде тебя... А вот, кстати, видна уже станция Хайлин! Еще осталось ходу полчаса.

Мы спускались с последнего увала и приближались к поселку. Прощальные лучи заходящего солнца горели золотыми бликами в окнах стан-

ционных зданий и переливались радужными огнями. Темнело быстро. Дым из фанз китайского поселка подымался столбом к темно-синему небу, в глубине которого ярко блистала Вечерняя звезда. Алатаев был в хорошем настроении и, по обыкновению, насвистывал какой-то веселый мотив шансонетки.

Печатается по: Байков Н.А. Черный капитан. Изд. 2-е. Брисбен, 1959. С. 105-109.

ДАНЬ ВЕЛИКОМУ ВАНУ

В прежнее время наилучшие охотничьи угодья находились к югу от станции Ханьдаохецзы, в верховьях рек Хайлинхэ и Лалинхэ, в районе горы Татудинза, скалистая вершина которой вздымалась к небу на высоту 2000 метров, в центральной части станового хребта Лао-Лина. Здесь, в дремучих лиственных, смешанных и хвойных лесах, было много всякого зверья, как мясного, так и пушного. Здесь находился центр пушных зверей: соболя и белки.

Весь район этот, с самых древнейших времен, был разбит на промысловые участки, где находились фанзы звероловов, обыкновенно на берегу горного ручья или речки. От фанзы шли таежные тропы по ловушкам. Расстояние между фанзами было не менее пяти километров и не превышало десяти с таким расчетом, чтобы хозяева участков не мешали друг другу.

Весь район, занимавший огромную площадь в 10000 квадратных километров, изрезан высокими горными хребтами, покрытыми девственной тайгой, которую местные жители обыкновенно называли «Шухай», т. е. Лесное море.

Здесь была своя особенная жизнь и сохранился древний быт, очень далекий и чуждый современной культуре и цивилизации. Здесь доминировал «Закон тайги», жестокий с точки зрения обывательской морали, но рациональный и неизбежный. Властелином здесь был не человек, а дикий зверь, которому подчинялось все живое, не исключая и человека.

Царем и владыкой Шухая был, несомненно, Великий Ван, т. е. тигр, пользовавшийся не только почетом и уважением среди маньчжуров-таежников, но и особым обаянием, как существо высшего порядка, обладавшее сверхъестественной силой и духовными качествами.

Мы, русские охотники, промышлявшие зверя в этом районе, конечно, не разделяли взглядов полудиких маньчжуров-таежников и на Великого Вана смотрели как на обычный объект охоты наравне с кабаном, медведем, оленем и косулей. Это не только коробило и возмущало местных аборигенов тайги, но и побуждало их предпринимать свои меры для защиты священного животного от нападений жестоких «северных варваров». Спасая жизнь Великого Вана, они угоняли его вглубь тайги, подальше от пуль рус-

ских зверобоев. Умный зверь как будто понимал своих защитников, но это лишь как исключение – т. е. на их обозных лошадей и скот он все равно нападал, и им приходилось отражать его нападения

Во время моих скитаний по тайге восточной Маньчжурии мне, конечно, неоднократно приходилось встречаться с тиграми и даже охотиться на них, но ни разу я не подвергался внезапным нападениям. При встречах они всегда спешили уйти, и только раненые бросались на меня из засады.

Зимой, во время ночевок у костра, тигры очень часто бродили вокруг становища, но огонь всегда удерживал их от нападения. Но вот, однажды, после удачной охоты на кабанов, мы с промышленником Афанасенко перетащили всех трех убитых кабанов к табору, после чего мой товарищ, напившись чаю, отправился на ближайший хутор за подводой для вывоза дичи к линии железной дороги.

Я остался один на таборе. Настала темная таежная ночь. Подбросив дрова в костер, я собирался уже расположиться у костра на ночлег, как услышал сначала далекие, а потом совсем близкие голоса зверей. Это были тигры. Их рев напоминал отдаленные раскаты грома.

Наступили так называемые «звериные ночи», когда тигры сходятся вместе, дерутся из-за самок и ревут, приводя в трепет всех обитателей тайги.

Зная, что огонь удержит их от нападения, я был совершенно спокоен и, засыпая, прислушивался к этим звукам первобытного леса как к чудной симфонии или гимну первозданной природы.

Но вот голоса стали громче. Хищники подошли к самому становищу, потрясая своды дикой тайги своим оглушительным ревом. Я слышал уже их хрустящие шаги по мерзлому снегу, их сердитое ворчанье и хриплое дыханье из гигантских легких. Всматриваясь в темноту зарослей, я видел блуждающие огни их круглых зрачков, направленные на меня. Судя по этим огням, хищников было не менее трех. Они бродили вокруг становища, и было видно, что их удерживал от нападения только лишь огонь костра.

Кабаны были сложены нами в одну кучу в шагах в десяти от костра. Не было никаких сомнений, что они видели и чуяли легкую добычу, и намеревались ею овладеть, но костер сдерживал их порывы.Очевидно, звери были голодны и способны на все для утоления голода.

Чтобы напугать зверей, я сначала хотел стрелять в них из винтовки, но потом раздумал, так как на верный выстрел в темноте нельзя было рассчитывать, а выстрел наугад мог раздражить хищников и побудить их к нападению.

Держа винтовку в руках и стоя у костра, я все время вертелся, как волчок, оборачиваясь в ту сторону, откуда ждал нападения. Положение становилось критическим и почти безвыходным, но вот в мозгу у меня

мелькнула мысль: отдать голодным зверям одного кабана, тогда они оставят меня в покое!

Но как это осуществить? Я терялся в догадках и наконец решил оттащить одного кабана в сторону от костра.

Не долго думая, взял на всякий случай в левую руку винтовку и горящую головню, а в правую – веревку, привязанную к рылу кабана, я стащил его с общей кучи и поволок в сторону от костра. Отойдя шагов сто, я остановился и, бросив кабана, двинулся в обратный путь, все время кругообразно махая горящей головней.

Этот маневр мне удался вполне: тигры затихли, внимательно наблюдая невиданное и необычное зрелище. Очевидно, они были до того ошеломлены и озадачены, что на время потеряли способность соображать, а когда опомнились, дело было сделано! Это так подействовало на их психику, что они долго не издавали ни одного звука и сидели в чаще, притаившись, смотря во все глаза на человека, вокруг которого пылало и искрилось огненное кольцо!

Только когда я вернулся к костру и занялся его увеличением, подкладывая побольше дров, они решили подойти к туше кабана, и один из них, вероятно, старый самец, оттащил его подальше от табора, шагов на триста в чащу, где они его и начали пожирать, громко чавкая и мурлыкая от удовольствия.

Так как кабан был небольшой, всего пудов на пять, я оттащил им в то же место еще одного молодого, пудов на шесть, так как один не мог удовлетворить их аппетита. У нас на таборе остался один большой кабан, пудов на десять, что для нас было вполне достаточно.

Покончив с одним кабаном, тигры принялись за второго и, оттащив его в сторону, занялись насыщением, причем слышались их голоса, мяуканье и шипение, как это делают кошки во время еды. Это продолжалось почти до рассвета. Утолив свой голод, хищники ушли в глубину тайги, и могучие голоса их постепенно затихли.

Само собой разумеется, в ту ночь спать мне не пришлось, так как мне было не до сна. Я должен был спасать свою жизнь, пожертвовав частью охотничьих трофеев!

Рано утром, едва только первые солнечные лучи осветили скалистую вершину Татудинзы, мой приятель вернулся на табор с подводой. Узнав от меня о ночном визите тигров, которым я отдал часть нашей добычи, он рассмеялся и сказал:

– Ну что ж! Великому Вану надо было заплатить дань, как полагается по закону тайги! Тут ничего не поделаешь! Вот вывезем свои трофеи на станцию, а потом опять придем сюда и сделаем визит самому Вану, иначе он обидится и подумает, что мы неучи и не знаем приличий!

Маньчжур-возчик, узнав, что здесь ночью были тигры, сильно пере-

пугался, опасаясь за целость своих лошадей, но мы его утешили хорошей порцией крепкого рома, после чего он изъявил согласие везти кабана на станцию, до которой было не менее сорока километров.

Исследовав следы хищников, мы выяснили, что их было четыре: один старый самец пудов на 15, затем большая самка пудов на десять и два молодых тигра пудов по шести, вероятно, ее дети. От наших кабанов почти ничего не осталось, если не считать требушины и кишек, которые тигры не едят.

Через неделю мы снова были в тех местах, но нанести визит Великому Вану так и не удалось, так как звероловы, узнав о наших намерениях, угнали хищников из этого района далеко, в верховья Лалинхэ, к западу от горы Татудинзы, куда мы, конечно, не пошли за дальностью расстояния от линии КВжд.

Звериные ночи кончились, и тайга по–прежнему была тиха, безмолвна. Только изредка ее оживляли крики филина, писк рябчиков да постукивание дятлов в вершинах сухих кедров.

Впервые опубликовано и печатается по: Австралиада. 2003. № 34. С. 43-45.

Проза



Борис Васильевич БЕТА (1895-1931)

Поэт и прозаик Борис Бета (настоящая фамилия Буткевич) родился 10 июля (ст. ст.) 1895 г. в имении Надеждино Уфимской губернии в дворянской семье. После окончания классической гимназии поступил в Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге. Штабс-ротмистр 5-го гусарского Александрийского полка. Под псевдонимом «Борис Бета» печатал стихи во владивостокских газетах «Владиво-Ниппо», «Голос Родины», «Вечерняя газета». Жил в Харбине, Шанхае. В 1924 г. переехал во Францию, жил в Марселе. Работал портовым грузчиком, пастухом, носильщиком, кочегаром. Много бродяжничал. Печатался в коллективном сборнике «Парнас между сопок» (Владивосток), газете «Возрождение» (Париж), журналах «Новый дом» (Париж), «Новый корабль» (Париж), «Числа» (Париж), «Врата» (Шанхай), «Рубеж» (Харбин) и др. Входил в русско-сербскую литературную группу «Ступени» (Белград). Умер 8 августа 1931 г. в госпитале Консежион в Марселе от туберкулеза. Испытывая жестокую нужду, еще при жизни продал свое тело, и после смерти поэта оно было отдано в анатомический музей.

Ист. и лит.:
Берберова Н. Смерть Буткевича // Последние новости. 1931. 3 сентября.
Гребенюкова Н. Одиночество в раме. Жизнь и творчество Бориса Беты // Словесница искусств. 2010. № 25.
Щербаков М. На смерть Б.В. Буткевича // Понедельник. 1931. №2. С. 156–160.

СНЫ

Н.М. Ямаучи

Рассказывать об этом почти не возможно – по трудности заинтересовать читателя. Ибо сны – всегда чересчур личны, они обязательно нуждаются в пояснениях, которые протяжны и путаны.

Жизнь сладостна. И прелесть существования, радость пользования чувствами, тайная внутренняя дрожь, – это порою открывается уставшему духу в снах, в их аттической прохладе и безмолвии – так в снах заряжаемся мы жаждой жизни.

Сны прекрасны. Истома сновидения порою живет до вечера, до забвения, до потери сознания, когда в темноте устроишь покойно голову на прохладной подушке, уже забываешь настойчивые шелесты, дуновения в открытое окно… Но можно ли желать непробудного сна, можно ли жить только снами, их невыполненной тревогой, божественным безмолвием летейских просторов.

Но случается, живешь день в день спокойно и равнодушно, пересаживаешь незабудки на клумбах и окучиваешь, точно картофель, угрюмое сознание; за обедом говоришь о политике – о том, что пишут в газетах и совершенно чужды все эти конференции; и вот опять перед сном читаешь комфортабельного бродягу Крымова или вспоминаешь пыль Заволжья над

молодым Толстым, – о, все это бытие, как бабушкин гарус, а ночами ничего не снится. Ибо достаточно сонно было весь день.

…Утро началось для меня в седьмом часу. После трех дней серых небес, настойчивого дождя – баснословно гляделась лазурь и сверкающие медленным, точно музыка Шумана, облака и густая темная зелень. А непросохшие дорожки, качая тени и солнечные пятна, представлялись дорогами одинокого полного счастья. Прекрасна была отразившая зелень кустов, лужа на теннисе – почти во всю длину левого коридора.

Самое лучшее в такое парное утро – отправиться в пешую прогулку. Так я и сделал. Я начал путь с мокрой от умывания головой, опираясь на белую освежеванную палочку. Ранняя прохлада поощряла меня.

Залив был точно завешан, затянут вплотную над водой серебристым шелком, но вода проступала лазорево. Горы на том берегу были туманны, не остры. Было полное безлюдие на песке вокруг купальных будок, а сами будки казались свежеокрашенными…

Почти в одиночестве прошел я три с лишком версты. Лишь двое ходей разминулись со мной на обочинной дорожке у рельс: подтанцовывая, пронесли свои плавные шесты с повешенными корзинами – ледиска, молковка, салада, иба…

А удалившись в сопки, на широкие повороты военной дороги, вглубь от взморья, – я повстречал японский броневой автомобиль: грязнозащитный, украшенный зелеными ветками, он буксовал, шумел с перебоями на одном месте, а вокруг хватались солдаты, уже разомлевшие в зной, расстегнутые, занавесившиеся короткими полотенцами – семь человек. В моторе трещало. «Подшипники купить», – подумал во мне влюбленный в автомобили, а память тотчас изобразила, как лопнет алюминиевый картер и тавот как черная кровь, выльется на песок… Я миновал броневик. Я вспомнил, что на днях видел одного из этих желчно-смуглых людей, раздавленным поездом: измятый труп лежал между рельс, как мусор, был закидан травой и песком; протянутая на весу рука уже гляделась восковой, сделанной из воска, с неживыми, стеклянными ногтями; нечто крававо распоротое на бледной коже угловато торчало – не то бок, не то разбитое безобразное лицо, мягкие крошки, обрубки свежей говядины прилепились к рельсам, к шпалам… Смерть солдата в чужом краю, об этом поют песни. И я стал думать о войне, о воинских опасностях, вспоминал, как забавно и жутко-стремительно запрокидываются люди под расстрелом: я почувствовал острую свободу – возможность потерять жизнь, - и заговорил про себя с неведомым собеседником.

– Это все – как спорт. Иногда это матч. Единоборство с достойным, а иногда это охота, но не столько ради потехи, а суровое уничтожение зловредного, пакостного…

Две версты безлюдного подъема военной дороги, и я пришел в гости. Черный легавый Бобка залаял на цепи басисто, когда я проходил в новую некрашеную калитку, а инженер в пенсне окликнул меня из окна сеновала над приставленной лестницей, белея оттуда еще ночной рубашкой. Тени на дворе были длинные, окна в дому были раскрыты. Мой друг вышел на крыльцо босой, в купальном халате.

Все эти дни я был вдвойне угрюм. В весенние дни падали на меня осенние листья. Я писал сонеты о Стерне, о Новалисе, но это были тщетные попытки рассеяться, приобщится к иной жизни. Город опостылел мне. В него въехать не хватало у меня силы.

– И в это утро среди зеленых сопок, высоко над морем, видя и чувствуя отважную пустоту солнечного воздуха, – я вдруг понял, что смысл жизни – в путешествиях…

Позже мы лежали на большом нагретом одеяле среди кустов, на солнцепеке, – нагие загорали, принимали ванны зноя и ветра. В тенистом, пронзительно-холодном ручье мыл я ноги, обливал голову. Но отовсюду, – из-под влажных кустов, из зарослей папоротника, из глубины между облаками, в нытье автомобиля, который на первой скорости одолевает, берет где-то за деревьями подъем, – отовсюду глядела молча моя одурь, мой безмолвный сплин.

К обеду приехали гостьи. Я нисколько не обрадовался им и нарочно обедал в валенках, что забавило всех. Перед городскими белыми платьями я был совершенно спокоен со своей четырехдневной бородой, в полуразвязанном галстуке. – А потом на расстеленных одеялах, на подушках, но уже в тени, одна из гостей рассказала нам судьбу по нашим ладоням. У меня оказалась редкость на руке: царственное запястье, обещающее долголетие. Мой большой палец изобличал исключительную волю, берущую верх над рассудком, – упорное безрассудство. У меня были три линии искусства. А холм Марса развился на моих ладонях, как ни какой иной холм: храбрость, воинские способности…

– Не начать ли мне писать военные обозрения? – сказал я, смотря на волосы гадалки, испытывая ее прикосновения. Она рассмеялась.

– Больших путешествий нету… – продолжала она.

– Или вот большое путешествие… Браки. Брак один, по взаимной склонности, но он только намечается…

– И не состоится? – спросил кто-то.

– Трудно определить. Возможно, что после упорной борьбы… Но какой у вас законченный характер!

К вечеру гостьи уехали. Я лежал в темной комнате лицом к открытому окну. Мои ноги, грудь и руки до локтей открыто принимали вечернюю свежесть. Береза под окном изламывалась, шумела листвой от напористого

ветра. И мне было отрадно думать, что еще много таких вечеров я буду помнить о себе и о своих дорогах…

Спали мы с инженером на сенокосе. Мы лежали там в темноте навзничь, сосали леденцы. Темнота пахла сеном, коровьим запахом и конюшней – снизу. Звезды глядели в открытое окно, напористый теплый ветер врывался к нам… Инженер говорил:

– Помните у По рассказ об усадьбе Аргейм?

Мне очень часто помнится, точно виденное во сне, как там ведут от дому к колодцу каменные плиты, и между ними растет зеленая трава… Я это здорово хорошо вижу!..

Я промолчал. Он позевнул и сказал еще:

– Однако, я помаял сегодня хозяйку на теннисе! Голова заболела у бедняжки… А они славные, в общем, люди… Какой это Олюшке вы читали вчера сказки, уединившись?

– Олюшке? – пробормотал я, уже глубоко в мягком оцепенении дремы. – Что за чушь…

– Ну, рассказывайте!..

И вот во сне мне стало видеться чудесное и томительное. Правда, теперь, за день, я уже многое забыл, и оно волнует меня смутно. Но вот что я помню – пью медленно жаждой воспоминания:

Я видел библиотеку. Возможно, что это была национальная библиотека в Париже. Я видел только край книжных высоких полок, разноцветные корешки, тисненные золотом. А передо мной была раскрыта книга.

… И вот близко протянулась обнаженная выше локтя женская рука. Казалось, протянула неизвестная женщина у самых моих губ руку к полкам. Я увидал глаза, лицо ее. Глаза стали смотреть на меня. Мы были в странной близости: у женщины не было тела, только рука и лицо, у меня не было тела, только глаза и губы. Рука была упрямо близко, совсем касалась моих губ, обнаженная, тяжеловатая рука статуи, светлая женская рука, ясная теплотой и рисунком голубых вен. Она замедлилась. И, приняв ее своей загорелой костистой рукой, я приник губами к изгибу в локте, – ветреная свежесть сновидения…

Я проснулся. Новое утро гляделось в окно сеновала. Простыни и одеяла инженера были смяты, покинуты.

– Ты едешь в город? – кричал снизу мой друг.

– Нет! – ответил я громко и закрыл глаза. Но я открыл их тотчас, – да: ветер, опаловый залив там, в провале, голубая облачность… жизнь, жизнь…

19 июня 1922 г. Красный Мыс.

Впервые опубликовано и печатается по: Владиво-Ниппо. 1922. 2 июля. С. 2.

Проза

ЧУДЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Четырнадцатилетним Сергей Шкляр увидал во сне, что он – взрослый, с усами и участвует в хмельном побоище, ломает мебель, посуду, выбегает на улицу вблизи какого-то вокзала, и тут человек кавказского обличья поражает его бутылкой в лоб!

Сергей проснулся.

Апрельское утро было еще розово над Москвой, в комнатах, – в квартире жили четвертые сутки, – было сонно. Новое московское утро, память переезда из Харькова, временная свобода от гимназии – все это поднялось счастливой волной, прозрачно опрокинуло сон.

Жизнь Сергея Шкляра складывалась очень просто. Отец его был членом судебной палаты. Он был единственным сыном этого добродушного юриста. После двух гимназий – харьковской и московской – Сергей поступил на юридический московского университета. Это было в четырнадцатом году, и в декабре Сергей уже поехал в Тверь – в кавалерийское училище…

Все эти обязанности Сергей выполнял с готовностью, но без особого одушевления: переводить Тита Ливия или подзубривать экстерьер, дежурить в столовке на Воздвиженке или обучать смену новобранцев на полковом манеже в Борисоглебске, – почему бы не так? Но не случись войны или закройся, скажем, все юридические факультеты, Сергей, наверное, принял бы участие в конкурсе путейского института.

Все сказанное изложено отнюдь не с целью, чтобы читатель мог решить: вот непутевый юноша. Ибо это вовсе не так: разве мало между нами людей, весьма похожих на Сергея?

Итак, летом восемнадцатого года демобилизованный поручик кавалерии Шкляр находился за Волгой под Самарой в армии Кочума, комитета членов учредительного собрания: попал он сюда из пензенской губернии вместе с двоюродным братом, которого убили под Сызранью.

Война за Волгой была отлична от войны с Германией. Но и это времяпровождение надлежало вести исправно – белее или менее. А впрочем, размышлять над всем этим поручик Шкляр нашелся много позже.

В сентябре он был ранен в ноги и была убита его чалая тонконогая кобыла «Леда», реквизированная под Симбирском. В конце ноября он получил отпуск. Но ехать было некуда, ближайшие родные места остались за Волгой. Четыре дня провел он в номере старосветской уфимской гостиницы, развлекаясь – армейской шменкой, выигрывая и расплачиваясь вексельными филипповками, опять придумывал перед сном, куда бы выправить литер, пока не познакомился за обедом с неким поручиком автомобильных войск Першиным: поручик этот весьма быстро уговорил ехать на одну из станций, погостить в эшелоне, поохотиться на куропаток («хоро-

шая штука – тушеные с картошкой, со сметаной… Важно под стопку проходят!»).

Жизнь в эшелоне Шкляру поглянулась: тишина, тепло, сыто и даже пьяно в меру. Каждое утро штабс-капитан Диваев, проснувшись, взглянув в окно, еще раз определял, что окрестность воистину альпийская, и растерев на руках шерстяные чулки, начинал одеваться, сразу же определял себя на кухню – поджаривать что-либо на завтрак, например, вчерашние пельмени, заказывались которые едва ли не тысячами и почти каждый день Аграфене Федоровне, жене станционного весовщика. Завтракали, разумеется, со спиртом, а спирт был трех сортов: ректификат, сырец и сырец с эфиром. После завтрака шли на охоту, если позволяла погода. Обедали в час, в два, опять выпивали из манерочной пробки и, сытые, протягивались отдохнуть. А по вечерам – винт, преферанс, шменка, разговоры о германской войне и о настоящей…

Так прошло почти две недели. Неожиданно получился приказ-депеша о продвижении части грузовых машин в Бирск. Поручик Шкляр, – а это происходило за обедом, – тотчас припомнил, что и он шофер, черт возьми, хоть и холодный, но учился на форде у тетки Надежды, а на фронте однажды двух генералов возил!

– Ну, так едешь? – спросил Диваев.

– Определенно, дорогой капитан…

Выехали на следующий день после обеда. Поручик Шкляр принял в свое ведение полуторатонный уайт и в компании помощника, шофера Ларсена, эстонца, отбыл со станции на заснеженные дороги последним.

Погода была мягкая, мороз не выше десяти градусов и безветренно. На пятой, на шестой версте начались некоторые мытарства: не оказалось цепей, колеса буксовали – рыхлый снег летел из-под них веселым фонтаном, а поручик Шкляр с кавалерийским остроумием поминал общепринятую мать.

Путь замедлился, а время склонялось к сумеркам… И вдруг запахом, густым паром – открылось, что протекает радиатор. Понадобилось в него накладывать снег, заодно пришлось соорудить канатные обвязки на задние колеса. Уже мерцали звезды, в небе стало дымно, всходили снеговые облака с пасмурных горизонтов, мотор был раскрыт – пахучая гарь веяла навстречу теплом. Уже совсем в темноте открылись рассыпанные внизу огни села, пели под горой в темной улице самарские артиллеристы: «ах, шарабан мой»…

В селе Шкляр прожил два дня. Большая часть грузовиков оказалась без цепей, – начали в местной кузнице ковать скобы на колеса. Шкляр в своем коротеньком полушубке и в лисьей шапке с оборванным ухом ходил в кузницу, курил с шоферами махорку, рассказывал анекдоты и бил вполне хорошо за молотобойца… Но спирта не было и за обедом.

Может быть, что по этой причине поручик Шкляр решил на третий день ехать обратно, воспользовавшись местом на облучке фиата, который потянули буксиром четыре крестьянских коня.

В поле было не спокойно – задувало, крутил снежок, начиналась, видимо, метель. Сосед у Шкляра был шофер-татарин, он угрюмо сидел за рулем и разговора не поддерживал.

– Однако, погодка, Маттиэ Батистини, – думал Шкляр, подвигаясь, подсовывая длинные полы шинели, изрядно легкой от времени. Вообще поручик был легко одет: холодное белье, полушубок выше колен и в року распоровшийся, перчатки – рукавицы он забыл в печурке… Ему хотелось курить – но кисет и трубка были в кармане френча. В лицо дуло, студило ниже пояса и в рукава; стало покалывать пальцы ног. «Сидеть бы в избе, – думал Шкляр, щурясь от метели, надуваясь и мигая, – что-то поделывает Диваев? Определенно, устроил какой-нибудь "шулюм" и выпивает… Да, кабаре…»

Он мерзнул и старался меньше двигаться. Татарин за рулем сидел совсем темный, парни подскакивали на конях уже неразборчиво – последний, разве…

И вот в этой дреме, в неподвижной, стынущей злобе, – на кого, почему? – Шкляру явилось прекрасное. Да, скучающий по водке уланский поручик Шкляр, замерзая на облучке буксирного грузовика на метельной дороге по отрогам Урала, – почувствовал, что он блаженно слепнет – так невыразимо засияло виденье: в небе, которое было черное, в небе встала женщина в одеждах желтых и лучезарных; видны были пальцы ее босых ног; она развела руки; рукава откинулись в широком благословении, а лицо, светлее платья, широкоглазое, особенное линией бровей, – лицо улыбалось…

Очнулся поручик от падения с облучка на снег на темном товарном дворе, куда уже привезен был грузовик, и шофер настойчиво разбудил офицера.

Постылое возвращение на землю! Шатаясь, до ломоты испытывая, как он промерз, Шкляр с помощью безмолвного татарина добрался до вагона. Печи отопления просвечивали алым жаром. Диваев лежал в купе поверх одеяла, но в белье, благодушествовал.

– Ну, здравствуйте, – вымолвил пьяным голосом Шкляр и ударился на свой диван, – каюк!..

– Что такое? – встревоженно облокотился Диваев.

– Замерз, как… змея!..

Но побелели лишь ноги; но и они отошли.

А все же надлежало подумать, как получше использовать до конца отпуск – Шкляр выехал на восток, предполагая, что в Екатеринбург. В Челябинске в буфете, поедая под шум вокзального полдня котлеты маре-

шаль, он увидал, что штаб-ротмистр в коричневой бекеше – его однокорытник Отлетаев, – и они расцеловались тут же у стола.

С Отлетаевым Шкляр выехал в Омск. В Омске он прожил до конца свой отпуск и остался далее, благодаря отлетаевскому покровительству. Жить было вполне хорошо… И в Омске, на Атамановском хуторе, за сотню шагов от вокзала в ресторанчике под странной вывеской «Встреча Друзьев» поручик Шкляр одним веселым вечером попал в переделку и был привезен в госпиталь в беспамятстве, оглушенный бутылочным ударом в голову…

Да, жизнь чудесна. И чудеса зачастую выполняются безо всяких предзнаменований: часто принимаем мы чудо как должное явление.

И если поручик Шкляр поправился от своей раны, в этом никто не увидал чуда, и если поручик Шкляр не погиб от сыпняка под Канском, в этом еще раз никто не увидал чуда, – ни один из его друзей, с которым он пировал, после полуторалетней разлуки, в Харбине в ресторане «Кишинев».

И было ли чудо в том, что в вагоне № 78 трамвайного маршрута в г. Сан-Франциско студент политехникума и рабочий завода телефонных аппаратов С. Шкляр встретил девушку, пронзительно схожую с той, которая мнилась замерзающему сознанию на горной дороге западного Урала?

Вечер американского обширного города был рыж. За стеклами вагона мелькали, прядали, разминались-облетали тени и изображения – лица, рекламы, автомобильные лакированные плоскости, – девушка в сером костюме, в коричневых носатых ботиках, незнакомка с удивительным лицом, избегая взгляда, но не смущаясь, подняв с колен, понюхала бутоньерку гиацинтов.

Впервые опубликовано и печатается по: Гонг. 1923. №1. С. 7–10.

О ЛЮБВИ К ЖИЗНИ

I. Шанхайская шляпа

Я шел по улице Греньян от консула. Консул опять отказал мне в документах – я оставался бродягой, предоставленным воле жандармов.

При ярком зимнем солнце неистовствовал мистраль в узких улицах, ноги скользили по вылущенным бурей камням.

Я вышел к каналу, на набережную. Густая синева с твердыми плюмажами так волновалась в бухте Старого Порта! Прекрасные парусники – яхты для обеспеченных прогулок – особенно торжественно блистали медью и полировкой, вздымаясь, опускаясь.

Я шел узким тротуаром, широкоплечая тень моя опять оказывалась у

ног моих, как только освобождался тротуар передо мною; шанхайская шляпа также оттенилась. Я вдыхал стремительную свежесть зимнего моря, иногда глядел во встречные глаза женщин, невзрослых, коротко одетых, угловатых от зябкости; пестрые шарфы на их плечах кидались концами… И вдруг моя десятидолларовая шляпа, вспорхнув с головы, покатилась кубарем, умчалась от меня, – а я бросился вдогонку.

Некий мальчуган – наверное, из магазина, – решительно наступил на нее. Бормоча благодарность, я ударил шляпу о колено, стал выпрямлять на кулаке, очищать и – увидал на мостовой, у левой ноги, смятую голубую бумажку. Я нагнулся, поднял, спрятал в карман и, надевая шляпу, пошел прочь.

Через квартал я разменял десять франков в угловом табачном баре: купил желтых папирос, спичек и две коротких сигары по четыре су; еще я заказал панаше и, помолодевший, стоял у высокого прилавка.

Опять я вышел на солнце, почти семь франков в кармане сообщали мне бодрую невесомость…

Я думаю, что пошатнуло мое равновесие, смутило благие мои какие-то намерения событие в американском – для иностранных матросов – баре.

Я отворил плавную дверь туда и, встречая спокойствие тепла, услыхал фокстрот механического джасса. Я сел у стеклянной матовой стены, за которой жила музыка, и спросил Кап-Корса. Именно здесь я был в последний раз с затравленным Леней: мы пили пиво. Однако, думал я, отхлебывая вино, чертовски холодно было и ему, которого везли в легион, броситься с парохода в декабрьское море. Все-таки… но тут думы мои смешались: две женщины, совсем подростки телосложением, потрясываясь дробно, помахивая стриженными кудрями, выскользнули из-за перегородки и стали танцевать совсем около меня. Я прихлебывал внимательно из стаканчика, стараясь не смотреть в их искательные глаза. Но танец их волновал меня – телодвижения и косые лукавые взгляды. Так цепко держались тонкие пальцы, и чередовались два нежно синеющих подбритых затылка…

Решительно поднявшись, пошел я к дверям – в баре никого больше не было. И тут они ухватились за меня, лепеча забавно по-английски, пытались удержать, приникая, и так как я тянул их к выходу, – та, что была в сером пальто, решилась на последнее: она поцеловала меня.

Этот поцелуй я вынес на губах на улицу. Отнюдь он не был отличным, поцелуй на лету девицы из бара. А голова моя закружилась.

И вот я свернул с набережной вправо, в переулок, пошел по сырым камням мостовой – по капустным листьям, скорлупе улиток и прочей необходимости старинных марсельских улиц. На верхней улице я нашел нужное: купил полкило ломаных бисквитов. С пакетом в руке я опять спустился вниз и вошел в угловой бар, небольшое и темноватое помещенье.

Место было знакомое: тень несчастного Лени, мутные его глаза чуди-

лись мне и здесь, на стене, где умерший, наверное, живописец изобразил Старый Порт в былое время. Я заказал литр красного и вскрыл пакет с бисквитами.

Итак, здесь, уединившись от ветра и ожесточившихся прохожих, я подумаю кое о чем. Вот сегодня я видел во сне мать: где-то в темном и узком закоулке я лежал и услышал ее ласковый голос: «Маленькая стеночка, маленькая стеночка». Я насторожился и разобрал иное: «Милый мой сыночек, милый мой сыночек». Господи Боже, ведь матери моей, моей мамы нет на этом свете: два года назад, летом, в Харбине, на людном углу, один человек остановил меня, удивился встрече, а потом в разговоре сообщил, между прочим, что мать и отец мои умерли от голода… Стало быть, их нет. Стало быть, этот голос потусторонний… но я оглянулся.

Немолодая женщина в клетчатой юбке разговаривала с бледным юношей за стойкой, – шотландский цвет устремил меня к воспоминаниям: я увидел (вашу) сине-зеленую юбку, (ваш) индийский колониальный загар, и глаза (ваши) мне усмехнулись тут, поверх старой живописи простого сердцем художника…

Кружилась моя голова, а вино заедал я бисквитами. За первым я спросил второй литр. Два раза я выходил через задние двери освежиться. А когда я вернулся во второй раз, не оказалось моей шляпы на столе. Улыбаясь, – а я еще мог чувствовать, наблюдать за собой, – я сказал об этом юноше за стойкой. Два игрока, два старых картежника подтвердили мои слова, один из них помянул араба, только что заходившего. Юноша открыл двери, вышел и, обойдя угол, вернулся в левые двери. Он свистнул и, постояв, прошел за стойку. Вернулся он с клетчатой коричневой каскеткой.

Я отказывался, но меня уговорили принять возмещение. Махнув рукой, я надел каскетку и сел допивать литр. Все-таки шляпа была моим неодушевленным другом, живым воспоминанием, памятником. И, хотя я работал в ней в порту, она была вполне хороша…

II. Коврик у постели

В общем я просидел на месте до второго часу ночи. Я что-то задолжал любезному юноше, франка четыре или больше: спрашивал вина, съел порцию макарон с сыром. Все очень жалели о моей шляпе, столь загадочно исчезнувшей, а я находился в состоянии, когда жалость во мне засыпает: кажется, настойчиво, но осторожно я искал случая ошеломить кого-либо удачным кнок-оутом. Но, видимо, моя осторожность была разгадана юношей: еще более осторожно он проводил меня до дверей. И я остался один на тротуаре, на свежем воздухе.

Горели фонари на кронштейнах в узкой улице. Свистал мистраль, было безлюдно. Я пошел, сунув руки в карманы, на набережную. «Черт возьми! – думал я. – Как хорошо теперь сидеть у камелька в безлюдном

кубрике в одной из этих прелестных яхт. А впрочем, там, наверное, паровое отопление? Или водяное?».

Я шел, пошатываясь, преодолевал мостовую. На трамвай у меня не осталось денег, да и куда было ехать?

Вдруг я отшатываюсь, – автомобиль проносится, мужчина и женщина сидят там за стеклами. Выждав, я иду своей неверной походкой по темному следу и – останавливаюсь, изумленный: автомобиль стоит.

– Иди сюда! – кричит мужской голос в дверцу.

Я приближаюсь.

– Ты очень устал, мой друг? – спрашивает мужчина задорным голосом.

Я отвечаю:

– Добрый вечер.

Они смеются.

– Где ты живешь?

– У Нотр-Дам.

– А, в госпитале?

– Нет, в церкви, – отвечаю я медленно.

Они опять смеются.

– Послушай, может быть, ты кюре?

– Ты испанец? – перебивает женщина.

– Да, мадам, я испанец…

И они опять весело смеются.

– Полезай сюда, – говорит мужчина. – Живо!

– Куда вы меня повезете?

– Мы повезем тебя в Испанию! – отвечает женщина.

– Идет. Я ваш, – с этими словами я полез внутрь, воспринимая забытый запах духов, уселся на передний поднятый стул, и шофер помчал нас.

Так сказочно мы стремились куда-то! Смутное освещение и хмельная близорукость мешали мне – да я, кажется, просто задремал.

– Господин кюре! – прокричала женщина мне в ухо. – Выпейте за наше счастье, мы ведь только сегодня поженились!..

– А-а, – бормочу я в непонятном блаженстве.

Мы начали петь, т. е. пели они двое, я не знал слов этой песенки о марокканском солнце и только, подпевая, гудел. Женщина хохотала, она бушевала, пьяная от своего женского счастья. Она сорвала с меня каскетку и дергала меня то за ухо, то за волосы. Мы пили коньяк прямо из бутылки, а потом Марсель (так звали мужчину) выбросил бутылку за окно – или это мне показалось.

Я вспоминаю теперь тот ночной страх, с которым я поднимался по незнакомой лестнице в неведомый этаж. Помню, лестница была в большой чистоте, ступеньки натерты воском. Я поднимаюсь нетвердо, ударами пер-

чаток по затылку подгоняют меня сзади молодожены, и Марсель кричит время от времени «жа» и «е» – как кричат французы на лошадь, чтобы она повернула налево или направо.

Марсель открыл дверь квартиры, и мы вошли. Вслед за женщиной (я так и не запомнил ее имени) я очутился в спальне – а, может быть, это была единственная их комната. Меня поразило почему-то голубое, с рыжими драконами одеяло на раскрытой постели; драконы светились на шелку, как бы присмирев, а женщина, оставшись в красном платье без рукавов, подергала меня за нос. Я сел на низкий пуф у большого зеркала. Драконы и белизна огромной подушки отражались там. Женщина поднесла мне высокий стакан. И пораженный ужасной спиртной смесью, сквозь слезы последнего сознанья я видел, как хохочет она, ударяя себя по коленям.

Когда, очнувшись, я поднялся, голова моя закружилась тихо. Я спал сколько-то времени на ковре подле кровати с голубым одеялом – спал, точно альковный страж. Люстра горела ярко, в тишине перемежалось дыхание спящих. Маленькая подушка лежала возле моей головы; кукла, желточерный Арлекин аршинного роста, раскинулась рядом. Я был в пиджаке, в ботинках, только мой шерстяной галстук был развязан, а ворот свитера расстегнут.

Осторожно я поднялся. Они спали крепко на своей широкой кровати, шелковое одеяло сползло одним краем. Женщина лежала нагая, а мужчина в расстегнутой пижаме. Усталы, скорбны были их лица. Я отвернулся.

На столе, на разостланной салфетке остался нетронутым холодный ужин. Но мне нужно было раньше освежиться. Я выбрался в темноту, осветил спичкой переднюю, зажег электричество и замер, прислушиваясь, ожидая, что буду захвачен, как преступник. Переступая, стал я приближаться к дверям, ошибся, подошел к другим и, наконец, осветил белую засиявшую ванную.

Мне очень захотелось вымыться всему, но я поборол это искушение. Я вымылся по пояс, причесал волосы – брился я вчера. Затем, потушив свет, перетащился я к дверям спальной и вошел в нее.

«Что ж, – думал я, точно отвечал внимательному ребенку, – раз я кюре, я могу, следовательно, поужинать за счет паствы». Я сел к столу, отрезал хлеба – холодный ростбиф и масло привлекали мое внимание всецело. Но предварительно я налил в стаканчик коньяку.

И вот, закусывая, я вдруг замедлил движенья и оглянулся. Я как бы просыпался во второй раз: вся эта ярко освещенная ночная комната, безмолвие, неподвижность спящих, сам я с едой во рту – все предстало нагло и пронзительно, повторяясь в ясном зеркале как чужое…

Второй стаканчик успокоил меня. Теперь я стал слышать тиканье часов, – я присмотрелся: золотые часики с женской руки лежали на столе у изголовья.

Они показывали четверть шестого. «Как мало, однако, я спал: уснул не раньше трех, проснулся около пяти, наверное», – думал я, а сам смотрел на смятые деньги, на кольца и бумажник из красной кожи…

Очень скоро я насытился вполне. Тогда я взял блокнот и чужим стило написал крупно: «Кюре поел и уходит. Dominus vobiscum». Оглянувшись еще раз, я заметил возле перчаток мелкие деньги и написал еще: «Кюре взял двадцать су за требу. Te Deum laudamus».

Так, с франком в руке, вышел я благополучно из этого ночного дома, спустился осторожно по лестнице, открыл американские замки.

На улице пахло морем, но ветра не было, еще не начинало светать. В синем мраке, сквозя огнями, шел ранний трамвай. Я поехал на площадь Жолиетт.

III. Когда болит сердце

Оно начало болеть после двух черных кофе – в баре. Я перестал курить и даже приоткрыл рот, пережидая одышку, сердечный хватающий трепет.

И, может, было мое счастье в том, что я не попал на работу в это утро. Гудели и завывали сирены в половине восьмого, непрерывно грохотали грузовики-телеги с высокими козлами, бичи стреляли над жирными крупами здоровенных дышловых коней, – а я пошел на мол.

Было это утро облачно. Мистраль стих. В море был туман, вода едва колебалась. Я сел ниже тротуара на один из волнорезов и закурил.

В тумане палевого цвета проходили медленно и беззвучно моторные катера рыбаков. Сердце млело, я выпрямился. Вода ластилась к пористым бокам камней, набегала, набегала – то ли гекзаметром, то ли ямбом.

Я стал думать о Герцене («гекзаметр прибоя») и о Гумилеве («грустят валы ямбических морей»), но мне было трудно думать, и сердце не утихало. Я перестал курить и прилег. Два безработных негра прошли надо мной. Дрема опускала мои веки, сердце отпускало железный обруч, благодать спокойствия взяла меня за плечи…

Почти весь день провел я на молу. И сколь прекрасна была моя боль во сне! – Я шел по глубокому снегу среди высоких деревьев, поднимался на склон – мыс Гольденштедт, парк Гондатти… А вот и дача Толмачевых. Я вхожу на веранду, на мне мое широкое пальто, мохнатый шарф, оленья шапка. Я открываю дверь, она осыпает снег – удивительно пахнет снегом. Вот комната, деревянные панели, винтовая лестница наверх. И еще я вижу серое пальто в плетеном кресле у камина.

Это вы. На серую шляпу с круглым дном, на широкие поля ее поднята черная вуаль с лица (я уже сижу справа от вас), глаза полузакрыты, сумрачны. Руки покоятся в большой серой муфте на коленях, серый воротник лежит по плечам. Молча я оглядываю комнату. Она освещена снеж-

ным полднем. Над панелью по всей стене на длинной полке стоять каменные и костяные китайские болванчики; фотографии – я различаю Толмачева в мундире пажа. Все по-прежнему, только вместо круглого стола стоит бильярд, и на него брошены пальто и шубы. Мне кажется, я узнаю зеленую со скунсом; но я спокоен.

– Да это Кексгольмского полка? – указываете вы мне на грудь, приподнимая лицо.

Я, опустив глаза, вижу крест, похожий на мальтийский.

– Ведь я же никогда не служил в Кексгольмском, – отвечаю я. – Я числился по кавалерии, если вы помните? А теперь…

– А теперь? – ваши зеленые глаза удивительно спокойны, они равнодушны.

– А теперь я верю, что единственно прекрасный бой – это бой один на один с жизнью. Не как с врагом, а как…

Но, продолжая наблюдать равнодушие, я опускаю глаза. Я вижу ваши желтые лондонские ботинки, сердце мое вздрагивает, и я начинаю задрожавшим голосом:

– А помните вы тот вечер, когда мы втроем сидели за чаем: вы, Вера Ивановна и я? Вера Ивановна назвала вас королевой за вашу точность, а меня вы упрекнули, что я всегда опаздываю. И когда я стал оправдываться, Вера Ивановна воскликнула: «А, он хочет быть королем!». Я смешался; тогда и в вашем лице, в глазах, мне кажется… Да, я, боясь покраснеть, сказал, что вы похожи на «Золотую Пору» Альмы Тадемы…

– Ну, а дальше? – говорите вы, и лицо ваше розовеет.

– Боже мой, эти же слова сказали вы тогда! – восклицаю я. – Дальше?.. А дальше ничего не было. Правда, ничего?.. Я вспомнил все это отчасти в связи с историей двух подруг: Нетти и Сенди. Одна из них была больна свинкой, они ежечасно обменивались письмами.

– Зачем вы это мне рассказываете? – спрашиваете вы негромко.

– Бог знает! Может быть, потому, что Сенди любила «Разговор с дьяволом» Успенского и…

– Нет, нет, нет, – повторяете вы, – я…

Но в это время дверь наверху отворяется, контр-мэтр третьего секциона Гастон кричит мне оттуда, чтобы я нагрузил на лифт одну пустую большую тачку.

В самом деле, сидим мы не у камина, а у темной пасти товарного лифта…

Этот сон я вспоминал на Жолиетт, сидя недалеко от фонтана. Я вспоминал и закрывал глаза, а в свежем воздухе вечера фонтан все плескался. Здесь пахло водой и крепко веял запах конской стоянки: днем тут стояли ломовики. Я слушал фонтан и вспоминал холодные утра в декабре, мрачную, еще ночную площадь и этот плеск, желтые огни барок и заревые

облака над высокой темнотой крыш.

В первом часу я постучался на кухню ресторана к Тромбергу. Он уже кончил уборку, снял свой синий фартук, сидел за столом под лампой – писал письма. Меня он встретил молча. Молча и я стал готовить себе постель: положил рабочую синюю куртку и штаны, покрыл их свитером. Газеты были моими простынями, крышка стола – кроватью, пиджаком я покрылся.

Я лежал в тени и смотрел на угрюмое лицо Тромберга. Дрема заводила глаза.

IV. Восемнадцать часов

Проснулся я в третьем часу, и мы разговорились. Тромберг от написанных писем (двум невестам: в Нарву и в Тверь) казался охмелевшим – ему необходимо было высказаться до конца. Он разыскал где-то бутылку Барзака, положил на стол папиросы, – и я вынужден был спуститься с моей кровати.

А в двадцать минут шестого я был на Жолиетт и тотчас же попал на первый секцион в экип Канари: мы начали на час раньше, начали возить на больших тачках и таскать на себе, возить по триста кило, таскать на спине сто и сто десять.

Таким образом я работал до обеда пять часов и после обеда еще пять. Последние дни, голодные, но хмельные, сказались во время работы: я потел, колени тряслись, когда я нес на спине мешок. Временами я отчаивался, намеревался бросить, уйти, но веселый корсиканец опять кричал веселое, хлопал меня по плечу, и я ободрялся.

Когда-то я любил спорт: десять часов тенниса в знойный день были мне нипочем. Или прыжки с шестом… А вот теперь я устаю, тоскую. Не правы ли психотерапевты, утверждая, что причиной душевных (и прочих) недугов является ремесло не по нраву?

В половину шестого я получил деньги и пообедал под навесом у итальянки Морисы. Не скажу, чтобы я много съел… Но когда я вышел из-под навеса, намереваясь купить сигару, – мое рабочее счастье воссияло еще раз: казак Василий пригласил меня на ночную работу – на австрийский экспресс.

– Тяжело будет? – спросил я.

– Да Господи ты Исусе! – возразил он. – Ящички там какие, почта – все барахольное. Не то, что днем. Понятное дело: шеф смирился за день, а люди еще поболе, я думаю. Ну, так как – са ва?

– Идет.

– И чудесно! Ну, первым делом провизией запасемся: по литру вина и какой-нибудь чепухи на закуску. Табак имеете? – спрашивал он уже на ходу.

В девять часов мы начали работу, – литр белого вина прирастил мне крылья насмешливой бодрости. На больших тачках подвозили мы ящики с французскими винами. Обвязанные, взмывали они пачками на высоту к палубам. Как во сне, удивительно невесомый в призрачном свете высоких ламп, возил я свою тачку из пакгаузов, где, как воспоминания, дышали приторно колониальные запахи, – потом шел каменной мостовой к высокой стенеокеанского парохода. А там, наверху, тоже ярко горели огни, и порою какая-нибудь леди смотрела через перила, рассматривала нас.

Там на палубах били в гонги, созывая к вкусной еде, играла труба, созывая команду. Потом, после нашего полночного завтрака, огней стало меньше... В это время и я почувствовал тоску, и спасла меня «бабка», старая француженка: я выпил в ее лавочке на колесах два стакана белого с лимоном. А потом еще три раза мне пришлось подойти к бабке, ибо все тяжелее становилась тачка.

В половине пятого кончился наш лошадиный труд, без четверти пять я получил деньги. Теперь стали заметней темнота и сырой холод. Ноги мои точно выросли: я шел и спотыкался, меня пошатывало. И ни о чем я не думал.

На углу я дождался трамвая, и, когда сел в него, яркий свет доконал меня, я уснул без видений и, проснувшись внезапно, заторопился сойти.

Свежесть рассвета приблизилась ко мне. Я оглянулся – да, я приехал на мол! «Но все равно, – подумал я, – у Тромберга теперь спать осталось меньше часу. Судьба: пойдем на «Николай» к Лукьян Матвеичу».

В баре Гарибальди, сев в угол, я заказал пиво и попросил хозяина разбудить меня, когда придет за молоком русский старик Лука. И сон сморил меня над первым же стаканом…

Я спал весь день и всю ночь до утра. В кубрике горела свеча в фонаре. При свете ее и в отсвете печурки полуголый мускулистый человек (черные волосы падали ему на глаза) стирал белье в большой лохани, и вода исходила паром.

Я заворочался, и мы разговорились. Амос Голубенко, бывший матрос, предложил и мне постираться и помыться. Он сам принес мне горячей воды, уступил мыла, нашел вторую щетку. С радостью обласканного, принялся я за мытье.

V. Мадам Мари и ее друзья

Во втором часу солнечного дня я вошел с Амосом к мадам Мари. Пить мне вовсе не хотелось, но я предполагал отблагодарить Амоса, а приехали мы так далеко потому, что только здесь я мог встретить Василия, когда он не работал: его тоже следовало угостить стаканом вина.

В комнате, неметеной и темноватой за отсутствием окон (свет проходил через стеклянную дверь), за круглым столом против готического плана

колониальной выставки в Лондоне сидела компания – Василий первый закричал мне. Тут я увидел ротмистра Поллака, лейтенанта Оглоблина, пожилого казака Якова Петровича; всеони были очень веселы в обществе двух уличных женщин. Нам очистили место.

Конечно, и на этот раз не обошлось без обычного спора, ссоры, когда противники вскакивают, вино разливается, и прячутся за спины соседей малодушные женщины.

Однако недоразуменье между Поллаком и Василием мы разрешили быстро: Яков Петрович обнял Поллака, я схватил за руку Василия, а соседка моя Жермен отвела пальцем лужу на столе.

Стало опять весело, но тут, пересекая разноголосицу нашу, заговорила, входя, решительная Марья Михайловна, сестра общежития:

– Господа, я к вам с убедительной просьбой: помогите перенести покойного капитана Ершова из его кабины в церковь. Я уже битый час ищу людей, но все решительно ловчат. Алексей Андреевич, Яков Петрович?..

Мы вышли за ней немедленно, – один Василий, виновато улыбаясь, признался, что «дюжо захмелел».

Гусем вошли мы в кабину, увидали разоренное смертью жилище, туберкулезного покойника на занавешенном простынями столе, мертвое лицо его в углу под широким окном и синеву в окне, и заплаканные глаза маленькой вдовы.

Очень дружно и быстро переложили мы тело в гроб, оклеенный белой бумагой. А потом стали совещаться, как вынести гроб.

– В коридоре вам не развернуться, – говорила Марья Михайловна, став над покойником.

– В коридоре не развернешься, да, – повторял Яков Петрович и посмотрел на меня. – Знаете что, ступайте-ка вы с вашим другом во двор, принимайте, а мы отсель, значить…

Достаточно неловко было принимать гроб в окно. Близость покойника стесняла движения. Я почувствовал испарину и все задерживал дыханье.

Когда мы вернулись к мадам Мари, молчанье пришло вместе с нами. Никто не тронул стакана. Первым заговорил Амос:

– Ну, снимаемся, ваше высокородье? – спросил он меня. – Чтой-то не пьется больше.

– Пойдем, – ответил я.

– Да и я, пожалуй, до хаты, – поднялся Яков Петрович.

«Я поссорился с женой (она была беременна и часто раздражалась) и уехал из Лиссабона в Испанию. Я сносно говорил по-испански, и все сходило вплоть до Севильи. Однажды меня задержали в ночном баре жандармы. Мне угрожала высылка в Советскую Россию, – я записался в легион. Получив на руки деньги, я один, без провожатых, выехал в Африку…», – так рассказывал мне Тромберг.

Проза

VI. Happy day

Однажды в Аржентейле, вернувшись в июльский полдень из Парижа, я пошел домой не обычным своим путем, – дорогой в Саннуа, – а перешел под железной дорогой на ту сторону, где было много молодых палисадников и новых небогатых вилл. Там я увидал этот небольшой кирпичный дом в плюще, белые жалюзи и эмалированную дощечку на столбе калитки: «Happy day». Фокстерьер стоял молча за калиткой, а во втором этаже скрипка играла вальс Сибелиуса.

Все это припомнилось мне утром, когда в праздничном пиджаке брился я на площади Карно, пил кофе, чистил ботинки.

Happy day! – Я отправился в трамвае к Нотр-Дам.

На лестнице, что вела в гору, припекало. Я шел не торопясь, останавливался, оглядывался. Шире и шире развертывались морская окрестность, зеленые сады, каменные соты города, – и тайная радость трогала мое сердце.

А церковь, мавританская, двухэтажная, с башней в пять этажей, где стояла позолоченная большая Мадонна, благословляя со своей высоты город, лежащий в котловине, – церковь приближалась ко мне медленно, венчая гору.

Я еще раз оглянулся. Теневая пыль стояла над пропастью города. Я прищурил глаза и увидел узкие улицы и открытые магазины, лоск стекол, лакировку бесчисленных обнов, тесноту на тротуарах, блестящие женские глаза, нежную кожу щек и затылков, походки, услышал запахи, картавые голоса…

В нижней сводчатой церкви не было службы. Ее освещал полыхающий свет паникадила, старичок в белой куртке менял свечи, большое распятье было освещено снизу этим светом: бедро у Христа язвилось кровью, голова в терниях поникла, а вокруг и выше развешаны были разнокалиберные костыли и восковые слепки ног. И, как прибой морской, ходил ветер за толстыми старыми стенами…

Счастье свободы, позолота, синева в окнах купола сияли высоко в верхней церкви! Едва колебались модели шхун и пароходов, подвешенные к люстрам. Играл орган. Священник в кружевах молился у кружевного престола перед золотой Девой, а по стенам звездами прибиты были старые французские палаши, кресты и медали умерших героев… Колокол ударил, загудел над головой, и я вышел на воздух.

Я обходил террасу вокруг церкви, ступал медленно, выжидая случая зажечь спичку за ветром, – как детский берет подкатился к моим ногам. Я подхватил его и выпрямился, видя: льняные волосы мальчика топорщились от ветра, благовоспитанная сестра вела его за руку.

Они оба поблагодарили меня. Я указал им место, где ветра не бывает на этой террасе. Я их проводил и остался стоять, наблюдая.

Я видел молодую француженку почти в профиль: темный румянец ее щеки, укороченную линию носа, изгиб над сомкнутым внимательным ртом, нежную бледность шеи, выступавшей из черно-золотистого кашне. Дочь винодела или адвоката? Нет, она говорит и смотрит иначе: дочь профессора или офранцуженная англичанка, дочь офицера. Светло-коричневое меховое пальто, коричневые чулки, все это я заметил…

А разговаривали мы очень мало. Я назвал себя после того, как перечислил окрестности. Может быть, она была рада, что говорит с иностранцем. Она читала Толстого и Чехова. Она думала ехать в Россию после совершеннолетия. Теперь обстоятельства изменились… Но все, надо полагать, изменится к лучшему, и я вернусь на родину, о которой, конечно, скучаю…

Оставшись один, я сел на выступ в стене и на остатках блокнота начал рисовать ее, холодную улыбкой француженку. Я рисовал ее в профиль и удивлялся сходству – не всегда я бывал столь удачлив… Тень пала мне на бумагу: какой-то старик, болезненный, в широком пальто, с тростью. Это он следил за мной.

– Извините меня, – сказал он, – покажите, пожалуйста, вашу работу.

Я встал и протянул ему. Он надел пенсне.

– Хорошо, – проговорил он просто, – где вы учились?

– Нигде, – ответил я. – Отдельно рисованию не учился.

– Да?.. не русский ли? – продолжал он по-русски, внимательно смотря на меня поверх пенсне.

– Да, я русский.

– Ну, будем говорить по-русски. Но сядем предварительно, – говорил он по-русски с некоторым усилием.

Он сел, и одышка, которая проступала между его слов, стала заметнее. Потом он заговорил:

– У вас, на мой взгляд, способность к графике. Не знаю, как у вас с колоритом… А средств учиться нет?

– Нет.

– Хотели бы учиться?

– Хотел бы.

Он помолчал, медленно моргая длинными ресницами, опустив голову.

– А чем вы занимаетесь?

– Работаю в порту.

– Неважная работа… А помощь могли бы принять вот такую: вам находят службу – не портовую, а лучше, предоставляющую возможность учиться… Что вы скажете?

– Я скажу, что буду очень благодарен тому, кто предоставит мне такую работу…

– Прекрасно, – перебил он меня, – прекрасно… Но вот еще что: вдруг это лицо – еврей, а вы – офицер белой армии несомненно? Вас это не будет шокировать?

– Нет.

Он оглянулся. Невеселые глаза его посмотрели на меня. Потом он отвернулся, опять наполняясь страданием, тщетно дыша…

Он посмотрел на часы и, опираясь на трость, поднялся.

– Больше я не свободен, к сожалению, – сказал он, глядя на меня. – Я вручу вам мою карточку. Пожалуйте ко мне завтра к одиннадцати утра, и мы потолкуем обо всем досконально. До свиданья…

Я проводил его вниз, мы вместе спустились в фуникулере. На улице он сел в такси.

Я остался один. А в городе, по-видимому, начинался праздник…

VII. В зоологическом саду

Без четверти одиннадцать я слезал с трамвая. Номер восьмой я высчитал сразу же и уже не терял его из глаз, так как на дверях его были черные с серебром портьеры бюро похоронных процессий.

– Может, это и к счастью, – подумал я, входя под невеселую арку.

Я миновал столик с траурным листом, дверь у консьержки была открыта: старушка в кресле назвала мне первый этаж, налево.

Я поднялся по короткой лестнице и вошел в незакрытые двери. На мой кашель в переднюю вышла пожилая женщина в провансальской косынке на плечах.

– Господин Рогановский? – спросил я. – Могу я его видеть?

– Видеть? – переспросила она. – Пожалуйста, мосье. Вы уже знаете?

Озноб прошел по моей спине.

– Что? – воскликнул я невольно.

– Мосье Рогановский умер сегодня в пять часов утра.

Мы смотрели друг на друга. Но, право, я не помню лица этой женщины, я помню лишь ее траурную наколку…

– Пожалуйста, мосье, войдите, – сказала она с участием.

Я вошел и увидал большую темного дерева кровать, человека в сюртуке на ней. Лицо, странно похожее на вчерашнее, отражалось на лице покойника. Черные ресницы плотно лежали на запавших подглазицах.

Я оглянулся, увидал гравюры, услыхал запах раньше мне никогда незнакомого жилья, и комната слезно затуманилась передо мною…

Крылатая тень упала на весь мир. Я выпил на углу в баре две рюмки коньяку.

Часа в три я оказался в зоологическом саду.

Я долго следил за львом, как он, избегая, – не пряча, а спокойно отводя куда-то мимо взгляд, – минуя глазами глаза любопытных, прохаживает-

ся стесненно, мягко кружит по клетке, останавливается, что-то нюхает гордо, смотрит поверх, мимо нас, и веки его напоминают веки гордого бедняка, больного почками.

Потом я наблюдал нищенские, преступные глаза гиен. Кормил булкою старого, встающего на дыбы, медведя.

Здесь же в саду, у длинной изгороди курятника, меня нанял к себе на ферму круглолицый француз с трубкой. Он сам предложил мне 220 франков на всем готовом.

Когда я вторично проходил мимо льва, он по-прежнему казался зевакам гордым босяком (шерсть его местами свалялась), а я уже был работником с фермы, по-праздничному гуляющим заодно с хозяином.

И хозяин мой оказался большим шутником…

Впервые опубликовано и печатается по: Новый дом. 1926. № 2. С. 17-30.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮСЬЕНА

Sa vida e sueno.
Кальдерон.

Морские небеса стояли над Марселем, смеркался октябрьский день, человек, вышедший из хорошего дома возле площади Кастеллян, ничем, собственно, не выделялся среди остальных прохожих. Правда, он был без шляпы, но в наши дни многие ходят без шляп – и еще он был чрезвычайно бледен.

Итак, он шел по улице, ничем внимания к себе не привлекая, и очутился в конце концов на Кастеллян. В это мгновение вспыхнули фонари, зажглись трикира вокруг фонтана, якобы бесконечно обозначилась аллея Прадо и менее протяжно, но люднее и по-городскому заманчивее, осветились другие прилежащие улицы.

Человек без шляпы обогнул фонтан, пошел через площадь, приостановился, пережидая цепочку трамвайных вагонов, вступил на тротуар…

Некоторое время спустя его можно было увидеть на Канибьере. Там на переполненном тротуаре он выступал по-прежнему бледный, хотя бледность была присущна многим в этом ярком освещении широкой улицы, в коловращении, в мигании всяческих реклам.

Выйдя к началу Бельгийской набережной, он замедлил: то ли она, эта встречная близость моря (а на море уже царствовала ночь, тьма под звездами), то ли веселое радио на отъезжающих в морскую прогулку катерах его заинтересовали, но он остановился, заложил руки в карманы пиджака. Его обходили, миновали, вокруг переговаривались, теснились, перекликались, кое-кто отплывал в море, за маяки, к замку д'Иф – вечер был удивительно

благодатный, с такой старинной проникновенностью отражались, двоились огни в темной воде!

Затем этот прохожий оказался в большом ослепительном кафе на углу – перед высокой стойкой, где белые гарсоны с обезьяньим притворством наливали в стаканы и в рюмки. Он заказал себе Блисса, – не оттого ли, что кто-то по близости пожелал выпить этого портвейна. Вслед за Блиссом он спросил Сен-Рафаэль – и опять-таки в ответ на чей-то голос, потребовавший Сен-Рафаэль. Но никто, решительно никто им не заинтересовался, даже его явное недоумение над вынутыми деньгами никого не привлекло: медленно положил он на прилавок билет в сто франков и еще медлительней, неуклюжей собрал сдачу и ничего не оставил на блюдечке.

Вечер продолжался, вечер пустел понемногу, приобретал ночную резкость, быстрее прокатывали такси, гремя опускались ставни колбасных, позакрывались кое-где узенькие бистро… Было за полночь, когда этот странник, окончательно потерявшийся человек обосновался в темноте на скамье подле кафедрального собора, ощупывая, но не вынимая две пачки английских сигарет, глухо прокашливаясь от морской сырости.

Сюда, к собору, он поднялся по одной из каменных, вечно загаженных лестниц. А здесь редкие газовые фонари, одинокие скамьи, огромная соборная тень на пустынном возвышенном плацу – все это, казалось бы, никак не располагало ни ко сну, ни к уюту. А он, между тем, все умещался на скамье, все переставлял ноги.

Таким образом он и уснул – тихо, лишь поскрипывая зубами. Всего раз прошел мимо него полицейский, но не тронул, не приостановился, а лишь сладко зевнул, проходя. И вот, время спустя, появился Бог весть откуда, бессонный, простуженный, перхающий осторожно – подлинный бродяга. Он подступил к спящему, мягко ощупал его и с бережной ловкостью вытащил из карманов бумажник, часы, две пачки сигарет, два платка, сдачу из жилета и булавку из галстука. Ближайший, но совершенно отдаленный газовый фонарь как бы задувало с моря, темные призраки летели над морем, а этот, перхая, точно трубя, легчайшими шагами, неслышный в своих вдребезги рваных туфлях улепетывал через пустынный плац.

Когда человек на скамье проснулся, утро наступило воочию. Светило солнце, внизу на набережной, мимо больших бочек, проныл трамвай. Вокруг собора было по-прежнему пустынно, один полицейский, молодой еще человек хорошего роста, наблюдал в отдалении за странным бездомным; а тот сидел, мигая, пораженный утренним блеском, изрядно продрогший, с отекшим лицом – затем встал и тронулся прочь.

Чудесное утро было на самом деле свежо, хоть и солнечно. Начинался день рабочий, но не всегда ведь работают все. Так что ничего удивительного не было, если в опустевшем по-утреннему баре Феликс, неподалеку от форта Сан-Жан, засиделся докер Марсель Кулон и, довольный

(или прикидываясь довольным, ибо похмелье – вещь малоприятная), весело беседовал со стариком хозяином в вязаном жилете. Марсель говорил без умолку, лишь бы не прислушиваться к внутренним угрызениям, хозяин отвечал спокойно, перемывая неторопливо стаканы, а в это время в бар вошел человек из города, без шляпы, с растрепанными волосами, – явно, что кутил где-то. Хозяин спросил его о кофе с ромом, и он равнодушно повторил: кофе с ромом…

Он стал неловко размешивать. Воротник на нем был заметно смят, рука, державшая ложечку, приобрела тот металлический отблеск, что свойствен холеной коже, которую забыли помыть этим утром. Он отвернулся к окнам и начал прихлебывать, положенная на самый край ложечка упала на пол, но чудак не пошевелился. Марсель, приумолкший над своим двойным ромом, довольно покрутил головой – ведь вот же какая птица попадется и страдает. Как наш брат, – но старик Феликс, перемывая посуду, неотступно, подозрительно следил.

Да и дальнейшее вполне оправдало эти подозрения: у странного посетителя не оказалось ни одного су. Без особой живости он шарил по карманам и нигде ничего не находил, и поднял на старика неподвижный хмельной взгляд. Старик порозовел от гнева, с сердцем встряхивая мокрые пальцы, но Марсель подбросил метко четырнадцать су на цинк – eh, alors?

После этого он первый обратился к чудаку (он продолжал стоять, как не выспавшийся) с предложением выпить чего-нибудь – пожалуйста, без стеснения. И когда тот молча согласился и присел за столик, Марсель, потирая руки, заказал два двойных коньяка.

Гость, однако, оказался не из разговорчивых, что-то у него сидело на сердце, дело заключалось не в одном похмелье, но Марсель духом не падал: на худой конец ему подвернулся покорный слушатель, что и требовалось ему с самого утра.

Они выпили, закурили, выпили еще по двойному рому, после рома выпили по эльзасской белой. Тут-то, вскоре за эльзасской, Марсель заметил, что слушатель его мирно спит. Что же, следовало приютить беднягу, все равно в комнате есть пустая кровать, – и, расплатившись, Марсель вывел нового друга на улицу.

По дороге он узнал очень немногое: что у чудака нет дома, нет работы, – и Марсель сам начал отвечать на свои вопросы, он значительно толковал о соблазнах богатой жизни, о слабостях человеческих и о тюрьме, наконец: а все-таки, она вещь не плохая, эта тюрьма; понятно, лучше ее миновать… но вот он, Марсель Кулон, дважды вкусил казенных харчей…Жизнь пропала, черт побери, приходится гнить тут, среди негров и алжирцев!..

Без особого труда, даже не повстречав никого на лестнице, они поднялись на шестой этаж, вошли в низкую комнату на троих. За раскрытым

окном в узкой улице привычно висело вымытое белье, было бессолнечно, уединенно, в углу Рафаэля висела гитара на белой стене. Марсель сам раздел своего гостя, уложил, заботливо прикрыл. Потом с трубкою он сел к окну подумать.

Ну, разумеется, он не пьян, и, даже проспавшись, он не оставит этого чудака. Он будет работать в порту, завтра пойдет на работу. Правда, на первое время из него работник… посмотрите-ка на эти руки. А амуницию эту следует сейчас же продать и купить рабочее (тут Марсель поднял с пола и недоверчиво посмотрел на легкий, хоть и с двойным рантом полуботинок).

В седьмом часу вечера бледный, начисто выбритый человек (без усов лицо его как-то постарело, сделалось угрюмым) сидел против Марселя в погребке у известного Франсуа. Второй литр вина, круглый омлет с луком, кило хлеба – все это поглощалось в молчании. Но и пережевывая, Марсель поглядывал на своего нового друга с удовольствием. Эта синяя роба, исправно залатанная, будет носиться долго – настоящая шанхайская; ботинки совсем новые и не тяжелые; рубашка, каскетка, новенький шелковый платок на шею за девять франков, сбритые усы, – да сам черт не узнает теперь утреннего интеллигента, что без единого су забрел пить кофе к сумасшедшему Феликсу… Еще очень нравилось Марселю спокойствие Люсьена (так он начал называть своего товарища, перейдя без лишних слов на ты): ведь ни слова не возразил он, когда узнал, что все его великолепие пошло (ну да, по пьяному делу) за сто семьдесят четыре франка.

На следующее утро он, этот выбритый, печальный человек, представлял из себя любопытное и смехотворное зрелище: он работал, он стоял вместе с другими двумя на помосте, на который кран с парохода отпускал связки по шестнадцать мешков с рисом, и носильщики один за другим подходили к помосту (высотой им по плечу) и уходили в ангар, неся сто десять кило риса в тугом мешке. На обязанности этого чудака было отстегнуть круг кранной цепи, подвесить на клюк свободный из-под мешков канат и еще помочь двум другим откачнуть, подтолкнуть связку, чтобы опустилась она правильно, – почетная, легкая работа, но как он выполнял ее! Крюк у него не цеплялся сразу, набитый пустой канат дважды падал в воду, когда цепь взмывала вверх и шла по воздуху на пароход; однажды он сам было едва не полетел с тридцати метров, а в другой раз связка с мешком столкнула его с помоста на пол; он был весь в поту, рубаха его потемнела, кругом хохотали, зубоскалили, и только Марсель не смеялся, а яростно переругивался со всеми, в том числе и с самим шефом, краснолицым Пуле, который уже несколько раз посылал «интеллигента» вниз на позорную работу – носить мешки.

На другой день Люсьен не мог пойти работать – он совершенно ободрал нежные неумелые руки свои, все тело его ломило. Тогда решил ос-

таться дома и Марсель; все равно есть работа: следует постираться. Рафаэль, который нежился в кровати, был назначен в поход на рынок – затеивался небывалый буайбес.

В этот же самый час старый Феликс в своем солнечном баре, улучив, наконец, свободную минуту, взялся за газету; постепенно (не было в баре никого) дошел он до третьей страницы – и тут довелось ему посмотреть проницательно поверх газеты, поверх пенсне на старую стенную живопись, где уже шелушились море, небо и парусники между ними: бледное лицо, перекосившийся галстук, кофе с ромом, четырнадцать су нетрезвого докера – ведь это он, этот самый господин, изображен сегодня в газете: адвокат, после контузии страдает припадками, ушел из дому позавчера, жена умоляет за вознаграждение…

– Марк! – возгласил кто-то, зашедший с улицы.

Под буайбес было выпито вполне хорошо, ибо буайбес способствует чудесной жажде. Всех ударило в испарину после третьей тарелки. Рафаэль, который один изо всех спускался за вином, даже вроде набросил полотенце на плечи.

Люсьену из-за рук не пришлось работать и в субботу. Не работал также и Рафаэль Кассини. В час завтрака, в начале девятого, спустились они вдвоем на улицу.

В общем уже всюду царствовали безмятежный туман, туманная тишина. Если бы он, Люсьен, попытался найти дорогу в порт, он бы ее не нашел, – он подумал об этом, но смутно и без горечи.

Жизнь проблескивала подобно солнцу за мглистыми облаками. Например, каков из себя Рафаэль? Неизвестно. Существует голос Рафаэля, молодой, повелительный. Голос приказал зайти к Франсца, пить вино, закусывать корсиканским сыром. После голос Рафаэля соскучился, голос начал чередоваться с позевками, с кашлем от затяжки – и Рафаэль куда-то ушел.

А он продолжал коротать время наедине ни с чем. Впрочем, после вина солнца как бы прибавилось, жизнь приближалась. Узкие улицы, белье вверху, а еще выше – туман лазури. Слева, в глубине покатых, темневших переулков, где догнивали какой-то сор, какая-то мокрая зелень, – блистала голубая бухта. В тенистом бистро играло механическое пианино. На порогах выстраивались полуодетые женщины, будто рябня, почти лиловые от пудры.

На работу он вышел через три дня. За это время Марсель подыскал новое место – работать в трюме.

И вот в первый раз спускаясь по стене, придерживаясь за ступени-скобы, Люсьен впервые почувствовал сердцебиение, опасность – сорваться с высоты четвертого этажа, потеряться где-то!

Однако внизу оказалось совершенно легко, свободно и не очень свет-

ло. Но никак не в первый день заметил Люсьен, как старается, гримасничает от усилий, тащит и пихает за двоих его товарищ. Правда, он сам был весь в поту, но особенного значения этому не придавал. Наоборот, любопытство, несмелая улыбка его обращались к постороннему, к ротозейству: вот длинный Мучелли заговорил с трюмным сторожем-индусом, и в это время другой рабочий ловко вскрыл ящик в углу, потянулись из ящика шелковые дамские чулки, и взломщик со внимательной поспешностью начал обматываться этими чулками, приспустив на себе расстегнутые штаны. В другой раз выплеснули воду из бидона и с той же решительной осторожностью полились в бидон шампанское, вермут, виски, вино. И как весело одурел тогда Люсьен, с какой отвагою кидался он растаскивать ящики, раскатывать бочки, – чудо лишь или просто неусыпное внимание Марселя спасли его от увечья.

Да, Марсель присматривал за ним неустанно. Утром он покупал для каждого на франк будена, четверть хлеба и половину вина. В полдень они вместе обедали где-нибудь на воображаемой террасе подслеповатого ресторанчика, под открытым небом, за облупленным железным столиком. После работы они выпивали по анису, После супа Марсель любил поиграть в карты, но не позже десяти. Люсьену карты были скучны, он молчаливо сидел подле, курил, прихлебывал кофе или пиво, если мучила жажда. Теперь его все знали и многие полюбили, даже фамилия у него теперь была: Брюн, Люсьен Брюн, кузен толстого Марселя.

Когда начались холода, Марсель купил две пары бархатных брюк и два поношенных пиджака. Денег у них было достаточно, они работали часы и ночи, обзавелись теплым бельем, шерстяными жилетами и шарфами. Несколько раз Марсель запивал, попадал тогда в шикарные заведения на улице Лисицы, платил втридорога за сигары, за вино, а ночевал обязательно с блондинкой в длинном платье; Люсьен тоже следовал наверх, снизойдя к какой-нибудь из женщин, хмельно усмехаясь.

Теперь он достаточно хорошо знал ближайшие улицы, рынок, мог приторговать кусок мяса. Однажды с Марселем он попал в бар Феликса и почти вспомнил его, но сам старик никого не узнал, да никто, впрочем, ему ни слова не напомнил.

Дни проходили за днями. По утрам порою морозило – доводилось выпивать натощак по несколько ромов, но утром стало совершенно темно. Зато сколь отрадно было подняться во время работы из трюма наверх покурить: в ушах, правда, звенело не переставая, грохотали цепи лебедки, шумели кругом на всех пароходах, шум разносился над водой, но зимнее солнечное безмолвие стояло над мачтами, простиралось за молы, к водному горизонту.

Дни проходили за днями и ничем не отличались друг от друга, разве что вчера работали лишних три часа, а сегодня попалась партия трубок.

Наконец, объявилась весна. Сделалось светло по утрам и после работы, уже лишним стало носить пиджак и скоро можно будет забросить за окно тряпичникам жилет из шерсти. Но чувствовал ли он еще как-нибудь весну, этот Люсьен? Например, слышится смех молодой, очень грудастой рыбницы, у которой поверх чулок на круглых икрах – лиловые шерстяные носки, и она постукивает своими сабо, напевая: «O, ma Rosa – Marie-a!..». Да, какое-то стеснение в груди, но сладость его весьма ненастойчива; и самое лучшее после работы – сытым пораньше залечь спать.

Наступило лето. Уже давным-давно до позднего часу засиживаются за тротуарными столиками, кричат дети в узких улицах, путаются под ногами на маленькой площади, где целыми днями (да и ночами, наверное) сидят на двух единственных скамьях, бродят скучно обносившиеся иностранцы, вечно бессонные, ночующие на пустых из-под угля баржах или под брезентами на набережной.

В июле обоим им придавило пальцы железным бочонком, – случилось же такое счастливое совпадение, ибо один, без Марселя, этот неисправимо мешковатый Люсьен пропал бы сразу, был бы рассчитан в первый же день, став в пару с незнакомым.

Итак, они зажили за счет страхового общества. Целые дни проводили они на море, забирались в глухие места, облюбовали песчаную бухточку, куда пробраться можно было через скалы. Там они лежали на солнцепеке, загорали, спали там, закусывали неприхотливо, запивая в меру вином, оба похудели, почернели, – и как зловонно, как мрачно представлялась по вечерам старинная комната о тех кроватях.

Пальцы поздоровели, но Марсель не торопился с работой. Прошло четыре дня, пока он вечером над неотпитым стаканом аниса, на долгое время занявшись каким-то письмом, – не объявил решительно, что завтра они выезжают в деревню, в имение господина Фора на сбор винограда; eh, alors?..

В конце августа к господину Фору приехала его единственная дочь, двадцатидвухлетняя Андриенн, парижская студентка. Через год она должна была окончить факультет права, а сейчас приехала из Жуан-Ле-Пена, где больше месяца купалась и играла в теннис. Вдовый старик был чрезвычайно растроган этим приездом, но спортивной парижанке жизнь в старосветском провансальском доме посреди царства виноградников (у ее отца было до полмиллиона кустов) предвещала невозмутимую скуку. Книг с собой у нее было мало, за книгами приходилось ездить в Арль, море находилось за четырнадцать километров, при доме был какой-то пыльный сад, вернее огород, переходивший в люцерное поле. Одно удовольствие для Андриенн составляла музыка, рояль Гаво, – и вот всякий вечер она подолгу играла: при отце курить она все-таки избегала.

Этот вечер был на редкость душен, беспокоил, а весь день Андриенн

ждала, как бы равнодушно, давно обещанное письмо из Парижа. После ужина она пошла к себе и села за рояль. Играла она с решительным упрямством.

Руки начали уставать. Андриенн подняла упавшие ноты и закурила – вслед за щелканьем зажигалки, послышался короткий кашель из сада: кто-то прикашлянул, но мало ли кто? Она положила сигарету к китайскому болванчику, нашла и заиграла веберовское Приглашение к танцу. Потом наступило опять молчание, Андриенн потянулась за дымящейся сигаретой и приостановила руку: короткий кашель повторился. Тогда, разом вскочив, неслышная на креповых подошвах, она раздвинула цветные висюльки в дверях и выглянула в сад.

На ступеньках стоял неизвестный, по-видимому, рабочий ее отца.

– Что вы здесь делаете? – спросила Андриенн негромко.

– Слушаю вашу игру, – ответил он и неторопливо встал, – у вас весьма отчетливый удар. Только на мой взгляд, вы чем-то обеспокоены, вы искажаете что-то. Правда эти новеллы звучат прелестно, например, в последнем Вебере…

– Как видно, вы любите музыку, – сказала Андриенн, помолчав.

– Да, люблю.

Он возбуждал любопытство. От него остро пахло конюшней, конским потом, давленным виноградом или просто вином, но Андриенн предложила ему войти. Однако и при свете он продолжал держать себя по-прежнему: невозмутимая простота, благосклонная, удивительная при его одежде, любезность. Кто он такой?

– Может быть, вы сыграете сами? – сказала Андриенн, садясь в длинное кресло.

– Охотно, – отозвался он, – например… менуэт Боккерини?

– Превосходно.

Он сел за рояль, отодвинул табурет, ибо был выше ее, положил руки на колени. От винограда его руки казались окровавленными – да, десять часов, а он еще не успел умыться, подумала Андриенн, прикрывая глаза при первых звуках рояля – и широко открыла глаза: невероятный тарарам, глупейшая какофония разразилась за началом менуэта. Андриенн поднялась с кресла, встал игрок. Она глядела на него пристально: шутник, помешанный, – нет, он был мертвецки пьян, этот тип, он лишь отдувался бессловесно. И отступив, Андриенн пропустила мимо себя спотыкающегося, ничего не видящего – о, Боже мой!..

Проснувшись не совсем рано, Андриенн задумалась над вчерашним происшествием – загадочный случай. Фернанда, дочь старшего рабочего, внесла ей шоколад. Приняв деревянный поднос на колени, она задержала девочку, расспрашивая безразлично. Кто из этих рабочих был вчера сильно пьян? Вот именно, в синей рубахе. А, Люсьен. Приехал на виноградни-

ки с кузеном, с толстым Марселем? Так. Что же, он часто выпивает? Не особенно. Работает с лошадьми, прилежный, но не очень сильный? А кто он такой сам по себе? Работал здесь раньше? А, работал в Марселе? Ну, идите, спасибо Фердинанда.

Около одиннадцати она вышла во двор. После затененных комнат блеск зноя поразил, как широкая молния. Андриенн пошла по дороге к виноградникам, под ногами то и дело попадались полусмятые грозди, упавшие с повозок.

Одновременно она увидела подводу и там, дальше, как мелкие цветы среди винограда, пестрые платки и чепцы рвальщиц. Она остановилась и стала ждать. Видно было, как влегают в хомуты лошади, идущие гусем, а рядом шагает неторопливо человек в широкой соломенной шляпе. Вот уже слышно тяжкую и короткую поступь лошадей, их пофыркивание, постук колес… Андриенн узнает вчерашнюю синюю рубаху и нетерпеливо переступает.

– Добрый день! – кричит она, когда повозка почти равняется с нею.

Рабочий неуклюже подымает шляпу:

– Добрый день, барышня.

– Как вы себя чувствуете? – кричит она еще и коротко улыбается.

Он натягивает вожжи, они намотаны на левую руку, а руки опять будто окровавлены. Он отвечает вяло:

– Спасибо, барышня. Все идет хорошо.

Андриенн рассматривает его, потом смеется.

– Послушайте, вы не только пианист, вы превосходный актер!.. Итак, когда же вы доиграете менуэт до конца? Хотите сегодня вечером? Что?

– Да, барышня, – отвечает он, а лицо его малоразличимо в тени шляпы.

– Да перестаньте же, – говорит Андриенн с укоризной, - за нами никто не наблюдает… Стало быть, сегодня вечером в девять? Только, пожалуйста, не напивайтесь по-вчерашнему.

Она поворачивается, идет бесцельно по дороге к виноградникам. Позади ее раздается зычный крик, лошади подчиняются, и стучат колеса.

Андриенн пришла к себе в половине девятого. Она заиграла с особенной охотой, со вниманием. После Приглашения к танцу, она встала и выглянула в сад: возможно, что этот ценитель музыки опять сидит на приступке. Но никого там не было. Она вернулась к роялю, села и стала курить, глядя на свечу справа.

Без четверти десять Андриенн закрыла крышку, затушила свечи и вышла в сад. Вне всякого сомненья, этот человек проникнул с луга, через канаву. Усмехнувшись, она вошла во двор через калитку.

Во дворе было совершенно тихо, по-ночному; луна положила большую тень от конюшен, от деревьев подле. Окна рабочей столовой были

прикрыты жалюзи, там было безмолвно. Откинув полотнище в дверях, Андриенн вошла в коридор, налево была дверь в столовую.

Там горела прикрученная лампа, со столов было уже убрано, какой-то рабочий спал, положа голову на руки. Андриенн прибавила свету, мухи залетали, зажужжали несметным роем… и, разумеется, это был он, любитель музыки, полный стакан вина стоял перед ним.

– Добрый вечер, барышня, – сказала, входя с посудой, жена старшего рабочего.

– Это Люсьен? – спросила Андриенн, не оборачиваясь.

– Он. Раньше этого не было. А теперь он все повторяет, – тут женщина засмеялась, – что ему ваша музыка портит настроение, – ну, что вы скажете?

– Вот как? А нельзя ли разбудить его? Я хочу послать его завтра утром…

– Пожалуйста, барышня. Я сейчас подниму его.

Поставив тарелку, она обошла стол и тронула спящего за плечо:

– Люсьен, о, Люсьен, Люсьен же!

Потом она стала дергать его за волосы, ущипнула за ухо. Человек отмахнулся и поднял лицо от рук. Щека у него зарубцевалась, он перележал ее, волосы упали на глаза, рот был слюняв. Он почесался еще – и громкий, постыдный звук раздался в комнате.

– О, свинья, – воскликнула кухарка, совсем не сердясь, однако, – барышня здесь…

Но Андриенн уже вышла из столовой, она широко отпахнула полотнище в дверях и прямо взглянула на месяц. Месяц лучился…

Виноград кончился, пришла пора расчета. При выдаче денег и рабочих удостоверений господин Фор предложил: не согласен ли который из двух остаться на зиму? И Люсьен согласился. Марсель вознегодовал, его не успокоили ни две корзины винограда, ни десять литров белого вина, которые он повезет с собой, – но Люсьен остался. Он выбирал спокойствие. На зиму ему обещана теплая одежда и печка в комнате, где он будет спать всего вдвоем.

Сначала они косили люцерну и убирали ее. Затем подошла запашка виноградников, сбор дров на зиму, укутыванье виноградников соломой – неторопливая, хорошая работа с неторопливыми, незлыми людьми.

Так прошла зима, для горожан теплая, а в полях мистраль не стихал по неделям. Ничего особенного за зиму не произошло, разве что хозяин подарил на новый год выходной костюм и от крепкого виноградного спирта у Люсьена произошел сердечный припадок. Случай этот всех изрядно напугал – о, Люсьен, тебе надо поменьше выпивать, слышишь!

Наступила, однако, весна, а за нею, своим чередом, распустилось лето. К осени поспел виноград и приехал Марсель. Друзья обрадовались друг

другу и два дня их не было видно на работе. А на третий день Люсьен едва не умер от второго припадка.

Но кончился виноград, и Марсель уехал восвояси. Перед отъездом он пытался сманить с собой названного своего кузена, но Люсьен остался у господина Фора еще на одну зиму.

В ноябре пришло письмо от Марселя. Он сильно разбил себе руку на работе, пожалуй, кое-что отрежут – неужели не приедешь, Люсьен, навестить старого товарища?

Письмо это читала вслух жена старшего рабочего, сам Люсьен плохо разбирал писанное. По общему совету он сел за ответ, но дело это не ладилось; ему даже предложили очки отца Бернарда, который всегда работал на быках, но очки не помогли. И только перед рождеством Люсьен собрался в марсельское путешествие. Он вез с собой подарки: хорошее вино, пару бутылок виноградного спирта. У господина Фора он взял две тысячи.

Борниоль проснулся в совершенной темноте, сердце его замирало. Откинув тяжелое одеяло, он сел, передыхая. Что-то непривычное, раздражающее и уже непоправимое существовало не только в этой полночной тьме, но и в нем самом.

Кажется, накануне он был пьян. Это подтверждал вкус во рту, это чувствовалось во всем теле. Но как происходило все, где началось, этого он не мог вспомнить…

Сердце билось с ожесточением, но голова была свежа. Он протянул руку к столику, к лампе, но рука его коснулась женского обнаженного плеча, он стал различать сонное дыхание подле, – как его жена осталась с ним в постели? Поистине странно! И откуда эта широкая кровать?

Столик с лампой отыскал слева. Борниоль включил свет, огляделся и зажмурился, прикрыл глаза рукой. Нет! Неужели он сошел с ума? Нет, что с ним случилось?

Рядом спит незнакомая женщина, эту большую комнату он видит в первый раз, руки его каким-то чудом темны, мозолисты, почти поломаны, и сам он одет в какое-то солдатское белье!..

Он соскочил босыми ногами на пол, зажег люстру, и таинственное ночное зеркало отразило как бы его самого, как бы его двойника, потемневшее, осунувшееся лицо, изрядную седину в плохо подстриженных волосах.

Он отвернулся, посмотрел по комнате. Женщина по-прежнему тихо спала на правом боку, но женщина его не привлекла. Он заметил бутылки на полу, календарь на стене…

Борниоль закурил английскую сигарету со стола женщины, на своем столе он нашел трубку и серый табак. Он сидел в кресле на чьем-то платье, сидел неподвижно. Он не помнил, он не мог даже смутно хоть что-нибудь

припомнить, что с ним случилось за два с лишним года.

За оцепенением родилась спешка. Он начал одеваться на ходу, торопился словно в ярости. Рядом с трубкой он нашел бумажник. Там оказалось около тысячи франков, какие-то удостоверения на имя Люсьеня Брюна. Бумажник был явно чужой, но он сунул его в карман просторного пиджака. Большой клетчатый платок пахнул дешевым мылом.

Из дома Борниоль вышел без труда – везде было темно, все спали. Он повернул английский замок нижних дверей и переступил на улицу.

Было месячно, стоял глухой час почти морозной ночи. Он пошел наугад, достигнул угла, повернул налево, затем повернул направо, едва не упал, поскользнулся, раздавив бумажный пакет, выброшенный, наверное, из верхних окон. Наконец, началась улица шире и чище. Он миновал пустой крытый рынок, вышел на узкую площадь. Через площадь за мостовой блистала месячно вода – ага, Старый порт, знаменитые места, которые он раньше знал понаслышке. Впрочем, по этому набережной он должен был проезжать с женой и девочкой во время автомобильный прогулок…

В угловом баре пробивался свет сквозь двойные щели, будто раздавались голоса. Двери оказались, действительно, незакрытыми, Борниоль вошел на яркий свет, в густое тепло и заказал себе грог у стойки. Тут же он увидел шофера в фуражке гаража Маттеи и нанял. Он даже угостил шофера ромом.

После он мчался по ночным опустошенным улицам и весь дрожал. И не от холода, а от того, что так неистово дрожало сердце или вдруг замирало. Тогда поднималась слабость, тошнота, он просовывал руку за жилет… но сердце оживало неудержимо, и опять сквозь слезы неслись, лучились перед ним фонари ночного, сурового, давно не виданного города!...

Шофер подъехал вплотную к тротуару, остановил и приготовился к расплате, снял перчатку с левой руки. Но седок медлил. Может быть уснул? Тут шофер постучал пальцем в стекло. И так как ответа опять не последовало, шофер соскочил на мостовую и открыл дверцу отделения. При слабом электрическом свете, при мерклом пламени своей зажигалки он увидел бледное незрячее лицо седока; послушная, прохладная рука снова упала на колени.

Потерял сознание или умер? Раздумывать над этим, однако, не приходилось, следовало позвонить, в доме, конечно, знают этого человека.

Шофер вошел на ступеньки и позвонил. Месяц дробно светил в черных окнах нового богатого дома, ни одного огня не замечалось по этажам, да и неудивительно было: часы показывали без четверти четыре.

Прошло некоторое время, прежде чем за матовыми пузырчатыми стеклами, за лакированной решеткой вспыхнул свет, послышался шорох, дверь поддалась, и шофер, приняв на себя приятное тепло, заговорил со щуплым старичком – консьержем. Старик любезно, послушно сошел к автомобилю, и шофер снова засветил свою зажигалку. Не было сомненья, –

это они решили согласно, – что седок был мертв.

– Вы знаете его? – спросил шофер.

– Конечно. Господин Борниоль жил у нас около трех лет.

– Тогда… – начал было шофер, но консьерж, не замечая ночного холода и что ветер шевелит и дымит его длинные седины, продолжал:

– Видите ли, более двух лет назад господин Борниоль таинственно исчез. Да, вышел из дому за сигаретами и газетой и больше не вернулся. Все публикации и розыски оказались бесполезными. Год тому назад госпожа Борниоль вторично вышла замуж. Т. е. это не совсем гласно, но у нее в данное время другой муж, понимаете? Как же можно в столь поздний час беспокоить людей?.. Самое лучшее вам отвезти его в госпиталь.

– Тогда я пойду поищу полицейского, – сказал шофер не совсем довольно и пошел прочь.

– Советую вам пройти налево, – добавил старичок.

Только тут он почувствовал сколь пронзительно, неприветливо этой ночью. Искреннее волнение его упало, он пошел к дверям, – но как все-таки изменился господин Борниоль…

Впервые опубликовано и печатается по: Числа. 1931. № 5. С. 47-63.

ЛЕЛЬ

1. Песнь о Роланде

Полдень. Дождя нет, безветренно, но туманная облачность мелко сеет сырость. Мы проиграли на пианино все, что умели: ты – «марш веселого полка» и «вальс дам», а я – сигнал «рысью».

– Ну, расскажите какую-нибудь историю, – попросил ты, умещаясь у меня на коленях повыше. – О богатырях.

– О богатырях? Хорошо…

И я рассказал, как песнь о Роланде.

– Понравилась тебе эта история?

– Нет! Мне не нравится, зачем он умер. Не нужно, что бы он умер…

И воистину лишне было отвечать тебе, что трувер Тальефер пел эту песню 13-го октября 1066 года в долине Гастингса, когда полки Гаральда и Вельгельма готовились вступить в бой, что еще тысячу раз пелась эта песнь, что Роланд не умер, что он вовсе не какой то старинный «Britannici legitis praefectus», а он – наша мужская красная кровь, – ты догадался обо всем и без моих путанных слов:

– Знаете что, давайте поиграем, – предложил ты, спускаясь с колен. – Да, в богатырей. Идемте!..

И мы пошли. Я взял твой лук, а ты свое сеульское ружье; ты стрелой умчался на кухню к Нюре – за «пулями» – и догнал меня, зажимая в кулаке

горошины.

Осторожно выступили мы на огород. Почти тотчас мы присели в засаду, за гороховой изгородью, потому что…

– Две с половиной тысячи воинов! – шепот твой тороплив. – Или нет: триста тысяч, четыреста, да!.. Я стреляю!

И ты выстрелил.

– Пять, пятьсот тысяч убито! – ты зарядил свое чудесное ружье для нового залпа.

– Стреляю! – воскликнул и я, но, признаюсь, я волновался, и никак не мог наладиться со стрелой. Наконец я выстрелил – в грядку с баклажанами.

– Отступают в бегстве! – воскликнул и я, поднявшись, шагнул за стрелой.

– Кто? – спросил ты, недоумевая.

– Враги!

– Но мы же всех убили!

– Ну, какие то всадники. Скачем вдогонку! – и мы поскакали.

Право, тебя ни сколько не тревожило, что нас только двое, что я скверно стреляю, а врагов за каждым кустом по двести тысяч. Ты смело мчал и стрелял без промаху; ни один миг ты не сомневался в нашей победе.

А оно так и случилось. Усталые после победной скачки, вернулись мы аллеей от ворот. Попугай приветствовал нас вежливо-торопливым (с калитки на теннис):

– Поп-чка, поп-чка.

– Что за зверь? – спросил я, приостанавливаясь.

– А это пленный король, – ответил ты. – Он же попал к нам в плен!

Мы вошли в комнаты. На пианино лежали газеты, но я не подумал читать их – Господи, да газеты всегда пишут неправду: они, например, никогда не напишут, что мы непобедимы и что Роланд вовсе не умер!

2. Наполеон и его два друга

– Вы будете Наполеоном, а я буду начальником, – предложил ты. – Хорошо?

– Хорошо. А попугай кем будет?

– А попугай будет вашим адъютантом. Хорошо?

– Хорошо.

– Ну, я сейчас приду к вам в гости, – ты отошел к дверям в кабинет и постучал.

– Войдите! – отозвался Наполеон и кашлянул.

– Здравствуйте! – вошел генерал шести лет. – Вас можно видеть?

– Пожалуйста. Очень рад… Как ваше имя?

– Зовите меня… Талейран Иванович.

– Ах да! Ну, как живете, Талейран Иванович?

– Очень хорошо! А как вы?

– Очень плохо. Пришлось распустить всю армию. Даже гвардию и ту распустил.

– А что такое гвардия? – спрашивает генерал тихо.

– А это лучшие солдаты, – отвечает Наполеон вполголоса. И громче: – Да, нет фуража, нет оружия.

– Ну… Хотите мою армию? Очень хорошая.

– Очень?

– Да. А где ваша жена Жозефина?

– Она? Она в Париже.

– А почему?

– Видите ли, ей опасно здесь. У меня нет солдат. А потом ей не нравится здесь: нет музыки, мало народу…

– Ну, почему так? – брови твои шевельнулись. – Ну, пусть она приедет!

– Но она не хочет.

– Ну пусть хочет!

Наполеон помолчал и ответил:

– Значит вы предлагаете мне свою армию?

– Да, мою армию, – повторил генерал. И прибавил: – И гвардию.

Наполеон помолчал.

– Но ведь я ни с кем не воюю!

– Ну, начинайте войну.

– С кем?

– С врагами!

Тогда Наполеон взялся за подзорную трубу – нужды нет, что это были обыкновенные ножницы.

– Ого! – сказал он и прищурил глаз. – Ого!... Пожалуйста, пошлите два корпуса кавалерии. Мы должны сбросить врагов в залив.

Глаза генерала блеснули, он потер руки.

– Уже! – ответил тон.– Враги сброшены!..

– Молодцы, ваши кавалеристы! Пожалуйста, пошлите узнать, согласны ли враги на наши условия: нам все оружие, всех лошадей, все корабли, аэропланы и четыреста миллионов золотом.

– Уже послано, – ответил генерал.

– Ну, и что же?

– Они не согласны. Они хотят драться!..

И бой продолжается еще ожесточенней. И если враги были бесчисленны и все пополняли и пополняли свою пехоту, и стреляли из новых пушек, то и у Наполеона все время вполне хватало войска.

И неинтересно, что бой кончился тем, что генерал должен был сесть к столу – есть овсянку, а Наполеон, насвистывая, сошел с террасы к клумбам.

Досадно было, конечно, что Жозефина не приехала. Но, ведь, не все же время думать об этом! Интересно воевать, а женщины в войне ничего не понимают: они заняты пустяками и боятся, что попугай будет щипать их за ноги, и только – адъютант и поручик.

3. Разговор с доктором

Дождь намочил виноградные лозы за перилами, но на террасе только прохладно. Я сел в длинное кресло, протянул ноги и раскрыл над собой розовый зонт – просто в шутку, но тебе тот час улыбнулась новая игра.

– Знаете что, – заговорил ты, – вы будете дамой, а я буду доктор и приду лечить вашу девочку. Хорошо?

– Хорошо, – ответила дама и поправила зонт.

– Меня зовут Александр Владимирович, а вас Маруся Петровна… Здравствуйте! – вошел доктор.

– Здравствуйте, Александр Владимирович, – отозвалась дама. – Вот хорошо, что зашли! У меня нездорова девочка. Боюсь, что ангина. Посмотрите ее, пожалуйста!

– Хорошо, сейчас. У вас есть трубка? – спрашивает доктор.

– Нет.

– Ну, у меня есть. А где девочка?

– А вон на перилах. Видите белый хвост…

– Ну зачем «хвост»? – поднял брови. – Это же не попугай, а девочка! Она в ночной рубашке.

– Ну извини!... Да, пожалуйста, выслушайте, доктор!

– Я сейчас… – и ты подошел к попугаю и постучал ему пальцем в палец – грудь и крылья. Потом, серьезный, ты вернулся ко мне.

– Ну что? – спросила дама под зонтиком.

– У вашей девочки поражение… аппендицита, – проговорил Александр Владимирович.

– Это опасно.

– Да, это опасно. Один процент выздоравливает, а две тысячи умерло.

– Ужасно! – отозвалась дама. – Но девочка поправится?

– Я не знаю, – пожал Александр Владимирович плечами и сказал: – Какой у вас красивый зонт! Где вы покупали?

– В Сан-Франциско, – ответила дама. – Но чем лечить девочку?

– Я сейчас скажу… Давайте ей рыбий жир.

– Но она не любит его.

– Ну, давайте его так: возьмите березового соку и сахару, сделайте сладкую-сладкую водицу – и ложку рыбьего жира...

– Чайную или столовую?

– Чайную... Да, а все это средство называется «Колодерма»…

– Понимаю, – отозвалась дама и, усмехнувшись, посмотрела на свои загорелые руки.

Наступило молчание.

– А мы, кажется, встречались в Петербурге? – спросила дама, успокоив свою веселость.

– Да, встречались, – ответил Александр Владимирович и добавил: – Ведь у меня тоже есть дети.

– А какой вы моложавый! Сколько вам лет?

– Да, я очень моложавый. Мне сорок четыре года.

– А дети большие?

– Да, дети у меня большие. Моему сыну уже пятьдесят два года.

Но тут дама начала хохотать, хохотать, зонтик трясся в ее руке, – и засмеялся Александр Владимирович. Наконец, ты сказал мне весело и своенравно.

– Ну, чего вы смеетесь!...

Да, это, конечно, все пустяки: и то, что аппендицит ты лечишь колодермой, и то, что сын у тебя старше тебя на восемь лет. Все, все пустяки! И ты, безусловно, отлично знаешь немецкую теорию относительности и знаешь новую теорию о происхождении молекулы. И еще ты знаешь, что и немцев обойдут, и Энштейна, и другого, – и вот хорошо пахнущая Колодерма лечит у тебя кишечник, а над временем ты просто смеешься.

И ты прав. Уверяю тебя!

Впервые опубликовано и печатается по: Врата. Кн. 1. Шанхай, 1934. С. 87-92.

ПЕПЕЛ

Я очень зяб в этот вечер. В трубу камина столь яростно завывало – дуло, что мне из-за искр приходилось сидеть на два шага от решетки. Я был в шерстяных чулках, ноги мои стояли на высокой скамейке, – и все-таки я замирал от озноба, несмотря на мехом подбитый плащ, которым я прикрылся по настоянию Луки.

Пылкое освещение камина и замирающих свечей отражалось на раскрытых страницах, на моих высоких коленах… Латинские слова начинали казаться греческими, – глаза мои устали. Я откинулся на спинку кресла, зажмурился, слушая бур.

Вошел осторожно Лука. Не открывая глаз, я попросил его принести мне воды. Мое спокойное одиночество, мысли о латинских поэтах продолжались. Лука принес мне цыпленка и белого вина. Испытывая голод озябшего, я уже приготовился начать ужин, как Лука доложил о приходе старика Беппо, дворецкого моего дорогого друга Виженто.

– Что случилось, Беппо? – спросил я, так как лицо старика являло вдохновенье тревогой.

– Ужас, – ответил он коротко и, шагнув, приостановился. – Простите,

сеньор, что я не целую вашу руку: очень возможно, что и я заражен… Ужасное, сеньор! Ваш друг, а мой добрый господин, заболел черной болезнью…

– Что ты говоришь? – поразился я, и книга, не задержанная моими руками, соскользнула с колен на ковры.

– Увы! Это определилось еще с утра. И теперь даже слепой, слыша ужасный кашель, перестанет сомневаться… Это ужасно, сеньор! – и старик издал птичий возглас рыданья.

Я прижал кулаки к горячим щекам, погрузился в кресло. Я слышал звоны пульсов. Пламя в очаге камина ярко вздувалось и осыпало искрами…

– Хорошо, – ответил я, убирая ноги со скамейки. – Я пойду с тобой, Беппо!

– Погода, сеньор… – начал было Лука, но я перебил его:

– Оставь! – и взял с соседнего кресла меховые перчатки.

Лука молча подал мне шляпу и трость – подарок Виженто.

Беппо молчал в это время:

– Я не звал вас, дорогой сеньор! И Лука прав, упоминая о погоде, – на улице так скверно, сеньор! И мой больной господин не наказывал передать приглашение…

Но я, делая вид, что не слышу, молча заканчивал сборы. И, твердо ступая, вышел из комнаты.

Буря на улице тотчас сделала нас почти невесомыми. Стояла темень новолуния. Неаполь точно вымер в эту августовскую ночь. Фонарь Беппо – он пошел особняком – вскоре задуло, но фонарь Луки бережно освещал мне дорогу. Крепко прижимая к лицу три надушенных платка, дыша в них, я шел, пожалуй, без боязни. Мне одного не хотелось: что бы вихрь обнажил мою голову, напылил, спутал мои длинные волосы… Мы были благополучны в нашем пути – правда, он не был продолжительным. И лишь однажды я вздрогнул от стона в темной нише дома, который мне с детства казался особенно счастливым…

Наконец, мы дошли. Продолжая дышать духами своих кружевных платков, я начал подниматься по знакомой лестнице, не чувствуя себя ни спокойным, ни удовлетворенным.

Там, в той комнате, было достаточно светло. Виженто!.. Его длинная фигура сидела спиной к камину в кресле без спинки.

– А, вы пришли! – послышался дорогой мне голос, будто забытый мною. – Но не ступайте дальше, мой добрый друг! Нет, не стоит!..

– Что с вами? – сказал я очень громко и, как мне казалось, бодро.

– Ничего опасного, – ответил мне ясный мужественный голос. – Я только… умираю…

Наступило молчанье. Виженто повернулся. Канделябры с высокой

полки камина теперь осветили его лицо. Оно было спокойно, и даже зной смертельной болезни не окрасил обычной бледности. Но глаза казались драгоценными камнями. Еще было заметно, что моему другу тяжело дышать. Он усмехнулся. Я отнял платки от лица.

– Нет, прикройтесь! – приказал он. – Этим нельзя шутить… Ведь и мне неприятно умирать, поверьте..

– Вы не умрете! – воскликнул я, шагнув невольно.

Он поднял навстречу свою бледную, заметно дрожащую ладонь.

– Осторожно, – сказал он протяжно. – Я вовсе не хочу, чтобы вы…

Но приступ судорог кашля прервал его. Он втянул воздух, он заметно слабел, сидел сгорбившись, держась за боковинки кресла. Длинные ноги его казались чужими. Но раскосые глаза улыбались ласково.

Отдышавшись он заговорил:

– Мне досадно, что я… уйду, не кончив трех задач. Первая – научить Вас понимать апофемы Тертулиана, – глаза моего друга усмехнулись ласково. – Вторая моя задача – это закончить комментарии к Пьетро Бембо, показать всем глупцам, что «Asolai» вовсе не безнравственная книга. И третья…

– И третья? – повторил я.

– И третья… – погладил, донес он руку до своих коротких темных волос. – Третья, мне хотелось убедить дону Франческу, что действительное отсутствие двух диезов в ее последней канцоне лишают слушателя очарования…

Он замолчал. Я не находил, что ответить ему: вся внутренность моя дрожала поднимающимся рыданием.

– Действительно, – продолжал он и склонил голову, облокачиваясь и подпирая щеку своей большой узкой ладонью, – если бы она поняла! Но едва ли это так будет… Вы заметили, мой друг, что в каждой песне нашей дорогой певицы не хватает чего-то? – и он посмотрел на меня, опустив руки между колен.

– Да, – ответил я невольно, но на самом деле я даже не представлял лица донны Франчески, – я что-то слушал, к чему-то присматривался, – и рыданья и слезы, которыми прорывалась мое оцепененье, возмутили моего несчастного друга на новый ужасный кашель. Увлекаемый из комнаты, я, оборачиваясь, видел за плечом кровавую мокроту на его подбородке…

Больше я его не видел. Он меня не пустил к себе. Кашель совершенно не давал ему говорить. А в темноте, у дверей, во мне вдруг проснулся страх за свою жизнь. И я не особенно настаивал на свидании.

Мы с Лукой вернулись домой столь же благополучно. Цыпленка я не мог есть, но с жадностью выпил вино. Спал я вполне хорошо.

А утром мне стало известно, что Винженто умер перед рассветом.

Я, конечно, не пошел проститься с ним. Я передал Беппо через по-

сланца, чтобы сторож задержал моего друга и, по возможности, даже скрыл самую смерть. Дело в том, что я вспомнил одну просьбу Винженто, которую я поклялся исполнить.

Это произошло в апреле месяце, еще до появления черной болезни, во время одной из наших прогулок по морю. Мы высадились на берег и, отъединившись от общества, рассуждали обо всем. Берег в одном месте был очень узок, его венчала черная скала. Винженто сказал оглянувшись:

– Дорогой друг, дайте мне слово исполнить мое последнее желание!

– Охотно, – ответил я, чувствуя сердцебиение, – очень охотно даю вам слово, если это не повредит вам…

Он нагнулся и сорвал голубой цветок.

– Вот здесь, – начал он негромко, – вот здесь вы сожжете мой прах, когда я умру. – И, помолчавши, он прибавил: – Помните, вы дали слово!...

И я опустил тогда голову.

Теперь я решил исполнить волю усопшего. Это стоило мне многих минут, но они закончились успешно. При закате я находился на борту бригантины «Аспазия», принадлежавшей маркизу Андреа де Веччи, который еще в самом начале марта уехал в Рим, но управляющий его охотно исполнил мою просьбу, предоставив прелестный парусник до утра в мое распоряжение.

Вместе со мной на бригантине находились донна Франческа Спорца и ее две девушки. Мы сидели с донной на корме, в покойных креслах, стоявших на ковре. Одна из девушек напевала, сидя на подушке у ног госпожи. Море было просторно и трогательно освещено закатом; облачности не было совершенно. Красные паруса нашей бригантины были свернуты, мы стояли на якоре ввиду черной скалы. Мы молчали, наблюдая море и закат. На низком мавританском столике между нами стояли сладости. Донна Франческа, одетая в платье зеленого бархата, с жемчужной шапочкой на светлых волосах, была спокойно и добродушно молчалива. Когда она поворачивала голову, длинные подвески от висков щекотали ее бледную шею; она щурилась и отправляла рукой серебренное кружево воротника.

Она сказала:

– Однако, долго нет этой полубарки!.. Скоро на море будет сыро, и мы можем заполучить простуду.

Я ответил ей:

– Будьте терпеливой, мадонна. Не забывайте, что это какая-то полубарка везет тело нашего общего друга!..

Ее продолговатые глаза оглянули меня.

– Я это знаю, – ответила она и взяла с золотой тарелки финик.

Мы молчали.

– Мой друг, – начал я, – очень сожалел, что не смог передать вам несколько слов…

– Каких? – спросила она, не отворачиваясь от моря.

– Он говорил, что в ваших канцонах не хватает не только диезов, он говорил, что в них нет чувства…

Она пожала плечами.

– Если бы он был музыкантом, я бы поверила ему. Но ведь он кто? Поэт! Или даже философ…

Я усмехнулся:

– Но разве поэты не ценители музыки?

У нее зачесалось около носа.

– Лучия, принесите мне плащ снизу, – приказала она девушке у своих ног.

Девушка поднялась.

– Поэты, – продолжала донна, – мне кажется, что поэты знатоки в латыни. Не так ли?

Я больше не возражал ей.

Солнце закатилось. Почти тотчас мы заметили приближение черной барки. Я отдал приказание, чтобы готовили лодку…

Уже после заката довелось заканчивать костер. Он вышел огромным. Я стоял поодаль и отдавал, возвышая голос, приказания Беппо, который с непокрытой головой помогал своими стариковскими неверными руками приехавшим людям. Донна стояла под прикрытием скалы. Нашу лодку, – которую держал матрос, а остальные два сидели, уже совсем темные, – качало стремительно. Поднимался ветер, взошли тучи.

Ко мне приблизилась девушка и позвала к донне. Я пошел туда.

– Отпустите меня в город! – приказал мне звучный голос из-под капюшона. – Это становится страшно, я не могу!..

Я обернулся. Начался поджог костра. Люди с факелами угнетали, как и эта черная ночь при морском ветре, как мысль об умершем…

– Но как это сделать? – ответил я. – Было бы достойнее, если бы мадонна осталась помолится…

– Я буду молится! – ответила она, и я заметил, как сверкнули ее глаза. – А здесь вам нужен священник… Право, отпустите меня! О! – и она прикрылась полой.

Я, не оборачиваясь, по движению всего окружающего узнал, что костер вспыхнул. Я обернулся: там гудело багровое текучее пламя, оно охватило весь наш странный ковчег, и золотистое озарение пало на всех, захватив даже бригантину, а у темных людей, тушивших черные факелы, – у них легли сзади тени…

Донну Франческу мне пришлось отпустить меньше, чем через час, ибо она рыдала, а я никогда не мог перенести женских слез. Зубы ее стучали, она потеряла, неизвестно как, одну из подвесок. Я отдал ей в лодку еще свой меховой плащ, оставшись в одном бархатном.

Ветра не было. Мне были слышны голоса с бригантины, а полубарка, стоявшая ближе, справа, была нема. Я сидел на камне прячась, кутаясь в плащ.

Костер продолжал гореть восемь часов. Рассвет застал меня бессонным, утомленным, но удивительно легким. Мои ночные думы казались мне только досадными. Но, воистину, все проходит, и когда-нибудь наши потомки даже не будут понимать чудесного языка. И вот стоит ли рассказывать о своих горестях?

Пепла было очень много. Разбуженный, спавший прямо на песке, старик Беппо помогал могильщикам ссыпать золу в большую белую амфору с голубыми ручками и павлином.

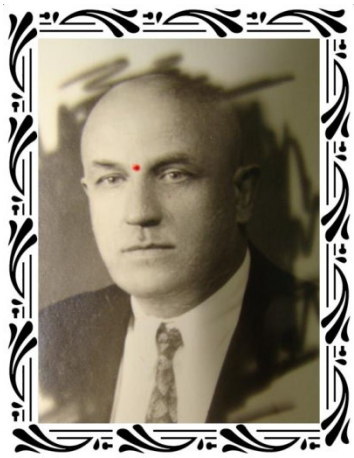
Я пошел пешком в Неаполь.

Через три дня, ни с кем не простившись, я выехал во Флоренцию.

Разумеется, донна Франческа отказалась от пепла моего друга. В это время умер Беппо, и мне стоило больших затруднений выписать амфору к себе.

И сознаюсь: около месяца я держал ее в саду. И только после я велел поставить ее в библиотеку. Но когда я переехал в Венецию, амфора осталась…

Впервые опубликовано и печатается по: Врата. 1935. №1. С. 117-122.



Анатолий Прохорович ВЕЛЕЖЕВ *(1887–?)*

Прозаик и журналист Анатолий Вележев родился 8 августа (ст. ст.) 1887 г. в городе Бирюч Воронежской губернии. Окончил Воронежскую духовную семинарию, затем юридический факультет Варшавского университета. После окончания университета состоял помощником присяжного поверенного при Воронежском окружном суде. Участник Гражданской войны. Редактор войскового журнала «Сибирский стрелок» (Чердынь). Был ранен, после чего некоторое время занимался частными уроками в Новониколаевске (ныне г. Новосибирск) и Владивостоке. В ноябре 1922 г. прибыл в Харбин. Зарабатывал частными уроками, коммерцией, юридической практикой. В начале 1930-х гг. занялся журналистской деятельностью. Печатал (в том числе, под псевдонимом «А. Волин») статьи по вопросам культуры, международной жизни, истории и военным событиям. В разные годы был секретарем и редактором газет «Русский голос», «Русское слово» (1931–1934 гг.), «Гун-Бао»(с 1934 г.), «Голос эмигрантов» (с 1938 г.), «Заря» (с 1937 г.), «Боевой друг» (с 1942 г.), журналов «Луч Азии»(с 1935 г.), «Русский настольный календарь» (с 1936 г.). С мая 1945 г. начальник отдела пропаганды Бюро российских эмигрантов в Маньчжурии (БРЭМ). В августе того же года арестован и депортирован вместе с женой и сыном в лагерь. Дальнейшая судьба неизвестна.

Ист. и лит.:

Кривченко Л.А. История жизни А.П. Вележева в эмиграции (По документам БРЭМа и эмигрантским печатным источникам) // Пятые Гродековские чтения: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Хабаровск, 2006.

ТРИ РОЖДЕСТВА

Рассказ офицера

Зимой восемнадцатого года воевали мы на Урале.

Хорошее было тогда время. Пермяки, уже хлебнувшие вдоволь советской власти, смотрели на белых как на избавителей и помогали нам, чем могли. Особенно тепло – другого слова не подберу – встречала нас деревня, где мы парились до одури в банях, объедались пельменями и с помощью добровольных проводников выходили таежными тропами в тылы красных. Правда, временами приходилось нам выдерживать бои, и жестокие, но это лишь в тех случаях, когда против нас действовали добровольческие и коммунистические части, укомплектованные матросами, рабочими и бывшими военнопленными, – эти дяди умели воевать, а при случае – и ответ держать. Зато мобилизованные от боев явно уклонялись и сдавались в плен при всяком удобном случае: перебьют своих комиссаров – и к нам.

И хоть приходилось нам делать сорокаверстные переходы, и шинельки у нас были на рыбьем меху, и животы, случалось, подводило от голода, – но были тогда молоды, сильны духом и телом, верили в успех нашего дела, и крепко сидела в нашем сердце надежда, что не успеет еще

сойти снег с полей, как дойдем мы до кремлевских стен, и среди великого поста запоют в Белокаменной пасхальный канон – вестник избавления России от советской власти.

Оттого так легко, бездумно и весело шли мы тогда вперед.

Но после взятия нами Перми что-то изменилось к худшему, как будто сломалась пружина, от которой зависел успех всего нашего дела. То ли мы выдохлись, то ли красные набрались сил, но наше наступление задержалось, словно река в половодье, прегражденная плотиной. И, незаметно, как-то само собой, на снежных пермских полях ломанными линиями обозначились контуры фронта.

I

В морозное солнечное утро вызвали меня в штаб полка.

– Здравствуйте, юноша, – встретил меня командир, полковник Зеленцов. – Раздевайтесь и садитесь – вот здесь.

Зеленцову не было и тридцати лет, и чтобы чем-то компенсировать эту непростительную для своего чина и должности молодость, он напускал на себя начальственную строгость и всех офицеров своего полка называл юношами, в том числе и меня, хотя я был старше его года на два.

– У меня к вам, юноша, дело, и серьезное. Вам эти места знакомы? – полковник указал на двухверстку, где красным карандашом была начерчена фигура, отдаленно напоминающая Каспийское море.

– Да, немного знаю, г. полковник.

– Так вот. Разведка сообщает, что здесь, – Зеленцов ткнул пальцем в середину Каспийского моря, – накапливаются красные. Вы понимаете? Очевидно, пронюхали, черти, что у нас на этом участке прореха, и решили нажать. Говорят, их там уже не меньше полка. Что вы на это скажете?

– Полагаю, г. полковник, что прежде всего нужно заткнуть прореху.

– Вот именно, – даже как будто обрадовался Зеленцов. – Для этого самого я вас и потревожил. Придется вашему батальону продвинуться влево и изображать из себя пробку. Иначе мы пропали.

– Но, г. полковник, одного батальона для такого участка будет мало. Если красные поведут наступление целым полком, мы не выдержим.

– Что поделаешь, дорогой мой юноша. Сами знаете, какие у нас силенки. Да вы не особенно беспокоитесь: я вас подкреплю одной ротой, можно еще придать пулеметный взвод. Ваши-то пулеметы в порядке?

– Так точно.

– Ну, вот и хорошо. Одним словом, действуйте. Главное внимание обратите на дорогу, что ведет из села Лабзина на тракт, в сторону красных. Смотрите за ней в оба, очень уж она мне не нравится. Ну, помогай вам Бог, – сказал Зеленцов, вставая, и в голосе его что-то дрогнуло.

Чтобы сократить путь, я поехал назад прямиком через лес. Огромные и прямые, как телеграфные столбы, кедры, то раздувались, образуя просторные поляны, то сбивались в беспорядочные группы. Сквозь тонкий переплет ветвей, изысканно и нежно убранных кружевом инея, голубела непорочная бирюза неба. Лес стоял, как зачарованный, и только иногда, встревоженные моим появлением, неуклюже взметывались вверх вороны, и пришедшие от этого в движение ветви долго осыпали меня роем снежных блесок.

Признаюсь, вся эта красота мало меня трогала. От разговоров с Зеленцовым у меня осталось неприятное зудящее чувство. По всем признакам, нам предстояло очень серьезное дело, может быть, даже сегодня ночью. Что-то принесет нам эта ночь?

У моих ротных вытянулись лица, когда я, собрав их, изложил им задачу, возложенную на наш батальон.

– Все это так, – сказал командир 2-й роты, поручик Гончаренко, – только с какими же силами мы будем противника встречать? У меня дай Бог, чтобы 60 штыков набралось. А в других ротах, я знаю, и того не будет.

– Что поделаешь? – ответил я словами командира полка. – Сами знаете – служба. Что приказали, то и приходится исполнять.

Было около трех дня, когда я в легкой, на морозе, дохе, верхом на лошади поехал в объезд своего нового боевого участка. Центральное место на нем, то самое, по которому пролегала дорога, так беспокоившая полковника Зеленцова, заняла вторая рота. Солнце пухлым багровым шаром скатывалось вниз, к ожидавшей его на западе туманной мгле. И уже начало темнеть, когда я не без труда разыскал поручика Гончаренко, который со своим взводом, составлявшим ротный резерв, расположился в пустой заброшенной избе. Вероятно, в нем жил прежде лесник.

Гончаренко был наш общий любимец. Был он очень красив той правильной, смуглой и яркой красотой, которая встречается только среди уроженцев нашего Юга. Привлекала в нем широта натуры, его веселость, остроумие, компанейский характер. Такие люди, как правило, не имеют врагов и не знают, что такое жизненные неудачи. При всем том, он был отличный офицер, и его рота ставилась в пример остальным командирам.

Обстоятельно и без лишних слов Гончаренко доложил мне о положении на участке своей роты.

– Лыжников в дозоры выслали? – спросил я.

– Так точно, – ответил он, – через час ожидаю от них донесений.

И уже другим тоном добавил:

– Чаю не желаете?

В широкогорлой русской печи яростно гудел огонь. Ни лампы, ни свечи не было. Отсвет пламени беспокойно метался на противоположной от печи стенке, блестевшей от выступившей сырости. На скамьях и на полу

бесформенными грудами лежали солдаты и, казалось, спали. Пахло распаренной шерстью, табаком и тем запахом, который присущ, кажется, всем солдатам мира.

Обжигаясь, я с удовольствием тянул из большой эмалированной, с зазубренными краями, кружки крепкую, без сахара, жидкость, так хорошо согревавшую иззябшее на морозе тело.

Неожиданно до нас донеслись звуки колокола.

– В Лабзине ко всенощной зазвонили, – сказал Гончаренко и пояснил, – сегодня ведь сочельник.

– Сочельник! А я про него и забыл.

– Да, сочельник, – задумчиво повторил поручик. – А завтра – Рождество. Вы когда-нибудь были у нас на Украине? – спросил он.

– Да, но только проездом.

– И не знаете, как у нас Святки празднуют?

– Не имею представления.

– Жаль. В наших святочных обычаях много любопытного, чего в других местах не встретите. Я ведь сам из Полтавщины, родился и вырос на хуторе, и Рождества без колядок и колбас не представляю.

Гончаренко помолчал немного.

— В сочельник у нас колядуют, – заговорил он опять. – Читали гоголевскую «Ночь под Рождеством»? Ну там про эти самые колядки и говорится. А в самый праздник у нас виршуют: ребята с утра, чуть свет, ходят по домам и стихи говорят, с Рождеством поздравляют. А под новый год щидруют – тоже не слыхали? Забавная, я вам скажу, вещь.

В прихотливой игре светотеней я отчетливо видел его красивое, словно выточенное, лицо. Выражение его было грустно и нежно.

– Замечательное было время – Святки, – продолжал он. – Сколько поэзии и радости вносили они в нашу жизнь, каким весельем наполняли они эти дни. А как встречали у нас гостей, званых и незваных. Бывало, зальешься в первый же день с визитами по хуторам, дай Бог, чтобы в родительский дом на четвертый день вернуться. А как вкусно пахло в домах, какие окорока, колбасы, птица подавались к праздничному столу.

Один из солдат яростно сплюнул и повернулся на другой бок.

– Ты что? – спросил я.

– Курить дюже охота, г. капитан.

Я вынул пачку сигарет «Золотой Шлем» и протянул ее солдату.

– Бери и соседям дай.

Сонные фигуры вмиг ожили, и со всех сторон к пачке потянулись закорузлые пальцы.

– Да, – продолжал Гончаренко, – так и проходили Святки, словно в угаре.

Не успеешь вдоволь навеселиться, в школу пора возвращаться. И, Бог

ты мой, сколько в эти дни ехало нашего брата-учащегося, какая толчея творилась на вокзалах, сколько было приятной суматохи, волнующих встреч, какие интересные завязывались знакомства! У меня, помнится, было одно дорожное приключение; даже не поверите, до чего оно, как бы вам сказать, неправдоподобное что ли. Хотите расскажу?

Но рассказа его я так и не услышал. Тревожно запел полевой телефон. Гончаренко схватил трубку и через минуту, оторвавшись, сказал изменившимся голосом:

– Дозоры противника показались...

Вдвоем мы вышли из избы. В застекляневшем от мороза воздухе гулко стучали отдельные ружейные выстрелы.

Как я и ожидал, бой оказался для нас тяжелый. Красные всеми силами наваливались на вторую роту и совершенно ее растрепали. Сам Гончаренко был ранен в голову, и с тех пор я его уже не видел.

Жив ли он, умер, попал в плен к краснымпри отступлении наших частей – не знаю.

II

Ровно год спустя мы уходили от наседавших на нас советчиков. Фронт уже рухнул, и, словно листья, гонимые осенней непогодью, несло нас все дальше на восток. Сзади оставалось красное безумие, впереди была неизвестность. Тысячеверстной ниткой вытянулись по сибирскому рельсовому пути составы с сыпнотифозными, ранеными, беженцами, «поезда смерти», как их тогда называли. А вправо и влево от железной дороги, туда же на восток мчались десятки тысяч саней, обозначая свой путь брошенными подводами и трупами павших лошадей.

Широкой дугой, радиусом верст в шестьдесят, мы обогнули Красноярск с севера. «Мы» – т. е. полк. Зеленцов, начальник хозяйственной части, я, десяток младших офицеров и человек пятьдесят солдат – все, что осталось от нашего полка. От красных мы уже оторвались, и ехали без особых приключений. Лишь утром в сочельник имели стычку с небольшим отрядом партизан, устроивших нам засаду в тайге, и в полдень подъехали к селу, название которого теперь уже и не помню.

Сразу было видно, что здесь живут новоселы. Село было чистенькое, новенькое, правильно распланированное. Небольшая, красивой архитектуры, церковь, немного поодаль от нее – школа, волостное управление и больница. К селу вела широкая, хорошо наезженная дорога, остолбленная с двух сторон, с мостиками, водоотливами, с насыпями в низинах. Все эти блага цивилизации, создавшиеся в Сибири трудами Переселенческого управления, много помогали нам тогда при отступлении.

Решили остановиться и дать лошадям отдых. Нас встретила женщина лет сорока, хмурая и неразговорчивая. На вопрос – где хозяин, ответила,

что уехал несколько дней назад в город и до сих пор не возвращался. Две девочки-погодки и мальчик лет десяти, забившись в самый угол, с пугливым любопытством косились на наши винтовки. С полатей доносилось старческое кряхтенье, прерываемое вздохами и молитвенными причитаниями.

На просьбу покормить нас, хозяйка ответила, что ничего не стряпала. Есть только сметана, соленые огурцы и вяленая рыба, – если желаем, может подать.

– А денег мне ваших не нужно, – сказала она. Нескрываемая насмешка слышалась в ее голосе.

У начхоза были пельмени, которые уже не раз выручали нас на остановках. Мы заказали хозяйке сварить их, развели бутылку спирту, поели, выпили и как-то отмякли душой.

Вошел начальник команды разведчиков, капитан Георгиевский. Увидав наше пиршество, он словно сконфузился, но от предложенного стакана водки не отказался и, осушив его одним махом, принялся за пельмени. И застарелый голод и тоска по вкусной еде чувствовалась в работе его челюстей.

Наконец и он отвалился от стола.

– А я тут, г. полковник, двух рябчиков около поскотины зацарапал, – сказал он, обращаясь к Зеленцову. – Оба с берданками. Спрашиваю, вы чего тут бродите, отвечают – на охоту вышли. Не иначе, однако, как партизаны. Что прикажете с ними делать?

– Задержите их, юноша.

– Вообще село какое-то подозрительное, – продолжал Георгиевский. – Мужиков, как метлой вымело, ни в одной хате их не увидите. Одни старики да бабы остались. И везде ответ: кто по дрова в лес поехал, кто на охоту ушел, кто на Енисее рыбу ловит. Это под Рождество-то.

– Сейчас бы в баньку сходить, – мечтательно сказал начхоз. – Чувствую, что весь соленой корой покрылся.

– Тоже выдумаете – баня, – отмахнулся Георгиевский. – Говорю вам – в самое партизанское логово забрались. Они нам такую баню покажут, что и костей отсюда не вынесете. По-моему, как только кони отдохнут, так и айда дальше. Вы как полагаете, г. полковник?

Зазвонили ко всенощной.

– Что же, так и сделаем, – сказал Зеленцов. – Только вот что, господа, не сходить ли нам в церковь?.. А? Ведь завтра Рождество, а я и не помню, когда слушал службу.

– Это кто как хочет, – ответил Георгиевский, – а мне разрешите к своим разведчикам податься. Проверю посты, да на всякий случай пулемет выставлю. Так будет надежней.

Молящихся в церкви было немного. Бревенчатые стены источали

слабый смолистый запах. Кое-где мерцали свечи, борясь с обступившей их темнотой. Служил молодой священник, явно оробевший при нашем появлении. На правом клиросе пел невидимый для глаз женский хор. Молодые, высокие голоса, слившись в один звуковой поток, дружно и красиво отвечали на возгласы, идущие из алтаря.

Мы купили целый пук свечей, и в церкви сразу стало веселей. А когда запели «Слава в вышних Богу», и я по старой привычке опустился на колени, волна щемящей и в то же время приятной грусти охватила все мое существо. Словно, после долгих мучительных блужданий я, наконец, завидел приветные огни родного дома.

Около нас выросла вдруг фигура Георгиевского.

– Г. полковник, пора сматываться, партизаны подходят.

Когда мы садились в сани, несколько пуль пролетело над нашими головами.

– Из берданок стреляют, – угрюмо пробасил Георгиевский. – Ну, подождите, ошарашим вас из пулемета, долго будете этот праздник помнить. Да вот еще г. полковник, что прикажете с задержанными делать? Помните, я давеча вам докладывал?

Зеленцов ответил не сразу.

– Отпустите их, юноша, – сказал он, наконец. – Сегодня ведь мир и в человецех благоволение. – Он криво усмехнулся. – Так ведь, кажется, поется? – спросил он, ни к кому собственно не обращаясь.

Через десять минут мы были уже за околицей. Молодой, еще не набравший силы, месяц тусклым расплывчатым бликом светил на мутном пологе неба. Снизу, с сухим хрустом, неслась поземка. Широкое, с черневшим по краям лесом, поле словно исходило вокруг нас белыми парами; в их зыбко-изменчивой пляске было что-то фантастическое и страшное.

До Байкала оставалась еще тысяча верст. Доедем ли?

III

Это время – конец девятнадцатого и начало двадцатого года – все мы, тогда уходившие от большевиков, будем помнить до самой смерти. Страшные, незабываемые дни! На пространстве тысячи верст, среди ледяного безмолвия сибирской пустыни, разыгрывались трагедии, которых человеческое воображение не могло и представить. Матери теряли своих детей, на глазах жен расстреливали их мужей, родные и близкие расставались на полчаса, чтобы больше уже никогда не встречаться. И чем дальше уходили мы на восток, тем безнадежней рвались нити, связывающие нас с Россией...

В апреле 1920 года я был ранен под Сретенском: осколком снаряда раздробило голеностопный сустав. Лето я пролежал в одном из читинских госпиталей, а затем к осени всех нас, раненых, эвакуировали в санитарных

поездах в Приморье.

Наш поезд обосновался на станции Хорватово. Рядом с нами поставили состав с беженцами из Забайкалья, все больше женщины и дети. Иногда, в хороший солнечный день, я взбирался с помощью костылей на отлогую сопку – оттуда вся станция была видна, как на ладони. Две длинных улитки, одна серая – наш состав, другая красная – беженский, вытянулись около больших коричневых коробок – станционных зданий, притулившихся к самой горе. За полотном дороги, где блестели паутинки рельс, чернел ивняк, сплошь закрывший маленькую, всю в неожиданных изломах речушку. Бурели склоны противоположных сопок, и мягкими лиловыми волнами уходили вдаль.

Дни шли за днями, до тошноты похожие один на другой. Главными событиями нашей жизни были перевязки, обед и ужин, промежутки между которыми мы старались заполнить хоть каким-нибудь содержанием. Впрочем, было развлечение, которому все мы платили дань – встреча экспресса, приходившего три раза в неделю из Маньчжурии во Владивосток и обратно. Экспресс, стремительный, нарядный, весь сверкающий огнями красавец, задерживался у нас на пять минут, и мы с каким-то настороженным, недружелюбным вниманием наблюдали через прозрачность зеркальных стекол чужую жизнь, роскошную и для нас недосягаемую, жизнь среди хрусталя, бронзы, цветов и красивых женщин. И всякий раз, возвращаясь в свои вагоны, мы испытывали такое чувство, будто нас ограбили или обокрали.

Днем было еще ничего, но когда в вагон прокрадывался вечер, с которым не могла совладать свеча, одиноко горевшая в своей стеклянной тюрьме, и прорезанный в потолке вентилятор затягивал однообразную песню, душу охватывали тоска, сознание прожитой впустую жизни, чувство безнадежности и злая скука. В такие минуты по пустякам вдруг вспыхивали беспричинные ссоры, и в глазах самых закадычных друзей горели огни взаимной злобы, почти ненависти.

Страшная вещь – вынужденное безделье!

Дни золотой уссурийской осени вдруг оборвались, резко и грубо. В Николин день мы ходили встречать экспресс в одних гимнастерках, но к вечеру вдруг завыл вентилятор, и вагон стал вздрагивать под ударами тайфуна, который с разрушительной яростью бушевал два дня, отрезав нас от всего мира. И когда, наконец, мы вышли на воздух, белая пелена, вся в сугробах, резала и слепила глаза, и безмятежно сияло чистое, еще недавно засыпавшее нас снегом небо.

В тот же день узнали мы новость, которая, говоря газетным языком, произвела среди нас сенсацию: оказывается, в одном из вагонов нашего поезда будет церковь. Новость подтвердил и Лисин, агроном по образованию, исполнявший при поезде обязанности кладовщика, слесаря, столяра,

вообще технической рабсилы.

– Утварь и облачение у нас есть, – сказал он. – Богослужебных книг маловато, но нам обещает их дать батюшка из Сергиевки. Служить будет о. Константин, наш штатный краснокрестный священник. Делается иконостас. Вероятно, в сочельник уже будут служить.

Новость взбудоражила и захватила всех обитателей поезда – и больных, и персонал. Все хотели принять свое посильное участие в создании церкви. Старший врач поезда, д-р Петров, оказался хорошим регентом. Нашлись неплохие голоса и скоро в пустующей по вечерам канцелярии стало слышаться пение – то сколачивался и обучался новый хор. Сестры делали бумажные цветы и шили чехлы для подсвечников. Пригодился даже Овчинников, инвалид с ампутированными обеими ногами, человек вывихнутый и совершенно раздавленный своим несчастьем. Он добыл откуда-то липовую чурку и с помощью одного ножа вырезывал замысловатый, очень красивый канделябр.

– Что, брат, хорошо? – спрашивал он своих совагонников, и его квадратное, чуть тронутое рябинами лицо светилось тихой детской улыбкой… – Знай наших – вятских. Мы к дереву привыкшие.

На раме тормозной площадки повесил три куска рельса. Один большой, два других поменьше. И когда в сочельник, в предвечерней мгле вдруг поплыли мягкие звуки, так напоминающие колокол, все заулыбались, и на душе стало теплее.

Я пришел в церковь, когда служба еще не начиналась. Батюшка, уже в облачении, привычным жестом выправлял из ризы волосы и что-то вполголоса говорил своему псаломщику. Пахло хвоей, ладаном, нежно и наивно розовели самодельные цветы, украшавшие иконостас.

Сначала хор пел неуверенно, немного громко, голоса, видимо, еще не успели приладиться друг к другу. Но потом певчие успокоились и после «Свете Тихий» запели стройно и тихо. А когда дошли до «Хвалите», все молящиеся, услышав знакомый напев, начали подпевать хору, и доктор Петров высоко поднял вверх свою управляющую руку, чтобы ее было видно поющим.

Я стоял и слушал пение, и душу мою волновали новые, впервые пришедшие мысли. Почему мы, русские люди, поняли по-настоящему всю красоту нашей церковной службы только теперь, когда страшное горе камнем придавило наши души? Вот стоят в этой походной церкви врачи, бывшие судебные деятели, инженеры, офицеры. Стоят и молятся так, как никогда, может быть, не молились. Почему же раньше они этого не делали? Почему мы прозрели именно теперь, когда произошло что-то непоправимое и ужасное?

* * *

В нашем вагоне было чисто, прибрано, тепло. На столиках белели свежие скатерти.

– С праздником, г. капитан, – сказал мне санитар Басков, тихий и спокойный человек, но во хмелю непереносимый. – Сейчас за ужином для вас сбегаю. А вот вам сестры к праздничку прислали.

На моем столике красовалась порезанная тонкими ломтиками кета, стояла открытая коробка сардин, и вкусно смотрел большой кусок пирога.

– Что же, выпьем, ради праздничка, – сказал я Баскову.

Не присаживаясь, он осушил стопку; лицо у него было торжественное, словно у причастника.

– Больше не буду, – заявил Басков, когда я хотел налить ему вторую.

Уже ложась спать, я впервые за несколько лет почувствовал, что жизнь в тридцать четыре года не потеряна, и что чем страшнее испытания, выпадающие на нашу долю, тем больше должны мы ценить те радости, которые дает нам жизнь.

Впервые опубликовано и печатается по: Луч Азии. 1939. № 12. С. 11–17.



Николай Павлович
ВЕСЕЛОВСКИЙ
(1899-1968)

Прозаик и журналист Николай Веселовский (настоящая фамилия Выговский) родился 10 сентября 1899 г. в городе Алатырь Симбирской губернии в семье потомственных дворян. Окончил Казанскую гимназию, затем юридический факультет Иркутского университета (1922). В 1919 г. прошел обучение в Офицерской Екатеринбургской Военно-инструкторской Школе (произведен в портупей-юнкера, а затем в подпоручики). Участник Белого движения (принимал участие в военных действиях на Волге, в боях, сопровождавших отступление на Уфу, в Ледяном походе от Барабинска до Иркутска). Работал военным корреспондентом газет «Сибирская Речь», «Русская Армия». Летом 1925 г. прибыл в Маньчжурию из Благовещенска. Жил в Харбине, занимался журналисткой деятельностью. Печатался (в том числе, под псевдонимами «Н. Чернояров» и др.) в журналах «Рубеж» (Харбин), «Луч Азии» (Харбин), «Прибой» (Харбин), газетах «Заря» (Харбин), «Русское Слово» (Харбин), «Харбинское Время» (Харбин), «Голос эмигрантов» (Харбин), «Возрождение» (Париж), «Новое Слово» (Берлин), «Россия» (Нью-Йорк). В соавторстве с Б. Юльским выпустил сборник рассказов «Восток и Запад» (1943). В 1946 г. был арестован и приговорен к 10 годам лагерей. После освобождения в 1955 г. поселился в Челябинске, где и прожил до конца своих дней.

Ист. и лит.:

Ларин А. Четверть века литературной работы // Время. 1944. 5 февраля. С. 5.
Родные о Н.П. Веселовском // Русская Атлантида. 2004.
Таскина Е. Николай Павлович Веселовский // Русская Атлантида. 2004.

ФЕЛЬДМАРШАЛ СУВОРОВ

Олег Боярский просыпается в светлой большой комнате, разделенной на две половины голубой портьерой.

В распахнутое окно из сада вливаются раскатистый смех, звуки вальса и откуда-то издалека протяжно-зовущие голоса пароходов.

Мальчик повернул на подушке опаленное жаром лицо, и в провалившихся черных глазах загорается радость.

Каждой весной, когда кончались занятия в классах, они уезжали Волгой в родовое имение. Это были лучшие дни за весь год, счастье, выше которого ничего даже представить себе невозможно.

И вдруг опускается мрак. Прощай река, широкая палуба, мерное дрожание каюты.

Олег вспоминает, как сегодняшней ночью, когда на короткий миг приходил в себя, за портьерой говорили домашний врач, крохотный доктор Меньшиков, и любимая мама, красивая, не по годам седая.

«Докторчик» – его так называли за маленький рост – предупреждал грустным шепотом, неуверенно запинаясь:

– Боюсь, Серафима Петровна, до утра не дотянет… Что с ним поде-

лаешь, с ползучим воспалением легких, фокус все время скачет… Надо быть ко всему готовым…

Олег тогда заметался, хотел что-то сказать, но снова поглотил кипящий, бредовый вал.

Сейчас, когда повторился в сознании подслушанный приговор, показалось – гаснет солнечный свет и смолкают голоса в саду.

К кровати подходит седая дама. Ее встречает немой укор, она видит слезы на исхудалых щеках.

– Ты что, родной?

– Ничего, я все слыхал ночью.

– Успокойся, милый. Кризис прошел, докторчик, к счастью, ошибся, ты будешь жить…

Первый раз они повстречались два года спустя, на крохотной волжской пристани, южнее Самары.

Был август. Боярские возвращались назад в Казань. До ночи предстояло ждать запоздавший «Кавказ» – меркурьевский пароход. Тройка, брызнув переливом бубенчиков, рысцой покатила обратно, в Уралово. За экипажем, приняв небрежно независимый вид, распустив по ветру султаном хвост, затрусил грудастый дворовый пес Мальчик – победитель во множестве драк.

Взрослые принялись пить чай, услужливо поданный пристанским конторщиком. Олег, теперь длинный худой шестиклассник, отделившись от остальных, скользнул под разогретую тень чистых, сероствольных кленов и вскоре пробрался к сторожевке приятеля своего, Терентия Лукича, матроса и рыбака.

Терентий Лукич коренаст и могуче широкоплеч. В рыжей густой бороде и в редеющих волосах порядочно белых нитей. Лицо несметное число раз облуплялось загаром, босые ноги похожи на красно-сизые гусиные лапы. На груди и руках какие-то фиолетовые рисунки, неясного для длинного шестиклассника содержания.

От Терентия Лукича пахнет махоркой, смолой и солнцем. Несмотря на года (пятьдесят с хвостиком) и заметную округленность талии, он подвижен и цепок.

– Так, так… – невольно огорченно тянет Лукич, восседая на корточках. –Уезжаешь, значит, до самой весны не увидимся. Ну, давай, Карандаш, я тебя на прощанье воблушкой угощу.

Матрос берет ободранную янтарно-желтую рыбину и четко бьет ее об угол крыльца, потом густо мажет маслом два ломтя ситного и старательно умещает сверху куски рыбьих боков.

– На, кушай, милок, на здоровье – самое поволжское угощенье. В городской жратве один только форс, а настоящего вкуса, настоящей силы, шалишь, брат, не сыщешь…

Олег ест с удовольствием. Солоновато, но замечательно аппетитно.

Доев ломоть, машинально произносит «мерси».

– Не стоит вашего мерсиканья, – отвечает рыбак и, лукаво блестя крохотными голубыми глазами, весь заливается бисерным добродушным смехом. Смеется он так заразительно, так от души по-детски, что Олег невольно принимается вторить.

Насмеявшись до слез, Лукич вдруг становится таинственно важным:

– Знаешь что, Карандаш? Я намедни царя рыбьего видел, омутовую щуку, здесь под левым обрывом живет. Толщенная, длинющая, поди с телеграфный столб будет…

– Старый, а врешь, – обиженно возражает Олег. Ему кажется, что рыбак над ним потешается.

–Ну, столб не столб, – легко уступает речной волк, – но уж полтора человеческих роста беспременно будет. На восходе ее заприметил. Поднялась, на зарю взглянула, хвостом – жжик… и назад. Богу, значит, молилась.

Заметив прежний укор во взгляде приятеля, рассказчик дипломатично меняет тему.

– На каких отъезжаете, на меркурьевских? Хильдмаршала Суворова ждете? Первейший во всей навигации пароход. Ход бодрый, вид форсистый, а рык, как племенного быка, такой трубный… Не пойму, как это он подкачал… Подожди малость! – почесавшись и повздыхав, возвращается к заветным любимейшим разговорам Лукич. – Скоро соловей тутоти станет наяривать. Эдакий прилетел голосистый, что твой Шаляпин.

Олегу смешно, как соловья можно сравнивать с громоподобным басом, но он деликатно не возражает.

– Давеча, – продолжает матрос, – рыбачили ночью. Осетрищу тащили пудов, поди, на двенадцать.

– Вот и опять соврал!

– Ну, хочешь, побожусь монастырским заклятьем, – Терентий страшно выпучивает глаза.

– Божиться нехорошо, грех.

– Ну, верь не верь – твое дело: икры было – как только брюхо ему не порвало! Посолили и деревянными ложками пошли жрать. Да, милый ты мой смугляшек, – переходит на лирический лад матрос, – нет жизни славнее волжской. Таких золотых мест не сыскать во всем свете. Ты только дыхни, какая здесь благодать. Богатство, легкость! До самых краев все наполнено. Молчи и любуйся!

Торжественно попрощавшись с другом, Боярский пробирается к самому берегу.

Опускается вечер. От бегущих струй пахнет острой речной свежестью. Пахнет лесным дымком, мокрой землей и прибрежными пряными травами.

Ложатся голубые и серые тени. Легкая мгла постепенно скрывает зыбкие дали. Олегу чудится, что, замирая, где-то дрожит туго натянутая струна и что сам он вот-вот растворится в неясном великом потоке. Все плывет, все уходит, все становится полусном.

Мгла сменяется бархатом ночи. На небе и на воде, страшно далекие, замерцали огни. Где-то сбоку приятный тенор поет вполголоса под гитару:

– Дивный месяц плывет над рекою, все в объятьях ночной тишины…

Боярский видит, как посередине течения, медленно приближаясь, переливается бриллиантовый червячок. Точно несколько звезд, сцепившись, упали с бездонной выси.

– Хильдмаршал Суворов снизу… – негромко кричит из сторожки Терентий Лукич.

Олег особенно любит с радостным замиранием погружаться в пароходные недра ночью. Его отец утверждает, что мальчишка – неисправимый романтик. Романтику плавучий дворец с его гордой роскошью рисуется вестником из далеких неведомых стран.

Неплохо представить, что сейчас он вступает в замок бородача-черномора, что за ярким сияющим входом, где-то там, в полутемных каютах, спрятана заколдованная принцесса.

Никаких принцесс нет, Олегу о том давно уж известно, но думать так хорошо и сладко.

На этот раз с привычным радостным предвкушением мешается тихая грусть. Навсегда уйдет дремотный обрыв с речным дурманом, огнями и колдующей тишиной.

Родится печальная мысль, сразу переходящая в непреклонное убеждение: лучше, прекраснее только что пережитого ничего нет, не было и больше уж не будет.

Идя по трапу на борт «Суворова», мальчик видит склоняемую у перил девочку в коричневой шали. Две косы перекинуты через плечи, глаза большие, серые, направлены на него со строгим, вопрошающим любопытством.

– Вот и принцесса, – решает Боярский, еще не стряхнув с себя волжского вечера.

В ту же секунду, заглядевшись на косы, он, споткнувшись, летит через четыре ступеньки вниз.

В строгих глазах – искра веселья. Барышня, запрокинув головку, откровенно смеется. Ее верхняя губа уморительно морщится.

Гимназист, растерявшись, зачем-то срывает фуражку. В ответ – горделиво небрежный, чуть заметный кивок.

Снимают трап…

Олег учился неплохо, но, получая хорошие баллы, никогда не возносился до гордой мечты о медали. Вдобавок кто-то сказал, что Толстой счи-

тал ее патентом бездарности.

Сильнее проявилось тщеславие «предков». Перед окончанием курса Серафима Петровна с изумлением, приятным и гордым, обнаружила, что сыну недостает всего лишь одной пятерки и что награда совсем близехонька.

С ним заключили настоящую сделку: добьешься «серебряной» – получишь визитку, сто рублей чистоганом и что-нибудь вкусное, что хочешь и сколько хочешь.

Игра стоит свеч. Толстому легко рассуждать, он граф и писатель, а рядовому студенту (он уже мыслит себя студентом) есть смысл попытаться. Катеньки, визитки и трехфунтовые банки зернистой искры на полу не валяется.

Мысль об икре, осетровой, черной, пришла сразу, как эхо рассказа Терентия Лукича об «осетрище» пудов на десять. «А есть будем непременно деревянными ложками, так же, как там рыбаки».

Сговорился с косноязычным словесником Валентином Еропкой, что исправляться «на пять» станет у него по словесности, пригласил к «ночному бдеянию» Васю Тельянова, первого классного литератора; в качестве гонорара за дружеское содействие предложил участие в «трехфунтовой зернистой оргии».

Все сошло изумительно. На другой день в «Фермопильском проходе» (между кафедрой и доской) Еропка понес жестокое поражение. Он покинул поле сражение, оставив вместо трофея маленькую, каллиграфически точную цифру пять. За «позор», за «патент на бездарность» пришли все обещанные мирские блага.

– Тон делает музыку, как говорят французы, – философствует Вася Тельянов. – Твоя икра требует надлежащего антуража. Ты не возражаешь против балкона на Меркурьевской пристани? Там живет старикашка Панкрат, отцовский бывший приказчик, густопсовая бестия.

Предложение с восторгом принято. Есть икру в обстановке речного берега куда колоритней. Оба друга летят быстролетным трамваем к заветному «устью». С ними две деревянные ложки, завернутые в бумагу.

Пристань оглушает привычным радостным гудом. Грохочут телеги, трамваи, извозчики. То там, то здесь на разные голоса ревут басы пароходов. Катят огромные бочки. Не видать под тюками зашитой в рогожу поклажи крепышей-грузчиков. Повсюду движение, суета, бодрость. Бьет в нос рыбой, дегтем и свежей краской. Очертания тонут в столбах пыли.

Кажется, что всем здесь весело. Даже распоследняя жуткая брань из одних зычных уст перепахивает в другие без всякой злобы.

Приятели видят, как черноусый квадратный парень принимает на богатырскую спину солидное пианино и, пружиня могучие ноги, спокойно идет по сходням с причала на берег.

–Вот, – говорит Вася Тельнов, – она, академия русской силы, о натюрель. Отсюда выходят «парад аллэ» сверх-чемпионы Поддубный, Заикин и разные прочие. Серьезная, погляжу я, штука.

Подбегает Панкрат и, обдавая легким «букетом», почтительно предлагает:

– На пароход пожалуйте! Стоит «Фельдмаршал Суворов». По причине поломки машины пассажиров всех взял «Двенадцатый год». На палубе – свежесть, комфорт, а здесь, извините, свинство и никаких горизонтов. С буфетчиком все устрою-с…

Оргия начинается. Икра в серебряной чаше обложена льдом. Целый лимон разрезан на четыре ломтика. У каждого прибора по стопке хлеба.

Когда уходит официант, оба Лукулла незаметно вынимают свои деревянные «черпалки». Икра убывает быстро и верно.

В самый разгар еды до Олега доносится приглушенный смех. Обернувшись, он видит глаза, испытующе-любопытные.

– Какие обжоры, – кажется, говорит их лукавый огонь.

И вдруг кольнуло воспоминание – да ведь это же та насмешница-принцесса, из-за которой чуть не сломал ногу. Как она бесконечно похорошела. Какие пепельные, пушистые волосы, а ножка, а талия!

И как тогда Боярский снимает утром купленную студенческую фуражку.

Познакомились. Барышню зовут Леля. У нее грудной, воркующий говорок и занятная, немного смешная манера выражать свои мысли.

– Леля, как странно. Мы с вами всегда встречаемся на «Суворове».

– Мой двоюродный брат, медик, летом работает здесь за врача. Я к нему приезжаю бесплатно кататься. Как видите, вовсе не странно.

– Вы волжанка?

– Нет, я харбинка. Некоторые никогда не слыхали про такой город.

Олег начинает усиленно вспоминать. В учебнике географии названия подобного не было, но где-то читал. Ах да, «Огонек». Бараки с красным крестом, люди в халатах.

– Позвольте, там, помнится, бушевала холера?

– Не холера, не чума. Некоторые запоминают неточно. Мой папа по-прежнему у себя в Маньчжурии. Он служит в Русско-Китайском банке, но меня в эпидемию отослали к тете в Казань. Харбин – мой, а Волга – ваша, красивая, но чужая… Некоторые не хотят посмотреть на харбинский талисман Лели?

Появляется сморщенное, черно-зеленое подобие скорлупы.

– Это что же такое?

– Недозрелый грецкий орех, они там не доходят, у вас таких нет.

Олег предлагает пойти с ним завтра на Услонские горы, где сейчас цветут яблони. Леля почему-то смеется, и опять сейчас видит Олег смеш-

ную гримаску верхней губы.

В трамвае назад едут молча. Между друзьями пробежала кошка с пушистой пепельной шкуркой. Вася сидит нахохленный, настоящий совенок, подмоченный дождиком.

Услоны в сплошной душистой бело-розовой пене. Осенью на смену цветам придут миллионы увесистых яблок. Сады растянулись далеко.

Сегодня земля еще дышит весенней особенной сыростью, с которой мешается крепкий, цветочный дух. Повыше гудит дружная капелла шмелей.

Девушка потянулась к ветке. Боярский видит, как солнечный луч, прокравшись в листве, золотит нежный пушок на руке, от кисти до локтя. Задумалась, в широко раскрытых глазах что-то строгое, даже хищное.

«Русалка», – возникает образ в уме пленного кавалера. Прихоти ради скользнула на пароход. «Фельдмаршал Суворов» катает «Ундину»…

Она тряхнула белое дерево, и дождь лепестков, как фатой, покрыл дымку волос. Взор потемнел. В его настойчивом блеске Олегу чудится и призыв, и насмешка.

– Леля, – вырывается у него дрожащий шепот, – простите, я страшно люблю вас…

– Почему страшно? – удивленно подымаются брови, и тотчас меняется тон. – Если некоторые желают встречаться, они не должны болтать ерунду, иначе кто-то сразу уедет к тете.

– Слушаюсь, – виновато лепечет жертва русалочьих чар.

Они молча сидят на самой вершине, уставшие от хмельного воздуха, от ходьбы и полноты впечатлений. Нет ни желаний, ни мыслей. Оба околдованы голубым майским вечером. За ним многоглазая волжская ночь.

На острове – огневой столб от костра рыбаков. Казанский берег, переливаясь, струится морем огней. Издалека, снизу, мягко стонет гармоника.

Наверху не слышно воплей газетчика о победах генерала Брусилова. Не видно ни косматой, багрово-траурной тучи, тяжко и грозно встающей над райскими берегами.

* * *

Во время гражданской войны Олег добровольцем сражался в составе речной флотилии.

Когда уходили на Каму, крапал осенний, холодный дождь. С Богородской горы уехали пушки. Черные волны дыбились, рассыпая седые гребни. На одном из корабликов команда из молодежи запела старую, еще при Разине гремевшую песню. Гудящий ветер далеко мчал слова про удалых гребцов, белый парус и «хозяина во наряде». Последний раз ловил Боярский мутные очертания родимого края.

В разгаре отступления по частям сжигали эскадру. На склянках пробило полночь, когда в толпе солдат и матросов сошлись Олег, Вася Тельнов и Терентий Лукич в коротком военном бушлате.

Исполинским факелом пылает «Фельдмаршал Суворов». С грохочущим злобным скрежетом пламя глодает стройный деревянный кузов. Дым, сливаясь с угрюмым мраком, льется стремительным адским потоком. Мерещатся сатанинские вороньи кони, и прожигают торопливые искры их далеко развеянные гривы.

Терентий Лукич, постаревший, уставший, смахивает слезу:

– Господи, что ж творится! Первейший по всему Поволжью пароход. Кончилась благодать. Порешилась Рассея…

Олегу тоже кажется, что все кончено. Кто-то там расплескал до краев налитую чашу. Сгорает прекрасный, светлый мир. Дымный плащ от умирающего гиганта навсегда ляжет серой могильной тенью на землю отцов.

Во время Ледяного похода, когда мороз перешел за 30, Терентий Лукич, задержавшись, попадает в беспощадные руки партизан анархиста Лубкова.

– Ты что ж, борода? Сам, поди, голоштанник, а с буржуями снюхался. Сымай все, чтоб в чем мать родила… Заголишься и дуй нагишом; до своей бело-банды добежишь, твое счастье.

Лишь только Лукич разделся – неистовый гогот.

– Ну, старый хрен и затейник. Весь в картинках, глянь-ка, парястенная газета.

Матрос, все также молча, поднялся, поежился, крякнул и быстро засеменил ногами, еще крепкими и волосатыми. Вслед понеслось улюлюканье. Один высокий мотнул башкой в лохматой ушанке: «Сурьезный старик, правильный…».

Терентий Лукич бежал недолго и скоро, скрючившись, упал у дороги.

В последний миг он видит алое солнце, всходящее над утренней Волгой. Речной царь всплывает из омута. Дальше все разом меркнет…

Вася Тельнов заболел тифом. Когда бросали санитарный поезд, начиналась агония. Умирая, он кого-то жалобно звал, предлагая пойти посмотреть на яблочный цвет в Услонских садах.

Олег встретил Лелю вблизи Иркутска. Она казалась спокойной и бодрой.

– Пусть некоторые проберутся в Харбин, папа по-прежнему служит в банке. У него назначаю вам встречу. Мне вас жаль, вы остались без родины.

– Моя родина там, где вы.

Встреча осмыслила для Боярского его крестный путь, дала цель и силы.

Проза

* * *

Ледяной поход позади. Лег на углу Вокзального и Бульварной. Почтенный банкир встречает радушно, но когда разговор коснулся Лели, растерянно мнется и смотрит в угол.

У юноши холодеют лоб и щеки, ноги становятся ватными.

– Не понимаю, их все еще нет. Ни дочери, ни сестры. Очень странно. Остается по-прежнему ждать.

Олег, боявшийся худшего, облегченно вздыхает; ждать он готов тысячу вечностей.

Через год – наваждение.

У Эльги Эрнестовны бледное, без кровинки, лицо. Глаза, как узкие изумруды, полузакрыты ресницами. Длинный, ярко накрашенный, искривленный рот. Рыжеватые волосы стянуты матовым обручем. Она много курит. Тонкий коралловый мундштучок похож на струйку брызнувшей крови.

Эльга Эрнестовна – законченный тип «фам рафинэ» (балерина, художница, поэтесса). В ее комнате – голубой полумрак. Движется медленно в платье, похожем на тунику. Скупо роняет слова умирающим голосом.

Фам рафинэ называет Олега «моя игрушка». Переехав в Шанхай, «игрушку» берет с собой.

Харбин, про который кто-то сказал, что это «родная свечка на перекрестке чужих дорог», Боярскому нравился. Шанхай не полюбился вовсе.

Эльга Эрнестовна танцует перед публикой почти донага раздетая. Ее окружают иностранцы-поклонники, нагловато-лощеные. Раздражает ее манера беседовать с ними: подойдет вплотную, почти прижмется и глядит, становится тряпкой.

Его тянет к «перекрестку чужих дорог», но порвать все сразу не хватает решимости.

Эльге Эрнестовне тоже надоел молодой друг, но она боится вульгарных сцен. Мальчишка, ей представляется, по-прежнему без ума.

Как-то раз в их общей столовой он видит открытку, положенную текстом кверху. Читая, слышит, как стосильным мотором застучало сердце.

– Итак, мы, наконец, приехали. Если некоторые не совсем забыли, приходите на угол Вокзального и Бульварной. Я потеряла приезжий маленький талисман, а новый посылаю вам. Будем хранить вместе…

Письмо без обращения и подписи, но кто автор – понятно и так. Однако, где же посылка? Неужели затеряна почтой?

Повернув машинально открытку, Боярский, задохнувшись, опускается в кресло. Серый шаблонный снимок. Река, пароход, дымок за кормою. Наверху – одной растянутой строчкой:

«Волга – "Фельдмаршал Суворов"».

Милый погибший друг. У Олега по щекам текут слезы. Закипает вол-

на торжественной музыки. В груди словно выросла заветная яблоня и роняет белые лепестки. Он опять на вершине горы, а из мерцающей бездны – густой, низкой октавой доносится суворовский бас.

Цепи упали, разбились.

Эльга Эрнестовна облегченно вздыхает – наконец-то. В длинных пальцах чуть дрожит красный мундштук, похожий на струйку крови.

А он уже растворился в шанхайском зное. Душа рвется погреться у сияющих серых огней «родной свечи». Чемоданы уложены. Через неделю увидит Лелю.

Впервые опубликовано: Рубеж. 1942. № 20;
также: Веселовский Н., Юльский Б. Восток и Запад. Харбин, 1943.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
В 10 т. Пекин, 2005. Т. 3. С. 328-338.

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР

Лихие люди, в третий раз обокрав Гришу, оставили на клочке «Вечерней Москвы» дерзкого содержания записку:

«Какой простофиля, уходя, не запирает квартиру? Ленин умер, но ленинизм жив. Бывайте здоровы. Пока…».

На подкупающе-ясном, с правильными чертами, лице Гриши – мимолетная тень досады. Он, вздыхая, бросает на пустую рогатку студенческую фуражку и вдруг видит кровать с подушкой и одеялом.

По счастливому свойству характера герой-любовник студии Фердинандова не способен глубоко огорчаться. Кровать цела – можно прилечь, отдохнуть, остальное – неважно.

У входа стук.

– Рискните, дверь не закрыта, – спокойно откликается пострадавший. У него грудной бархатный баритон. Гостя встречает с приятным, но лишенным всякой бурности лица.

– Саша Стрельцов, какими судьбами?

Вошедший, стараясь скрыть нахлынувшее волнение, протирает снятое с длинного носа пенсне. Гость высок, сухощав, волосы русые.

– Надолго, знаешь, застрял в Петербурге. А вот приехал и попал на «Испанцев» с твоим участием. Кстати, вы их недурно поставили. Слушай, Гришка, откуда в тебе эдакий огнедышащий темперамент? В жизни – настоящая тямтя-лямтя, а на сцене – вулкан. Отелло. Между прочим, голос звучал отлично. В общем, Фернандо, на первый класс.

– Брось, где уж там первый класс, – немного смущается «тямтя-лямтя», опять успевший забраться на уютное ложе. – А ты, перекати-поле, к какому берегу соизволил причалить?

Стрельцов близоруко смотрит поверх стекол.

– Я же тебе говорил, что за кулисами долго не удержусь. Вернулся назад к своей медицинской науке. Теперь с головой залез в новое – в психоанализ. И, подумай только, мои первые пациенты – актеры. При помощи метода Фрейда обнажаю больные лицедейские души, до самых корней обнажаю…

Молодой врач уже ухватился за любимую тему. Теребит белокурую прядь на лбу. Пенсне то вскочит, то снова слетит с переносья.

– А знаешь, Григорий, что говорит фрейдизм? Самолюбие, действительно, правит миром. Самолюбие, тщеславие – это, брат, проявления одного и того же основного инстинкта. В нем, милый, пожалуй, главный подсознательный винтик всех наших поступков.

С такой точки зрения мы признаем ряд профессий опасными, способными, как бы тебе сказать, вывихнуть душу у гордого «хомо сапиенс». Среди политиков, адвокатов, спортсменов и, особенно – заруби себе на носу! – актеров, немало форменных психопатов, истерических маньяков славы. Ничего не попишешь: аплодисменты, публика, конкуренция. Упор идет на самую жгучую из стихий, на «винтик», о котором сейчас была речь. Сжирается без остатка всякий покой. Сцена, дружище, отрава… Ее работники почти поголовно, выражаясь медицинским жаргоном, «клинический материал». Вспомни ту, прежнюю нашу компанию, с которой вместе стали актерить. Какая была культурная, здоровая молодежь! А вот пронеслась два-три лицедейских года, и баста, у всех мозги набекрень. Где тщеславие – там интриги, зависть, обиды. Как итог – нарушенное сознание.

– Ну, это ты, брат, немного того… – робко оппонирует Гриша. Его большие мечтательные глаза отчего-то становятся грустными.

– Ты, тямтя-лямтя, не в счет. У тебя нрав особый, добродушно-телячий. Зато остальных не узнать – теперь отменные неврастеники.

Беседа оживленно скачет с темы на тему, незаметно летят часы, подходит время ехать Грише на вечернюю репетицию.

У трамвайной площадки дуэль воробьиных стай. Воробьям глубочайше безразлично, что пришел НЭП, что багровый поток террора мешается с мутной волной спекуляцией, что опрокинутая интеллигенция, уходя от водоворота, растерянным, разномастным стадом хлынула в театральный, актерский загон, почему-то признанный политически безопасным. Воробьям единственно ясно, что над Москвой дует теплый июньский ветер и что какие-то наглые птицы из чужих птичьих кланов посмели проникнуть сюда на их законную землю.

Серо-коричневые комочки, ежом запрокинув перья, смешно прыгают друг на друга.

Трамвай, проведенный недавно в Серебряный Бор, где проживает хозяин обворованных комнат, кажется неуместным в лесной просеке. Такая

кругом ясная тишина, так целомудренно пахнет сосной.

Подошедший вагон пуст.

– Послушай, Гриша, – говорит Стрельцов, – ты не встречал Ираиду Кнабэ?

– Теперь не Кнабэ, а Дольская, потом, не падай, пожалуйста, в обморок, Ира – моя актерская спутница жизни.

– Вот оно что? Поздравляю. Но странно, уж очень разные люди.

– На искусство тоже смотрим по-разному, – меланхолически замечает Гриша. – Она у пресловутого Мейерхольда, я – с Фердинандовым. Талантище, будьте любезны…

– А, кстати, – понизив голос, продолжает доктор, – ты все еще не сходил на офицерскую регистрацию?

– А зачем?.. Новое беспокойство… станут расспрашивать… В документы вписал псевдоним – Ратимиров. В общем – неважно…

– Балда ты телячья, псевдоним Ратимиров. Докопаться – капут.

– Кроме тебя и Иры, никто ничего не знает. Она, полагаю, не скажет, ты тоже…

В вагон входит совсем юная барышня, хрупкая, стройная. Кожа на полудетском лице чуть покрылась золотистым загаром. Свежий рот. Наивно раскрыты задумчивые глаза.

По тому, как вошедшая пробирается к месту, садится, поправляет волосы, можно заметить некую мягкую музыкальность движений.

– Очаровательный поросенок, – шепотом говорит Стрельцов. – Античное личико, и точеная вся. «Откуда, прелестное дитя?».

– Вероятно балетная дива. Уж очень пластично движется статуэточка, – откликается друг.

Гриша, деликатный, ясный, упорно скрывает от всех заветный уголок интимного мира. Он, крадучись, любит мечтать, часами жить среди образов и картин, рожденных полетом ушедшей в себя фантазии.

Сейчас барышня с вопрошающим взглядом вдруг представляется фантазеру на тенистой лесной поляне.

Почему-то и хорошо, и страшно…

Когда подъехали к остановке, видения исчезло, «балетная дива» слезла раньше.

– Кстати, – стараясь войти в прежнее настроение, громче обычного говорит Ратмиров, – недавно поступил в ГИТИС – государственный институт сцены. Шум вокруг грандиозный. Ира заделалась в класс Мейерхольда, я, разумеется, к Фердинандову. Третий руководитель – Форегер, австриец, – поставил танцы машин.

– На открытии этот кретин призывал штурмовать академические твердыни (Малый, Большой, Художественный) с кулаками, но выходило у него «с куяками». Подумай, какая чушь: на Станиславского, на «Вишневый

сад» и вдруг – «с куяками». Тогда обнимались, крепили дружбу, а прошел всего месяц – вконец распевались… Мейерхольд, имей в виду, редкостный негодяй. Всех надул, обошел, абсолютно беспринципная гадина…

Стрельцов снова за свой любимый анализ.

– Актерская беспринципность, брат, вещь очень условная. Актер слишком часто, слишком глубоко влезает в чужое, в роли… И, заметь, чем больше талант, тем залезание глубже…

– Разве не поучает «Старик», что надо себя «развинтить», помнишь, его наставления: разбудят вас среди ночи, скажут – вы Чацкий, сразу должны переплавиться в Чацкого, скажут – Хлестаков, должны в Хлестакова… Переключайтесь из одного человека в другого, вживайтесь, убейте в себе самого себя.

– Ему хорошо учить, а что в таком развинченном дяде, сто раз переключившемся, «вжившемся», остается? Ничего своего, ничего твердого. Начинает и в жизни играть одну роль за другой. Тоже спешит воплощаться, как ему больше нравится, как прикажет тщеславие. И, заметь, все это самым искренним образом, не замечая подсознательной лжи. Случай, мой друг, повторяю, вполне клинический. Вся Мельпомена – сплошная клиника!

– Ну, – мягко прерывает Гриша, у которого рассуждения приятеля начинают рождать неясное беспокойство, – смотри, капище Мейерхольда. До чего противное здание! Игра на репетиции «Великодушного рогоносца», зайдем, я тебя проведу…

* * *

Ираида Кнабэ предпочитает сидеть к собеседнику боком, насмешливо щурясь, кривя тонкие губы.

У нее красивый, отчетливый профиль, но фигура – гитарой. Массивные плечи, широкие бедра. Она носит юбки длиннее обычного. Лоб обнажает, волосы сзади скрепляет узлом. Облик несколько старосветский, но актриса таким гордится – человек это стиль.

Ира считает себя самой умной, самой красивой и развитой в студии.

Эгоцентризм и апломб развились еще с гимнастических лет. Она действительно не глупа, но, как заметил комик Ильинский, несет свой ум впереди на блюде, настойчиво предлагая каждому обонять ароматы.

Постоянный упор на свое превосходство, привычка едко подтрунивать отпугнули встреченных на пути кавалеров. С 18-ти до 30-ти лет кладезь всех совершенств, лишенный главного совершенства – быть женственной, напрасно ждала сначала принца из сказки, потом влюбленного без ума рядового мужчину, неважно какого… Но ни принц, ни влюбленный дерзко не появлялись…

На встречных представителей непрекрасного пола Кнабэ-Дольская

постепенно стала смотреть с раздраженным недоумением. Взгляд ее вопрошал удивленно: «В чем дело? Вы разве не видите, кто перед вами?.. Где же ваши рука и сердце?.. Ну?».

На это призвание «ну» долго, унизительно долго не находилось желающих прошептать «да».

Портился и без того неприятный характер. Мучили головные боли. Уязвленное женское самолюбие копило озлобленность.

В сцену она влюбилась с истеричностью старой девы. Сцена отблагодарила Гришей. Они встретились на случайной халтуре, вспомнили, что вместе учились на юридическом факультете. За ужином много выпили изюмного самогона.

«Этот красивый пентюх может быть неплохим мужем, на худой конец – подходящим любовником, – деловито решила Кнабэ. – Он хорошо воспитан, талантлив, его все любят. Такого милого медвежонка легко подчинить, смять, как смяла Шопена Жорж Санд».

Ей к тому времени надоело до ужаса притворяться ледяной недотрогой. «Для острого ума гораздо больше подходит тип холостячки свободных взглядов».

Тогда, в тот вечер, она вдруг решилась. Пододвинулась к Грише и, раздувая ноздри, бросила как бы небрежно:

– Есть женственные мужчины и сильные женщины. Последние сами выбирают друга: я выбираю вас.

Тот что-то промямлил, вроде обычного – это не важно, но не смог избежать нежданного плена.

– Горе тому, кто обидел единого от малых сил. За младенца Гришутку Ирод-Дольская навсегда лишится блаженства, – еще раз сострил тот же комик.

Вопреки правилу, вчерашняя старая дева не влюбилась в своего первого победителя. Больше того, глухая обида на многие годы горького одиночества вскоре толкнула ее на две злорадных измены. При свободных взглядах дозволено все.

В Грише ее остзейскую педантичность коробит небрежность: всегда опоздает, никак не может бросить неудобную дачу, склонен летать в облаках.

Приходится снова жить с престарелой теткой, высохшей и наивной.

Впрочем, тетка из чувства семейной дружбы все находит в Ираиде прекрасным. Раз детка так поступает, значит так нужно…

* * *

Кнабэ, Стрельцов и Гриша сидят в огромном неуютном (настоящий сарай) зрительном зале.

Репетиция идет вяло. Мейерхольд – блудный сын Скандинавии –

больше похож на восточного человека (курчавые волосы, нос горбатый), злыми глазами смотрит на сцену. Там один из актеров «Великодушного рогоносца». Муж ревнует жену. Отойдя к самой рампе, ревнивец принимается имитировать рвоту.

– Что это значит? – таращит стекла пенсне Стрельцов.

Гриша презрительно пожимает плечами:

– Идиотский мейерхольдовский трюк – это значит, что его вырвало ревностью.

– Какая гнусная фальшь!

– Ничего не попишешь, Саша. Он – заслуженный артист. Его приказано величать «мастер». Значит, молчи и мастерством восхищайся… Похабщина…

Барышня, севшая впереди и на два ряда, трясется от приглушенного смеха.

– Здесь вам не цирк, здесь храм, сюда приходят молиться искусству.

Допустившая непростительное кощунство, грешница испуганно прижимает руку к груди.

Гриша даже встает от радости.

…Она… Серебряный Бор, встреча в трамвае… Какая удача!

* * *

Раскаленность асфальта и каменных стен, вместе с чудовищным уплотнением, зарождает в Москве времен НЭПа новый обычай. Каждое воскресенье, каждый праздничный день исполинский котел спешит расплескать по близким и дальним окрестностям большую часть одуревшего, истомленного зноем живого месива.

Дачные поезда отходят с вокзалов каждые полчаса, консервно забитые людьми, припасами, самоварами.

Сегодня Гриша и Ираида Кнабэ едут врозь. Она бросила коротко: «Деловое свидание, мне так нужно…» Он не стал возражать.

Ираида в обществе двух новых поклонников. Гриша с Наташей – девицей, дерзнувшей смеяться на репетиции. Там же, в зале, они познакомились. Ираида не сказала, что собиралась в Царицыно. Туда же поехал тоже ничего не сказавший Ратмиров.

Вокруг небольшого пруда – старые, двухсотлетние липы. Десятки компаний разместились по берегам. Разгоряченные лица, костюмы самые облегченные.

Какая-то разбитная блондинка хлопочет у самовара в полузастегнутом лифчике. Кое-кто из мужчин разделся до пояса.

Кнабэ и два кавалера чопорно пьют в полинявшем киоске лимонад с коньяком. Все трое сидят на одной скамейке. Ира посередине. Так лучше – оказалась в профиль к обоим.

Справа Илюша, театральный критик «Вечерней Москвы», – небольшой, чернобровый с фигурой парадоксально дамской. Илюша – шустрый, болтливый и, как утверждают, влиятельный.

Второй спутник – Илюшин знакомый, товарищ Крысин, мрачный, небрежно одетый пожилой партиец. У него нездоровая кожа, угревато-серая кожа. Искривленный нос, глаза узкие, рыбьи. На подбородке пучком редкие, тоже серые волосы, как проволока жесткие. Сутулится, много курит, жует губами, говорит редко, глухим, почти старческим голосом.

Когда Крысин на минуту отходит к двум вихрастым верзилам, Илюша поясняет значительно:

– Его очень ценят, вот, действительно, карающий меч революции.

– Вы знаете, слишком много белогвардейцев окопалось у нас за кулисами. До сих пор на таких скороспелых актеров смотрели сквозь пальцы, считали, вроде как третьим полом. Но теперь баста! Предстоит чистка. Товарищ Крысин получил огромные полномочия.

Кнабэ верит в свой, не всеми еще оцененный талант (увы, вовсе микроскопический), но еще больше склоняется верить в протекцию сильных мира сего. Кругом интриги, надо иметь свои связи…

Она замечает, что Илюша, очевидно, неравнодушен к ее особе, но он трусоват и боится Гриши… Как глупо!..

С пригорка Ираида вдруг замечает Ратмирова. Рядом с ним хорошенькая шатенка, почти ребенок.

«Кажется, новая наша студийка, о которой так благосклонно говорил мастер», – вспоминает она.

Ревность, актерская ревность к самой возможности чужого успеха, родит неприязнь. Насмешливо поднимаются брови.

Никого не заметив, Гриша важно плывет со своей робко потупленной спутницей. Его широкие плечи с закинутой головой уже за стволом старого дерева.

Незаметно подходит ночь, всегда мистическая в светлое полнолуние. Назад к пруду возвращаются новой, другой тропинкой, хотят свернуть вбок и вдруг погружаются в сказку.

Перед ними навеки заснувший, недостроенный великан-замок. Массивные стены сплошь поросли травой и небольшими березами. Сквозь камень цепко пробились узловатые корни. Словно шали испанских красавиц, картинно свесился плющ. Волшебно-прекрасный высится призрак, залитый голубым серебром.

– Вы знаете, – говорит Гриша вполголоса, – князь Кантемир строил этот дворец для Екатерины Великой… Старой царице, начавшей уже бояться смерти, здание не полюбилось. Сказала, что похоже на гроб. Огорченный вельможа приказал прекратить работы. Так и стояли зеленые, обросшие вековые руины…

От пруда несутся обрывки тумана. Грише мерещится, что это в белых придворных одеждах царским торжественным полонезом проходят тени. Вот они над порталом. Впереди сама божественная Фелица. С ней блистательный князь. Сверкают бриллианты. Бесшумно скользят кавалеры и дамы. Глухо, словно очень далеко, звенит музыка. В разгаре бал, которого никогда не было.

Наташа сидит на камне также другая, затихшая. На обнаженной руке слабо переливается лунный отблеск.

Грише вдруг кажется, что вся его жизнь, нелепый роман с Ираидой Кнабэ, работа у Фердинандова – бессмыслица, пустота. Главное – здесь, главное в ней и в полуночной балладе, покорившей обоих.

Наклонившись, он робко целует Наташины волосы.

* * *

Через день в большом зале консерватории собрание ГИТИСа.

Частных посетителей отправляют в амфитеатр. В партере по классам разместились студийцы. Наверху, в публике, нетерпеливое ожидание. Внизу заговорщицкий шепот и предвкушение грозы.

Наконец, на фоне органа-чудовища появился весь институтский синклит. Какой-то бритый толстяк в роговых очках, расплывшись в сладкой улыбке, собирается говорить. Его отстраняет Гришин учитель, здоровяк Фердинандов. Обращаясь к Мейерхольду, он декламирует зычным, хорошо поставленным голосом:

– Я уважаю вас, как большого мастера, но в жизни вы – негодяй и подлец.

В наступившей тишине эти слова звучат, словно удары хлыста. Мейерхольд что-то бормочет, извиваясь, как Мефистофель, и вдруг, скрючившись, мгновенно исчезает за соседние спины.

Фердинандовцы с пением: «Позор Мейерхольду, позор подлецу» – покидают зал.

Ираида Кнабэ, задыхаясь от бешенства, видит среди уходящих Гришу. Он идет, как всегда, вежливо-безразличный. Ей даже слышится в общем хоре сочный Ратмировский баритон.

Почти бегом догоняет его в вестибюле. Перед удивленным артистом искривленное, налитое злобой лицо, белое, в пятнах.

– Даже вашей дурацкой башкой вы бы могли понять, что причастность к омерзительной выходке может мне повредить… Вы за это ответите, и не смейте больше являться… Убирайтесь к вашей ничтожной девчонке… Я все знаю… тоже, подумаешь, покоритель невинных дур…

Ираида Кнабэ спешит домой. С лица еще не сошли пятна гнева.

«Противно пачкаться, – прикидывает брезгливо, – а есть возможность неплохо с ним рассчитаться. По существу, он – в моих руках. Одно слово

Крысину – и берегитесь поручик Платонов, мигом сорву с вас белогвардейскую маску…».

Под вечер, на репетиции Ираида слышит, как мастер поясняет «помрежу»:

– Для роли, конечно, больше подходит новая Наташа, что ли… Внешность Ундины, и, кроме того, имеется дядя, знаменитый профессор – лечит вождей… У нашей же Ираиды фигура ступкой и никаких протекций, если не считать романа с тем лирическим жеребцом из конюшни подлеца Фердинандова.

Кнабэ-Дольская почти теряет сознание. Ее талант хотят отдать в жертву ничтожной девчонке. Мастера против нее настроили, шепнули ему о Григории.

Минуту-две она сознает себя жалкой, беспомощной женщиной, но тотчас крепко сжимаются тонкие губы – нет, за свое дарование она будет, она обязана биться, топтать всех врагов, рвать зубами, когтями…

«Девчонка неуязвима, – остро работает мысль, – дядя лечит вождей. Но остается Ратмиров. Если с ним что-нибудь приключится, та влюбленная тварь, вероятно, не сможет играть. Прекрасно. На удар отвечу двойным ударом.

Сразу чувства съезжают на нужные рельсы. Недавно играла комсомолку-энтузиастку, которая партии ради предала мужа и брата. Моя партия – сцена. Смерть тем, кто на дороге Дольской».

Крысин ждет в вестибюле. В прошлом он, сельский учитель, был человек смирный, тусклый. Потом жена убежала с красивым студентом. С тех пор не проходит постоянная свинцовая ненависть.

На допросах, присуждая к расстрелу, отправляя «в расход», покинутый муж мстит им всем: молодым, красивым и барственным.

Ираида Кнабэ входит бледнее обычного.

– Вы один? А где же наш выдвиженец Григорий Петрович?

– Выдвиженец? – на бледном лице артистки трагическая усмешка.

В рыбьих глазах Крысина подобие мысли:

– Вы что-то хотите сказать?

Ираида Кнабэ выпрямляется гордо, почти величаво, и опять вливается нужный поток эмоций. Ей хорошо удалась Немезида в клубной инсценировке… Вот именно Немезида.

– Да, мне есть что сказать, – чеканит она твердо.

* * *

Стрельцов уезжает в Питер, Григорий его провожает. Оба искренне любят друг друга и расставаться досадно.

– Во мне, – говорит доктор, – возня с душевной болью людей породила способность предчувствовать. Очень уж ты, милый мой, человек Божий,

не вяжешься с теперешним бытом. Сожрут тебя в один прекрасный день. Удирал бы ты, что ли.

– Да перестань каркать, – негромко протестует Гриша. – Как-нибудь проживу.

– Будем надеяться… Да, к слову: я вчера провел больше часа с твоей просвещенной подругой… Еще раз прочти правду-матку – до чего Ираида теперь неприятна… Самомнение – дальше идти некуда. Стала еще жестче, еще злей. Появилась и новая актерская беспринципность, о которой я тебе говорил… Можешь меня обругать, можешь порвать старую дружбу, но мой сердечный совет – разойдитесь пока не поздно… У вас это просто. Лучше отдай свое сердце Наташе. Оба вы одной голубиной породы. Даже во внешности что-то неуловимо общее. Дядя, – уже смеясь продолжает Стрельцов, – лечит вождей, глядишь, и тебя, дурня, при случае выручит.

– Саша, ты ломишься в открытую дверь. Я уже получил отставку без мундира и пенсии. Дружбе нашей ничто не может угрожать…

На обратном пути, близ Петровского парка, сломался трамвай.

Домой Гриша идет пешком. Ночь. Где-то вдали, приближаясь, полыхают зарницы. Ветер мягко шумит в черных верхушках сосен.

«Да, – сам с собой рассуждает артист. – Саша, пожалуй, прав… Странная стала жизнь: все почему-то злятся, торопятся, люди не хотят мечтать. Да и то, что он об актерах умствовал, тоже как-будто верно… Кажется сам начинаю завидовать. Гадость…».

Двери его квартиры открыты. Горит свет. Все перевернуто. Шаркая сапогами, неторопливо идет человек в форме. За ним два солдата. Рыбьи, неморгающие глаза товарища Крысина глядят без всякого выражения. Молча, по-козлиному, дергает бороденкой.

Крысин видит статного, красивого барчука с открытым чистым лицом, мягким взглядом бархатных глаз, не то удивленных, не то смущенных. Видит его цветущую юность и старую студенческую фуражку.

Наслаждаясь, ждет, жует губами и вдруг с внезапно брызнувшим торжеством режет голосом, сразу помолодевшим:

– А ну-ка, поручик Платонов, за мной… с вещами…

В открытую дверь ярче блеснула молния и раздался первый глухой гром. Гроза вошла в Серебряный Бор…

Впервые опубликовано: Веселовский Н., Юльский Б. Восток и Запад. Харбин, 1943.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: В 10 т. Пекин, 2005. Т. 3. С. 362-373.



Борис Николаевич ВОЛКОВ *(1894–1953)*

Поэт и писатель Борис Волков родился 17 мая 1894 г. в городе Екатеринославле (ныне Днепропетровск). Гимназические годы провел в Иркутске. Учился на юридическом факультете Московского университета. Участник Первой мировой и Гражданской войн, Георгиевский кавалер. Осенью 1918 г. был отправлен с секретным поручением в Монголию. Был женат первым браком на Е.П. Витте, дочери бывшего советника России при Монгольском правительстве. Уходя от преследований барона Унгерн-Штенберга, приговорившего его к смертной казни, перебрался в Китай. Работал торговым агентом. Был сотрудником харбинской газеты «Русский голос». В 1925 г. (по другим данны, в 1923 г.) уехал в США. Работал портовым грузчиком и поденным рабочим. Участвовал в работе литературно-художественного кружка в Сан-Франциско. Сотрудничал с пражским журналом «Вольная Сибирь», харбинским «Рубежом» и рядом других. Участник альманахов и коллективных сборников «Дымный след», «Калифорнийский альманах», «У золотых ворот», «Земля Колумба» и др. Автор поэтической книги «В пыли чужих дорог» (Берлин, 1934), неопубликованных мемуаров «На чужих берегах» и романа «В царстве золотых Будд», отдельные части которого были напечатаны на страницах журнала «Азия» и альманаха «Врата». В годы Второй мировой войны нашел профессиональное применение знанию русского языка, став преподавателем и переводчиком. Работал в военной школе Монтерей. Занимался журналистикой. В конце 1940-х гг. принимал активное участие в организации Русского центра и Музея русской культуры в Сан-Франциско. Участвовал в антикоммунистическом движении в США. Скончался 9 июня 1953 г. в Сан-Франциско от ранений, полученных в автомобильной катастрофе.

Ист. и лит.:

Автобиография // Вернуться в Россию – стихами...: 200 поэтов эмиграции: Антология / Сост. В. Крейд. М., 1995. С. 613-614.

Александров Е.А. Русские в Северной Америке: Биографический словарь. Хэмден – Сан-Франциско – Санкт-Петербург, 2005. С. 111.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 78.

ПОТОМОК ЧИНГИС–ХАНА

Трава быстро росла. Зеленый ковер покрывал степь. Наступили теплые дни. Трава и теплые дни давали надежду на успех побега через степи, туда, в Китай.

Судя по всему, и бдительность Намсарая-тайчжи или благородного Намсарая, монгольского чиновника и офицера, прикомандированного ко мне, была усыплена.

Я числился в командировке монгольского министерства внутренних дел, за несколько сотен верст от Урги. На самом деле я старался держаться, на всякий случай, как можно ближе к этой священной столице Живого Бога, где друзья подготавливали похожий на экспедицию побег.

В начале июня вернулся посланный мною в Ургу надежный монгол. Он привез записку. На бумаге карандашом было набросано несколько

условных фраз. Я понял, что дела Цянь-Цзюня, охранителя границ государства, Возрожденного Бога Войны, генерала Унгерн-Штернберга, на русско-монгольской границе неважны.

Четыре месяца тому назад, 2-го февраля 1921 г. с семьюстами русских и монголов, обутых в «вечный сапог» (сырая кожа сшивается и застывает на ноге), им была взята Ургa и обращен в бегство 12-тысячный китайский гарнизон. Согласно «традициям» отряда были перебиты, невзирая на пол и возраст, «жиды и сочувствующие большевикам». Было приступлено к уничтожению «всех, так или иначе не подходящих к заданию отряда». Для монголов был вновь коронован Живой Бог, для русских был объявлен «законным хозяином земли русской – Император Всероссийский Михаил Александрович, видевший шатание народов»[1]. И мы все, русские офицеры и солдаты разбитых в Сибири белых армий, которым удалось скрыться от красных в диких просторах Монголии, были мобилизованы на новый поход «на Русь». И доктор, лечивший «самого генерала-барона», поведал мне под большим секретом о том, что «в настоящее время» он приготовляет дл барона порции морфия – «не менее чем в 50 порошков».

Записка сообщала о том, что красный Троицко-Савск, пограничный русский город, не удалось захватить с налета. «Сумасшедший барон» расстреливает и вешает офицеров пачками. Очередь подходит к нам. Я понял, что круг суживается все больше и больше и что, пожалуй, из этого круга не уйти. У тех, кто остался в Урге, было достаточно оружия и военного снаряжения, но не хватало для путешествия через степи, а, может быть, и через пустыню Гоби, лошадей. Эта задача должна была быть разрешена мною…

Приблизительно в шестидесяти верстах от Урги мне посчастливилось найти уединенную долину, закрытую с трех сторон лесистыми горами и выходящую одной стороной в холмистую степь. То, что называют сибиряки, «падь». Долина была покрыта густой травой, посередине протекал ручей. И, главное, была она в стороне от всех возможных дорог.

Я распорядился расседлать коней. Больше всех обрадовался остановке и связанному с ней полному безделью Намсарай-тайчжи, благородный Намсарай. Он с удовольствием крякнул, повертел пальцами левой руки несколько седых волосков под нижней губой, нечто вроде эспаньолки, поправил длинную заправленную сзади за кушак косу и, не торопясь, отдал соответствующие приказания монгольским солдатам.

У ручья быстро выросли два конусообразных желтых шатра. Военные китайские шатры, отбитые у китайцев монголами. В одном шатре помещался я, в другом Намсарай. Вокруг желтых шатров засинели синие шатры монгольских солдат. Благородный Намсарай тотчасже выпросил на время

[1] Из Приказа Русским Отрядам на территории советской Сибири. Мая 21 дня нов. ст. 1921 г. № 35.

мой новенький японский карабин и исчез куда то на целый день.

Монгол-переводчик, грузный монах-лама, где-то научившийся русскому ломанному языку, вытащил из-за пазухи халата клочки бумаг и огрызок карандаша, подобранные у меня. Лег прямо на полу у шатра на живот и предался любимому занятию: артистически выводил он на бумаге контуры различных животных. Его рисунки напоминали мне поражающие своей реалистичностью и красотой рисунки доисторического человека, находимые современными учеными на стенах пещер. В степи погибал крупный талант.

Полдюжины монгольских солдат расселись полуголыми у палаток на траве. Они будут сидеть так, совершая туалет на солнце часами. Расплетать и заплетать друг другу косы и просматривать одежды, бережно опуская пойманных насекомых в траву: правоверный ламаит считает даже жизнь вши священной. Это не помешало старшему, нечто вроде сержанта, зарубить при взятии Урги трех китайцев. На его голой могучей груди болтается зашитый в просаленную грязную тряпицу амулет, предохраняющий от пуль.

Мне оставалось, как всегда, одно: лежать в шатре, наблюдая на желтом фоне освещенного солнцем полотнище мелькающие тени. В голубом весеннем небе кружились коршуны. И ждать. А когда надоест, думать и лежать перечитывать свою «библиотеку»: томик русских стихов и самоучитель английского языка.

* * *

На другое утро, обходя лагерь, я заглянул в шатер Намсарая, думая, если удастся, незаметно навести разговор на покупку лошадей. Старого плута вновь не было дома. Свой шатер он старался устроить совсем как у меня, и даже выложил какие-то монгольские бумаги и повесил на колышек бинокль, совершенно излишний его ястребиным глазам. Рядом с поставленными друг на друга полированными ящиками-божницами, рядом с богами знаменитая картонка для парадной шляпы и особый футляр – с ее павлиньим пером.

Намсарай был высоким, по-юношески стройным, несмотря на свои 60 лет, стариком. Он носил простой монгольский терлык, но необыкновенной длины – не менее 15 футов – кушак, стягивающий, подобно корсету, талию, а расшитые разноцветной кожей монгольские сапоги с подтянутыми вверх острыми носками выказывали несомненное степное щегольство. Сзади за поясом был заткнут нож. Впереди на поясе блестел прибор для добывания кремнем огня. И прибор, и ножны ножа были затейливо изукрашены старинной чеканки серебром. Такие вещи передаются веками из рода в род.

Намсарай двигался медленно и величественно. Но особенно поражало его потемневшее от степной непогоды и от степного солнца лицо с похожими на старые шрамы морщинами. Прямой нос, смело глядящие в упор глаза, седая эспаньолка под нижней губой.

Эти необозримые, похожие на волнующееся море, зеленые степи, где на одного человека, в среднем, приходится почти две мили, казались мне тесной, замкнувшейся тюрьмой. И тюремщиком моим был Намсарай. Вначале все в нем раздражало меня. Особенно медлительность и плавность движений, высокопарные речи по пустякам и лень. Такого ленивого человека я не встречал еще никогда.

– Куда торопиться? Что делать? Все переделано до нас давным-давно! – говорил Намсарай.

Иногда, посматривая на его старого образца винтовку, бьющую без промаха в его опытных руках, я думал о том, что весьма возможно, она прекратит мои полные тревоги дни.

Первое столкновение произошло, когда подошли мы караваном к вздувшейся от дождей реке. Мутные воды несли щепки и стволы деревьев. Как известно, по всей необозримой стране Живого Бога имеется всего-навсего десять деревянных мостов. Намсарай подъехал верхом к реке, заглянул в воду и медленно отъехал назад.

Вскоре в разбитой по его приказанию на берегу палатке состоялось своеобразное военное совещание. Намсарай говорил с обычным красноречием, пересыпая речь свою высокопарными оборотами и цитатами из священных книг. На этот раз он цитировал главным образом книгу Ли-Цзы, книгу китайского хорошего тона. Подробно обрисовав создавшееся положение и заметив, что даже лошадям противно переплывать подобную воду, он особенно долго останавливался на плавании вообще.

– Ни один уважающий себя человек, – сказал Намсарай, – без особой на то нужды не поплывет. Почему? Очень просто. Кому приятно нелепыми движениями своими уподобляться лягушке? Больше. В той особо мутной воде, которая преградила нам дорогу, легко, не разобравшись, наскочить на рыб.

Лица всех слушавших выразили неподдельное отвращение.

– Есть рыб, – сказал Намсарай, – не только грешно, но и омерзительно, ибо рыба, как известно каждому образованному человеку, в конце концов не больше как водяная змея или водяной червь.

Ждали моего слова.

Я начал так же размеренно и торжественно, как и Намсарай. Я даже, сдерживая раздражение, стал подражать его плавной жестикуляции. И приказал переводчику, под страхом строгой ответственности, перевести мою речь слово в слово.

– Благородный Намсарай, монгольский офицер, – сказал я, – очень

начитан. Приведенные им цитаты из Ли-Цзы, книги хорошего тона, неоспоримы. Но для меня лично важнее небольшая бумажка – предписание перейти реку, и реку мы перейдем. Если же конь благородного Намсарая, потеряв под ногами почву, поплывет, – то, как это ни прискорбно, офицеру придется прибегнуть к унизительным телодвижениям. Ибо, в ином случае, не Намсарай скушает рыбу, а рыба скушает Намсарая, не задумываясь над тем, грех это или нет.

Не один мускул не дрогнул на лице Намсарая. Он величественно повернул голову к почтительно ожидающему приказаний солдату и обычным своим торжественным тоном сказал:

– Русский найон[1] приказал.

Я хотел поставить «этого дикаря» на место, а вышло, что дикарь поставил на место меня.

– И на кой черт, – думал я, – я обидел старика! Разве не был он всегда со мной всегда изысканно вежлив? Разве не стрелял он для меня дроф и диких коз и не отдавал лучшие куски мне?..

И улучив удобный момент, я сам предложил Намсараю, собравшемуся на охоту, взять вместо его устаревшей винтовки мой новенький японский карабин. Карабин бил дальше и вернее. Карабину всегда завидовал Намсарай.

Изрытое морщинами обветренное лицо Намсарая, казалось, говорило без слов о том, что семь столетий, достаточное количество предков и даже само китайское иго не могли, как говорят здесь, «разжижить густую, бьющую сильной струей, кровь Чингис-хана».

Для меня стало ясным, что в сердце старика, как и в сердце его народа, бьется два начала: одно – уходящее вглубь веков, овеянное гудением бубна шамана и тайнами Черной Веры, давшее монголам славу воинов, едва не покоривших весь мир; другое – искусственное, привитое китайцами в целях обуздать беспокойного соседа, берущее начало в рассуждениях ламаизма, превратившее воина в «пастуха чужих (главным образом, китайских) стад».

Поняв это впервые, я наблюдал, как старик по обычаю, принятому и у нас в сибирских лесах, быстро наклонившись, перекусил крепкими желтыми зубами горло подстреленного глухаря.

Кроме того, чисто практически я понял, что несмотря на лень и полную беспечность, он, для которого в степи нет секретов, вовремя обнаружит опасность – бродячую шайку разбитых китайских солдат. Намсарай мог определить по легким следам на песке и траве не только количество всадников и их национальность, но даже узнать груз, которым нагружены были прошедшие вьючные кони и верблюды. Мне невозможно было разо

[1] Найон – господин, князь.

браться во всех этих диких степных делах, и я предоставил все Намсараю, принимая сам почет и, когда приходило время, покорно садясь в седло.

* * *

Не застав Намсарая дома, я приказал оседлать для себя коня и выехал на прогулку в степь. Было раннее утро, и было так хорошо, что не хотелось ехать быстро. Я пустил коня шагом и жадно вдыхал полной грудью степной воздух, пропитанный ароматом просыхающей от утренней росы травы.

Всюду начиналась деятельная жизнь. На сухих пригорках весело паслись тарбаганы, жирные и неуклюжие, они становились на задние лапы и, посвистав немного, удивленно смотрели на меня, пока я совсем приближался к норе, затем быстро ныряли в отверстие ее. Высоко в воздухе парили коршуны, высматривая молодого зазевавшегося тарбагана. Опытный глаз всегда может найти местность, заселенную тарбаганами, по изобилию хищников. Коршуны парят в воздухе, на высокой скале сидит орел или два; иногда даже днем случайно можете увидеть линяющего волка. Бока уже гладкие и ровные, а спина покрыта пучками старой длинной шерсти. Для всех них тарбаган является лакомым куском.

Я задумался и ослабил поводья коня. Неожиданный прыжок его в сторону чуть не сбросил меня с седла. Из-за ближайшего холма вынырнуло нечто странное на коне.

Опять этот старый дурак, Намсарай!

Намсарай придержал коня и, приветливо и церемонно кланяясь, подъехал ко мне. На нем был мой желтый непромокаемый плащ. Его голова была обмотана двумя полотенцами, причем концы их, свисая наподобие громадных ушей вниз, трепетали и бились от ветра и резких движений коня. В руках он держал мой карабин и нечто, похожее на хвост.

Я понял, что Намсарай приготовился к исполнению знаменитого «Волчьего балета», ибо я знал, что после составления баллад и игры на лютне «Волчий балет» является любимейшим развлечением этого потомка Чингис-хана.

По просьбе Намсарая, я соскочил с коня и лег на траву, а сам Намсарай, к моему удивлению, спешившись и бросив коня, сделал несколько шагов, стал на четвереньки, приставил хвост к надлежащему месту и запрыгал, исполняя странный – действительно «волчий» – балет. Вскоре я заметил вдали маленький бугорок выброшенной из норы глины и около него – толстого, поднявшиеся на задание лапы, подобно молодому щенку, зверька. Он любопытно присматривался к тому, что скачками в разные стороны, медленно, но неуклонно, приближалось к нему. Создавалось впечатление, что зверек близорук и внимательно, прищуриваясь, всматривается. А это «что-то» прыгало на четвереньках, вертело хвостом, хлопало ушами, сви-

стело, затем в нескольких шагах от норы прогрохотал выстрел, и через миг Намсарай поднял над головой окровавленную добычу – убитого зверька. К тарбагану трудно подойти, но он очень любопытен и, увидя нечто новое, все забывает. Его надо бить в голову, наповал, иначе заползет даже смертельно раненным в нору, и тогда придется, в лучшем случае, долго капать. Для этой охоты нужно много терпения. Иногда часы требуется для того, чтобы подкараулить зверька. Намсарая ни за что не вытащишь из палатки, но сколько угодно часов он готов провести у тарбаганьей норы.

Намсарай был доволен охотой. Правда, с тех пор, как правительство призвало его вновь к ответственной деятельности, а также благодаря любезности русских найонов, он имеет всегда барана, и добыча для него не столько необходима, сколько спорт, но было время…

– Бедность – не преступление, найон, и сам Великий Чингис–хан, мой предок, до того, как поднял стяг свой – девять белых хвостов яка – и покорил мир, в детстве питался кореньями и луковицами растений, которые собирала для него мать, а в зрелой юности, будучи голодным, съедал даже полевую мышь…

* * *

В разговоре с Намсараем я, как бы случайно, упомянул о моем давнишнем желании – закупить-три десятка хороших коней. Настоящее время представляло исключительный случай: вблизи, несомненно, были большие табуны. Намсарай пристально посмотрел на меня, но не задал ни каких вопросов. Он заметил лишь, что не советует ехать к табунам.

– Разве знатным людям подобает это? Мы пошлем за ними, и, если нам будет нужно, они пригонят табун и перекочуют сами к нашим шатрам.

Вечером этого же дня он торжественно пригласил меня в свой шатер. На нем был новый синий халат, его коса была заплетена особенно тщательно, а на ногах красовались расшитые цветной кожей парадные сапоги. В шатре было дымно, пар валил от котла на жаровне, и лица присутствующих сильно лоснились. Я уселся на почетном месте, и Намсарай, с риском обвариться, долго шарил в котле и, вытащив особенно лакомый кусок баранины, преподнес его мне. Затем длинными щипцами, которыми достают угли из жаровни, пододвинул от огня ближе ко мне жестяной сосуд с перехватом посредине, наполненный горячим китайским вином.

Дав всем по куску мяса, Намсарай почти бросил последний сидящему в стороне атлетически сложенному молодому монголу. Тот почтительно принял его на ладони сложенных вместе рук и сильно зачмокал губами, чем, как благовоспитанный человек, показывал восторг от предложенного угощения.

Это был тот надежный человек, который привез мне только что

записку из Урги, «хамчалга» Намсарая, – его личный, правда, единственный раб. Великий Канси (каждый чтит его память) разделил всех потомков Чингис-хана на князей шести степеней, которым назначил жалованье и содержание, и на тайчжи – дворян, которые получили для своих личных услуг в «хамчал» (рабство) от трех до двадцати четырех семей харахнов, тяглых монголов.

Когда Намсарай совершенно издерживался и охота на тарбагана не была удачной, он приезжал в юрту к своему рабу, который, предоставив хозяйство, жену и домочадцев своему господину, старался на это время куда-нибудь исчезнуть. Ибо со времен Чингис-хана вассал чтит закон, доставляя сюзерену лучших добытых им женщин и коней. Раб привез своему господину новый халат, который тот в настоящее время усиленно мазал стекающим с пальцев бараньим салом, ибо сальные пятна на халате служат показателем достатка владельца, питающегося «жиром земли».

Намсарай не вытянет ног вперед и не переплетет их, не коснется ножом огня, не заложит рук за шею или спину и не выплеснет чая из чашки. Он очищает свои крепкие, слегка пожелтевшие от шестидесяти лет зубы длинным, не менее полтора дюйма длиной, ногтем мизинца, и все, что добудет в них, ловким щелчком двух пальцев, отбрасывает далеко от себя.

Он рыгает вовремя, после каждого угощения, чтобы доказать уважение к хозяину и то, что доволен он и вполне сыт. Вообще, он в совершенстве изучил все 112 правил приличия, преподаваемых в ламаистских университетах Урги.

Среди многочисленных новостей, которые привез раб Намсарая из столицы Урги, была одна, вызвавшая всеобщее внимание: в одном из монастырей, недалеко от Урги, среди бела дня на улице появилось чудовище – полу-женщина, полу-волк. В мгновения ока оно растерзало двух монахов.

Громадный воин с амулетами на голой груди поспешил рассказать, что его покойный брат, погибший при взятии Кобдо, незадолго до атаки, будучи на часах, увидел подобное же чудовище и даже, приняв его вначале за волка, стрелял в него. Но когда различил ужасное старушечье лицо, то выронил винтовку из рук.

Очевидно, появление полу-старухи, полу-волка не было явлением из ряда вон выходящим, но всегда предвещало какое-нибудь несчастье, главным образом, войну.

Монголы-солдаты, набившиеся в шатер, слушали, сидя на корточках, курили и, многозначительно качая головами, чмокали губами.

Когда последний солдат вышел из шатра, я решил выспросить Намсарая и, желая задобрить старика, начал с того, что состроил печальное лицо и заметил, что как это прискорбно, что два монаха, судя по всему, весьма почтенные люди, были растерзаны так нелепо на улицах монастыря.

– Есть ли еще какие-нибудь новости, благородный Намсарай?

– Есть, найон, – ответил Намсарай, – но эти новости не для простых солдат.

Смелые глаза старика в упор остановились на мне. Я понял, что Намсараю известно и о неудаче под Троицко-Савском, и о последних казнях и, быть может, о судьбе, которая ждет меня.

– Найон помнит, конечно, – сказал Намсарай, – о том, как Возрожденный Бог Войны – вы называете его «бароном» – разошелся в степи с главными силами китайцев, и китайцы оказались неожиданно под самой Ургой, и как мы, выйдя из Урги, преградили им путь. Сердца китайцев были объяты отчаяньем, и они слепо шли в атаку за атакой на холмы. На одного монгольского всадника приходилось пятнадцать китайцев, на одного русского – тридцать. Мы отбили китайцев и долго гнали в степи. Несомненно, «орус» – русские – храбрейшие войны, и Бог остается Богом… Но почему все это делает Возрожденный Бог Войны?

Несомненно, под словами «все это» Намсарай подразумевал казни и пытки.

Его вопрос застал меня врасплох. Я начал как можно издали и осторожно:

– Несомненно, Намсарай-тайчжи лучше меня знает знаменитое изречение Конфуция. Я говорю его на память, и, если ошибусь, Намсарай простит меня. Конфуций сказал: «Если человек, занимающий выдающее положение, храбр и беспощаден, но не обладает чувством справедливости, он является угрозой государству. Обыкновенный человек, храбрый и беспощадный, без чувства справедливости, не более, как бандит».

Наступила долгая пауза.

– Найон знает о том, – вновь неожиданно задал вопрос Намсарай, медленно и отчетливо произнося каждое слово, – что чахары привезли из похода мешок с золотом, который дал им награду Возрожденный Бог Войны?

Я невольно вздрогнул – это был прямой вызов. Старик, очевидно, говорил о самом выдающемся побеге из отряда Возрожденного Бога Войны, барона Унгерн-Штернберга. Вся передовая русская застава, состоявшая из лучших мобилизованных офицеров в количестве 38 человек, самовольно снялась и ушла по направлению Китая, на Хайлар. Офицеры были хорошо вооружены и решили дорого продать жизни. Барон Унгерн-Штернберг, не надеясь на русских, послал в погоню чахар. Это были испытанные разбойники одного из самых воинственных племен Внутренней Монголии. Барон пообещал за каждую голову 100 золотых рублей. Чахары, как степные коршуны, кружились, не решаясь напасть. За все время русские лишь раз позволили себе неосторожность: почти дойдя до Китая и почувствовав безопасность, они не выставили обычного ночного охранения. Этого было

достаточно. Чахары добыли 38 голов.

Я смотрел на Намсарая. Безразлично, казалось, он мешал длинными железными щипцами догорающие угли в жаровне, и кровавые огненные блики падали на его строгое, мужественное лицо.

– И найон знает, – продолжал он так же медленно и раздельно, как и в первый раз, – о том, как по приказу Возрожденного Бога Войны, молодой офицер на глазах солдат за побег был сожжен живым на костре?

Это был личный адъютант барона Унгерн-Штернберга. Об его смерти рассказывал мне офицер, которому было приказано закопать обгоревший труп…

…Одной из особенностей монгольских весны и лета являются холодные ночи даже после палящего дня. Развернув в шатре своем меховой мешок, я, по обыкновению, внимательно осмотрел оружие – револьвер и карабин и примостил их под рукой. Закутываясь в мех на ночь, я думал о Намсарае. Грозит он мне или пугает, желая остановить меня, дабы избежать случайностей, за которые в ответе может быть он сам? Но почему-то отчетливо припомнилась громадная юрта, застланная белым войлоком, средневековая канцелярия монгольского министра. Лохматые писцы спешно заносили тушью при помощи кисточки последние значки в бумагах, которые я должен был взять с собой.

И стало мне казаться, что лица писцов, да, пожалуй, и лицо самого товарища-министра, подавшего на прощанье по-европейски мне руку, таили уверенность в том, что я при первом удобном случае сбегу.

– Что, если Намсарай-тайчжи получил секретное приказание – смотреть на меня «сквозь пальцы»?..

* * *

Слух о том, что мы покупаем лошадей, быстро распространился по степи. Одного за другим приводили к нашим палаткам конные монголы продажных, в большинстве случаев, необъезженных, коней. Намсарай священнодействовал. Он очень жалел, что в его распоряжении не имеется для взвешивания кусков серебра, которым мы платили за коней, весов с тремя различными палочками – коромыслами: белой, коричневой и черной. Одна только белая отмечает приблизительно верный вес. По ней китайские фирмы принимают серебро друг от друга. По коричневой, показывающей преувеличивающий вес, отпускается монголам серебро, а по черной, показывающей преуменьшенный вес, принимают плату у них. Добродушный кочевник не разбирает этих тонкостей и теряет на серебре не менее десяти процентов. Но Намсарай видел, слава Богу, на своем веку людей, и самый дошлый китайский купец не проведет его. Он показывал свои знания всевозможными способами, стараясь дискредитировать продавца и доказать наглядно полную его ничтожность.

Обыкновенно храпящего и упирающегося коня подводили к палатке. Намсарай и солдаты всячески испытывали его, давали бесчисленные советы, и кончалось тем, что я, повозившись порядочно с дикарем, оседлывал его своим седлом и испытывал на деле. Затем, не показывая, что конь мне понравился, я давал Намсараю условный знак. В результате, Намсарай и продавец схватывались крепко правыми руками, совершенно закрывая кисти их длинными рукавами халатов, дабы посторонний не мог заметить их манипуляции. Незримо, хотя на глазах у всех, начинался бешенный, но молчаливый торг. Продавец пожимает руку покупателя три раза и это означает: «Подходит или нет?» Ответное пожатие означает: «Да», – два раза: «Нет». Нажим одного большого пальца – цифра один, десять, сто и так далее; двух – два, двадцать, двести и так далее. Четыре согнутых пальца, коснувшись четырех согнутых же пальцев, прикрытых концом бархатного рукава, молча говорят: шесть, шестьдесят, шестьсот…

Купцы достигают невероятной виртуозности в этом молчаливом торге и знают сотни оттенков «нажима». Полная тишина. Лишь по временам вырывается у торгующихся весьма энергичные выражения. Несколько раз, разняв руки, оба бросаются к забавным китайским счетам с маленькими костяшками. Начинается щелканье и гвалт.

Сотни маленьких лохматых лошадок промелькнули перед нами в эти дни. Лошади из табунов монголов – результат улучшенной породы, с красивой нервной головой, большими пугливыми глазами, изящной шеей, крепкой спиной и стройными ногами. Маленькие горбоносые лохмачи со щеткой на ногах, достигающей до земли, о которых никто никогда не заботится, которые растут, плодятся и размножаются на этой бесконечной степной равнине. И те, и другие чрезвычайно выносливы, летят, как ветер, и быстро привязываются к своему хозяину.

Ах, только тот, «кто вдыхал живительный запах степных трав», может оценить значение коня! Было время, когда на всем громадном пространстве «степного четырехугольника» (от Хингана до самых Карпат), грозя залить Западную Европу, бушевали кочевнические волны; отхлынув, оставляли они на протяжении трех тысячелетий в степи курганы. Поросли травами курганы, эти огромные холмы-могилы, степной вечер затягивает их синеватой дымкой, к закату солнца на них спускаются степные орлы. В поисках «вечной жизни», лопата археолога нарушает сон степных могил. И в самых древних курганах – «скифских» – ученый натыкается прежде всего на костяк «обузданного коня»: рядом с воином спит вечным сном его конь. История кочевий начинается лишь с момента «обуздания коня». Когда это случилось? Кто знает! Китайские ученые говорят – шесть тысяч лет тому назад.

* * *

Мы отобрали с десяток коней, когда почетный, дородный старик-лама подъехал верхом к нашей палатке. Его сопровождал хуворок – послушник, мальчик лет двенадцати, ведя в поводу красивую спокойную лошадь. Старик, кряхтя, сошел с коня, и Намсарай поспешил выйти к нему навстречу, сгибая туловище и протянув для приветствия руки ладонями вверх. И по тому, как говорил Намсарай, и по тому, как отвечал старик, я понял, что лама имеет высшее посвящение и пользуется большим почетом. Послушник предупреждал каждое движение его и не спускал с него больших карих, не по-детски серьезных глаз.

Приведенный конь дал спокойно надеть на себя европейское седло и понес меня, как вихрь. Давно я не видел подобного коня. Это был иноходец, и недаром говорят ламы, что в иноходцах перерождается боевой товарищ Чингис-хана, его верный любимый конь, а китайцы, связав попарно особыми путами ноги своих коней, терпеливо учат их выбрасывать поременно стороны – тому, что называем мы «иноходью».

Я не мог скрыть своей радости, но и Намсарай не торговался, а лама назвал сразу цену. Все оживление Намсарая исчезло. Он степенно молчал, вздыхал, иногда произносил фразы, пересыпая их изречениями из священного писания, и даже презрительно отозвался о торговцах, кричащих и волнующихся, ибо в конце концов все бренно в Сансаре – этом материальном мире, и «да поможет им Намсарай – его патрон – бог грабежа и наживы, приобрести десять белых добродетелей и уйти от десяти черных грехов». И на это старик ответил словами священных книг:

– Да освободятся все одушевленные существа от сильных и несильных страстей и вспышек, и да пребывают равнодушными. Да будет он твоим, – ласково сказал мне старик, указывая на купленного коня, – и да принесет он тебе на своих быстрых, крепких ногах счастье!

Ламы – старик и мальчик – долго ласкали проданного коня и что-то шептали ему в уши, а когда наши монголы взяли его, чтобы отвести в табун, – маленький послушник зарыдал. Он плакал долго и неутешно. Тщетно старик пытался его успокоить.

– Крайность, только крайность заставила их разлучиться с конем, найон! – сказал, хмуря брови, Намсарай-тайчжи.

И он добавил тихо:

– В сердце найона – тревога. И кажутся закрытыми все пути. Старый лама обладает тайной жизни и смерти. И я могу провести найона к юртам старика.

– Лама покажет чудо? – спросил я.

– Больше, чем чудо, найон, – ответил Намсарай. – Чудеса – для простых солдат…

…На другой день, по приглашению старого ламы, мы – Намсарай, я

и переводчик – верхами выехали к чернеющему вдали покрытому лесом горному хребту, где в одной из многочисленных щелей приютилась его юрта. Меня заинтересовали рассказы Намсарая о нем. Старик принадлежал к числу тех святых лам, которые, погрузившись в созерцание, блуждают вне времени и пространства среди звезд. Иные миры, бесчисленные, как песчинки, встречают их. И те, кто давно покинул землю, те, о которых люди привыкли думать: «Он умер», говорили устами маленького послушника с не по-детски серьезным лицом. Мы поднимались по горной тропинке, когда ветер донес до нас сладковатый запах падали и запах гари, который остается долго после пожара.

– Не посещай место гибели и зла, – сказал Намсарай, но я повернул в эту маленькую долину и увидел выгоревшую траву, обгорелые бревна, кучу тряпья и камни. Вот что-то белеет внизу. Я соскочил с седла и поднял вызолоченную статуэтку будды. А вот сломанное «хурдэ» – большой деревянный барабан с молитвами, который крутят богомольцы, и он механически совершает молитву за них. А дальше, в траве – обглоданные череп и кости, и я наткнулся на труп монгола. Обрывки красного одеяния говорили о том, что владелец их был монах. Это все, что осталось от уединенного монастыря старого ласкового ламы – созерцателя, у которого мы купили коня. Кучка китайских солдат, отбившихся от своего отряда, случайно попала сюда.

Под тяжелым впечатлением от увиденного я вернулся к Намсараю и переводчику, которые ждали меня на тропинке, и мы тронулись в дальнейший путь. Как находил дорогу Намсарай – одному ему известно, но совсем неожиданно, за поворотом, мы увидели несколько серых простых юрт. Мы подъехали к крайней из них, и вышедший к нам навстречу, едва сдерживающий громадную мохнатую собаку монгол долго шептался с Намсараем.

– Если б тарбаган не показался из норы, как мог бы охотник убить его? Найон, не говори никому, что мы были здесь, – произнес тихо Намсарай, делая вид, что поправляет стремя.

Мы спешились и вошли в юрту.

* * *

Это была простая юрта, ничем не отличающаяся от юрты кочевника среднего достатка. Лишь прекрасный верблюжьей шерсти ковер, седло дорогой отделки, брошенное у порога, да старинной чеканки статуэтки богов говорили опытному глазу о другом: есть вещи, к которым так привыкаешь, что даже в бегстве берешь с собой прежде, чем воду и хлеб…

Первые приветствия, вопросы и ответы истощились. Наступило молчание. Мы полулежали на мягком войлоке. От углей жаровни в центре юрты тянуло теплом. Не хотелось говорить. Какое-то спокойствие и уют охва-

тили нас. Мягко и ласково глядели на меня глаза созерцателя-ламы. Он сидел, поджав под себя ноги на мягком красном шердыке. Он застыл в позе, подобной той, которую придают статуэткам любимых учеников Будды, и легкая улыбка слегка озаряла его полное, добродушное лицо.

И то, что хотелось сказать мне, вырвалось у Намсарая словами священного писания:

– Чтоб золотое пламя подымалось ровным светом, светильник ставь там, где есть защита от всех ветров.

Но, к удивлению моему, старик-лама возразил на эти слова:

– Некий путник, – сказал он, – изнуренный зноем, приблизился к белому от пены, быстро несущему воды потоку и остановился на берегу, боясь погрузиться в прохладные волны. Но, не вступив в поток, как может он освежиться? И разве каждому дает судьба возможность поставить светильник свой вдали от всех ветров? Не бойся жизни! Книги говорят: «Кто не исполнил возложенного на него – напрасно жил». Что больше всего в жизни страшит человека? – ответил он вопросом на многочисленные наши вопросы.

– Бедность, – сказал Намсарай…

Намсарай думал, очевидно, о своей приближающейся старости, о том, что он имеет лишь одного коня и одного раба.

Я думал в этот момент о монгольском плато, объятом огнем войны. Мне предстояло проскочить в этом огне около полутора тысячи миль. И встреча с любой враждующих шаек: барона Унгерна, китайцев или красных – означала для меня во всех случаях одно и то же – смерть. Поэтому, невольно для себя я ответил:

– Смерть!..

Старик ласково взглянул в мою сторону.

– Да, смерть! Много столетий тому назад привели мудреца к неправому судье, и судья, мудро посмотрев на мудреца, сказал: «За преступную проповедь твою, согласно закона, я прикажу палачу отсечь твою правую руку!» Но мудрец, к удивлению судьи, улыбнулся. Он откинул плащ, и все увидели, что правая рука его давно отсечена палачом.

Если больше всего в жизни страшит человека смерть, то есть небытие, то, что может устрашить мудрого и познавшего тайны, который сам стремится к небытию?

Странно пали на лица и скользнули по стенам юрты багровые тени от горящих углей жаровни. Расширились и стали неподвижными громадные глаза на бледном личике маленького послушника. Глубоко задумался Намсарай, степной поэт и аристократ, и крутил пальцем несколько седых волосков под нижней губой – род эспаньолки.

Старик-лама перевел взгляд свой туда, где мистически неумолимо надвигалась ночь.

– Но кто может побороть того, кого Великий Чингис–хан называл «Вечное Синее Небо»? – задумчиво произнес он…

…Мы возвращались теми же тропинками. Так же шумел лес.

Я сдержал коня. Сильно пахло смолой. Сквозь ветви сверкали яркие звезды.

Далеко сзади, меж стволами двух кедров, блестел ровный золотой огонек: должно быть, полог юрты старика-созерцателя, достигшего состояния Даяны, состояния, в котором, оставив землю, блуждаешь меж звезд, был открыт.

И разве священные книги не говорят: «Врата Даяны, как сосуд из алебастра, – белы и прозрачны: внутри горит спокойно золотой огонь».

Намсарай подъехал и наклонился ко мне с седла. Передо мной отчетливо чернело дуло винтовки, выглядывавшее из-за его плеча, и одетая на макушку парадная шляпа с длинным павлиньим пером. Лицо Намсарая было необыкновенно строго и торжественно:

– Думают, – сказал он, – что степи совершенно открыты, что всюду в степи путь. Не так, найон! Запутаны степные дороги. Их стерегут древние боги, которые пропускают лишь тех, кто победил в сердце своем страх. Святой лама не хотел быть до конца ясным. Я переведу его слова на наш грешный язык: «Будь достойным! Иди!»

Я понял, что это говорит Намсарай, воин и шаманист, и что он и старый лама открывают передо мной степной путь…

Кони шли осторожно. Тишина. Лишь вздыхал временами Намсарай, вновь правоверный ламаит. О, этот старый грешник отлично сознавал, что для него, как для каждого достигшего пятидесятилетнего возраста, уважающего себя монгола, наступила давно пора забыть суету мира, обрить голову и дать первый монашеский обет, запрещающий, во-первых, убивать какое-либо существо, во-вторых, вести брачную жизнь, в третьих, произносить лживые слова, в четвертых, употреблять вино и обязывающий произносить ежедневно от десяти до ста тысяч раз мистическую формулу: «Оммани-падмэ-хум», – смысл которой никому не известен.

* * *

Я лежу на мягком шердыке (войлоке) и записываю в записную книжку неожиданно пришедшие в голову слова Лао-Цзы:

«Я слышал, что тот, кто обладает секретом жизни, путешествуя заграницей, не побежит от тигра или единорога и войдет, не думая об оружии, в неприятельский лагерь. Ни тигр, ни единорог, ни вражеский солдат не тронут его.

Но почему?

Потому, что он превзошел смерть».

Монгол-переводчик рисовал на бумаге зверей. На этот раз таких зверей, которых изобразить может только дикая фантазия или инстинкт, донесший до нас память далеких доисторических дней. Монгол-солдат с восхищением знатока, разбирая и собирая мой карабин, смазывал его в десятый раз.

Пламя жаровни неверным светом озаряло полотнище шатра. Мешая угли большими железными щипцами, Намсарай, по обыкновению вслух, переделывал слова любимой былины о богатыре Бум-Эрдени и об его коне:

– Под утренним желтым светом выезжает он в степь и, поглотив пространство девяти тысяч лет пути, под вечерним пылающим солнцем прибывает к ставке учителя – Будды…

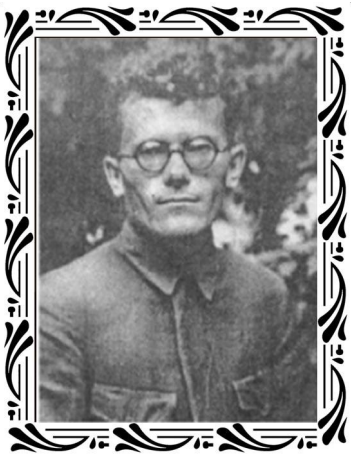
* * *

Я всегда с величайшей благодарностью вспоминаю благородного Намсарая-тайчжи. Он укрепил мой дух… Хотя нам и не удалось организовать наш побег.

Вскоре после моего визита в уединенную падь ламы-созерцателя пришла в Ургу с фронта телефонограмма от «Сумасшедшего барона» с приказом расстрелять четырех человек. Мое имя было среди них. По счастливой случайности, телефонограмму о расстреле принял один из приговоренных, бывший в тот день дежурным офицером. Все четверо бежали в Китай. Один погиб в пути.

Сан-Франциско.

Впервые опубликовано (на англ. яз.) в американском журнале «Азия».
(Текст был задуман как глава из готовящейся к печати книги
«В царстве золотых Будд», которая так и не была издана).
Печатается по: Врата. Шанхай. 1935. Вып. 2. С. 35-52.



Игорь Николаевич
ВОЛКОВ
(1910-после 1945)

Писатель и журналист Игорь Волков родился 1 декабря (ст. ст.) 1910 г. на станции Вавилово. Учился в Екатеринбургском лесотехническом институте, закончил химический факультет Томского университета. Работал инженером, затем директором лесохимического завода под Хабаровском. Был арестован, судим и отправлен в лагерь на 10 лет. В марте 1938 г. бежал из лагеря и перебрался в Маньчжурию. Жил в Харбине. Был сотрудником газет «Заря», «Голос эмигрантов»; журналов «Рубеж», «Луч Азии», «Мушкетер» и др. Писал под псевдонимами «И. Гор», «И. Горей». Автор романа «Солнце всходит на Востоке» (1939–1940) и сборника рассказов «Комсомольцы и студенты»(1941). В 1945 г. был арестован и депортирован в СССР.

Ист. и лит.:

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 78-79.

ГАММА

Аудитория. Семинар по высшей математике. У доски – студент Сычев. На стуле, прислонившись спиной к холодной голландке, – профессор Симбирский. За столами – студенты. В окне – мутно-серые блики пасмурного дня и бескрайняя ширь грязно-бурого брандмауэра.

В аудитории тишина. А в ней – поединок чувств... Сражались двое: студент Сычев и профессор Симбирский; остальные были безмолвными свидетелями. Но за маской внешнего спокойствия бушевали страсти. Только они не проявлялись ни в аплодисментах, ни в криках «болельщиков», а лишь в невозмутимо-сосредоточенном молчании.

Эта напряженная и своеобразная борьба происходила вокруг задачи: прямая в пространстве относительно двух взаимно-пересекающихся плоскостей. На доске белели декартовы оси координат, пересекающиеся плоскости и злополучная прямая. Были обозначены и углы пересечения: альфа, бета...

«Что же он не пишет гамму? – думал профессор, прикладывая свои ладони к холодной печке. – Почему он не обозначает угол гамма? А какой он странный, это студент! Ему, наверное, чуть больше тридцати, а такая огромная лысина. По краям багровая... Голова очень большая. А как он смотрит на доску? Словно там не белые меловые линии, а его злейший враг... Ну и взгляд! Этот убьет и глазом не моргнет. И убивал, вероятно, не раз. Вон из-под рубашки револьвер торчит. Дико! Вчера только заметил. Идти в институт с наганом на поясе, не понимаю! Живой экземпляр военного коммунизма и революционного разбоя. Кто он тут у них, партийный

секретарь, что ли?»

А Сычев тем временем стоял у доски и не знал, что делать. В нем клокотала злоба. Он сейчас казался сам себе таким нелепым, словно нагим перед огромной толпой. Ни уйти, ни спрятаться. Свирепым взглядом он пожирал доску и все на ней написанное. Он ненавидел оси, плоскости и прямую. Он ненавидел самую доску, в которую крапинками въелся мел, отчего доска казалась изрытой оспой. Он пылал злобой к своему учителю Симбирскому, ненавидел его исступленной ненавистью бессильного. Более нелепого дурацкого положения, как сейчас, Сычев себе не представлял.

«Эх, попался бы ты мне лет пятнадцать тому назад! – думал он про нелюбимого профессора. – Попался бы! – думал Сычев, кусая губы и кроша мел. – На мороз бы тебя вывел, голенького. Челюсть бы твою вынул, сел бы перед тобой так же, как ты сейчас сидишь, и заставил бы произносить себе надгробную речь. Ух, и послушал бы я, что бы ты заговорил!.. Мало я вас, паразитов... вот ты еще остался!», – и мел тоненькой струйкой сыпался из пальцев Сычева.

А студенты – одни:

– Сычев опять ни черта не сделал... Не может решить такой простой задачи. Пил – по башке видно. Ну, какая ему высшая математика, этому «Рыжему Биллю?»

Вспоминали рассказы Сычева о гражданской войне и его работе в Особом Отделе ЧОН. Любил рассказывать.

«Кровь, мольбы и стоны – вот, говорит, моя стихия. Трагедия, драма на сцене – ерунда! Там, где плачут, я или смеюсь, или удивляюсь. Когда все это в жизни, у твоих ног – интересно».

– Что ему делать здесь, в «храме науки», когда для него понятия высшего – понятия глупости? Скажи ему: «Храм науки», – он захохочет в лицо и ответит: «Идиоты»!

Другие:

– Ну и Симбирский, черт!.. Видит же, что человек не знает, как решать, – чтобы помочь, – нет, сидит, прижавшись к печке, и дремлет. Подсказал бы, спросил бы – все же легче. А то молчит и молчит... Настоящий инквизитор! Лучше посади, но не мучь. Вот отрыжка старого. Бедный Сычев, как он нервничает! А этому – хоть бы что! Погоди, скоро сыграют тебе похоронный марш! И так уж высох весь – кожа да кости...

И в аудитории стояла тишина. Тяжелая, густая. А в ней – напряженная борьба чувств: безразличие с одной стороны, лютая ненависть с другой и сочувствие в отдельности тому и другому со стороны остальных. А бесстрастная прямая, как рапира, пронзала две пересекающиеся плоскости и образовывала три угла: альфа, бета...

– Ну, и что же дальше? – разорвало, наконец, тягостную тишину. Это был первый снаряд артиллерийской бомбардировки. Упав в тишине, он отдался особенно гулко.

– Я не знаю, как пишется гамма, – ухнуло в ответ, и белая пыль тонкой мучнистой струйкой полетела вниз, к ногам Сычева.

Профессор резко поднялся со стула. Внешней сонливости как не бывало. Высокая тощая фигура стала, как будто, еще выше. На морщинистой шее выступили синие черви вен и прильнули к безукоризненному белому воротничку. Черный галстук словно ожил. Грудь часто поднималась, и черный френч, на манер английского, с поясом, – шевелился. Длинные ноги в черных брюках дрожали. Руки назад, пальцы нервно переплетались между собой, носок левого ботинка нетерпеливо и часто отбивал непонятный сумбурный такт. Тонкие губы сжались плотно-плотно. Под впалыми щеками видно было, как играли желваки. Все существо профессора говорило о каком-то внезапно вспыхнувшем возмущении.

– Вы что? – голос его прерывался. – Думаете, что я... пришел сюда... учить вас... греческой азбуке?.. Вы, может быть... принимаете меня за... Кутейкина? Неслыханно! Это же позор! Тридцать семь лет преподаю... двадцать пять в высшей школе – и вот... Мои студенты не знают как писать простые буквы! До чего ж я дожил!? Вы чему...

Звонок. Перерыв. Все разом вскочили, но никто не трогался с места. Профессор Симбирский с опустившимися плечами, размякший и расслабленный, неровной походкой вышел за двери.

В аудитории несколько мгновений стояла тишина. Сычев, повернувшись, не уходил от доски, скованный тишиной. Багровая кайма на голове стала шире. Кто-то сказал:

– Расстроился профессор. Убил ты его, Сычев.

– Что это с ним?

После этого все разом зашумели, заговорили, заволновались.

***

В рапорте на имя директора института говорилось: «Прошу уволить меня от занимаемой мною должности. Мне уже много лет. «Перестраиваться» поздно. Профессор Симбирский».

Впервые опубликовано: Рубеж. 1939. № 50.
Печатается по: Волков И. Комсомольцы и студенты: Новеллы и рассказы. Харбин, 1941. С. 5-8.

Проза

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ НА ВОСТОКЕ

(Отрывок из романа)

Часть 2

Гл. 35. Пожар

Полонский приехал на Падун для общего ознакомления с ходом лесозаготовок и оказания практической помощи Кедрову в наиболее слабых местах. Следуя твердо установившейся традиции, он привез с собою фотографа (Александр Александрович), который должен был заснять командировку со стороны ее быта, производства, главным образом, и людского состава (стахановцы, ударни-ки, администрация). Со стороны производства решающим сейчас являлись лесовывозки, поэтому Полонский первонаперво пошел на конюшню. Там стояла только «богадельня», да Елка выделялась своим настоящим «лошадиным» видом на фоне общего убожества.

– Это что за лошадь? – удивился Полонский.

– Это моя Елка.

– А ну-кось, выведи ее на свет! Вот же черт, тут лес возить не на ком, а у него в стойле такое богатство стоит. Заснимi-ка его, Александр Александрович, вместе с лошадкой. Я потом покажу этот снимочек, где надо. А хороша лошадка. Блузе моей не уступит, пожалуй! Завтра же свою Елку на баланы.

– А если я пешком буду ходить по участкам, то нам и к июлю не выполнить плана.

– Ничего, другую возьмешь, похуже.

– Да и эта была хуже всех, – пытался было Кедров отстаивать свою любимицу, но безрезультатно. Полонский если на чем упирался, переубедить его было невозможно.

С конюшни пошли на завод. Сделали несколько снимков в цехах, на бирже, на складах.

– Ну а теперь с пролетариатом своим снимись, – сказал Полонский, улыбаясь и маленькими, серыми глазками осматривая столпившихся рабочих.

Филипп приказал всем выйти к главным воротам. Старики, в особенности Потягов, разглаживали свои бороды и усы и устанавливали так, «чтоб видно было». Кедров поместился в центре, как того хотели рабочие.

Кедров попытался было оживить группу смехом, но безуспешно. Все смотрели в объектив с пытливо-сосредоточенным видом, выражавшим уважение перед «техникой».

Покончив со съемками, Полонский сказал:

– Ну, пойдем поедим да и в лес поедем к Ковалеву. Посмотрим, что у него там творится.

Когда Елена подавала на стол, Полонский посмотрел на нее, на Кедрова, но ничего не сказал, только взгляд красноречиво говорил:

– Твердишь вам постоянно, а все зря, ни черта не понимаете.

В лесу пробыли долго: и на вывозке, и у саперов, и на трелевочных свалках, и у заготовщиков. Полонский строчил Кедрова и Ковалева за то, что клепка заготовляется без соблюдения требований ОСТа, в результате чего процент брака очень велик. Полонский раскидывал клетки набитой клепки и принимался сортировать, сердито отбрасывая на сторону забракованную.

– Це що? Рази то клепка? По шеям вам надавать такой клепкой. А кричите: у нас стахановцы-рекордисты! Туфтовые ваши стахановцы!

Придирался он и к обделку баланов: то сучья остались, то вершина не ошкурена, то откомлевка не произведена.

– Не стыдно тебе, старому лесовику? – обращался он к Ковалеву. – Неужели ты на подрядчика так работал? Разве это пень? Кто так делает залысину? А сучья почему не сожжены? А вершина почему не обделана? Кто будет штраф платить? Я? Нет, вы будете платить. Лагерники вы, одним словом, а не начальники. На баланы вас обоих.

– Эх, Григорий Константинович, когда сами с пилой ходили, то небось норовили десятников околпачить? – сказал Ковалев.

– А у десятника на то и глаза во лбу, чтоб смотреть. Лагерник, он просто рассуждает: сегодня ты ему спустил, завтра спустил, а если послезавтра не спустишь, он тебе морду набьет. Лиха беда – поводок дать, а там уж трудно удержать. Запрягут и поедут.

Он продолжал их пилить по всем статьям. Но Кедров и Ковалев чувствовали, что пилит Полонский по особенному, без придирки, без злорадства за представившуюся возможность «уесть» и всыпать лагернику.

Он ругал не для наказания, а для помощи.

Когда пришли в бараки, здесь он напустился на Кедрова:

– Что это за порядок? Кругом загажено, ногой ступить некуда. Кто у тебя здесь живет? Люди, чи свиньи? А чего публика эта шатается? Больные? Мозги у вас всех больные. Не хочу я тут больше быть, поехали на командировку. Ну ты, Ковалев, с нами или остаешься?

– Да я останусь, работу принять надо будет.

– Ну добре. К вечеру приходите со всеми десятниками и бригадами.

И дорогой Полонский не оставлял Кедрова в покое. Дорога местами была извилистая. Чтоб укорить работы, не рубили новую просеку, а только расширили старую. А старая была проложена давно таежными охотниками. Они шли, выбирая места получше, посуше, не думая о том, что по их шляху потом будут лес возить. И на самом деле, некоторые повороты были настолько круты, что подсадники с бревнами разворачивались с трудом, задевая близко стоящие деревья.

– Ну что это за дорога? Кривая, как бык набродил. Я тебе что говорил? Провизировать и расширить. А ты?

– Григорий Константинович, так это только здесь. Маленький участок, а дальше видите, как стрела.

– Стрела! Хорошая стрела! Эх, только начни с вами по-хорошему разговаривать, вы сразу и руки, и ноги сложите. Матом крыть беспощадно, тогда доходит до сознания.

– Мат для тех, кто не понимает.

– И ты ни черта не понимаешь. Нет, брат, когда я сам эту лямку тянул, с нами так не разговаривали. Это теперь субординация да разбор, а тогда мало того, что покроют, не взирая на лица, а еще гляди – и в морду надают. И все в дело лезут. Знаешь, что иной ни уха, ни рыли – терпи. Ты не думай, что я все время начальником ПТЧ работаю. С самых низов начинал. Пять лет отматунил. Потом технору́ком поставили. Начальник лагеря ставит, а Третий отдел убирает. И сколько раз так. Сегодня ты в кабинете, а завтра баланы режешь.

– Ну-ка, поправь, – сказал он, передавая вожжи. – А я закурю. И Блуза со мной состарилась в лагере. Ослепла. Бросать жалко.

– Свою жалко, а мою нет?

– Нельзя, Кедров, понимаешь, нельзя. У нас лошадей не хватает, а тут, скажут, начальник Падуна выездную имеет. И так разговоров хоть отбавляй.

Когда выехали из лесу, Филипп тронул Блузу. Она, высоко неся маленькую голову, пошла своей красивой, подлинно царственной рысью. Недаром даже комсостав из полка восхищался, когда Полонский на Блузе проезжал верхом.

– Ну, Блуза, не подгадь, – подбадривал ее Полонский. – Сегодня ты в руках товарища Кедрова.

И Филипп давал слабину тяжелым ременным вожжам. Кошевка мягко шуршала по накатанной дороге. Широкий круп Блузы начинал лосниться от пота.

Подъезжая к командировке, Филипп сдержал разгорячившуюся кобылицу. Впереди на дороге стояли Елена и жена лекпома, Гала. Филипп хотел им крикнуть: «Посторонитесь!», – но Гала предупредила его, бросившись к ним навстречу. Черные волосы растрепаны, лицо белое, как под ногами лежавший снег.

– Филипп Георгиевич, завод горит! – крикнула она, прижимая к груди свалившийся платок.

Кедров так подстегнул Блузу, что та от неожиданности присела на задние ноги, а затем рванулась вперед. Вывернувшись из-за барака, в котором были каптерка и контора, Полонский и Кедров увидели страшную картину: завод, стоявший на склоне и бывший отсюда в 400 метрах, пылал

огромным алым костром. Стены завода сверху донизу были охвачены пламенем, и его красные языки, поднимаясь снизу множеством алых платков, вверху образовали огромное полотнище, рвущееся к небесам. Порой эта красная стихия разрывалась громадными черными клубами дыма, поднимавшимися высоко вверх в крутящимся полете. Из этого ада вылетали горящие головни и, подхваченные какой-то неведомой силой, носились в нагретом воздухе, падая на землю лишь там, где они вырывались из сферы вихрящихся потоков огня.

На ходу Филипп выскочил из кошевки и бросился бежать. Сердце выбивало бешенный такт, и, казалось, что ноги налились свинцом. Завод как будто не приближался, а оставался на месте, запечатлевшись в глазах в своем судорожно-трепещущем издыхании.

Когда Филипп подбежал к заводу, первый из людей, кто бросился ему в глаза, был Александр Александрович. Он из казенной «лейки» стрелял по бушующей стихии. Когда фотограф перебегал для «обстрела» на другое место, в это время рухнула крыша, и две высокие железные трубы остались стоять в каком-то печально-стыдливом одиночестве. После падения крыши трубы сделались как будто выше и стояли, словно нагие. Но стояли они недолго. Казалось, они понимали неестественность своего нового положения. Одна за другой с печальным звоном и лязгом они упали вниз. Того, что делало завод живым организмом, являлось для него вроде головы – этого не стало. Теперь завод представлял обезглавленный труп, только догорающие развалины, хотя часть стен еще не упала.

С приходом Кедрова и Полонского усилия до этого бесполезно топтавшейся толпы были направлены на локализацию бедствия. Пища же для огня, кроме самого завода, была огромна: бочки со смолой, дегтем, маслами, скипидаром. Сотни тонн древесного угля, осмол, березовая кора.

И как в подтверждение того, что разрушающая сила огня еще не ослабла, снизу, из пековарочного цеха, ринулись к небесам огромные клубы сизо-черного дыма и багрово-кровавого пламени. Это горели несколько бочек смоляных масел, находящихся внутри цеха. Агония умирающего про-должалась долго. Рваные полотнища уже не трепыхались высоко в небе, а в виде множества ярко-алых живых пик щетинились внизу. Их рубили холодными струями воды, и, вслед за этим, там, где было ослепительно ало, с шумом поднимались пухлые облака бело-черного дыма.

Завод исчезал.

И только когда стало смеркаться, Кедров и Полонский, грязные, мокрые и усталые, пришли домой. Только теперь можно было что-то подумать, представить себе все значение случившегося.

– Да, теперь все, – тихо, как бы про себя сказал Кедров, неестественно остановившись посреди комнаты и почему-то глядя на портрет в кедровой раме за стеклом.

Полонский ходил по комнате и кусал верхнюю тонкую губу. Привычка, характеризующая его крайнюю внутреннюю взволнованность. Лицо у него было серое.

– Ничего не все, надо разобраться, – остановился он у стола, беря папиросу и закуривая. Пальцы у него дрожали. – Отчего это?

Прямо поставленный вопрос вернул Кедрова к действительности. Он как бы просунулся и, будто вспомнив о забытом, крикнул:

– Прокофьич, вызови Гришу!

Старик, тоже не менее грязный и мокрый, чем начальство, только более перепуганный, побежал на пепелище, где еще маячили темные силуэты людей. Вскоре Гриша пришел в комнату:

– Как было дело? – обратился к нему Кедров, опускаясь на стул.

– Точно не знаю, – ответил Гриша, – потому что дежурил не я, а Китаев. Но как будто так: разгружали пековарочный куб. На дне в кубе оставили ведра полтора пеку. Так как в топке огонь был убран не дочиста, пек загорелся. Побежали за брезентом. Перепугались. Не накрыли брезентом, а бросили его прямо в куб. Брезент загорелся, и пламя перебросилось на крышу. Только после этого ударили тревогу. Я прибежал, когда пековарка была уже вся в огне и горела крыша сортировочной. Китаев с перепугу упал и угодил руками в разгрузочный котел с пеком, который они только что выгрузили из куба. Его увели вниз. Ну, а с сортировочной быстро перебросилось на ретортный. А там уж пошло и пошло, – закончил Гриша.

В это время прибежал посыльный снизу и обратился к Кедрову.

– Товарищ начальник, вас к телефону.

– Ладно, я приду сейчас, – ответил за него Полонский. – Идите. А ты соображай, с чего начинать теперь.

– Начинать уж нечего, кончено.

– Ни черта не кончено, ерунда! – сердито сказал Полонский, уходя.

Через некоторое время после его ухода опять прибежал посыльный:

– Товарищ начальник, вас к телефону зовет начальник лагпункта!

– Сейчас иду, – сказал Филипп, одеваясь.

Когда он пришел в контору, Полонский уже разговаривал с кем-то:

– Не мог он… Потому что был на пожаре. Да. Ничего особенного. Сгорела? Ну, стены, крыша, так себе. Реторты? А что им сделалось? Они ведь железные. Ничего, все исправимо. Да, остаюсь здесь. Надо заняться восстановлением. Добре, пока!..

– Ничего, ты не нужен, – сказал он Филиппу, вешая трубку. – Я уже поговорил.

Когда ночью Полонский с Кедровым сидели и составляли план быстрейшего восстановления завода, им доложили, что приехал сотрудник Третьей части и ведет следствие.

– Ну и пусть, это их дело, – ответил Полонский.

Перед утром Кедров пришел в контору. Зачем, он сам не знал. В голове было пусто. На душе тяжко, как после смерти близкого. В конторе не спали. Филипп в изнеможении сел на табуретку и облокотился на стол. Лукашин рассказывал.

– Как загорелось, бросился бежать на завод. Потом вернулся. Думаю, контора, дела, документы… Прибегаю, воспитатель у телефона, звонит на Центральную: пожар, говорит, завод горит. Потом убежал, долго ничего не было, вдруг телефон. Я – к трубке. Слышу: Югеров: «Кто у телефона?» – кричит. Мол, Лукашин. «Что вы там?!» И кроет только на чем свет стоит. «Всех посажу». Я слушаю. «Позвать мне Кедрова!» Я отвечаю – на пожаре. «Позвать – не разговаривать!» Послал кого-то. А вас все нет и нет.

– Ко мне пришли, когда все кончилось.

– Вот-вот. А он не уходит и все время разносит. Тут приходит уполномоченный. Разговор начался. Должно быть, спрашивает, кто был из вольнонаемного начальства. Этот отвечает – Полонский. Потом спрашивает: «Посадить? Кого? Обоих?» Я понял, что вас и Полонского. Тогда уполномоченный отвечает: «Тогда могу, а это не имею права». Т. е., дескать, Кедрова могу, а Полонского, должно быть, руки коротки. Ну, после этого Югеров, видимо, сказал, что утром приедет, на месте разберется и уполномоченный ушел.

Чуть рассвело Полонский пошел в контору и, усевшись к телефону, поднял на ноги весь лагпункт. Вскоре приехал начальник пожарной команды лагпункта. Принялись за составление акта и приблизительных размеров убытка. Акт писал Кедров под диктовку Полонского, а начпож только ему поддакивал (разве можно возражать Полонскому?). В это время на развалинах завода появился Югеров. Он ходил там с портфелем в руках и временами ударял каблуком по обмуровке, точно убеждаясь, хорошо ли кирпич прокалился во время пожара. Затем вошел в квартиру и, поздоровавшись с Полонским, обратился к Кедрову, указывая в окно:

– Это что такое?

– Это остатки от пожара.

– Прогулял завод! – в глазах искрилась злоба, которой раньше Кедров у него не видел.

Эта была злоба не за потерянные ценности, а приблизительно за следующее: «Сволочь ты. Жаль, что тебя не расстреляли раньше. Теперь наверняка расстреляют, а на освобожденное место лагерника посадят меня. И все из-за тебя. У-у… раздавил бы!».

– Баранова здесь?

– Здесь, но она никакого отношения к пожару не имеет.

Югеров ничего не ответил и повернулся к уполномоченному.

– Кончил следствие?

– Так точно, товарищ начальник.

– Сколько виновных?

– Четыре человека, товарищ начальник.

– Кто именно?

– Рабочий пековарочного цеха Макушевский, пожарникИванов, сменный мастер инженер Китаев и…

– И?

– И директор завода инженер Кедров. Что прикажете делать?

– Всех немедленно арестовать и отправить на центральную.

– Есть, товарищ начальник!

После этого сотрудник Третьей части многозначительно посмотрел на Кедрова. Тот понял его взгляд и акт о пожаре отложил в сторону.

– Вы давайте оставьте-ка нас, – обратился Полонский к присутствующим.

Все вышли. Вышел и Кедров. Остались в комнате Полонский и Югеров.

Филипп пошел вниз предупредить Елену. Он не видел ее с обеда вчерашнего дня, если не считать того, что она на мгновение мелькнула в его глазах, когда он услышал крик Галы о пожаре.

Елена, перепуганная несчастьем вчерашнего дня, терзаемая самыми мрачными предчувствиями за дальнейшую судьбу Филиппа, сидела у Галы и плакала, не осушая глаз. Она боялась куда-либо показаться, так как на командировку понаехало разного начальства. Когда Филипп сказал ей о своем аресте, она, рыдая, бросилась к нему на грудь. Теперь уже не он, а она теряла его. И теряла может быть навсегда. От нее брали отца ею ожидаемого ребенка, от нее брали человека, которого она любила. Она теряла человека, к которому она бежала, спасаясь от преследования Лагеря, разинувшего волчью пасть. Теперь она остается подлинно одна, беззащитная и доступная всяческому надругательству.

Она билась в руках Филиппа, содрогаясь от рыданий. Он и сам готов был разрыдаться. Он уже не думал об ожидавшей его судебной расправе, горе Елены заслонило все. Ее горе было повторением страшного расставания с матерью, когда его увозили на Дальний Восток.

Не будучи в силах это больше выносить, он позвал Галу и, кое-как вырвавшись из объятий Елены, выскочил на улицу.

Рабочим уже стало известно о случившемся, и они, собравшись в кучу, стояли у пепелища.

Он видел неподдельное сочувствие на их загрубелых, старых и молодых лицах. И когда он сказал: «Ну, прощайте, товарищи. Простите, если что…», многие отвечали: «Нас простите, Филипп Георгиевич», – отворачивались и смахивали непрошенную слезу. Это окончательно сломило самообладание Филиппа и, кусая губы, глотая подкатившийся к горлу ком, даже не вытирая катившиеся непрошенные слезы, он пошел прочь.

Навстречу ему попался стрелок с винтовкой в руке и подсумком на поясе. По старой привычке он обратился к Филиппу не как к арестанту, а как к своему начальнику:

– Товарищ начальник, подвода ожидает.

– Хорошо, я сейчас. Я приду сам.

Подходя к домику, он услышал крупный разговор Югерова и Полонского. В нерешительности он остановился у двери. Входить или нет? Филипп был все еще мокрый и грязный, и ему надо было переодеться. Еще успеешь завшиветь в карцере… Поэтому, не спрашивая разрешения, он вошел и, достав свежее белье, стал переодеваться. Полонский сидел. Югеров нервно ходил по комнате.

– Ты куда? – обратился он к Кедрову.

– Как куда? Меня ждут стрелок и подвода.

– Никуда не поедешь. Оставайся.

– Я выполняю отданный мне ранее приказ – собираться.

– А я говорю, что ты остаешься.

– Не нужно мне ваших подачек! – истерически крикнул Филипп. – Я в милости вашей не нуждаюсь. Я лелеял этот завод, как дитя, я вырастил его и заставил жить, я людей вам на нем создавал, которые работали у меня не за страх, а за совесть. И этот завод мне жаль не меньше, чем вам, потому что он был не вашим, а моим детищем. Слышите вы – моим!

– Ну ты, Кедров, того, успокойся, – сказал Полонский, – успокойся и оставайся тут. Надо скорей его опять заставить жить.

– Нет, я ухожу! Я не останусь! Вот там деньги – 700 рублей, возьмите – казенные…

– Что я за деньги твои буду отвечать? – не зная, что сказать, ответил Югеров.

– Ну хорошо, я передам их счетоводу, – и забрав пачку с деньгами, Кедров вышел за дверь. В догонку ему крикнули: «Вернись!».

Во время передачи денег пришел Владислав. Его послали сюда сверху.

– Пойдем-ка! Пойдем к лепкому! – взял он Филиппа за рукав.

– Ну чего ты дурака валяешь? – начал Владислав у лепкома. – Чего ты этим достигнешь? Будешь сидеть, дело дадут, вот и все. Ты же видишь, что Полонский взял Югерова за узду и посадил на место. Он же доказал ему, что ты не причем. И что только ты поставишь завод на ноги. Не будет тебя, не будет завода. Ведь Югеров боится за свою шкуру больше всего на свете. А оборот вышел не из приятных. Полонский это доказал Югерову. И тот согласился. Поэтому ты пойми, что, спасая тебя, они спасают себя.

Женщины, услышав такой разговор, бросились к Филиппу и начали его тоже уговаривать. Наконец, тот уступил, видя резонность их доводов.

Югеров уехал, а Полонский сказал потом Кедрову:

– Баранову увезут на Центральную. Будет там жить. Соскучишься, позвонишь мне, всегда сможешь приехать. Да накажи ей, чтоб не бегала. А то дело только испортит…

Когда повезли Китаева, Иванова и Макушевского, повезли и Елену. Она безропотно подчинилась. Она сознавала, что приносит жертву ради любимого. Прощаясь, она горячо обняла Филиппа, но не плакала. Только глаза ее говорили, как она сильно любит и не менее того страдает.

Печатается по: Волков И. Солнце всходит на Востоке. Харбин, 1940. С. 25-47.

КООРДИНАТЫ ТОЧКИ

Следователь Носов вызвал Маковского для того, чтобы лично со слов проверить еще раз правильность поступивших от него агентурных сведений. Маковский рассказывал путано и длинно. Носову, наконец, надоело слушать.

– Нельзя ли короче? По существу?

– Я по существу и хочу…

– Ну, и что он? Конкретно?

– Про Зиновьева: «Вот, говорит, была голова! Зря угробили». Потом про конституцию. Я с ним разговор завел, а он: «Все равно выберут, когда надо. Так что конституция – это в роде декорации».

Эти данные уже имелись в сообщении Маковского. Носов подчеркивал их красным карандашом.

– Дальше.

– На практике они были где-то у границы. Съемку производили. Потом в институте вспоминали об этом. Симаков и говорит: «О, если бы те координаты…»

– Чего?

– Координаты… – Носов записал незнакомое слово на отдельную бумажку.

– Ну?

– «Если бы их, говорит, заграницу продать, много денег дали бы».

– Ерунда! Спекуляция нас не интересует. Дальше.

Маковский удивленно глянул на своего шефа и продолжал:

– Говорков Павел. Этот про вождей неприличные анекдоты рассказывает. Начнет говорить, все общежитие соберет.

– Какие, например?

– Да все те, что у меня тут написаны, – указал Маковский на лежавшую перед Носовым бумагу. Анекдоты были занумерованы: первый, второй… Носов отчеркнул их синим карандашом.

– Еще что?

– Зорькин Никита. Больше молчит. Но однажды за столом сидели. Чай пили. Жвачку разжевал, да на портрет товарища Ленина приклеил. «На, говорит, Владимир Ильич, поешь колхозного хлебца, ты ведь не едал».

– Стервец! – не удержался Носов. – Ну а студенты как?

– Засмеялись все. Ничего не сказали.

– Что еще?

– Он же. Недавно говорил: «Кирова убили, Куйбышев умер, и мне, говорит, что-то не здоровится».

Теперь уже Носов посмотрел на Маковского недоуменным взглядом. Как понимать: то ли шутка, то ли серьезное. На всякий случай отчеркнул и это красным карандашом.

– Дальше. Что еще есть?

– Да пока, кажется, все.

– Все? Тогда можете идти. Где пропуск?

Маковский подал пропуск, Носов поставил на нем треугольную печать, дававшую право на выход из помещения сектора НКВД, и отпустил сексота. В коридоре Маковский повстречал молодую девушку, которая даже не взглянула на него. Она быстрыми шагами шла в комнату общего отдела.

– Тебя спрашивает кто-то, – сказал делопроизводитель, показывая на телефонную трубку, лежавшую на столе.

– Алло! Я слушаю. Кто это? А-а, Дима! Здравствуй. Ну… и что? Со мной? Я ничего не имею, но только после занятий. Так можно. А когда мы вернемся? Прекрасно. Хорошо… Ну, пока. Что? Куда? К твоей маме? Хорошо, приду. Пока.

– Куда это ты собираешься?

– Прогулка на катере по реке.

– Возьмите меня!

– Я и сама-то в качестве пассажира. А притом, где двое, там третий…

– Лишний?

– Я думаю!

– Тогда, конечно…

– Сами понимаете, – сказала Фива, направляясь к себе.

Носов ломал голову над непонятным для него словом.

– Хотел продать координаты. Хм… Продать координаты… Продажа меня вовсе не устраивает. Вести следствие за спекуляцию не в нашей компетенции. Да и к чему мне это дело, когда я его по пятьдесят восьмой, как миленького?.. Как это? Ко… ко… координаты. – Достал словарь и начал перелистывать страницы.

– Коржик… конь… Ну, это и так понятно, что лошадь. Коньяк…

Носов невольно облизнулся и тот час же поймал себя на этом. Улыб-

нулся. Продолжал дальше.

– Конюшня… Напишут всякой ерунды, а потом ищи нужное слово. Какой дурак не знает, что такое конюшня? Коньюктивит, корреспонденция. Нет, не то… Кооперация, кооптация, координаты… Во! Что это значит? «Величины, определяющие положение, точки на плоскости или в пространстве. Могут выражаться в градусах, минутах и секундах». Хм… Попробуй, разберись. Что же это, в конце концов, такое? Величины – это градусы и т. д., а точка на плоскости или в пространстве. Точка в пространстве. Ха-ха-ха-ха… Что он мне голову морочит? Какой дурак будет покупать точку? Ну и загнул! Наклал полную сумку точек и пошел продавать… ха-ха-ха… Вот дурак…

Неожиданно зазвонил телефон. Еле сдерживаясь от смеха, Носов взял трубку.

– Я слушаю. Носов. Ха-ха… Не говори, Вайнштейн… Сдохну… одна точка останется…ха-ха-ха… А? Дело 2536? Готово. Я сдал его начальнику отдела. Слушай, товарищ Вайнштейн. Скажи, что такое, – смотрит в словарь, – координаты? Да. Так, так, правильно. Так какую же ценность может иметь эта точка? Да?

И по мере того, как Вайнштейн объяснял, Носов повторял за ним.

– Расположена часть… стратегическое сооружение… наблюдательный пункт… железнодорожный мост… Вот как! – и Носов опять разразился смехом. – Да как же все это может поместиться на одной точке? Что? Математическая точка… точка прикладного значения…Ориентир…Да, да…Так, так…

Лицо Носова начало меняться, вытягиваться, искры смеха исчезли из глаз.

– Понял, понял… Спасибо. До свиданья. Выходит, он хотел продать местонахождение какого-то военного объекта? Вон оно что! По-онял!

Носов принялся энергично строчить что-то на бумаге. Писал долго. А когда кончил, отнес материал машинистке. При этом сказал:

– Фивочка, сверхсрочно, вне всякой очереди. За ударное исполнение – крепкий поцелуй.

– О, не велика радость! Для жены побереги..

– Ну, тогда ужин, – Носов ласково смотрел на Фиву.

– Это еще туда-сюда…

– В общем, как можно скорей, – сказал следователь, уходя.

Вернувшись в кабинет, он позвонил на коммутатор:

– Соедините меня с Журавлевым. Это товарищ Журавлев? Здравия желаю, товарищ прокурор. Говорит Носов. Дело в следующем: мне нужен ордер на право ареста группы студентов. Три человека. Материал? Материал сейчас будет. Мне бы хотелось получить ордер до конца занятий. Без данных? Ну, что вы, товарищ прокурор, не знаете меня? Чай, не первый

раз. Данные – во! – при этом Носов поднял большой палец. – Закачаешься! Пойдут по шестому, десятому и одиннадцатому. Да, да по шестому. У меня паренек один работает – мировой! Да, да, уверяю вас. Абсолютно верное. Да. Тогда разрешите зайти? До свиданья.

Фива взглянула на черновик. «Три экз.» Привычными руками заложила бумагу и начала печатать:

«…Сектору НКВД из агентурных данных стало известно, что в астрономо-геодезическом институте из числа студентов старших курсов организовалась антисоветская контрреволюционная группа…»

Сердце Фивы екнуло. Там учится Дима.

«…в которую вошли, студенты Зорькин, Говорков и Симаков Дмитрий…»

Девушку бросило в жар. Широко открытыми глазами она уставилась в знакомое имя. Перестала печатать и быстро, строчку за строчкой, стала читать материал по черновику. Неровные буквы носовского почерка рябили в глазах. Все стало ясно. Стиснув руки и закусив пальцы, Фива в отчаянии откинулась на спинку стула.

Неужели это правда? Дима… которого она любит… «глава контрреволюционной группы»? Что делать? И вдруг… «сверхсрочно… вне очереди…»

Принялась снова печатать:

«Сблокировавшись между собой, участники этой группы проводят среди студентов института контрреволюционную агитацию, направленную на дискредитацию вождей партии и правительства и на подрыв мощи советского государства».

– Что будет! О, ужас! Что только будет!?

«Кроме того, глава этой группы, Симаков Дмитрий, будучи на практике и занимаясь съемкой местности, занятой под оборонно-стратегическое строительство, пытался продать иностранной разведке координаты важного военного сооружения».

– Боже мой! Это же расстрел! Верный расстрел! Что мне делать? – руки опустились. Глаза полны ужаса и слез. Но… «вне всякой очереди…»

«Полагаю, что агентурные данные вполне достаточны для того, чтобы привлечь подозреваемых лиц к ответственности по статье 58-й – пункты 6, 10 и 11 Уголовного кодекса РСФСР.

Так как пребывание на свободе указанных лиц небезопасно для общества и, ввиду того, что они могут скрыться от законного преследования, считаю необходимым в качестве меры пресечения избрать содержание их под стражей в доме предварительного заключения при секторе НКВД».

– Дима… Дима… Что делать? – девушка не находила себе места. Но вдруг ее осенила мысль. Быстро стала собирать бумаги и вновь клала их на

стол. Открывала сумку и не знала, что ей необходимо взять оттуда. Повязала на шею платочек.

– Сейчас, сейчас же пойду в институт… А подписка? – девушка застыла на месте. – Подписка? О сохранении служебной тайны? Арест… и… без суда и следствия… внутренним порядком…

Фива в ужасе заметалась по комнате. Вошел Носов.

– Ты что уже пошла? А материал? Готов?

– Вот он… готов…

Принимая бумаги, Носов взглянул на девушку.

– Фива, что с тобой?

– Ничего… больна… долж…

– Какое больна! Ты испугана чем-то? В чем дело?

– Ничего, право, ничего… – девушка изо всех сил старалась взять себя в руки, чтобы тут же не разрыдаться. – Извини… я пойду домой… Все равно сейчас конец…

– Иди, иди… Только сказала бы, в чем дело?

– Честное слово, ничего, – ответила Фива, толкая дверь.

Носов даже и подумать не мог, что его материал – причина смятения машинистки. Не в первый раз Фива печатала такие документы.

– Странно, – пожимал он плечами, идя к себе в кабинет. – Координаты причуд.

Ему понравилось неожиданное сравнение, и, почти позабыв то, что ему показалось эпизодом, он, довольный, уселся за стол.

Опубликовано (с подзаголовком: «Из повести "Фива"») и печатается по: Литературный Однодневник харбинской группы писателей-динамических реалистов. Харбин, 1941. С. 17-20.

ЛЮБОВЬ САМОЕДКИ

Окутю стоял возле оленьей упряжки и держал в руках надломленный хорей[1]. Нажимал на него рукой и видел: вот-вот сломается. Растерянно переводил глаза с хорея на оленей и обратно. Один из них закинул на спину ветвистые рога и, подняв морду кверху, жевал мокрыми губами таявший снег. Два другие чесали друг другу холки, осторожно теребя зубами мохнатую кожу.

Окутю по бедности своей не мог обновить упряжь и ездил на том, что досталось ему после смерти отца. В общем-то Окутю не очень тяготился своим недостатком, он не чувствовал потребности не только в богатстве, но даже в тех предметах и вещах, которые для других казались безусловно не-

[1] Хорей – длинный шест для управления и погони оленьей упряжи.

обходимыми, а для него они были просто лишними. Но в хозяйстве часто недоставало кое-чего такого, без чего никак нельзя было обойтись. Вот хотя бы сейчас: собрался ехать на озеро Пяко-То ставить морды, а хорей надломился, и, если его не поправить, он останется без такой принадлежности упряжки, которую ничем заменить нельзя. Беда еще в том, что во всем чуме не найдешь лишнего сыромятного ремешка для починки и некому делать кожу. Окутю одинок, у него нет жены. А чтобы жениться – надо большой калым. Легко сказать – калым, а где его взять? У Окутю одна упряжка в три оленя, и это все его богатство. Правда, даже для одинокого это совсем ничтожная собственность, но поехать куда надо он мог. Поэтому не отдавать же последних оленей за жену. Ее не запряжешь в нарту. Он говорил Нангли, не пойдет ли она за него замуж. Нангли сказала, что пойдет, но братья и слышать не хотят о том, чтобы их сестра выходила за бедняка. Когда Окутю заикнулся им об этом, Солиндеры долго смеялись над ним:

– Уж не думаешь ли ты, Окутю, что мы отдадим тебе Нангли за твою последнюю лгушку[1]...

Молодому парню очень обидно было выслушивать насмешки самодовольных братьев, и он ушел из чума своих богатых соседей, не докурив второй трубки. Идя обратно, он думал про себя: «Зачем братьям Солиндерам калым? Они не знают счету своим оленям. В их косяках оленей будет, пожалуй, сот пять или шесть. У братьев здоровые жены. Они выделывают кожу и жилы. На всю семью шьют малицы[2] и кисы[3], обтачивают кость, мастерят из бересты туески[4]. А Окутю одинок, и его никто еще не баловал вкусным бурдуком[5], у него в чуме не разносился приятный запах этого любимого кушанья самоедов. Плохо, надо искать жену», – и Окутю сердито выбил трубку об ноготь большого пальца. И вот он стоит сейчас возле нарты с треснувшим хореем в руке, чешет за ухом и не может сообразить, как ему все-таки ехать. Запасного у него нету, а чтобы вырубить новый, надо доехать до Пяко-То, а как туда доберешься со сломанным. Это все равно, что в лодке без весла. Со стороны чума братьев Солиндеров показалась Нангли. Она бежала на лыжах. За плечами у нее болталась кожаная котомка и сачок. Нангли пошла в садок за мороженой рыбой – патанкой. На девушке была надета легкая и дорогая малица из пешки, а на ногах – белые кисы из лап молодого оленя. Подошва из желтовато-серебристой щетки, а переда и голенища отделаны красным, синим и зеленым сукном. Два черные пряди волос туго перевиты ало-зеленым гарусом, а монисты из

[1] Лгушка – олень-подросток.
[2] Малица – род верхней одежды мехом во внутрь.
[3] Кисы – обувь из оленьих лап.
[4] Туесок – берестяная посуда.
[5] Бурдук – лакомая пища всех туземцев, приготовленная из муки, заваренной на каком-либо мясном бульоне.

медных блях и серебряных полтинников тяжело висели вдоль спины и, густо позванивая, блестели на солнце.

– Видишь, Нангли, – сказал Окутю, поздоровавшись с нею и разведя обломками хорея, – если бы ты была моей женой, у нас в чуме всегда были бы в запасе и сыромятные ремни, и оленьи жилы. Была бы и кость для крючков и петель.

– Я согласна жить с тобой и квасить кожи в твоем чуме, но Хатьева и Хабичи, мои братья, и слышать об этом не хотят. Они говорят, что отдадут меня тому, кто даст калым не меньше ста и пяти десятков оленей, и чтобы араки[1] не меньше двух ведер.

Окутю смотрел на Нангли так, словно она уговаривала его совершить ужасное преступление. Настолько чудовищными казались ему эти требования. Девушке было искренне жаль Окутю. Кроме того, он нравился ей. Его широкие скулы, длинные и узкие, как щели, глаза, густая грива иссиня-черных волос, грубых и прямых, как иглы; зубы, белые, как песец зимою, и прочные, как у медведя; немного кривые ноги, несколько десятков жестких волосков на верхней губе, медлительно-спокойный характер – все нравилось Нангли.

Они закурили трубки, и Нангли, выпустив струйку синего дыма, спросила:

– Ты собрался за рыбой, но у тебя сломался хорей.

– Он старше, чем дедушка этого вожака, – ответил Окутю, кивая на оленя. – А главное – нет запасного.

– Я сейчас схожу в наш чум и принесу тебе, только ты, когда вернешься и сделаешь новый, отдай. А то Хабичи меня побьет, если узнает. Наш с костяным шариком.

– Я верну такой же, если что случится. У меня есть сухие кости из старого оленя.

Когда Нангли принесла новый хорей, Окутю собрал оленей в запряжку и, издав характерный звук, означавший «пошли», быстро помчался по направлению к озеру Пяко-То. Мело. Как полевая крупчатка, катилась по тундре поземка. Олени бежали весело и податливо.

Хотя и мало их было у Окутю, но он не заезжал их частыми и тяжелыми перегонами. И когда он легонько тыкал хореем в сытый круп боковика, он сразу же подхватывал, а вместе с другим и вожак устремлялся вперед со всех ног. Нарту подбрасывало на снежных буграх и кочках, сзади оставался широкий след от полозьев, от оленей начинал клубиться пар, таявший за спиной Окутю. Острым глазом он видел перед собой далекие очертания громадных согюк Сыр-Сово-емын тагат – священного места самоедов из рода Солиндеров и Худи. На белом поле занесенной снегом гладкой и ровной тундры отвесные голые кромки огромных камней каза-

[1] Арака – самогон.

лись странными, взявшимися здесь невесть откуда, дикими. Окутю охотно миновал бы это место без остановки, но ягель, что рос здесь в изобилии, нужен был его оленям как пища. До Сыр-Сово оставалось еще не менее трех верст, как вдалеке замаячила движущаяся точка. Она все время увеличивалась в размерах. «Кто-то едет навстречу», – определил Окутю и тотчас же сдвинул на затылок капюшон своей малицы, а руки высвободил из рукавиц. «Мороз нам нипочем», – таков был смысл приготовлений к встрече незнакомого человека. Густые пряди черных волос Окутю развевались на ветру, голыми руками он держал в руках хорей и затейливую паутину тонких ременных вожжей. Вот он ясно различил богатую упряжку из семи рослых, упитанных оленей. На нарте, ссутулившись, сидел человек в белом, как кипень, кумыше[1]. Поравнявшись, встречные остановились. Воткнув длинные шесты в снег, поздоровались, сели на корточки между нарт, и, достав трубки и кисеты, закурили. Это был Мидику из богатого рода Худи, большого и многолетнего, кочующего возле озера Пяко-То. Куда ехал Окутю, видно было по поклаже, чего нельзя было сказать про встречного. Поэтому Окутю спросил:

– Мидику едет в гости?

Тот долго пыхтел трубкой. И лишь после большой выдержки ответил:

– Сейчас самая охота на песца, и в гости ехать могут только лентяи. Тебя удивляет мой праздничный вид. Так я скажу тебе. Мидику Худи едет к братьям Солиндерам, Хабичи и Хатьева, сватать за себя их сестру Нангли. Тут лежат большие подарки, – скосил Худи мышиные глазки на свою нарту.

Окончив торжественную пышную фразу, Мидику лукаво глядел на Окутю, страшно заинтересованный, какое впечатление произвела эта новость на молодого, но бедного парня. Окутю почувствовал, как у него сердце будто сломалось. Он захлебнулся от глубокой затяжки и закашлялся.

– У Окутю, пожалуй, плохая махорка, – сказал Худи. – Закури моей, я еще прошлый год выменял ее на белок в самом Сургуте.

Окутю не взял протянутый кисет, богато обшитый бусами, и ответил:

– Не надо, у меня махорка хорошая. Я брал ее за лисицу у русских в фактории Самбург.

– Тогда Окутю не надо ездить в мороз и ветер с открытой родовой, – сказал Худи, вставая и направляясь к своим оленям. – Так можно простудиться. Однако, прощай.

Окутю ничего не ответил, молча кивнул головой и поехал дальше. Когда он оглянулся назад, упряжка Худи уже исчезла из вида. Вместе с этим он представил себе, что и Нангли тоже пропала для него навсегда. Ее увез Худи, и все скрылось, завеянное поднявшейся поземкой. Сердито ты-

[1] Кумыш – верхняя одежда мехом наружу.

кая в зад оленя набалдашником, Окутю решал, что оставаться ему на старом месте нет смысла и он перекочует теперь на озеро Пяко-То или в устье Пура. Он поселится там, где кочуют такие зажиточные семейства как Кузелимы-Пяк или Хелю-Пяк. В озере много нельмы, пыжьяна, сырка. Там и белка есть, недаром Пяко-То значит «лесное озеро». Совсем по-новому заживет Окутю. Он теперь тоже будет стремиться стать богатым, тогда Солиндеры или Худи не будут над ним подсмеиваться.

Когда Окутю через три дня вернулся в свой чум и привез полную нарту свежего пыжьяна и сырка, ему показалось здесь еще более неуютно и тоскливо, чем раньше. Кто порадуется тому добру, что привез Окутю. Никто не будет хлебать с ним из одной чашки жирную щербу[1] и есть свежинку. Он молча сидел перед огнищем и курил трубку. Серые думы давили его. Прикидывал, что самое большее через неделю он начнет свертывать свой чум. Надо торопиться, а то скоро весна. Вдруг дверь поднялась, и в чум вместе с холодным паром неслышно проскользнула Нангли. С ее широких щек катились слезы, и она часто швыркала маленьким, как пуговка, носом. Нангли долго не могла успокоиться, Окутю не расспрашивал, и она заговорила только после того, как закурила трубку.

– Братья продали меня Худи Мидику за восемь десятков и семь оленей. Они рядились целых два дня. Завтра он увезет меня с собой. Я не хочу жить с Худи Мидику. Я сказала, что все равно убегу от него. Тогда Хатьева избил меня. Но мне все равно, я снова стала говорить, что не буду жить с Мидику. После этого меня бил Хабичи. Тогда я убежала в твой чум. Но они вернули меня отсюда на ремне. Они сейчас пьют там араку и могут скоро меня хватиться. Прощай, Окутю. Мы больше с тобой не увидимся. Если бы ты жил на Пяко-То, я убежала бы к тебе...

– Я там и буду жить, я решил сначала перекочевать на Пяко-То, а потом на Пур.

– Вот если бы у тебя было десять десятков оленей, ты купилбы меня.

– У меня нету десять десятков, а только три оленя. Да вон висит одна шкурка лисицы. Тебя за такой маленький калым никто не отдаст.

Нангли ушла, а Окутю остался сидеть у огнища, которое еле-еле горело. Наконец он встрепенулся, достал кусок посема[2] и, запивая его горячим кирпичным чаем, стал ужинать. Движения его сделались быстрыми, энергичными, и весь его вид говорил о том, что он спешил, боялся не успеть, приняв какое-то важное решение.

Одинадцатилетняя Нангли проявила исключительное упорство. Мидику не мог оставить чума своего без того, чтобы не привязать жену. Он надевал ей на шею ременный ошейник, запиравшийся на висячий замок, и на цепь привязывал к столбику, крепко вкопанному в землю.

---

[1] Щерба – уха.

[2] Посеем – сушеная рыба

Сколько бы ни пытался Худи уговаривать свою жену смириться, ничего не помогало. Тяжкие побои сыромятными ремнями тоже не оказывали никакого действия. Нангли оставалась непримиримой и делалась еще более злой. Только некоторое время тому назад, когда никто из русских еще не появлялся здесь (они придут после их праздника Петра и Павла), Нангли как будто переменилась, стала менее угрюмой, охотней отвечала мужу и сделалась как будто добрей. Мидику решил, что наконец-то он сломил упрямство этого маленького зверка. Но он ошибся. Мидику не обратил внимания на свой разговор с Кузелимы-Пяк, когда тот проездом останавливался в их чуме. Они разговаривали про охоту, про добычу рыбы. Кузелимы-Пяк рассказывал, что в этот год охота на Усть-Пуре и ниже была очень удачной. Даже такой бедняк, как Окутю, – он теперь кочует там же, – и тот добыл около двух десятков песцов и много белки. Он доходил до Уренгоя и в тамошней фактории хорошо променял пушнину на провиант, товар и мережу. Про себя Кузелимы говорил, что и они собираются осенью податься на Таз, может быть там охота будет еще лучше.

Нангли крепко запомнила этот разговор и задумала какое-то тайное дело. Своей видимой покорностью она решила усыпить бдительность Мидику. Ее расчеты оправдались. Однажды Мидику стал собираться на озеро, по крайней мере, он так говорил, и, уходя, он как будто забыл привязать Нангли на цепь. Когда Мидику со своими двоюродными братьями скрылся в стороне сопок Сыр-Сово, Нангли решила бежать, но тут же передумала: а может быть Худи испытывает ее. Так оно и случилось. Хотя муж должен был вернуться домой не ранее истечения трех дней, однако он появится в чуме к закату солнца. Мидику нашел Нангли мирно работающей: железным скребком она сдирала жилы и болонь с кожи постельного оленя. Теперь Худи окончательно уверовал в полную покорность Нангли. И когда он с артелью своих родственников ушел в тундру на промысел, Нангли, не теряя ни минуты, покинула чум и направилась прямо на Пур, в те места, где кочевал род Пяков, туда, где она надеялась встретить Окутю.

Она взяла на дорогу маленький туесок моголя[1], несколько щучьих поземов и кусочков десять уликты[2]. Ей предстояло идти не один, не два дня, а, может быть, неделю. Она вскоре оставила тропу, что вела из Сургута в Самбург, и пошла прямо согрой[3].

Только воодушевленная горячим стремлением во что бы то ни стало вырваться из ненавистной ей семьи Худи, Нангли могла преодолевать возникавшие на ее дороге трудности. Высокая болотная осока с острыми зубчатыми краями до крови резала голые руки, кочкарник и глубокие ямы с водой утомляли беглянку до изнеможения, сырой прелый воздух непро-

[1] Моголь – жир из печени рыбы.

[2] Уликта – вяленое оленье мясо, нарезанное круглыми кусочками.

[3] Согра – травяное болото в лесу, низкое сырое место.

сыхающего болота давил на легкие, затруднял дыхание, мутил свет в глазах, делал голову непомерно громоздкой и тяжелой. Унылый, зеленовато-серый вид бескрайней согры убивал волю идти вперед, и только необыкновенное упорство, пренебрежение к трудностям и страх возвращения назад заставляли идти все дальше и дальше. Временами Нангли попадала в рям, болото, покрытое мелким низкорослым, с киластыми стволами, сосняком, и, казалось, что нет ему ни конца, ни края. Или вдруг земля, поросшая муравой, напоминавшей свежую отаву, начинала зыбиться под ногами, подаваться, ступни проваливались, из многочисленных круглых отверстий пузырилась красноватая вода, распространявшая вокруг тяжелый запах гнили, – и опасный для жизни зыбун окружал Нангли со всех сторон.

Окутю поселился на берегу Пура в 17 песках от становища Кузелимы-Пяк и в 9 песках от городища Ялпын-Ма, что ниже по течению реки. Несколько раз проезжая мимо, Окутю видел на крутом яру следы древних валов, что правильным прямоугольником опоясывали стоявшие когда-то здесь постройки. Теперь эти валы заросли багульником и черничником. Ялпын-Ма – святое место, и о нем среди самоедов из рода в род с благоговением передавалось предание.

Так давно, что никто этого точно не помнит, жил в этом городище весьма богатый и всеми уважаемый князь Мунумутту. Он был очень высокого роста и громадной силы. Однако был так добр, что ни один человек не мог с ним сравняться в этом. Однажды напало на князя большое войско остяков. Завязалась горячая битва. Столько крови в землю ушло, что на другое утро она багровым паром стала подниматься вверх. Но не мог князь Мунумутту одолеть врага и с остатками войск своих ушел из городища через болото, которое до тех пор считалось непроходимым.

Перед тем как уйти отсюда совсем, он закопал в большом железном ящике все свои сокровища, не имея возможности захватить их с собой. Ушел князь и больше не вернулся. И с тех пор по ночам на месте клада зажигается синий огонек, но найти клад никто не может. Ходит слух, что кольчуга и громадный лук князя Мунумутту как святыня передаются его потомками старшему в роде, кочующими где-то далеко по реке Ляпину. Дух великого князя остался здесь и одиноко бродит по городищу.

Самоеды, проезжая мимо, почтительно держатся противоположного, правого берега. К левому они приближаются только в случае крайней нужды и непременно без женщин. Жители этих мест верят, что суровый князь неотлучно охраняет оставленный им здесь клад. Окутю не раз приходила в голову мысль – не поехать ли на поиски этого клада. Вот как легко можно сделаться более богатым, чем Худи Мидику или братья Солиндеры. Можно пристать к берегу выше городища, а потом проследить ночью, как загорится синий огонек. Заметить это место, вешку поставить, а потом днем прийти и начать копать, если клад действительно тут, то на другую

ночь синий огонек непременно загорится снова. И так копать до тех пор, пока железный ящик не выйдет наружу. Но только Окутю представлял себя роющим землю на святом месте, его обуревал такой страх, что он старался как можно скорее забыть свое недоброе намерение. Собираясь ехать за Ялпын-Ма на промысел, он все думал и думал об этом. И тут же, стараясь отвлечься от нахлынувших на него нехороших мыслей, Окутю с необычайной для него торопливостью стал делать приготовления к отъезду. Ему надо было ставить запор. Вода стала на меру, и приходилось спешить. После того, как она пойдет на убыль, рыба из соров[1], где она кормилась, тронется в реку. Этот момент никак нельзя упустить. Рыба пойдет тогда сплошной стеной. Если сделать все во время, только успевай черпать. Однако до чего плохо, что Окутю все еще один. Все приходится делать самому: и промышлять, и рыбу пластать, и жир топить. Будь бы у него жена…

– Окутю... – раздался голос за спиной.

Окутю от неожиданности даже присел. Отсюда 17 песков до ближайших юрт, кто мог назвать его по имени.

– Окутю...

Как-то из-под руки, неловко изогнувшись, он посмотрел вверх. Над ним стояла Нангли.

– А-яй, – изумился Окутю. – Ты как сюда попала?

– Я убежала от Мидику... Не могла больше жить в его чуме. Через три дня они стали меня догонять. Но я обманула их. Там, где Сургутская дорога идет через самый большой рям, я повернула назад. Они увидели мои следы и подумали, что я заблудилась. Мидику послал своего двоюродного брата Аелю домой проверить – в юртах ли я, а сам с другим братом теперь пришли к Кузелимы-Пяк. Они, наверное, скоро будут здесь. Худи ни за что не согласится с тем, чтобы я убежала от него. Окутю, я буду твоей женой, стану пластать рыбу, варить жир, квасить и выделывать кожи, только спаси меня от Мидику... Я не хочу жить, если он повезет меня в свои юрты...

Окутю даже забыл про свою работу. До того все случилось неожиданно. Но практическая сметка скоро вернулась к нему, и он сказал:

– Я собираюсь сейчас за Ялпын-Ма ставить запор. День-два – рыба уходить станет. Мы вместе поедем… Может быть, они не догадаются, куда я уехал. А если и догадаются, то все равно...

– Что «все равно»? – не терпелось Нангли.

– В той протоке, где мы остановимся, по воде далеко видно. Все равно я успею тебя спрятать, если они приедут. Теперь ты будешь моей женой, – решительно закончил Окутю, и на его узких губах заиграла хитрая усмешка.

– Что тебе смешно, Окутю?

[1] Сор – заливной луг.

– Мне смешно, что я не буду за тебя платить калым. Хотя Окутю теперь и не такой бедный, как раньше. Худи Мидику не получит восемь десятков и семь оленей, которые он отдал за тебя твоим братьям. Эти олени пропали у него, как от чумы. Ты стала моей женой даром. Однако ты хочешь есть. Вчера я убил гуся, там, в чуме есть немного муки. Ты умеешь варить бурдук?

Нангли укоризненно взглянула на Окутю и принялась за дело с таким видом, как будто она здесь уже несколько лет была хозяйкой. А довольный Окутю, затянув однообразную песню про хорошие дела, которые случаются совсем неожиданно, стал собирать снасти.

Когда солнце свернуло на вечер, по гладкой светло-желтоватой поверхности Пура скользила до краев нагруженная моржовка. В ней сидело два человека, и они энергично махали веслами. Мокрые лопасти, как посеребренные, попеременно сверкали на солнце. Одна справа, другая слева. Сзади, за кормой, такой же узкий, как и нос лодки, оставался нежный струйчатый след.

Окутю, сидевший у кормы, изредка оглядывался назад: нет ли погони. А тем временем тремя песками выше на четырех греблях в ту же сторону шел каюк. За кормовым веслом стоял Кузелимы-Пяк, а возле мачты, на вершине которой болтался узкий грязно-синий раздвоенный вымпел, сам Худи Мидику. Лишь только каюк огибал изголовь, Худи подымался на цыпочки и маленькими мышиными глазками старался просверлить все плесо. И когда ничего не обнаруживал на светлой поверхности реки, оборачивался к своему родственнику Кузелимы и вопросительно смотрел на него.

– Ты думаешь, что, – отвечал на его взгляд старый Кузелимы-Пяк, сплевывая в воду. – Они тоже едут. Только они едут в два весла, а мы – еще солнце не сядет, как мы их догоним. Эй, ребятки, нажали, – подбадривал он гребцов.

Их смуглые лица давно уже покрылись потом и стали как полированные. Они дружно заводили греби назад, секунду замирали неподвижно, разом опускали лопасти в воду, и, когда выгребали, из всех четырех грудей вырывался один тяжкий вздох:

– А-а-ах...

Навстречу плыли зеленые берега, один крутой, обрывистый, с прожилками красноватой глины, другой низкий, песчаный, где узкие и светлые косы создавали причудливые очертания береговой линии: с заливчиками, курейками[1], ямками. Местами с обоих берегов к самой воде подшибались густые заросли тальников, мочивших в реке низко нависшие ветви. На закате солнца, когда на землю и воду легли багряные блики, а до Ялпын-Ма оставалось два песка, в самом конце плеса зачернела какая-то точка, но вскоре скрылась за мысом.

[1] Курья – пересохшее русло реки, протоки, образовавшее залив.

– Вон... – неистово закричал Худи, протянув обе руки вперед, как будто взывая к кому то невидимому. – Ребята, греби... догоним... – кричал он без умолку.

Каюк пошел еще быстрее, сердито пробуравливая воду приподнятым носом, который с каждым взмахом гребцов оседал вниз, в воду, и она недовольно журчала под бортами. Теперь, когда беглецы попали в поле зрения, на каюке все пришли в необычайный азарт. Даже гребцы, уставшие за долгие часы погони, оживились и как будто посвежели. Они вкладывали в греби силу свою с удвоенной энергией. Старый Кузелимы и тот вышел из обычного спокойствия и в такт гребцам подавался всем телом вперед, как будто это могло увеличить скорость движения. Большой каюк постепенно настигал маленькую моржовку. Если вначале она скрывалась из глаз каюка вскоре после того, как тот выезжал из-за мыса, то теперь каюк приблизился к моржовке настолько, что между ними было расстояния не больше половины песка. Погоня продолжалась до самой ночи. Нангли уже окончательно выбилась из сил, и Окутю греб почти один. Но и его силы стали постепенно таять. А его только что приобретенная жена, бессильно опуская в воду весло, то и дело повторяла:

– Я пропала, я пропала...

И когда они подъехали к самому городищу Ялпын-Ма, каюк Кузелимы-Пяк был уже за кормой. Охрипшим голосом Худи Мидику кричал Окутю всякие оскорбительные слова. При этом он перегибался с крыши каюка так далеко, что казалось вот-вот упадет в воду:

– Ты – вор, ты – голодный медведь, ты украл мою бабу... Я тебя закопаю в землю... – махал он руками в сторону Нангли.

Мимо мелькал высокий отвесный берег из серого суглинка, в этом месте голый и неприветливый. А дальше на яру трава в рост человека казалась великой, как лес, с резкими очертаниями на фоне потемневшего вечернего неба, ставшего густо-синим. Где-то за тальниками и травой, на невидимом тихом озере, хлопотливо крякали утки. Над головами неслышно проносился ястреб и нырял в темноту, высматривая поживу. Только безумолчные кузнечики да крики преследователей нарушали величественную тишину приполярья. Окутю сознавал, что борьба проиграна. Как только на каюке не догадаются зацепить моржовку багром? Или они хотят заехать вперед и, став поперек, прижать Окутю к земле. Вот и святое место Ялпын-Ма. Надо отворачивать к правому берегу. И Окутю взял круто вкось по реке. Но не к правому берегу, а наоборот, к левому. У преследующих заминка. Как ехать? Кузелимы крикнул своим: «Жми» – и продолжал держать каюк прямо по стрежи. Окутю знал, что совершает большой грех, но в отчаянии решил выиграть расстояние любой ценой. Там за городищем недалеко протока, в которую каюк не сможет пройти. Надо продержаться самую малость. Он уже ехал под самым городищем, не взи-

рая на то, что в его лодке сидела женщина. Старого Кузелимы трудно было провести, он хорошо знал древнее предание. В его каюке сидели одни мужчины, поэтому великому князю Мунумутту не было основания серчать на старика. Каюк, описав большую дугу, двинулся прямо на моржовку.

– Пропала! – вскричала Нангли и вскочила на ноги.

– Сиди, вывалимся, утонем! – сам не свой закричал Окутю, но было поздно.

Огромный каюк с разгону ударился носом о маленькую лодчонку. Нангли взмахнула руками и полетела в воду, а Окутю еле успел схватиться за уключину и, оттолкнувшись, несколько смягчить силу удара. Моржовка, зачерпнув воды, прижалась к борту вражеского судна. Там все были на ногах. Каждый старался перекричать другого. Но все постепенно поняли одно: Нангли утонула. Крики начали стихать. Возбуждение улеглось. На смену ему пришла растерянность. Оба судна несло вниз по течению реки, крутило, поворачивало вперед то кормой, то боком, и никто не пытался править. А впереди в нескольких саженях плыло легкое и изящное весло (Окутю сам делал), которое выпало из рук Нангли в момент ее падения.

– Вот тебе баба, получи, – с ненавистью глядя на Худи, сказал Окутю и ткнул пальцем в дно реки. – Ты хуже, чем голодный медведь. Ты паршивый волк, живого человека съел, – и с этими словами Окутю оттолкнулся от каюка, вычерпал воду из лодки и, перевалив через Пур, пристал к берегу против городища. А каюк медленно пополз обратно, вверх по течению. Его серая тень и высокая мачта некоторое время виднелись под берегом, и долго еще слышал Окутю мерные всплески гребей, раздававшиеся в ночной тишине. А потом все стихло. Только где-то справа, за талом, плескались и крякали утки.

* * *

Не разводя огня, Окутю сидел на песке, горько поникнув головой. Он каялся, ругал себя, но это не облегчало его души.

– Прости меня, великий князь Мунумутту. Я нарушил твой закон: духом нечистой женщины оскорбил берег твоей земли, испоганил воду реки твоей. Ты был еще милостив ко мне, оставив меня живым, великий князь. Но ты наказал меня. Ай-я-я-я-яй-яй... – уже вслух начинал причитать Окутю, качая головой. – Ай-я-яй-яй-яй... Какой ты плохой человек, Окутю! Счастье твое, как хитрый горностай, всегда проходит мимо чиркана[1]...

Еще долго сидел Окутю и раскачивался из стороны в сторону. Между тем до слуха его стали доноситься какие-то неясные звуки. Он стал прислушиваться. Где-то за рекой, напротив, раздавались слабые стоны. Филин. Нет, не филин.

[1] Чиркан – деревянный лук с приспособлением для ловли мелкого зверя.

«Это стонет обиженный дух князя Мунумутту, – решил Окутю, и вдруг его озарила мысль, ясная и величественная в своей простоте. – Это он зовет меня... Да, зовет... Слышишь, Окутю. Великий князь Мунумутту требует, чтобы ты кровью своей искупил вину перед ним... Ты должен это исполнить... Надо держать ответ...»

С загоревшимися глазами, в которых появилось что-то звериное, Окутю поднялся с земли. Его движения стали странными как во сне. Он ощупал на пояске ножны и направился к лодке. Выбросив на берег все снасти и провиант, он сел в лодку и быстро переехал через Пур. Поднялся на берег, вынул нож и, приготовившись принести себя в жертву, перешагнул через древний земляной вал. Где-то тут, на священной земле, близко все еще слышались стоны и легкие всхлипывания. Окутю шел медленным шагом, прислушиваясь к внутреннему голосу, который, казалось, должен был указать ему нужное место, где Окутю ляжет на жертвенник. Вот он, этот плачущий дух, уже здесь, в нескольких шагах. Окутю остановился над чем-то темным, лежащим на земле...

Медленно поднял нож. Холодное лезвие обожгло горло. Но в то же мгновение раздался крик:

– Окутю, стой! Ах... – и кто-то схватил его за ноги.

Окутю чуть было не упал. Очнулся. У ног его лежала мокрая, дрожащая всем телом Нангли.

Немного времени спустя Окутю стоял коленями на сырой от росы земле и, протягивая руки к небу, говорил:

– Спасибо тебе, великий князь Мунумутту. Ты очень добрый, как мой старый олень.

А далеко, на краю земли, уже занималась алая заря.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1944. № 17. С. 1-4, 8, 10-11, 14.



ГеоргийИванович ГРАНИН *(1913–1934)*

Поэт и прозаик Георгий Гранин (настоящая фамилия Сапрыкин) родился 22 июля 1913 г. на станции Пограничная КВЖД в семье железнодорожного служащего. Учился в местной школе, а в 1923 г. переехал с матерью в Харбин и поступил в 7-й класс гимназии им. А.С. Пушкина. Отец его уехал во Владивосток и был там расстрелян в 1925 г. Некоторое время Г. Гранин учился в Харбинском политехническом институте; в начале 1930-х гг. занимался на курсах английского языка в ХСМЛ. Участник объединения «Молодая Чураевка»; был секретарем и вице-председателем кружка. Исключенный из «Молодой Чураевки» за недостойное поведение, Гранин примкнул к фашистской партии К.В. Родзаевского. Печатался в газетах «Молодая Чураевка», «Наш путь», «Авангард»; журналах «Рубеж», «Парус», «Прожектор» и др. Покончил жизнь самоубийством (вместе с поэтом С. Сергиным) 6 декабря 1934 г. в гостинице «Нанкин». Похоронен на Успенском кладбище Харбина.

Ист. и лит.:

Георгий Гранин // Россияне в Азии. 1996. № 3. С. 3–10.

Забияко А.А. «Пусть ничего и не было на свете…»: Георгий Гранин // Забияко А.А., Эфендиева Г.В. «Четверть века беженской судьбы…» Художественный мир лирики русского Харбина. Благовещенск, 2008. С. 305–328.

Забияко А.А. Прозаические штудии харбинских лириков // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 3. Благовещенск: Амурский гос. университет, 2009. С. 80–103.

Перелешин В. Два полустанка: Воспоминания свидетеля и участника литературной жизни Харбина и Шанхая. Амстердам, 1987.

РАССКАЗ НА ТЕМУ

Фуражка на нем была старая. Вылинявшая. С наполовину оторванным козырьком.

Подходящая пара к тужурке: потрепанной, заплатанной, с единственной пуговицей на левом обшлаге.

Он задержался на минуту у порога.

Шагнул на улицу.

Остановился.

В сероватом свете осенних сумерек худенькая фигура смутным пятном маячила на фоне давно небеленой гимназической стены.

Шел мелкий монотонный дождь. Главная улица узловой линейной станции пустовала. Только изредка мелькали фигуры в дождевиках: служащие торопились к приходу вечернего поезда. Со станции доносились глухие свистки маневрировавшего паровоза.

Миша обернулся.

Широкое окно, выходившее в зал, было мрачно и торжественно. Выгоревший на солнце переплет от покрывавшей его воды казался блестящим и новым. По мутно-синим стеклам медленно падали светлые дожде-

вые капли.

Миша подошел и прильнул к стеклу. Зал был пуст. Другое окно, в боковой стене, казалось узким голубоватым параллелограммом. Недавно выкрашенный пол прорезывался полосой электрического света, падавшего через стеклянную дверь пятого класса.

От этой полосы зал казался еще темней и торжественней…

Как это случилось?

Кажется так…

На перемене играли в пятнашки. Играли все мальчики пятого класса. Было весело и шумно.

А потом… а потом играть перестали.

И без всякого перехода Миша ясно представил, как он стоял в учительской. Рядом на диване сидел Федька Данилюк, прозванный за щегольство Афродитой. Одной рукой он держался за грудь гимнастерки. Другая была опущена. Концы согнутых пальцев почти касались пола.

«А если он выпрямит пальцы, он как раз достанет до пола», – подумал Миша.

Учителя, бледные и серьезные, рассматривали мишин перочинный нож.

Потом они все, кроме историка Николая Викторовича, вошли в директорский кабинет и о чем-то долго спорили.

Наконец учителя вернулись, и классный наставник взволнованным голосом сказал, что по постановлению педагогического совета ученик пятого класса Михаил Воронов исключается из гимназии.

Данилюка сторож увел домой. Педагоги разошлись по классам. А Миша долго стоял в раздевалке и старался уяснить происшедшее.

Машинально нахлобучил фуражку. Одел потрепанную тужурку и вышел на улицу.

Жидкая грязь сочно чавкала под ногами. По бокам тянулись унылые кирпичные дома. На станции глухо посвистывал паровоз.

Худенькая фигурка медленно брела по улице. Прямо в омут мутных сумерек.

На углу фигурка остановилась. Оглянулась. Помедлила. И растаяла за поворотом.

Главная улица стала совсем пустой.

Только изредка проплывали фигуры в дождевиках: служащие торопились к шестичасовому поезду.

Шел мелкий осенний дождь…

……..

– Ну, – сказал я, – и все? Надо признать, ты сегодня не в ударе. Импровизация не из важных.

Шурка молчал, предоставляя мне высказаться.

– Во-первых, мы условились импровизировать рассказики, а не стихотворения в прозе. Во-вторых, надуманные имена. Михаил Воронов – явная беллетристика. Такие фамилии себе придумывают только начинающие поэты.

– Возможно, – усмехнулся Шурка, – но это на самом деле было. Я только фамилию другую придумал.

– Дальше… финал неясен. Что сделал этот самый Михаил Воронов: бросился под поезд, повесился, утопился в луже?

– Нет, конечно. Он просто вернулся домой. Его хорошенько отодрали и отправили доучиваться в Харбин. Здесь он окончил гимназию и, между делом, начал пописывать стишки. Он даже состоит членом Чураевки.

– Интересно бы знать, кто это такой?.. Как его настоящее имя? – спросил я, глядя поверх лохматой Шуркиной головы.

– Его зовут… – растягивал Шурка и отчеканил громко и торжественно, – Его зовут Георгием Граниным.

Впервые опубликовано и печатается по: Молодая Чураевка.1932. № 4. (Приложение к газете «Харбинские Ежедневные Новости». 1932. № 56. С. 4).

ОНА

Люди входят и уходят,
Позже всех уходит та.
Гумилев.

Всякий поэт сентиментален. Во всяком случае – иногда.

Всякий поэт ждет Ее. Во всяком случае и всегда.

От пергаментов Брюсова – до белобедрых Есенинских берез. От асфальтовых мостовых Маяковского – до голубых Блоковских вершин несется вопль о Ней.

«Она все та ж: Линор безумного Эдгара». И по ту сторону границы. И на западе. И здесь в Харбине.

У отчетливого, почти законченного Арсения Несмелова:

И на сон недавний
Сердце не ответит,
Только плачут скрипки
Золотой тоской…
Я пишу рассказы
И стихи в газете,
Вы кроите платья
В модной мастерской.

У порывистого, ищущего Алексея Ачаира:
Много песен невыпетых есть.
Много игр, – на лугах и на скалах…
Только верно: пославшая весть
Этой вестью живою не стала.
У ветрового, недоверчивого Николая Щеголева:
И в биеньи нерусского вальса,
«Sunny boy» и танго «Аргентин»,
Ты вселяешься вся в мои пальцы
Над просторами клавишных льдин.
У осторожного, кабинетного Николая Петерец:
Но напрасно, отпрянув назад
От исписанной мелко страницы,
Снова вижу большие глаза,
Снова вижу густые ресницы.

И у всех наших Чураевских молодых и начинающих в стихах незримо присутствует Она.

Блоковская ли Незнакомка.

Та ли, с которой Гумилев хотел уйти – искать увянувшие розы и слушать мертвых соловьев.

Украденная ли Джиоконда Маяковского.

Но везде. У всех поэтов парит предчувствие Ее.

Она все та ж: Линор безумного Эдгара.

Она все та ж.

Впервые опубликовано и печатается по: Чураевка. 1932. №7. С. 3.

РАДОСТЬ
(Отрывки из романа)

Томас Берк в книге «Карьера музыканта» приводит слова Габриэля де-Флоран:

«Красота не успокоительное лекарство. Если она тебя не волнует, если не причиняет страданий, – тогда это не красота! В экспрессии человеческого стремления и тоски нет ничего сладкого и умиротворяющего».

Илья Эренбург говорит:

«Иней на стеклах рассказывал другим, обыкновенным детям сказки: о звездах, о страусах, о колдунах… Где-то среди рождественских сугробов девочка Андерсена, замерзая, жгла за спичкой спичку. Мир был путаным и нежным, как метель».

Это было у детей. У других детей.

Из главы 1

Он говорит:

– В нашей жизни случается столько замечательных вещей, что мы даже не всегда о них и помним.

У каждого человека бывает однажды неповторимое: чаще всего – встреча.

Вот идут через огромных мир двое людей. Вокруг громоздятся скалы, вздымаются горы, возвышаются сопки – через все это надо пройти. И они проходят, и они даже не очень несчастны и одиноки.

Мимо них часто мелькают тени других людей, тоже ищущих и тоже не очень несчастных, не очень одиноких.

Проходят они мимо и не окликают друг друга, словно не существуют, словно во сне увидели и забыли.

И вот, наконец, те двое выходят на какую-то ясную равнину: и солнце светит, и трава зеленеет, и небеса невероятно глубоки, словно омут прозрачный.

Здесь, среди этих бесплотных людей-призраков, они замечают друг друга. Дороги их пересекаются, и на одну секунду их взгляды скрещиваются. Этой крохотной пылинки времени, такой же ничтожной перед их дальнейшей жизнью, как перед Альпами, этого микроскопического кусочка времени достаточно, чтобы запечатлеть след на всю жизнь.

Пойдут они: один направо, другой тоже направо, только немного наискось и будут вспоминать, как на один миг заглянули в чужую человеческую душу.

Заглянули и увидели: один недоверчивость и надежду, другой искание и тоже надежду. И еще успели сказать их глаза, что оба они одиноки. Пусть даже не очень, но более чем достаточно для людей.

Так они встретились и так разошлись. Больше они никогда не увидятся. Они когда-нибудь будут счастливы и, может быть, даже сумеют дать счастье другим.

Но ни один из них: ни тот, ушедший направо, ни ушедший тоже направо, только немного наискось, – ни один из них никогда не догадается, что и счастье-то это произошло от какой-то встречи, о которой и позабыть уже почти успели оба…

Глава 5

На фоне беззвездного станционного неба ровным кружком прорезывается луна. Она не прямо посредине, а сбоку, недалеко от верхушки почти правильного овала сопки.

В воздухе чувствуется запах сильно подтаявшего днем, еще сохранившегося у забора снега.

Тень от длинного, высокого дома (такие дома-бараки возводили при постройке дороги) разделяет двор на две неравных половины: узкую – светлую и широкую – черную.

В окнах темно, только стекла крайнего отражают ровный немигающий отсвет: очевидно, бабушка Чернышка теплит лампадку.

На заборе, когда-то крашенном, а теперь вылизанном трудолюбивыми линейными дождями, упираясь в нижнюю перекладину и держась за обрубленные, в виде пирамидок, концы штакетин, висит Ленька Герасименко.

Висит он уже давно – минут пятнадцать. Висит и смотрит только по двум направлениям: на окно рядом с отсвечивающим Чернышкину лампадку и на небо, точнее, на луну.

Висит, смотрит и думает. И много мыслей рождается под этой, пока не обтрепанной, крепко оттопыривающей уши гимназической фуражкой – все эти мысли немедленно отпечатываются на веснушчатом, ничем не характерном, как у всех девятилетних, лице.

Там, вот в этой квартире, за этим самым окном, живет она, эта самая Женя, из-за которой в тетрадях для письма и изложения, вместо бывших раньше «хорошо», «см», а иногда и «отлично», попадается теперь и «плохо», и «неряшливо». Попадается, правда, иногда и «см», но только с припиской рядом в скобках – «небрежно».

Это та самая Женя, из-за которой его дразнят в школе Фартучником и Латузом.

Первое прозвище не так привилось, да и не такое оно страшное, вот Латуза – и непонятно, и обидно.

И все это из-за Жени…

Вот и теперь он околачивается на заборе целых пятнадцать, а может, и больше минут.

Подождет еще немного, пока руки окончательно не устанут, и медленно пойдет домой.

Пройдет через пустой, незастроенный участок и остановится у одноэтажного кирпичного здания.

Крутая лестница с обломанными перилами и большая высоко отстоящая от земли веранда.

Отсюда тоже хорошо (жаль только, что сбоку) видны и освещенные лампадкой, и темные рядом окна.

Отсюда можно глядеть на почти правильный овал сопки и представлять, что где-то там, в каких-нибудь двух десятках верст, протягивает аванпосты таинственная неведомая земля, носившая когда-то (говорят) имя – Россия.

Отсюда же можно будет потом, через несколько дней, познав первую горечь маленькой, но никогда не забываемой измены насмешливой Жени, отсюда, именно отсюда, глядеть на небо и думать, что оно похоже на во-

гнутое ледяное озеро со светящейся прорубью сбоку.

Глава 9

Он прям, худ и высок. Носит размочаленную черную бороду.

Иногда, неизвестно для чего, начинает ее постепенно подбривать. Со дня на день все больше и больше обнажаются худощавые, цветом в недожаренный пирожок, челюсти. Наконец, остается просвечивающая проседью эспаньолка средних размеров. Тогда дальнейшая эволюция прекращается и возобновляется месяца через два, не раньше. Иногда позже.

При абсолютном отсутствии слуха голос имеет громкий и металлический, наподобие лопнувшей от жара плиты, о которую бьют тяжелым.

Преподает в гимназии латынь и в младших классах арифметику.

Именуется Антонием Кириллычем.

Учительская – небольшая, заставленная шкапами, увешанная потрепанными географическими картами.

Кожаный вышорканый диван. На поручне, из-под складок обивки, высовывается клок светло-коричневой шерсти. Будто кто-то длинный и мягкий прячется в сиденьи. И если потянуть за этот локон, то вытащится сначала безгубая, бледноглазая голова, а потом будет бесконечно долго выползать плоское амфибиобразное тело.

Антоний Кириллыч сидит на диване. Коротким обкуренным пальцем трогает светло-коричневые шерстинки.

Смотрит через стол на внутреннее окно, выходящее в шестой класс. Там, как раз влево от стоящего посредине подоконника глобуса, с неправильными, от преломления света в плохом стекле, чертами – лицо.

Разделенные прямым пробором волосы с нарочито растрепленными локончиками. Благодаря выступающему подбородку – резкий лицевой угол.

Если всмотреться – глаза рассеянно ищущие: глаза слегка запоздавшего переходного возраста, когда девочек начинают называть девушками.

Антоний Кириллыч нервно щелкает старым портсигаром.

– Все это понятно. Отчетливо и понятно, – бормочет он, выпуская дым из-под редких, напоминающих зубья грабель зубов. – Но почему у других через год, через два, в семнадцать, в восемнадцать лет. У меня, наконец, сын… а тут еще этот…

Он вскакивает, задирая голову вверх, смотрит на часы. Стрелки висящего над диваном циферблата равнодушно сливаются над двумя ровными римскими палочками.

Неподалеку в коридоре хлопает дверь.

Антоний Кириллыч шагает поперек комнаты: от дивана к столу.

Он забыл. Он совсем забыл про этого, как его, Леонида… Леонида… Ге-ге-ге… что-то Тургеневское… Евгений Базаров… Кирсанов… Записки

охот… Герасим и Муму!.. Совершенно верно – Герасименко. Отчетливо и понятно.

Он затягивается свежей папиросой, сейчас придет вызванный им шестиклассник Леонид Герасименко.

Стук в дверь и неуверенное:

– Разрешите войти?

– Можно! – раздается громкое и металлическое, наподобие выженной плиты, о которую бьют тяжелым.

Антоний Кириллыч усаживается плотнее:

– Видите ли, я хотел с вами поговорить относительно вас и моей воспитанницы Нины Войковой. Дело в том… я все, конечно, понимаю. Ничего предосудительного быть не могло…

В учительской горит электрическая лампочка, и лица кажутся темными и какими-то сконфуженными.

Герасименко, у него напомаженный пробор, очень узкий ворот гимнастерки и 14 лет. Как-то мимо ушей пролетают рассыпанным железным ломом слова:

– Кино… поздно… письмо… родители… прогулки… парк… сами понимаете…

Здесь, вперебив словам, неожиданно отвешивает быстрый, почти поясный поклон; поворачивается и уходит, прикрыв двери, – воспитанник Пограничной Общественной Гимназии, ученик шестого класса, Герасименко Леонид.

Преподаватель латыни и – в младших классах – арифметики, а в частной жизни воспитатель шестиклассницы Войковой Нины, бросает в пепельницу потухшую папиросу.

Короткие обкуренные пальцы выдергивают шерстинки из набивки дивана.

Антоний Кириллыч смотрит во внутреннее окно. Там, влево от глобуса, – лицо.

Темные волосы, резкий лицевой угол. Глаза рассеянно ищущие. Глаза слегка запоздавшего переходного возраста, когда девочек начинают называть девушками.

В учительской горит неяркая лампочка, и, очевидно, от этого лица кажутся темными и какими-то сконфуженными.

Глава 12

Сегодня 30 июля 1928 года. Утро. Сегодня вечером уезжаем в Харбин.

В квартире беспорядок. Голые стены.

На оконных рамах висят обрывки шнурков от снятых занавесок.

Хрестоматия

Глава 14

По левой стороне улицы, скрипя и оседая, медленно ползет арба. На мешках – очевидно, с известкой – сидит китайчонок.

Рукой в рукавице из собачьей шкуры держит камышовую рукоятку кнута. Изредка рука подымается, и раздается щелкающий звук. Тогда колеса начинают вращаться быстрее, но потом с равномерным замедлением приобретают прежнюю скорость.

Арбу везут две низкорослых лошаденки. Ближайшая к повозке – грязно белая, с обрезанной гривой, – прихрамывая на левую заднюю, равнодушно влегает в хомут.

Передняя же – вся какая-то взъерошенная – мотает хвостом, храпит, выпуская клубки пара.

От ощущения полуденного воздуха, а – главное – от чувства удовлетворения, что она ловко взваливает всю тяжесть на заднюю, она переступает даже как-то боком.

Поглядывает на тротуар. Прислушивается к двум голосам: высокому – юношескому, низкому и гортанному – девичьему.

А там говорилось примерно так.

Она:

– Ну-у, конечно, я понимаю, только это не так уже просто.

И он:

– Нет, Юля, Вы не отвиливайте от прямого ответа… Предположим, что я согласен, но как тогда с Ленькой?

– Что ж тут думать. Леньчик милый мальчик, но знаете, Федя, нельзя же серьезно думать о нем… Он два месяца ухаживал за мной и в конце концов осмелел до того, что попробовал поцеловать руку…

– Ну?

– Ну, я даже как-то растерялась и не позволила. Попыток новых он не делал… Не то, что другие.

– Хм, да… А, знаете, Юля, у Вас сегодня вечер свободен, давайте-ка с Вами…

Доскрипев до угла, арба сворачивает на Артиллерийскую.

Китайчонок с ленивой методичностью щелкает кнутом. Равнодушно влегая в хомут, прихрамывает на левую заднюю одна лошадь, и поматывает хвостом другая.

Из одного из нижних мешков через плохо зашитое отверстие сыпется известка. Едва заметная белая струйка – точно пар – медленно оседает на снег.

А потом здесь проходят люди и тончайшие пылинки извести, вместе с прилипшим снегом, разносят на подошвах по своим уютным и неуютным, приземистым и высоким, горестным и счастливым домам.

Проза

Глава 32 (последняя)

Дверца полузеркального гардероба. В правом верхнем углу стекло надтреснуло. Откалывающийся треугольник отмечен пятном сурика.

В полированном стекле отражаются стол с пепельницей и поручни кресел за столом.

В кресле сидит человек. Курит сигарету. Пристально смотрит на свое отражение и говорит низким детонирующим голосом:

– Ваше Величество, сядьте в профиль. Мне больше нравится ваше оформление именно так.

Мне симпатичен ваш гордый облик Бурбонов. «Почему?», – спросите вы. Я отвечу:

– Хочу.

Ваше Величество, Генрих Четвертый по прозвищу Великий, ровно 320 лет тому назад, Вы любили женщину.

Ее звали Габриель д'Эстре.

Вы ее действительно любили. Помните еще писали из Фонтенбло письмо, которое отрывками я знаю наизусть:

«Слава Богу, я совершенно здоров, но болен от желания видеть Вас».

«Желание короля было законом», – повторяю слова историка. И она, Габриель д'Эстре, чуткая, ясная Габриель, приехала из Парижа в охотничий замок скрашивать уединение влюбленного монарха.

А скажите мне, Анри, по совести, знаете ли Вы, что такое радость?

Не поворачивайтесь ко мне своим насмешливым анфасом. Сидите как и раньше.

Я вам задал вопрос – Вы подумайте, но не отвечайте. Подумайте и скажите самому себе: была ли у Вас, прожившего огромную жизнь, у Вас, имевшего невероятное число любовниц и возлюбленных, у Вас, отказавшегося любить прекрасную Маргариту Валуа, – вот именно вы, скажите мне: была ли у вас радость?

Говорят, что невозможно определить словами ни счастья ни – тем более – радости.

А знаете, король мой драгоценный, я на днях сумел определить ее словами.

Понимаете, Анри, я единственный человек в мире, сумевший это сделать, то есть не формулировать (это не важно), но органически почувствовать, что это именно так и есть.

Вот, может быть, такая секунда (продолжительность не играет никакой роли), такое небывалое мгновение, когда все исчезает. Вы растворились в невозможном, и ничего, кроме совершающегося, нет и не должно быть.

Такой момент, в который мир может остановиться, и ничего от этого не изменится.

Вы не учтете этого, потому что сознание исключает все. Но Вы потом вспомните, когда-нибудь.

Ваше Величество, можно мне сказать то, о чем Вы думали в начале семнадцатого века. Наклонитесь ко мне, чтобы никто не услышал то, что Вы таили в своем опустошенном сердце.

Слушайте, Анри, хорошо слушайте – я Вам скажу, точнее, спрошу нечто, в чем Вы и самому себе не признавались.

Я говорю:

– Анри, а вдруг – не счастье (счастье доступно), но радость, радость – есть? Понимаете, Анри, а вдруг она есть?!.

Человек бросает потухшую сигарету. В комнате два стула. Неуклюжий комод-туалет.

Умывальник крашеной жести. На дверном косяке кнопка звонка: номер третьеразрядной гостиницы – два с полтиной, три рубля в сутки.

Десятый час мартовского утра глядит через невымытые стекла.

Впервые опубликовано и печатается по: Чураевка. 1933. № 3. С. 4-5.

МОННА ВАННА
(Из цикла «Неврастения»)

1

Странного формата – узкий и длинный, похожий на расчетную книгу – том Метерлинка.

Титульный лист давно вырван. Только неровная каемка бумаги прикрывает начальные буквы строк первой страницы.

Читаете укороченные имена действующий лиц: …нна Ванна, жена Гвидо; …инчивалле, начальник войска на жалованьи у Флоренции; …ивульцио, комиссар республики.

Перелистываете продолговатые страницы.

Сцена во дворе Гвидо Колонна, который не хочет пожертвовать честью жены ради спасения города.

Сцена в лагере осаждающих. Палатка начальника войска: Принчивалле и Монна Ванна. Когда он был ребенком, его звали Джианелло, ее – Джиованна. А Джианелло и Джиованна любили друг друга. Им только не посчастливилось: Джианелло потерял и не мог потом отыскать ее, а Джиованна не дождалась его.

Сцена опять в доме Колонна. Возвращается Монна Ванна, с ней Принчивалле. Он изменил Флоренции, спас город ради маленькой Джиованны, которую когда-то любил. Гвидо заключает Принчивалле под стражу, и, может быть, только в эту минуту Монна Ванна, наконец, осознает, что еще не все потеряно, что все еще может быть:

ГВИДО (подбегает и берет Ванну в объятия)
Моя Ванна. Она улыбается… Моя Ванна. Я никогда не сомневался… Теперь все кончено и все забудется ради отрадного мщения… То был дурной сон…

ВАННА (открывая глаза, слабым голосом)
Где он… Да я знаю… Но дайте мне ключ… Ключ от его тюрьмы… Не нужно, чтобы другие…

ГВИДО. Стража скоро вернется… Они тебе вручат ключ…

ВАННА. Я хочу одна владеть этим ключом, чтобы быть уверенной… Чтобы никто другой… То был дурной сон… Светлый сон начинается… Светлый сон начинается.

ЗАНАВЕС

Вам не хочется читать дальше. Вы бросаете книгу на стол. При ударе она слегка раскрывается, и вам виден угол сложенного листа нелинованной бумаги.

Ленивым движением лист вытащен и расправлен. Он – измят, покрыт складками, уписан неровными заметками – двумя почерками.

Всматриваетесь. Вчитываетесь. Соображаете: диалог-переписка. Очевидно, двое сидели – на лекции, на докладе – и переписывались: один карандашом, другой самопишущим пером.

Удивляясь нарочитой стройности записей, слишком похожих на реплики разговора, перечитываете…

2

– Все когда-нибудь в мире кончается,
И тоска безнадежно сверлит,
А ведь радостный сон начинается –
Уверяет седой Метерлинк.
– Это чье?
– Ранний Бальмонт.
– Врешь – твое!
– Ну, конечно, мое… Как ты думаешь: радостный сон начинается?
– По-моему, в наше время не могут существовать такие люди.
– А ведь это грустно?
– Или смешно: одно из двоих.
– По-русски не говорится: одно из двоих, а – одно из двух.
– Неважно, это я из оригинальности.
– Забавная оригинальность… Посмотри на барышню, сидящую в пятом ряду возле окна. Кого она напоминает?
– Никогда не говори барышня, говори – девушка. Никого она не напоминает.

– Всмотрись внимательней, в связи с нашей сегодняшней перепиской.

– Не понимаю. Кого?

– Монна Ванну.

– Ничего подобного, она совсем не такая: у Монны Ванны должно быть необычайное выражение в глазах.

– Почем ты знаешь, может быть, у нее тоже в глазах что-нибудь необычайное?

– Я вижу.

– Во-первых, она сидит слишком далеко, чтобы ты мог разглядеть. А, во-вторых, я вообще мало надеюсь на твою дальнозоркость. Несмотря даже на твои очки.

– Пожалуйста, не обижай меня, я прекрасно вижу. Вот у окна, в синем платье, блондинка, сидит в профиль…

– Совсем не она! Слушай, ты совсем не о ней думал. Смотри: пятый ряд, около окна, на крайнем месте… Смотри, скорей, она уходит!

– Где?

– Боги! Налево в боковую дверь…

……

– Ушла.

– Ушла!.. Близорукий болван! Проглядеть такую барышню.

– Не все ли равно? Вот сидела она там в темном платье, задумчивая, может быть, ждущая…

– Тебя, например.

– Не вырывай лист!.. Может быть, и тебя… Сидела она, мы на нее смотрели и думали, что она похожа на Монну Ванну. Потом она встала и пошла. Мы думали, что, может быть, мы видели ее в последний раз. А ведь это могла быть или твоя, или моя девушка. Единственная в мире девушка, которая предназначена каждому из нас.

– Слишком сентиментально.

– Ничего… Теперь ее нет, и мы думаем о том, что могло быть и чего не было.

– Не пиши мне фраз из «Рубежных» рассказов!

– Многое могло быть, но она ушла…

– Это, наконец, скучно!

– Или грустно: одно из двоих.

– Ага, вот ты и ляпнул, по-русски, кажется, говорится – одно из двух?

– Это я тоже из оригинальности…

3

Вы дочитали найденный листок до конца. Небрежно сложили его и бросили на стул.

Вы думаете о странных нелепых людях, живших пять веков тому

назад.

Вы думаете о неповторимой Монне Ванне, о Гвидо, Принчивалле…

По непонятной ассоциации вам почему-то вспоминается Борис Модестович, упорно пожимавший на встрече Нового года вашу руку.

И еще более непонятная ассоциация заставляет вспоминать ваше первое увлечение.

Помните, вы жили еще там, где-то возле Таганрога, а рядом была дача какого-то князя.

Ему было – девять, а вам – шесть. Вы с ним прохаживались под руку вдоль по заброшенной аллее: туда и обратно.

Помните: туда и обратно.

Он был самым настоящим князем, и пленило вас в нем именно это самое настоящее джентльменство.

Однажды, когда вы гуляли, он громко икнул и тут же, прикрыв рот платком, сказал полное удивительного благородства слово:

– Извините…

– Извините, Людмила Павловна! Вас к телефону просит господин Цейтли! – прерывает вас доносящийся из-за двери голос квартирной хозяйки.

Минутная пауза и ответ:

– Скажите Борису Модестовичу, что я больна, лежу в постели. Пусть он заедет ко мне!

Вы становитесь сразу веселой. Прибираете на столе, подходите к зеркалу, привычными движениями приводите в порядок лицо.

Все как будто ничего. Все как пять-семь лет тому назад. Только складки у губ стали чуть тверже, да чуть глубже едва заметные морщинки у глаз.

Тут вам приходит в голову мысль, что в сущности радоваться нечему: Борис Модестович женат и совсем не похож на таганрогского князя.

И тогда вы медленно-медленно садитесь на кушетку, раскрываете Метерлинка и погружаетесь в «Синюю Птицу». Но читать с прежним вниманием вы уже не можете.

Вы постоянно поглядываете в окно на подстриженные осенью кусты жимолости, окантовывающие газоны, теперь покрытые снегом.

Поглядываете – пустым, отсутствующим взглядом.

Вам или скучно, или грустно.

Одно из двоих.

Впервые опубликовано и печатается по: Чураевка. 1933. № 8. С. 2.

Хрестоматия

ПРИКОСНОВЕНИЯ

Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе.
Ап. Павел.

Улица была темной и пустынной.

Справа, через забор, к тротуару протягивались недлинные обпиленные пальцы – ветви тополей. Противоположная сторона бугрилась кучами песка и кирпичного лома. Выше – через широчайшие косяки окон и дверей недостроенного крыла лаборатории – отсвечивала громада Политехникума.

А еще выше февральский вечер разбросал по голубовато-синему сафьяну тлеющие окурки.

Были они разные: солидной честной сигаретой плыла луна, ровным светом колебались папиросы звезд, экспансивно подмигивали окурки звездочек-сигарет.

Четко слышны в морозном воздухе шаги.

Идут двое.

Она бледна, в темно-темно-черном мехе. Глаза усталые или очень спокойные. Так спокойны бывают самоубийцы за минуту до смерти.

Он выше ее. Сутуловат. Из поднятого воротника шубы видно остроскулое, со впалыми глазами лицо. На лице едва заметная усмешка – либо очень простодушная, либо очень хитрая. Скорее – второе.

Они говорят. О чем? О чем-то важном – кажется, о том, что бывает, вот такая степь, гладкая, гладкая. И в ней растет дерево, одно большое старое дерево.

А потом еще бывают такие высокие вязы. И, если мимо них идти ранней весной, то сквозь нечеткую сетку веток можно увидеть небо. И это небо будет совсем другое, совсем необычайное.

По тому, как он смотрит на нее сбоку, видно, что – влюблен, давно и безнадежно. Во всех отношениях.

Неожиданно нависающие справа ветки тополей обрываются. Улица пересекается очень освещенным проспектом.

Как раз над серединой асфальтового ложа протянут металлический трос. Невдалеке на нем мелькают голубоватые искры, и слышится гул: приближается трамвай.

Пробегает вереница авто. Чтобы перейти на ту сторону, придется обождать.

В этот момент она оглядывается и видит у закругленного угла забора маленькую скорчившуюся фигурку.

Подходит ближе: в лохмотьях ватной тужурки, в опорках сапог (из

носков торчат завернутые в грязное ступни) – лежит на мерзлом асфальте нищенка. Спит.

– Что там? – подходит и он.

Оба наклоняются. Нищенка лежит неподвижно. Из-под закинутых рук не видно лица. Сбоку, между воротником и платком, обматывающим голову, – клок волос. Грязных, замасливших, но видно, если отмыть, – будут мягкие и светлые.

Она глядит на эти волосы и почти не слушает, как он говорит о безработице, о количестве попрошаек, о том – что всех не отогреешь…

Она почти не слушает, но где-то внутри у нее растет чувство неприязни к нему. К его всегда улыбающейся физиономии. Даже к его ленивому, не по годам низкому голосу.

– Пойдемте, – говорит он и, немного погодя, повторяет с оттенком раздражения, – да пойдемте же! Если на всех оборванцев любоваться, то придется на это в сутки уделять часов по двадцать семь!

Он берет ее под руку и ведет через отсвечивающий длинными острыми бликами фонарей асфальт.

Она глядит усталыми глазами в темь продолжающейся по ту сторону улицы и думает о многом и даже о радости, о маленькой бледной радости сознания разделенного участия.

Еще несколько шагов и проспект будет пройден, но тут – он неожиданно бросает ее руку и быстрыми шагами возвращается.

Она оборачивается и видит, как он пропускает встречный автомобиль… вот он на тротуаре… вынул что-то из внутреннего кармана…

И наклонился…

Минуту спустя они уже идут по слабо освещенной, пустынной улице.

– Но ведь всех не отогреешь – какую разницу составит ваш двугривенный? – спрашивает.

– Все, – как-то отвернувшись, отвечает, – все, что было… с кошельком.

Она мгновенно останавливается.

Темная поперечная улица. Они стоят друг против друга. На голубовато-синем сафьяне неба разбросаны окурки.

Он отдал все.

Ровным светом колеблются папиросы звезд.

Он отдал все!

Солидно горит честная сигара луны, и экспансивно подмигивают окурки звездочек-сигарет.

Все с кошельком!!!

Она вплотную, чуть снизу, смотрит в его глаза, и вдруг в этот момент, на тысячную долю секунды – осознает, что есть что-то такое ужасно большое, такое невероятно нужное, что дается редким из миллионов.

Как будто с глаз сорвали повязку, и становится понятным, что все

блистательные подвиги с триумфальными арками, все неисчислимые творения великих поэтов – все это совсем неважно. Дело совсем не в этом.

Еще она поняла (да, наверное, суть и есть в этом), что этот остроскулый сутулый мальчишка, сам того не сознавая, открыл свою душу. И душа была ясная и честная. И немного жалкая.

Они медленно идут по тротуару.

Над их головами протягиваются обпиленные пальцы тополей. За тополями высятся какие-то длинные здания со слепыми окнами.

На другой стороне тротуар граничит с массивной выщементированной стеной. За стеной – сад. В нем, среди других деревьев, растет старый (его даже не подстригают) вяз. Стоит он возле стены, раскинув косыми мачтами стволов паруса сучков и веточек.

А сквозь эту нечеткую сетку видно небо. И это небо другое какое-то. Совсем не такое, как всегда.

Совсем не такое.

Впервые опубликовано: Парус. 1933. № 15.
Печатается по: Россияне в Азии. 1996. №3. С. 35-38.

СТИХИ
(Глава из романа «Небо»)

1

Как это началось?

Когда впервые проснулось и зазвучало чувство ритма, заставляющее подбирать слова в равномерные певучие строки так, чтобы окончания их давали созвучие – рифму?

Как это началось?

Как получилось, что робкий застенчивый Ленька стал охотно выходить на эстраду, чтобы своим глухим голосом читать то, что называется стихами? Как нарастало волнение, как – сквозь холод и снег, тишину и громыхание города, ночную гульбу и тихий шопот – бережно нес память о несказанном и грезящемся, но никогда не достигнутом чуде?

Как это началось?

2

Бабушка Чернышка поджимала старушечьи губы и кивала на стол:

– Кушайте, кушайте… Все равно кушайте, раз поставлено.

Ленька с опаской брал мятые, отдававшие нафталином пряники и монпасье, похожее на кусочки туалетного мыла.

Чернушка кивала:

– Все равно, раз поставила…

Мама в накинутом на плечи платке зябко притуливалась к печке:

– Вот помню у нас в Малороссии подруги мои ели на ночь наперсток соли, чтоб жених приснился. Дурные были подруги.

Улыбалась и оправляла платок:

– И я тоже дурная была. Мне приснился сын нашего священника… Как думала, так и приснился: пить во сне подносил…

Бабушка Чернышка поджимала губы:

– У нас в Сибири девки ложились спать на другом месте, не там, где всегда…

Сердито кивала Леньке:

– Кушайте, раз поставлено… Ложились и говорили: «Ложусь на новом месте, приснись жених невесте».

Укладывая Леньку спать в этот вечер, мама почему-то долго смотрела на него и, отходя, зачем-то прошептала:

– Как думала, так и приснилось… Пить подносил…

Пытливо морщил лоб над этим и еще над другим: девки говорят – ложусь на новом месте, приснись жених невесте, а как ему – Леньке – говорить надо.

Ворочался с боку на бок, попеременно засовывая то левую, то правую руку под подушку – такая у него была привычка – и думал.

Только засыпая уже, приоткрыл склеившиеся веки и для чего-то приподнял голову:

– Придумал.

И звучало так: «Ложусь на новом меху, приснись невеста жениху».

Повторяя это, заснул. Но невесты во сне не увидел. Наверное, потому, что не на новом меху спал.

3

На другой день долго копался в сундуке, искал папашину шпаргалку. Была такая книжечка, сшитая из писчей бумаги, были в ней мелко-мелко нарисованы окопы и разные штуки. По ней папа держал экзамен в военной школе.

В ней однажды Ленька записал свое первое.

Было оно такое – со всеми переносами и орфографией:

Береза, ты бер-
Еза, березоньк-
А моя, под тобою дев-
Ушки хороводы вод-
Ят.

И – ниже – подпись:

«Писал поэт Пушкин».

Ленька сначала думал на этом остановиться, но потом приписал:

… Герасименко.

И получилось:

«Писал поэт Пушкин-Герасименко».

4

Потом, уже в третьем классе гимназии, он узнал, что «ложусь на новом меху, приснись невеста жениху» было распространенной присказкой, а произведение поэта Пушкина-Герасименко давным-давно приведено в хрестоматии в качестве народной песни. Тогда Леньку опечалило все это. Но потом он забыл.

Так все забывалось. И только немногое потом вспоминалось.

Вспомнилось и это, и – главное – через много лет со странно щемящим чувством вспомнил, как однажды ночью повторял: «Приснись невеста жениху», и невеста не приснилась.

Как жаль, что нового меха не было.

Впервые опубликовано: Авангард. 1934. № 3.
Печатается по: Россияне в Азии. 1996. №3. С. 38-40.

ДУЭЛЬ

1

Недавно я прочел в очень историческом рассказе:

«Ваша ладонь была лиловой от вишневого сока, и вы свернули ее трубочкой, ссыпая ягоды. Я унес косточки во рту. Я посадил дерево в память о том, что вы меня не любили. Оно цветет».

«Вот видите: я был осмеян, тогда мужествен был Борис Михайлович, победивший вас, я был мечтателен, инфантилен. Я искал в мире дрозда, пока вы целовались. Я был романтик. Но вот смотрите: твердое мужественное дерево выросло из зерна романтики. Вы знаете: вишневый цвет – это душа мужчины. Смотрите: стоит низкорослое крепкое дерево».

«Поверьте, романтика – мужественная вещь, и над ней не стоит смеяться…».

Это рассказ о человеке, который любил девушку, не пришедшую на свидание. «Неразделенная любовь делает память нищей и яркой, – твердит человек, сажая на пустыре вишневую косточку, – через пять лет, весною, мы встретимся у нового дерева. Мы станем по обе стороны – вишневые деревья невысоки: можно, поднявшись на носки, шевельнуть самый верхний цветок. Будет ярко светить солнце…».

2

Станционная ночь всегда прозрачна, тиха, прохладна. Весенняя ночь. Если подняться по неширокой аллее, опоясывающей холм парка, можно смотреть. Посмотришь направо – поблескивает китайский базар. Прямо перед глазами разбрасывает бисер стрелок вокзал. Налево уходят вдаль сопки, позади тоже.

Только позади сопки – особенные: по расширяющейся прощелине вьется насыпь, проехав три туннеля, попадешь на разъезд Рассыпной, потом – Сосновая Падь и Гродеково…

Там начинается Россия…

Там…

Стоишь у беседки полуразрушенной, полурастащенной. На оставшихся основных крестовинах вырезаны, вычерчены, выцарапаны мысли и фразы. Как всегда в уединенных местах.

Апрельская ночь не только тиха, но и торжественна. Особенно после случившегося.

Я стою, опираясь на исчерченный столб. Он холоден, как камень, и тверд, как кастет.

Путаются мысли, возвращаются назад, к сегодняшнему вечеру. Из хаоса, из лихорадочной неразберихи возникает, колеблется и звучит с убедительной непреложностью только одно слово:

– ДУЭЛЬ…

3

В сумерки, когда играют в лапту, мяч мягко проламывает воздух. Словно этот синеющий воздух тормозит его. Представляю руки, но мяч уже рикошетирует о забор.

– Спичка в нос! Спичка в нос! – подпрыгивает Рита. Вокруг ее востроносого лица развеваются концы волос.

– Ма-аладе-ец, – растягивает сидящий на параллельных брусьях Петров. – Шурка-Бурка молодец, как соленый огурец.

– Помалкивай, гуран…

Когда поднимаешь мяч с еще приомороженной земли, он шершав и холоден, как обточенный ком кирпича.

Обрывая пальцы («Не смейся, гуран!»), швыряю его поддавале. Мне кажется, что мяч летит прямо в руки Пермаку, но сумеречная перспектива обманывает. Мяч отскакивает от стены далеко за играющими.

– Спичка в нос! Спичка в нос! – хохочет звонко Рита.

Пермак молча опускается на необтресанное бревно:

– Сам иди…

– Хлюзды, хлюзды, – размахивает лаптой Рита.

– Разыграли шестиклассника, – ухмыляется Петров.

– Тебе какое дело! – кричу. – Тебе-то что. Помолчал бы ты…

Петров невозмутим. Но я знаю его уязвимое место: прозвище, которого он терпеть не может.

Накаляясь сам и остро чувствуя, как нарастает его враждебность, выкрикиваю:

– Ты – Минна Клаулей!.. Минна Клаулей!

Легкий прыжок с брусьев, и его рука уже мотается около моей физиономии.

– Повтори еще раз, повтори…

– Минна Клаул…

Я разом замолкаю, чувствуя, как все напряженно затихают и как по щеке расползается ощущение резкого удара.

Небо как будто надвигается на гимнастический двор.

В горле появляется горький комок.

Голос дрожит:

– Ты!.. Ты!..

Я произношу страшное, невероятное слово, от которого еще глуше сумерки и еще ниже апрельское небо.

– Сатисфакция, – говорю я, со страшным трудом размыкая губы.

И со всей накопившейся злобой и слезами в голосе кричу:

– Сатисфа-акция-а-а!!!

4

Весенняя ночь прозрачна и тиха. В глазах брезжит бисер станционных стрелок. Уходят смутные сопки слева и позади. Налево – сопки обычные. А позади другие: разъезд Рассыпной, Сосновая Падь, Гродеково.

Там Россия…

Путаются мысли, возвращаются к сегодняшнему вечеру.

Читаю бессмысленно вырезанные на столбах надписи: «Урс и Володя», «Люся-Котик», «Костя-старый ос…».

Вынимаю перочинный ножик с обломанным шилом и долго – до боли в ладонях – черчу.

Медленно спускаюсь по неширокой аллее. Дубы парка огромны и темны. Лунный свет вычерчивает корявые лапы веток на земле.

Молча иду вниз.

Домой.

А на обсосанном ветрами и дождями столбе беседки белеет свежая надпись: «САТИСФАКЦИЯ».

5

Кладбище далеко за станцией.

Покосились кресты на обползших могилах за оградой, и полиняли красные колы, толпящиеся около нее. Это – «православные» и «большевики».

Тишина царит везде одинаково. И у православных, и у большевиков.

Так же шелестят жестяные ленты венков. Так же обвиваются вокруг могильного дерева обесцвеченные ленты.

Смерть уравняла всех.

От кладбища мимо пологой площадки глубоко врезается рытвина.

Я стою около нее и слушаю, как смертельный ток струит ветер с кладбища.

Апрельский ветер, всегда разный.

Если ехать в поезде, он треплет волосы и уносит прошедшее вместе с клубами паровозного дыма.

Если идти по улице, он забивается под воротник пальто и напоминает о встречах, которые должны случиться сегодня.

Апрельский ветер немного грустен. В нем обещание лета и еще последние вздохи минувшей зимы. Он похож на ленивого котенка, который после оживленного дня, укладываясь спать, лицемерно вздыхает.

Кладбищенский ветер в апреле гнетет. Он задирает сзади фуражку и шевелит полами пальто.

Поворачиваюсь к нему лицом и вздрагиваю: навстречу мне идут они – маленький, в долгополом пальто Пермак и одетый в гимназическую тужурку Петров. Он без фуражки, и по лбу у него мотается прядь. Тонкой камышевой полочкой сбивает верхушки бурьяна.

Поет:

Па Дону гуляет,
Па Дону гуляет,
Па-а Дону гуляет
Казак мала…

Останавливается и смачно плюет.

Плевок относится ветром.

Молча, словно по заранее разработанному плану, ссовываемся в рытвину.

Спрыгиваю неловко вслед за молодцеватым Петровым. Слышу, как сзади осыпает комья земли Пермак.

Петров невозмутим, даже когда Пермак подает ему новенькую самоделку, дуло которой хорошей белой меди.

Для меня достается старая пермаковская – залатанная и запаянная, но зато у нее курок от настоящего револьвера.

Путаются в длинном пальто пермаковский ноги, когда он отмеряет

шаги. И голос тоже путается и дребезжит:

– … адцать… четырнадцать… атнадцать…

Я стою у расщепленного, вросшего в дно рытвины камня. В пяти саженях за кустом бурьяна невозмутимый Петров. Самоделка в левой, правая беззаботно сбивает колючки с куста:

О чем, дева, плачешь?

О чем, дева, плачешь…

Пермак неуклюже влезает наверх. Когда он поворачивается – лицо его напряженно и серьезно.

О чем, дева, плачешь?

О чем слезы льешь…

Самоделка странно легка. Как карандаш.

– Я считаю до трех! – сипло выкрикивает, почти оглушая меня, Пермак.

Тишина нависает, как полог. Как старое одеяло, под которое я прятался от темноты, когда был маленьким.

– Раз! – хрипит Пермак.

И почти одновременно в апрельский воздух падает:

– Два.

Слово невесомо и прозрачно.

Так ранней осенью брошенная на поверхность реки гайка, легко проломив тонкий хрусталь льда, отпускается на дно.

С кладбища бросается ветер. Фуражка слетает. Но я не замечаю этого. Вся жизнь сосредоточена в узком радиусе рытвины.

В центре стоит Петров.

Намасленная прядь делит его лоб на две неравных части.

В протянутой вперед руке блестит белой медью дуло самоделки. Словно он держит какое-то злое животное с узкой светящейся головой.

– Три…

Воздух разрывается от неистового грохота. И тотчас же в локте ощущается боль отдачи. Я только сейчас замечаю, что в вытянутой вперед руке дымится самоделка.

У ног осколки полураздробленного камня.

Подымаю голову. Петров стоит, полуопустив блистающее дуло.

Пермак скатывается сверху. У него лицо бледно и губы сини.

Он что-то говорит.

Но я не слышу.

Я срываюсь. Иду прямо. Через комья земли. Кучи слежавшегося мусора. Кусты полыни. Колючки цепляются за пальто.

Ветер шевелит волосы. Забивается за воротник.

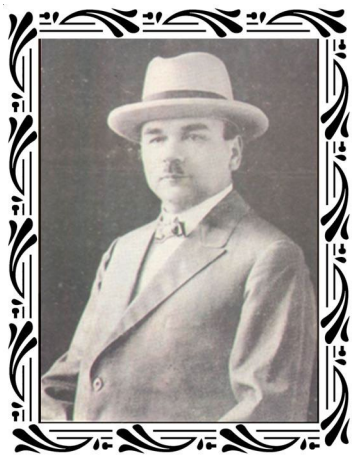
Еще одно-два мгновения, и мы встретимся. И пожмем друг другу руки. И навсегда забудем о дуэли. Но эти два мгновения я не променяю на года.

Я иду навстречу Петрову.

Навстречу ветру – кладбищенскому, несущему неуловимый запах тления.

Навстречу наступающей – секунду тому назад наступившей – весне с ее зеленой травой, щетинящейся на склонах пологих сопок, с щебетанием живых линейных воробьев и с весенней мягкой пылью, стелящейся на незамощенных станционных улицах.

Впервые опубликовано: Авангард. 1934. № 5.
Печатается по: Россияне в Азии. 1996. №3. С. 40-45.



Федор Федорович ДАНИЛЕНКО *(1875–после 1946)*

Писатель, краевед-синолог и общественный деятель Федор Даниленко родился 7 августа (ст. ст.) 1875 г. в селе Дубовый Гай Прилуцкого уезда Полтавской губернии. Окончил начальную школу и работал в качестве простого рабочего в одном имении в г. Херсон и шахтером близ Юзовского завода. Затем с родителями переехал во Владивосток. В 1896 г. был мобилизован, окончил писарский класс и служил писарем в канцеляриях Окружного медицинского управления Приамурского округа у приамурского генерал-губернатора. Принимал участие в подавлении Боксерского восстания в Маньчжурии. В 1907 г. выдержал во Владивостоке экзамен на аттестат зрелости (экстерном), а в 1911 г. окончил там же Институт восточных языков с дипломом 1-ой степени и получил научную командировку в Китай. По другим сведениям, окончив институт, выехал в Амурскую область, где до 1916 г. был начальником на 1-м крестьянском участке (Тамбовская, Полтавская, Гильчинская, Козьмо-Демьяновская волости) и председателем съезда крестьянских начальников в Амурском уезде. Участник русско-японской и Первой мировой войн. С 1918 г. жил в Харбине. Один из основателей и преподавателей Института ориентальных и коммерческих наук (1925–1940). Защитил диссертацию «Происхождение китайской культуры», доцент (1940). Сотрудник 2-го отдела Японской военной миссии. Автор романов и повестей: «Оторванный» (Харбин, 1930), «Вилла "Вечное спокойствие"» (Харбин, 1930), «К жизни» (Харбин, 1931), «Роман студента Володи» (Харбин, 1934), «Когда мы жертвуем собой» (Харбин, 1937), «Безумие ревности» (Харбин, 1938) и др. Произведения Даниленко имели большой успех в эмиграции, сделав за короткое время его одним из самых популярных в Харбине авторов. Задумываясь над секретом литературной удачи Даниленко, современники связывали ее с огромными успехами в тот период мемуарной и биографической литературы. Перу Ф.Ф. Даниленко также принадлежит немало очерков о жизни и быте дальневосточного дореволюционного крестьянства (см., например: «Приамурский край». Харбин, 1935). В октябре 1945 г. арестован, депортирован в СССР и приговорен к 10 годам лагерей. По некоторым данным, после освобождения находился в Тихоновском доме инвалидов в Караганде. Дальнейшая судьба неизвестна.

Ист. и лит.:
Штерн О. О дальневосточных писателях // Багульник. Харбин, 1931. Кн. 1. С. 187-189.
Булгаков В. Словарь русских зарубежных писателей. Нью-Йорк, 1993. С. 45-46.
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 104-105.

ОТОРВАННЫЙ
(Отрывок из повести)

Часть первая
Детство

Было начало лета. Вишни и сливы уже дозревали, наливались яблоки и груши; тянулись к солнцу золотистые диски подсолнечников; пахло мятой и васильками; в гуще калины, у несложного своего гнездышка, ворковали дикие голуби; резво кружились над долиной с капустой острокрылые ласточки, а в глубине сада заливалась иволга.

Я сидел на пестром ковре клевера и срывал его пушистые розовые головки. Изредка я поглядывал на мать, которая, нагнувшись до пояса, па-

сенковала табак. Временами она выпрямлялась, хваталась обеими руками за поясницу, тяжело вздыхала и вновь принималась за свою работу.

Эти тяжелые вздохи вызывали во мне желание помочь ей. Недолго думая, молча я забрался в высокие сочные кусты табака и так же, как и она, стал обламывать побеги. Этой операции я подверг несколько рядов. И только что хотел похвастаться своей помощью, как вдруг мать оглянулась и, увидя мою работу, с ужасом воскликнула:

– Боже мий, ну що ты наробыв, уси насинныки загубыв.

– Яки насинныки? – с удивлением спросил я.

– А тый, що батько, не насиння оставив.

– Я не знав цего, ій же Богу, мамо, не знав! Я тильки хотев помогты тоби, – оправдался я.

– А не знав, то будешь знать, – вскрикнула мать, и, вырвав тут же растущий куст крапивы, она, не слушая моих оправданий, спустила штанишки и начала стегать меня по мягким частям тела до тех пор, пока от крапивы не остались лишь одни корешки. Затем, ударив в придачу ладонью в подзатылок, проговорила:

– Иды з моих очей, щоб я тебе бильше не бачыла!

Мне было обидно за то, что я так старался помочь матери, даже зубы в трудных случаях пускал в оборот, но за это старание не только не заслужил похвалы матери, но еще подвергся наказанию. Я сейчас же бросился под куст калины, упал на землю и начал жалобно плакать в полной уверенности, что мать все-таки поверит моим оправданиям, пожалеет, подойдет и приласкает. Но, к моему большому горю, она, уткнувшись в грядку, продолжала свою работу, не обращая внимания на мои вопли. Такого безжалостного отношения к себе я больше не мог вынести и так громко разрыдался, что даже она подошла ко мне, взяла на руки, и, гладя своею мозолистою, жилистою рукою по моим взъерошенным волосам, ласково промолвила:

– Петрусь, не плачь, сам виноват, зычым шкоду робыш.

– Мамочка, – дрогнувшим голосом сказал я, обвиваясь ручонками вокруг ее шеи, – я бильше николы не буду, ей-Богу, я не нарошно, я тильки хотив помогтив тобы.

– Ну, добре, диточка, перестань, як не нарошно зробыв, то не сердись на свою маму, да бильше ничего без спросу не роби.

– Не буду, – успокоившись, пообещал я.

* * *

После этого события, положившего начало сознания, что я существую, как Петя, жизнь моя как-то ушла из сферы моих наблюдений, и, только спустя приблизительно с год времени, я вновь нашел себя. Это было весенним утром. Отец с моим старшим братом уехал пахать поле. Мать,

вытопив печку и убрав в хате, позвала меня: «Петя, я иду по дилу, а ты посыды дома, та гляды, не чыпай сули, що стоит на припечку».

Достаточно было этих слов, чтобы вызвать во мне любопытство к той вещи, на которую я сам никогда не обратил бы внимания; но теперь, как только вышла из хаты мать, я сейчас же забрался на печку, осторожно наклонил бутыль, вынул пробку и приложился к горлышку. Так как жидкость показалась мне сладкой и на вкус приятной, то у меня сейчас же явилось желание поделиться этим напитком со своим товарищем Гришей. Стремглав я выбежал на улицу и закричал:

– Эй, Грицю, иды налывку пробовать!

Повторять приглашение не потребовалось: Гриша со своими товарищами в один миг очутился в хате.

– Пробуй, Грицю, – предложил я, указывая на бутыль, – тильки гляди, не богацько.

Гриша приложил губы к горлышку.

– Ах, страсть яка смашна, – похвалил он, облизывая губы.

– Дай и мыни хоть трошки покоштувать, – попросил другой мальчик Миша, хватаясь за горлышко.

– Можно, тильки не богацько, – разрешил я.

После этого горлышко стало переходить от Гриши к Мише, от Миши к Андрюше, и так далее. Видя, что жидкость быстро убывает, я отнял бутыль, закрыл рукою горлышко и объявил:

– Годи, бо маты узнае, дуть буде.

– Не узнае, – возразил Гришка, – мы водою дольем, давысь яка вона густа, дай я еще покоштую.

Я не только разрешил, но и сам не отставал от них: горлышко сули переходило от одного рта к другому до тех пор, пока в ней не показались вишни.

– Знаешь що, Петрусь, – предложил Гришка, – давай покоштуем и ягоды, чи добры воны, чи ни.

– Можна покоштуваты и ягоды, – расщедрился я, – тильки щоб мати не узнала.

Гриша опрокинул сулию и вытрусил в большую миску ягоды, которыми ребята и начали полными горстями набивать себе рты. Потом я уже ничего не помнил: и мальчики, и вишни потонули в какой-то мгле.

Пришел я в себя уже на руках у матери, и, когда взглянул в ее печальные заплаканные очи, то от стыда опустил глаза, покорно ожидая ее заслуженного наказания.

– Петрусь, ты ж обищав мыни николы ничого не робыть без спросу, – неожиданно для меня ласково заговорила мать.

– Забув, ей-Богу, бильше не буду, – обрадовавшись такому обороту дела поклялся я.

Обещание свое я старался выполнять, но, к сожалению, жизнь оказалась сильнее моей воли: мне пришлось несколько раз нарушать его.

* * *

Была зима. Тускло горел каганец. Из мокрых, покрытых плесенью углов нашей маленькой хатки сочилась вода, пахло удушливой гарью. Мать сидела за гребнем и пряла пряжу. Отца не было дома. Малыши спали. Старший братишка Иван с книгой в руках сидел у каганца и зубрил наизусть: «Поздняя осень, грачи улетели». Он сначала прочитывал стихотворение по книге, а затем, подняв полузакрытые глаза к потолку, пытался повторить прочитанное. Это ему не удавалось. Он начинал снова, и так далее. Вслушиваясь в его чтение я, незаметно для себя, запомнил стихотворение и начал ему подсказывать.

– Мама, скажи Петру, щоб вин не мишав мыни учиться, – пожаловался мой брат.

– Петро, отстань, не мишай, – прикрикнула на меня мать.

– Я не виноват, що вин не може выучить такого пустяка, – сказал я. – Дывиться, вин учив, а я выучив, – и, отбежав к двери, без ошибок прочел ему стихотворение.

– Ну и чорт з тобою, – заявил брат. – Я тоже уже выучив.

Обрадовавшись своему такому неожиданному успеху, я подошел к матери и заявил:

– Мамо, мыни тоже пора ходить в школу.

– Я сама знаю, що пора, но у тебя чобит еще нема.

– А почему же вы их мне купите? – спросил я.

– А потому, що у нас грошей нема.

– А почему у нас грошей нема? – допрашивал я.

– Потому, що ты ще дурачок и ничого не понимаеш.

– Ни, я ни дурачок и все понимаю, у мене чобит нема потому, що у нас батько пьяница и вси гроши пропивае, все сусиды та кажуть, да и ты його цим упрекала. Сегодня вин тоже прыйде до дому пьяный.

– Замовчи ты, противный хлопец, грих батька осуждать.

Я хотя и замолчал, но был убежден в том, что мать согласна со мной, только не хочет в этом сознаваться.

Я был прав: отец вернулся пьяным и так буянил, чо мы всю ночь не спали.

Наконец прошли зима, лето и наступила осень. Мои сверстники начали ходить в школу. Мне тоже страшно хотелось учиться, но у меня все еще не было сапог. Глотая слезы, я сидел у окна и с завистью смотрел, как мои товарищи, прилично одетые, с веселыми криками шли в школу. Мне было обидно на отца за то, что он до сих пор не купил мне сапог, чтобы я мог, как и другие мальчики, ходить в школу. Мать, увидя мои слезы, подо-

шла ко мне, положила мне голову на руки, и засматривая в глаза, участливо спросила:

– Чого, Петрусь, зажурывся?

- Мыни тоже хочыться в школу, но у меня до сих пор чобит нема, – со слезами на глазах ответил я.

– Потерпы, Петрусь, скоро батько тютюн продаст, тодди и чоботы купыть.

Я слушал мать, но в душе осознавал, что отец все равно сапог мне не купит. Я решил позаботиться сам о себе. Зная, что на чердаке лежат давно заброшенные старые отцовские сапоги, я достал их, зашил толстой ниткой дырки, положил в них соломенную стельку и, намотав портянок на ноги побольше, одел их. Затем, нарядившись в свою старую поношенную свитку, взял в карман кусочек черного хлеба и пошел в школу. Было очень рано; учеников в школе еще не было, только сторож подметал грязные полы, поднимая страшную пыль.

– Чого так рано прилытыв? – с видимым неудовлетворением заворчал он. – Ишь, який рьяный, куды прешь, хоть сапожищи-то свои вытри, бычыш, яки воны у тебе здоровенны, и сам у их сховаешься.

– Вам ниякого дила нема до моих чобит, – сердито ответил я.

– Подумаешь, який важный, чый ты будешь-то?

– Нычый, – огрызнулся я и, вытерев сапоги, вошел в класс, сел за первую парту и с нетерпением стал поджидать прихода учителя.

Вскоре классы наполнились учениками. Здесь были девочки и мальчики. Многих я знал, но большинство из них встречал впервые. Среди учениц сразу привлекла мое внимание одна девочка. Ее темные волосы с красным бантиком, вышитая сорочка из белого тонкого полотна и новенькая рипсовая юбка показывали, что ее родители не нуждались в средствах, а белое личико с темными бровями и карими очами отличалось редкой красотой. Она мне так понравилась, что я не мог оторвать от нее взора.

Наконец вошел учитель. Ученики встали. Я последовал их примеру.

Учитель сразу же заметил меня, подошел ко мне и, касаясь слегка рукою моего подбородка, ласково спросил:

– Как твоя фамилия?

– Петя Катажок, – несмело ответил я.

– А, помню, ты записан, но почему же ты так долго не являлся в школу?

– У меня чобит не було.

– Жаль. Что же я буду делать с тобой, ведь ты отставать будешь.

– Не знаю, – со слезами на глазах ответил я, боясь, как бы учитель не отказал мне в посещении школы.

– А ты читать умеешь?

Я смутился, не зная, что ответить. Но, вспомнив, что я уже знал

наизусть много стихотворений, которые выучил при помощи брата, ответил:

– Умию.

– А ну-ка прочти вот здесь, – сказал учитель, показывая пальцем в раскрытую книгу.

Я взял книгу, и, водя глазами по строчкам, без запинки начал читать наизусть стихотворение «Поздняя осень, грачи улетели…»

– А почитай еще здесь, – сказал учитель, перевертывая страницу.

Я вновь начал читать наизусть: «В небе хищный ястреб высоко летал, удалого сокола там он повстречал…»

– Хорошо, тогда почитай еще вот здесь, – еле сдерживая улыбку, повторил учитель.

Я начал: «Над Невою резво вьются флаги пестрые судов…».

– Молодчина, – ласково похвалил учитель, – все-таки старайся знать не только наизусть, но и уметь читать по книге.

На большой перемене ученики начали завтракать. Кто ел хлеб с салом, кто с колбасой, кто с маслом, а кто пироги с творогом. Я тоже хотел кушать, но стыдился вынуть из кармана свою краюху черного хлеба.

– А ты чого не снидаешь? – спросил меня Гриша.

– Мыни не хочется, – ответил я.

– Бреше, – вмешался Макар, рослый парень, – вин ів бы, да ничого, бо его іду батько пропыв.

Я вспыхнул, хотел было уже вступить в драку за честь отца, но вспомнил, что я нахожусь в школе, отложил свое решение для более удобного случая.

К концу занятий учитель подошел ко мне и с прежней улыбкой спросил:

– Хочешь пойти со мной ко мне на квартиру?

– Хочу, – смутившись, отозвался я.

– Тогда идем.

После этого учитель надел шубу, взял меня за руку и, к зависти всего класса, повел к себе. Вскоре мы подошли к большой крестьянской избе. Войдя в сени, учитель подержал руку над трубой небольшого медного самовара и сказал: «Отлично, готов, пойдем». На пороге нас встретила молоденькая женщина в белом платье с удивительно красивыми синими глазами. Учитель поцеловался с ней.

– Вот, Наташа, я привел тебе настоящего феномена: он, не зная ни одной буквы, читал мне книгу.

– А ну-ка почитай-ка и мне, – с милой улыбкой обратилась ко мне жена учителя, давая небольшую книгу в сиреневом переплете.

Я развернул ее и начал с выражением, бойко, наизусть читать: «Както раз пред толпою соплеменных гор…» Жена учителя, открыв свой ма-

ленький ротик, слушала, не спуская с меня глаз, а когда я закончил свой репертуар, она заключила меня в объятия и начала порывисто целовать в щеки, глаза, губы.

– Митя, милый, – говорила она, – ты только подумай, он и книгу-то держал вверх ногами, все наизусть читал.

– Я же тебе говорил.

– Как же ты научился читать? – спросила меня учительша.

– А так, брат учыв, и я выучив.

– Молодец. В гимназию определить бы его!

– К сожалению, у него родители очень бедные, видишь, какие на нем сапоги, – пояснил учитель.

После этого учитель принес самовар, и тут я впервые попробовал настоящего чая со сладким печеньем… Дома я рассказывал о своем посещении квартиры учителя, не забыв также сообщить, что он называл меня «хвеноменом».Значение последнего слова всех нас так заинтересовало, что отец вынужден был пойти к учителю за разъяснением. К сожалению, кроме родителей, я похвастался этим словом среди товарищей, за что и получил от них кличку «хвеномен».

Впервые опубликовано и печатается по:
Даниленко Ф.Ф. Оторванный (Записки Пети Катажка). Харбин, 1930. С. 5-15.



Фаина Леонидовна
ДМИТРИЕВА
(1917–1990)

Поэтесса Фаина Дмитриева (в замужестве Кононова) родилась 10 мая 1917 г. в городе Харбине в семье сотрудника российского генерального консульства. Росла на Восточной линии КВЖД – в Ханьдаохэцзы, где и окончила гимназию. Работала делопроизодителем. Участница литературно-художественного кружка им. поэта К.Р. Публиковалась в журналах «Рубеж», «Прибой» и др. Автор сборника стихов «Цветы в конверте» (1940). Писала также прозу. В 1954 г. вернулась в СССР, жила в Свердловске (Екатеринбурге). Скончалась 20 декабря 1990 г. после продолжительной болезни.

Ист. и лит.:
Дело Ф.Л. Дмитриевой // ГАХК. Ф. 830. Оп. 3. Ед. хр. 13126.
Таскина Е. Памяти Фаины Дмитриевой // Харбин. 1991. № 1 (апрель). С. 7.
Таскина Е.П. Поэты русского Харбина // Проблемы Дальнего Востока. 1989. № 4. С. 120-121.

ЦАЙ-ШИН – ДОБРЫЙ БОГ

Тропинка круто заворачивало налево, и сразу за поворотом перед Верой открылась площадка, утрамбованная песком. Две невысоких ступени и за ними дорожка, выложенная белым горным камнем, вели к высоким воротам с красными круглыми столбами. За воротами под черепичной крышей дремал монастырь.

Вера была в этом монастыре последний раз лет семь тому назад, в год окончания гимназии. Тогда с нею были Раиса и Вадим – «неразлучное трио», как в то лето называли их дачники. Какое чудесное было это лето, освещенное ярким солнцем, юностью и их хорошей, крепкой дружбой!

Вера поднялась по ступенькам, направляясь по белой дорожке к воротам храма. Появившийся бесшумно китайский монах прервал ее воспоминания.

Низко склонившись в церемонном поклоне, монах жестом пригласил ее войти, и, когда Вера вошла за ворота, он выпрямился с любезной улыбкой на бледно-желтом, бесстрастном, еще нестаром лице. Молодая женщина, ответив ему легким кивком головы и такой же легкой улыбкой, направилась прямо к главному корпусу храма.

Во дворе монастыря было так тихо, что казалось – кроме нее и монаха, никого не было. Безмолвие нарушали только ее шаги. Монах ступал совершенно бесшумно в мягких туфлях, заложив руки в широкие, свисавшие рукава и слегка подметая землю складками своей длинной одежды.

Через открытые двери Вера вошла в храм. Во всю длину большой продолговатой комнаты тянулся узкий лакированный стол, прислоненный к стене, на которой в один ряд висели изображения богов с темными и светлыми лицами. Выражения этих лиц были настолько характерны, что без труда можно было сказать, какой бог носил название «бога гнева» и какой был «богом добра». Посреди стола стояла медная статуэтка Будды, перед которой курились тонкие свечки. Струйки пряного дыма расплывались по комнате.

Здесь, как и во всем монастыре, царила тишина. Было прохладно. Вера немного постояла, рассматривая изображения богов и вспоминая их имена. Вот этот, с искаженным лицом, большими глазами и торчащими вверх усами, – это Чжан-фый, один из трех богов войны. Красное лицо его внушало ужас.

«Если ему молятся, то не потому, что его любят, а потому, что боятся», – промелькнула у Веры мысль.

Рядом висел другой, с более светлым лицом и коварной улыбкой на полных губах. Вера напрягла память. Это – Лю-бый, советник и главный руководитель в военных делах. Есть еще третий бог войны, Гуан-гун, брат Чжан-фыя, но он, как наиболее уважаемый, находится в отдельном маленьком павильоне. Вера решила пройти и туда. Безмолвной тенью за ней последовал монах.

Единственная комната павильона была совсем крошечной. Во всю ее высоту, от пола до потолка, стояли рядом фигуры двух богов из раскрашенного дерева. Первым от входа стоял знаменитый Гуан-гун, уважаемый бог войны, с красным мужественным лицом, с горящими глазами. Он не внушал такого ужаса, как его брат Чжан-фый, но все же – «и ему молятся из страха», – опять подумала она.

Вера повернулась к другому богу. Совершенно белое плоское лицо с узкими глазами улыбалось.

«Цай-шин, бог денег, добрый бог» – вспомнила Вера пояснения старого монаха в их последнее посещение монастыря. Взгляд ее скользнул вниз и удивленно замер, – на тонком красном шнурке, обернутом вокруг ладони бога, висела небольшая серебряная монетка с двуглавым орлом. Русская монетка в пятнадцать копеек. Царские деньги! Как странно было видеть ее висящей на руке смеющегося Цай-шина. Сразу вспыхнула мысль:

«Боже мой, да ведь это монетка Раисы! Ее дар богу денег!»

Волной нахлынувшие воспоминания опять перенесли Веру на семь лет назад, к тому яркому солнечному дню, когда она в последний раз была

здесь со своими друзьями – Раисой и Вадимом.

* * *

В то утро на пляж отправились раньше обычного. Отделившийся немного в сторону Вадим издал победный клич, и девушки бросились к нему. Он стоял у края дороги и показывал на видневшуюся в траве тропинку, ведшую в гору.

– Хотел бы я знать, в какую сказочную страну ведет эта дорога? – спросил он.

– Если хотите, мы можем пойти туда, – предложила Вера. – Немного дальше, за поворотом, будет китайский монастырь. Ты когда-нибудь была там, Раиса?

– Нет, и с удовольствием пойду. Времени у нас достаточно.

Они стали подниматься в гору и через пятнадцать минут пришли в монастырь. Их встретил старый добродушный монах, сразу заговоривший на ломаном русском языке. Он с видимым удовольствием показывал им монастырь, называл богов и объяснял значение их имен.

Когда пришли в павильон с двумя богами, возвышавшимися до потолка, монах рассказал вначале о Гуан-гуне, а потом повернулся к другому богу. Его лицо расплылось в улыбке, глаза зажмурились, и он проговорил:

– Цай-шин, бог денег, добрый бог!

И, посмотрев по очереди в лица троих друзей, продолжал:

– Его шибко любит, когда его мало-мало подарки давай. Его потом назади много денег давай.

Раиса живо повернулась к Вадиму.

– Есть у вас копеечки? Дайте мне, пожалуйста.

Вадим торопливо зашарил по карманам, потом вывернул их и молча развел руками.

– Фу, какой вы несносный! – протянула Раиса, чуть не плача, и беспомощно оглянулась кругом.

Вадим был явно смущен.

– Нужно было мне находить дорогу к этому монастырю, чтобы перед лицом двух древних китайских богов получить такое страшное оскорбление, – проворчал он.

Раиса отмахнулась от него. На тонкой руке звякнул браслет из серебряных монеток. Девушка снова подняла руку и радостно вскрикнула. Две монетки свешивались с браслета на тонкой серебряной цепочке. Раиса попыталась оторвать одну из них. Потом нетерпеливо протянула руку с

браслетом Вадиму. Он потянул монетку и оторвал вместе с цепочкой. Раиса схватила ее и, повернувшись к монаху, передала ее.

– Пожалуйста, это вашему богу, – она указала на фигуру Цай-шина.

Затем встала напротив него, сложила ладонями руки и закрыла глаза.

Вера удивленно оглядела всех. Ласково улыбался старый монах, держа в руках серебряную монетку с двуглавым орлом. Вадим стоял рядом с Раисой и, скосив глаза в ее сторону, смотрел на нее, слегка наклонив голову, чтобы видеть ее лицо. Легкая улыбка дрожала на его губах.

А Раиса молилась. Молилась языческому богу с такой страстной верой, что ее подруге стало как-то не по себе. Все безмолвно ждали, когда Раиса кончит. Было тихо.

Странную картину представляла группа находившихся в китайском павильоне. И самой странной была, конечно, тонкая фигура замершей в молитве у ног языческого бога девушки с золотыми волосами, с длинными опущенными ресницами, трепетавшими на золотистых от загара щеках.

«А красиво! – невольно промелькнула мысль Веры. – Это похоже на прелюдию к танцу Мата-Хари у статуи языческого бога».

Наконец, Раиса открыла глаза, обвела присутствующих затуманившимся взглядом и молча пошла из павильона. Все последовали за нею. Раиса, не оглядываясь, быстро прошла за ворота и исчезла за поворотом тропинки. Было слышно, как под ее ногами скатывались с горы мелкие камешки.

Монах сказал, указывая ей вслед:

– Хороший девушка! Цай-шин, добрый бог, его много-много деньги давай потом…

Вера и Вадим, поспешно распрощавшись с монахом, последовали за Раисой. Они догнали ее уже внизу горы. Молча дошли до пляжа.

Раиса, еще на ходу, стянула через голову платье и закинула его в кусты. Оставшись в зеленом купальном костюме, она бросилась на песок, потянулась стройным загорелым телом и, закинув за голову руки, закрыла глаза.

Вера села рядом, прислонившись к дереву, а Вадим устроился у ее ног.

Несколько минут стояла тишина. Вера первая прервала молчание.

– А я не знала, Раиса, что ты мечтаешь о богатстве. Неужели, по-твоему, все счастье в деньгах?

Раиса взмахнула ресницами. Ярко сверкнули зеленые глаза.

– Не все ли равно, в чем счастье? – лениво проговорила она. – Все на

свете относительно, а счастье тем более. У каждого свое, и каждому свое.

– А ты не боишься, что твоя просьба, обращенная к этому Цай-шину, будет исполнена? – спросила Вера.

– Боюсь? – удивленно переспросила Раиса. – Зачем же мне было просить, если бы я боялась исполнения желания?

– А я вот этого боюсь, – сказала Вера. – Боюсь, что твое богатство, если ты будешь его иметь, не принесет тебе счастья. Ты ведь сама не знаешь, в чем счастье. И, во всяком случае, можешь быть уверена, счастье – не в деньгах.

Раиса лениво потянулась:

– Ну, если я сама буду несчастной, то, по крайней мере, своими деньгами смогу кому-нибудь помочь, сделаю его счастливым и, таким образом, буду удовлетворена.

– Фу-ты ну-ты, какие они умницы! – поднял вдруг голову Вадим. Он сел и смеющимися глазами оглядел подруг.

– Вот, что называется, не убивши медведя, делить его шкуру. Так вам деньги с неба сейчас и посыпятся. Держите сумочки пошире!

Девушки рассмеялись. Напряженная атмосфера была рассеяна. Вадим продолжал шутить.

– Итак, сеньорита Раиса, вы мечтаете о богатстве и думаете сделать счастливыми каких-нибудь несчастных, вроде меня. А пока что ваш покорный слуга стал еще несчастнее, чем был. Подумать только, никаких шансов покорить ваше сердце своей блестящей наружностью у меня не осталось, так как даже копейки не шевелится в обширных карманах моих единственных старых брюк. Жизнь моя разбита! Покорно уступаю дорогу обольстительному, шикарному Уманскому, который сможет дать вам рай на земле, а сам иду топиться. Прощайте, коварная! Прощай, Верочка!

Он комично помахал рукой и, широко шагая, направился к реке.

Вера взглянула на порозовевшую Раису.

«А Вадим, кажется, угадал, – подумала она. – Рая неравнодушна к Уманскому».

Уманский был видной фигурой на дачном горизонте. Еще нестарый, красивый, свободно распоряжавшийся деньгами, он был постоянным спутником друзей на их вечерних прогулках.

«Они будут красивой парой», – подумала Вера, глядя на подругу.

Вернувшийся Вадим прервал ее мысли.

– Пойдем купаться, Верочка. И это чудо заморское, – указал он на Раису, – также может идти с нами. Купаться ей не запрещается, потому все

жить «хочут». И к тому же я уже не сержусь.

Раиса также встала и пошла за ними. Они долго барахтались в воде. Потом Вера и Вадим сели на прибрежном песке, а Раиса уплыла к другому берегу.

Неожиданно Вадим серьезно обратился к Вере.

– Хотел бы я знать, в чем ты думаешь найти свое счастье, Верочка. Мы с детства дружим с тобой, я знаю все твои тайны, но ты никогда не делилась со мной своими мечтами о будущем.

– Видишь ли, Вадим, – сказала Вера. – Я ужасно старомодна. Как жаль, что мы живем в такое время, когда все неустойчиво и у нас не может быть такой простой, патриархальной жизни, какая была у наших бабушек. Ты помнишь, у меня в комнате висит картина Поленова «Бабушкин сад». Это моя любимая картина. Я ужасно хотела бы быть вот такой бабушкой с той разницей, чтобы в моем саду бегал целый выводок маленьких, толстеньких карапузиков – моих внучат, а я бы варила варенье, массу варенья, и давала бы им лакомиться пенками от него. Вот эта идиллия и является моей мечтой о счастье. Не правда ли, как просто?

– Гм… – промычал Вадим. – По-моему, чересчур даже сложно. Прежде чем сделаться бабушкой с выводком внучат и пенками от варенья для них, необходимо быть матерью и воспитать прежде своих карапузиков. Не так ли?

– Ну да, – кивнула головой Вера. – Я ничего не имела бы против целой дюжины ребят. Подумай, как интересно уже одно – придумывать для них имена. А потом следить за их ростом, главным образом, духовным. Ведь каждый будет иметь совсем особенный от других характер. Это такая интересная книга без конца. Книга жизни.

– Ну, конечно, – согласился Вадим. – Во всяком случае, желаю тебе, Верочка, поскорее выйти замуж и иметь хоть и не двенадцать, но одного-двух детишек. А о том, чтобы стать бабушкой, пока не стоит думать. Успеется. Ну а я буду приходить к тебе в гости и возить на спине сначала твоих ребят, а потом и внуков, и продолжать любить и боготворить тебя всю жизнь.

– Ну, хватит, – отмахнулась Вера. – Если уж на то пошло, то изволь выкладывать, каково твое представление о счастье.

– У меня совсем неосуществимая мечта. Я бы хотел стать хирургом. Удрать бы как-нибудь в Германию.

– По-моему, вам следовало бы пойти на юридический факультет, – сказала подошедшая и слышавшая конец их разговора Раиса. – Уж очень

хорошо у вас язык подвешен.

– Сеньорита Раиса, пожалуйста, не язвите, – пробурчал Вадим. – А не то я скажу Уманскому, что вы вошли в контакт с языческим богом, чтобы покорить его сердце.

Раиса снова порозовела. Задорно сверкнули глаза.

– Верочка, помоги мне набить этого противного болтуна, – попросила она подругу, грозно наступая на Вадима.

* * *

Вера не отдавала себе отчета, сколько времени она стояла перед изображением Цай-шина, погрузившись в воспоминания. Наконец, она очнулась и взглянула на монаха. Глаза их встретились. Неожиданно он заговорил совершенно чисто и правильно по-русски:

– Вы удивлены, что увидели русские деньги в руках нашего бога. Это одна ваша девушка принесла их в дар ему несколько лет назад. И она здесь очень хорошо молилась. Цай-шин, добрый бог, конечно, исполнил ее молитву, и эта русская девушка теперь должна быть богатой.

– Да, вы правы, – ответила Вера. – Эта девушка – моя подруга. И у нее сейчас много денег, так много, что она не знает, куда их девать.

Узкие глаза монаха блеснули.

– Я рад услышать это. Теперь мы сможем рассказывать всем посетителям, что Цай-шин услышал просьбу русской девушки с золотыми волосами за то, что она принесла ему в дар монету. Это очень хорошая монета. На ней знак вашего царя.

Вера утвердительно кивнула головой. Она снова взглянула на полное улыбающееся лицо Цай-шина. Как странно, однако, что исполнилось все, о чем они мечтали в тот яркий, солнечный день. Должно быть, в счастливую минуту высказали они свои желания.

Раиса вышла замуж за Уманского осенью того же года. Он оказался более богатым, чем можно было думать, и создал для жены настоящий рай, как шутливо пожелал ей в тот день Вадим. Но была ли Раиса счастлива в своем сказочном богатом доме, Вера так и не могла сказать. Раиса с ее узкими зелеными глазами была загадкой для нее. Скрытная и холодная и раньше, она после замужества еще более замкнулась в себе, и за ее очаровательной улыбкой никто не мог прочесть правды – скрывались ли за ней слезы или неподдельное счастье.

Но замужество Раисы непосредственно отразилось на судьбе ее друзей. Вадим уехал в Германию и учился в университете на хирурга. Раиса

делала счастливыми других своими деньгами. Уманский оплатил Вадиму дорогу до Германии, дав ему адрес своего брата в Берлине, имевшего там свое дело. Вадим учился в университете, одновременно работая у брата Уманского, копил деньги для уплаты в университет и для отдачи своего долга за проезд в Германию и писал Вере восторженные письма.

– Вот никогда не думал, что у заморского чуда может быть настоящее русское сердце, – как-то однажды обмолвился он. – Во всяком случае, этому чуду я благодарен так же, как и добренькому Цай-шину, если он имеет к этому какое-либо отношение. И вообще, все на свете чудесно, даже без всяких чудес, – закончил он.

«Что-то с ним теперь? – подумала Вера. – И так же ли он верит чудесному в жизни, как верил еще недавно?»

Наступившая в Европе война отрезала друг от друга надолго, быть может, навсегда. Замужество Раисы имело влияние и на судьбу Веры. На ее свадьбе она познакомилась с Игорем. Он был ее шафером. Завязалась дружба, вскоре перешедшая в любовь. Игорь стал ее мужем. Вера была счастлива, как может быть счастлива любящая жена и мать.

Молодая женщина вспомнила о муже, которого она оставила у реки смотреть за спавшей в тени кустов Оленькой с тем, чтобы он пришел за ней, когда проснется девочка. Она решила пойти встречать его и, сопровождаемая монахом, вышла во двор монастыря.

От ворот навстречу, по белой дорожке из горного камня, бежала маленькая кудрявая девочка.

– Мамик, – раздался радостный тонкий голосок, и с протянутыми руками Оленька бросилась к матери.

Вера подняла ее на руки.

– Как выспались мои глазенки? – нежно спросила она.

– Отлично, – ответил подходивший Игорь, с любопытством осматриваясь кругом.

Вера обернулась к монаху.

– Моя подруга очень, очень богатая, – сказала она. – Но я богаче ее. У меня есть вот это, – и она показала ему Оленьку.

Монах понимающе закивал головой.

– Да, правда. Это тоже большое богатство. Это больше денег, – согласился он.

Игорь, бегло осмотрев главный храм, прошел в павильон. Вера с Оленькой на руках подошла ко входу и остановилась в дверях.

– Верочка, смотри: царская серебряная монетка. Что это значит? –

удивленно спросил он.

– Я тебе все объясню потом. Осматривай все скорее, и пойдем. Я и так долго задержалась здесь.

Вера посмотрела на монаха. Он низко поклонился.

– Ничего, не беспокойтесь. Я рад встретить вас. Вы мне рассказали о девушке, которая молилась здесь. Я очень рад.

Игорь, бегло осмотрев все, посмотрел на них. Вера сделала ему знак, и они, попрощавшись, пошли к выходу.

Бесшумно проводил их до ворот монах и долго смотрел им вслед узкими черными глазами, в которых дремала мудрость. Он подумал о том, что еще много раз будут приходить посетители и расспрашивать о русской царской монетке, висящей на руке их бога Цай-шина.

Пройдет время. Умрет он и те, кто живет здесь с ним. Рассказ о русской девушке превратится в легенду, но будет жить всегда, пока будет существовать этот монастырь.

И еще много-много времени, может быть, целую вечность, будет улыбаться их бог денег, добрый бог со светлым лицом, Цай-шин, держа на вытянутой ладони серебряную монетку со знаком русского царя, которую принесла ему в дар девушка с золотыми волосами.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1943. № 3. С. 4-8, 10.

ВСЕ-ТАКИ МОЯ

1

Когда после закрытия магазина Лидия вышла на улицу, уже освещенную фонарями, у нее было только одно желание – как можно скорей добраться до дома и отдохнуть. Одно представление о домашней обстановке, одно воспоминание о детских родных личиках и о ласковом спокойном взгляде мужа вызвало невольную улыбку на ее губах. Она плотнее затянула широкий пояс своего пальто, глубоко засунула руки в карманы и торопливо пошла к набережной.

Улица жила своей обычной вечерней жизнью. Проносились автомобили, бежали разносчики вечерних газет, бесконечной вереницей проходили мимо, обгоняя и сталкиваясь, люди.

Внезапно этот поток машин и людей оборвался. Пересекая главную улицу, уходила в обе стороны тихая улочка, темнея в правом своем конце

густыми деревьями городского парка. Сразу за ней стало темней и тише. Реже светили фонари, еще реже попадались прохожие. Лидия прибавила шаг. Чаще застучали каблучки ее туфель, гулко отдаваясь в тишине улицы.

До набережной оставалось несколько кварталов и, так как прохожих совершенно не было, Лидия торопилась как можно скорей пройти слабо освещенное пространство. Впереди длинной цепью тянулись матовые фонари набережной. Уже чувствовалось влажное дыхание реки, которое приносил с собой дувший резкими порывами ветер.

Внезапно впереди, в свете фонаря, в нескольких шагах от Лидии, выросла фигура человека, медленно шедшего с ней в одном направлении. В неторопливой плавности походки, в широко раскинутых плечах, во всей элегантной фигуре мужчины Лидии показалось нечто неуловимо знакомое, полузабытое и волнующее. Мужчина шагнул за черту освещенного фонарем круга и как бы растворился в темноте, но, когда Лидия также прошла фонарь и сделала несколько шагов, она невольно на мгновение остановилась.

Всего в пяти шагах от нее она увидела стоявшего вполоборота к ней человека. Тревожно упало сердце, но Лидия тотчас же успокоилась. Мужчина закуривал папиросу, слегка склонив голову над поднятыми на уровне лица руками. Порывистый ветер моментально гасил слабый огонек. Лидия двинулась дальше. Мужчина снова зажег спичку и, быстро подняв ее к лицу, резко повернулся спиной к набережной, спасая огонь от нового порыва ветра. Спичка ярко вспыхнула и сразу зажгла конец папиросы, затлевший ярким рубиновым зрачком.

Лидия еще раз остановилась. И еще тревожнее, чем первый раз, забилось сердце. В свете вспыхнувшей на одно короткое мгновение спички рельефно выступили из темноты знакомые до боли черты. Смелый разлет густых бровей, видных даже в тени, падающей от широких полей шляпы; тонкий красивый нос с глубокими черточками, идущими от него к уголкам рта; резко очерченный суровый рот и властный подбородок – все давно ушедшее, давно, казалось, забытое… давно, так давно любимое.

Мужчина поднял голову и напряженно всмотрелся в неподвижно стоявшую перед ним Лидию. Она вышла из своего оцепенения и медленно двинулась вперед, с трудом передвигая сразу отяжелевшими ногами. Стук каблуков был робок и неровен. В голове не было никаких мыслей. Необъяснимое чувство растерянности охватило все ее существо. Она не знала, что ей делать, – остановиться ли, вернуться ли или идти вперед, все вперед, чтобы уйти совсем, чтобы опять надолго потерять его, потерять, быть

может, навсегда. Пока машинально она шла вперед. За спиной не слышно было других шагов. Мужчина продолжал стоять на месте.

И, когда, наконец, Лидия решила прибавить шаг с твердым намерением уйти совсем, в напряженную тишину улицы явственно упало ее имя… имя, которым когда-то давно, так давно, называл ее этот человек; имя, которое она слышала только от него и которым после него ее никто не называл. Ей показалось, что она ослышалась.

Быть может, желание услышать это имя вызвало галлюцинацию слуха. Быть может, ветер принес его на своих крыльях… Быть может… Но сзади уже слышались шаги, и снова толос, знакомый, с прежними нежными нотками в нем, произнес ее имя: «Лиля!»

Лидия остановилась, не оглядываясь. Шаги приближались. Еще секунда, другая, и Лидия почувствовала знакомое прикосновение когда-то так любимых рук к своим плечам. Эти руки медленно повернули ее, и она оказалась лицом к лицу с человеком, с которым так неожиданно резко порвала восемь лет тому назад, со своим бывшим женихом Виктором Горским.

Она стояла молча, чувствуя, что окончательно теряется под его пристальным взглядом, не зная, что сделать, что сказать.

Заговорил он – быстро, порывисто, торопясь высказать то, что накопилось за столько лет, как бы боясь, что ветер подхватит и унесет стоявшую перед ним тонкую фигуру, что темнота снова спрячет нежные черты лица с печальными глазами.

– Лиля, как неожиданно, как странно! В первый же день моего приезда, в первый же вечер – ты. Ведь я не знал, где тебя искать. Не знал, где ты, – здесь или уехала куда-нибудь. Но даже если бы и знал, пожалуй, не искал бы тебя, – он горько улыбнулся. – Нет, не искал бы… не смел бы, не зная, что заставило тебя поступить так зло со мной. Но теперь я тебя встретил. Боже, как странно! Этот вечер, эта темнота… поднимаю голову – ты стоишь, смотришь. Я сразу же узнал тебя, но от неожиданности и волнения не мог сразу заговорить, окликнуть, когда ты стала уходить. Неужели ты могла бы уйти от меня так, без слов? Ведь ты узнала меня. Неужели тебе нечего сказать мне? Неужели я для тебя стал совсем чужим? Ведь я не знаю до сих пор, почему ты – такая нежная, такая любящая – стала злой и жестокой? Почему? Скажи же, скажи, наконец!

Он не замечал, что его руки крепко впились в хрупкие плечи женщины, не замечал, что он иногда грубо встряхивал ее, что ее глаза делались все испуганнее и наполнились слезами.

– Виктор, – наконец проговорила Лидия, с трудом найдя возможность вставить слово в тот бессвязный поток слов, который он обрушил на нее. – Виктор, подожди. Не тряси же меня так. Мне больно!

Он опомнился, выпустил ее плечи:

– Прости, я не заметил. Я – сумасшедший совсем.

Она улыбнулась нежной, печальной улыбкой:

– Да, сумасшедший, действительно. Разве можно в одну минуту столько наговорить, задать столько вопросов? – она снова улыбнулась. – Ты даже не поздоровался со мной. Я раньше не замечала, что ты можешь быть невежливым.

Он удивленно взглянул на нее. Хотел тоже улыбнуться, но улыбка не вышла. Только судорожно вздрогнул и снова горько замкнулся рот.

– Как ты спокойна, – уже медленно проговорил он. – Как ты спокойна… И ты можешь быть спокойной, столько лет не видев меня? И ты могла уйти, если бы я не позвал, не остановил тебя? – опять задал он, по-видимому, мучивший его вопрос.

Лидия мягким движением протянула руку и прикоснулась к его плечу:

– Подожди, Виктор, успокойся. Сейчас невозможно все объяснить в одну минуту. И не место здесь для этого. Хочешь, встретимся завтра. В час у меня перерыв на службе. Мы поговорим обо всем. А сейчас я тороплюсь домой. Меня ждут.

Виктор опять горько улыбнулся:

– Прости еще раз. Я и забыл, что тебя могут ждать.

– Меня ждет лодочник, прежде всего, – сказала Лидия. – Ведь я живу по ту сторону реки. Поэтому и тороплюсь. Пока мы переправимся, будет уже совсем темно.

– Ах, вот что! Почему ты в такую глушь забралась? И служишь? Почему?

– Завтра, завтра все узнаешь, а пока до свиданья. Не провожай меня. Я быстрее одна добегу до набережной. Встретишь меня завтра на углу у парка.

И быстро пожав руку Виктора, Лидия почти бегом направилась к набережной.

Он стоял и смотрел ей вслед еще долго после того, как очертания ее стройной фигуры исчезли в темноте, пока были слышны ее торопливые уходящие шаги.

2

Лидия ушла от Виктора и потому, что она действительно торопилась, и потому, что ей надо было собраться с мыслями, привести в порядок свои расстроенные чувства, опомниться от растерянности.

Сидя в лодке, которой правил старик Максимов, их сосед, приезжавший за нею каждый вечер и отвозивший ее утром на службу, Лидия против обыкновения не разговаривала с ним, не расспрашивала о доме, а молча сидела на корме лодки.

Мерно скрипели весла в уключинах, журчала вода, плескалась о бока лодки. Мысли Лидии постепенно пришли в порядок, как разрозненные страницы книги, терпеливо собранные в одно целое. Лидия закрыла глаза, и, по ее желанию, книга воспоминаний открылась на нужной ей главе жизни.

Это было так давно и так недавно. Виктор Горский, молодой, многообещающий инженер, уезжал на службу в большой приморский город. Они расставались на год. Срок большой, но они верили, что их любовь выдержит испытание долгой разлуки. Через год Горский должен был приехать. Должна быть свадьба, после которой Лидия уезжала с ним к новой, счастливой жизни. Но этого не случилось. Прошел год. Горский не приехал к назначенному сроку. Ему не дали отпуска. Приезд его откладывался на два месяца, а за это время случилось нечто, изменившее все в их жизни. Лидия получила письмо. Узкий сиреневый конверт. Неровные, короткие строчки, набросанные нервным женским почерком. Бессвязные слова. Казалось, чья-то холодная рука крепко-крепко сжала сердце и больше не выпускала. От этого прикосновения сердце Лидии закаменело, замерзло, превратилось в льдинку. Она не стала разбираться, что было правдой в этом письме. Не стала писать. Не стала требовать объяснения.

Через неделю, когда Владимир Александрович Ольшевский, с которым она всего три месяца как познакомилась на весеннем балу, сделал ей предложение, она ответила ему согласием, причем лицо ее было так же спокойно, как и ее слова, глаза холодны, а губы не ответили на его поцелуй.

– Вы – настоящая русалка, – сказал ей Ольшевский. – Когда я увидел вас впервые на балу в кружевном зеленом платье, когда пожал при знакомстве вашу тонкую руку, взглянул в ваши глаза и утонул в их прозрачной глубине, я почувствовал, что от всего вашего существа веет холодком. И тогда же подумал о вас: «Русалка, прелестная, холодная, замкнутая и чужая». Но чужой вы не остались для меня. Русалочка стала бесконечно любимой.

Правда, по-прежнему холодной, но я думаю, что ненадолго. Под лучами моей любви, я надеюсь, ваше сердце потеплеет.

Лидия слегка улыбнулась и неожиданно и для него, и для себя попросила:

– Нельзя ли нам повенчаться скорее, Владимир Александрович? Может быть, можно через две недели?

Свадьба состоялась через две недели, а накануне Лидия последний раз написала адрес Виктора Горского на конверте. В конверте был запечатан квадратный кусок бристольского картона с золотым обрезом, на котором золотыми же буквами, казавшимися Лидии черными, как буквы траурного объявления, было напечатано извещение об ее бракосочетании с Владимиром Александровичем Ольшевским.

Когда Лидия бросила конверт в почтовый ящик, ей показалось, что холодный камень, который был в ее груди вместо сердца, оборвался, и в груди не осталось ничего. Там была томительная холодная пустота, от которой было мучительно тяжело.

А еще через неделю эта пустота сменилась острой болью, когда Лидия получила новое письмо в сиреневом конверте. Тот же почерк, те же короткие строчки с бессвязными словами, в которых Лидия с трудом разобрала мольбу о прощении, просьбу забыть предыдущее письмо, в котором не было ни слова правды, которое было написано в отчаянии, оттого, что «неожиданно узнала, что Виктор Горский, любимый, обожаемый, о котором столько мечталось, чью холодную неприступность надеялась сломать своим сильным чувством – только для этого нужно было время, – оказался женихом, стремился к своей невесте, для него никого не существовало. Узнала адрес… написала письмо, а потом…». Письмо кончалось просьбой ничего не говорить Виктору. «Пусть он навсегда сохранит обо мне хорошее воспоминание, как о дружелюбно настроенной к нему сослуживице, пусть никогда не узнает о моей любви к нему и о том, что эта любовь чуть не разбила его счастье, что я чуть не стала его врагом. Желаю вам счастья, как может желать этого счастья та, которая мечтала о нем. Еще раз простите. Теперь я снова смогу жить как нормальный человек, а до этого сознание, что я совершила нечто ужасное, не давало мне покоя».

Письмо опоздало. Лидия с трудом дочитала его. Чувство бесконечного отчаяния охватило все ее существо. Она не помнила, сколько времени просидела неподвижно с опущенной головой, держа в похолодевших руках письмо. Только когда в соседней комнате раздались шаги, она подняла голову и удивленно осмотрелась кругом, как бы не узнавая окружающую

обстановку.

Раздался стук в дверь. Вошел Владимир Александрович. Лидия поднялась ему навстречу. Встретив его полный нежности взгляд, заставила себя улыбнуться. Сознание неисправимости дало ей силы для этого. Она понимала, что, несмотря ни на что, нужно молчать, нужно жить, нужно улыбаться.

Время проходило, а Лидии казалось, что его не существует. Только через два года боль в ее душе заменилась тихой радостью, когда спустя три месяца после рождения дочери она, наклонившись над ее колыбелькой, увидела открытые ей навстречу огромные синие солнышки детских глаз. Что-то вздрогнуло внутри нее. Там, где была пустота,снова забилось сердце, полное материнской любви.

Лидия впервые за долгое время смогла заплакать. И с каждой слезой уходила боль. С каждой слезой чувство умиленной радости входило в сердце.

Владимир Александрович, нежно и благоговейно любивший жену, первый заметил в ней перемену. Холодная, замкнутая русалка наконец превратилась в нежную, любящую женщину и мать. Рождение сына принесло новую радость в их семью.

И вдруг случилось несчастье. Нарыв на пальце, неудачная операция, заражение, и Владимиру Александровичу ампутировали кисть правой руки. Потеря обеспеченной службы, неудачные поиски какой-либо новой, продажа ценных вещей и имущества – быстро следовали одно за другим. Переехали за реку, где была собственная дача, на которой жили круглый год, чтобы сэкономить деньги на квартирной плате. На скромное жалованье Лидии, поступившей продавщицей в галантерейный магазин, жить приходилось с трудом.

Владимир Александрович взял на себя роль хозяйки и няни своих детей. Немного подрабатывал, делая левой рукой игрушки. О том, как тяжело ему было со всем справляться, о том, какие нравственные муки он испытывал, Ольшевский никогда не говорил, никогда не жаловался. Молча переносил все, зная, что Лидии, избалованной, привыкшей к обеспеченной жизни и независимости, было еще тяжелее.

А она, забыв о прежней беззаботной жизни, боролась за настоящее, стиснув зубы, настойчиво и упорно, чтобы иметь счастье редкие минуты отдыха отдать всецело своим детям и мужу, чью душевную муку понимала своим чутким, научившимся любить и жалеть сердцем.

Время проходило размеренно и однообразно. Лидия привыкла к своей

жизни, похожей на тихое пламя, горящее спокойным, ровным огоньком. И вдруг неожиданная встреча с Горским в темный ветреный вечер, и – как от внезапного порыва ветра – заколебался, забился тревожно тихий огонек ее жизни.

3

Прошел месяц. Лидия не жила, а горела в сомнениях, в тревоге и муке. После первого же объяснения Горский стал настойчиво требовать, чтобы Лидия исправила свою ошибку, ради него бросив семью.

– Все эти годы я не жил, а мучился только потому, что стал жертвой недоразумения. Я имею право просить у тебя жертвы с твоей стороны, тем более что вижу, как тяжело тебе живется самой. Уедем со мной, Лиля. Я смогу дать тебе счастье, сумею залечить твои раны. Ты забудешь все.

О том, что Лидия любила детей, о том, что она страдала бы в разлуке с ними, он не думал. Лидия видела перед собой человека, по-прежнему полного любви к ней, но любви эгоистичной и требовательной, и это пугало и отталкивало ее. Она сама за эти годы научилась любить, жалеть и быть самоотверженной. Нанести своим уходом удар мужу, сделать его несчастным – она не могла из чувства долга и жалости. Потерять детей было выше ее сил. Сознание, что она не сможет по вечерам читать с ними молитвы, укладывая их спать, не будет видеть их сияющих наивных глаз и улыбок, с которыми они встречали ее приход, не слышать их лепета, приводило ее в отчаяние. И, тем не менее, она не переставала думать об этом, чувствовать, что это может совершиться, и мучилась в сомнениях.

Виктор любил ее. Виктор требовал жертвы, и, главное, Виктор обещал спокойную, обеспеченную жизнь, то, что, оставаясь с Ольшевским, она никогда не могла надеяться иметь.

Лидия, презирая себя, сознавала, что последнее было главным стимулом, из-за которого она могла бросить семью, разбить сердце Ольшевского, оставить детей. Прежнего чувства к Горскому не было. Оно растворилось за эти годы. Вся ее любовь обратилась на детей, принадлежала им, и эта любовь не давала ей силы уйти к Виктору. В таком смятении и раздвоении Лидия жила последнее время. Не жила, а мучилась, вся уйдя в свои переживания.

Был обеденный перерыв. Лидия медленно шла по улице мимо знакомых витрин магазинов, машинально останавливаясь у некоторых, рассматривала их без всякого внимания и шла дальше.

– Лида! – окликнул ее звонкий голос с противоположной стороны

улицы, и, оглянувшись, она увидела двоюродную сестру мужа, Зою Красинскую, стоявшую у дверей модного кафе.

Лидия медленно перешла к ней. Они поздоровались.

– Ты куда? Завтракать в молочную? – задала вопрос Зоя. – Пойдем лучше в кафе. Выпьем кофе. Я угощаю. Идет?

Она взяла Лидию под руку и потащила к дверям. В уютном розовом кафе от спущенных штор стоял мягкий полумрак. Пока Зоя заказывала кофе, Лидия усталым движением опустилась в кресло и, снимая перчатки, оглянулась кругом. Народу было мало. У окна в профиль к ней сидел Виктор Горский, и она слегка вздрогнула, как вздрагивала всегда при виде его, настолько неожиданным казалось ей его присутствие в одном городе с ней.

Они не виделись несколько дней, и когда Горский, повернув голову, встретился глазами с Лидией, его лицо осветилось лучом радости. Суровый рот дрогнул в улыбке, отразившейся в глазах. Он, слегка привстав, поклонился ей. Лидия ответила легким кивком головы и, сразу же отвернувшись, взглянула на Зою. Та, слегка прищурившись, смотрела на Горского, потом медленно перевела взгляд на Лидию. В глазах ее был молчаливый вопрос, но Лидия сделала вид, что не поняла его.

– Ну, как ты живешь? – спросила она Зою. – Все порхаешь?

Постаралась улыбнуться, но улыбка вышла деланной, и она рассердилась сама на себя. Лидия заметно нервничала, чувствуя не поворачиваясь, что Горский следит за нею. Зоя щебетала что-то о новом платье, о последней симфонии, и Лидия, с трудом слушая ее, напряженно вспоминала неожиданно пришедшее ей в голову стихотворение, недавно напечатанное в местном журнале, которое она случайно заучила. Стихотворение так подходило к настоящему моменту, было озаглавлено «В кафе», а вот автора и одну строфу из него Лидия вспомнить не могла, и это ее мучило.

– Почему же ты не пьешь кофе? – услышала она вопрос Зои и, встряхнув головой, чтобы отогнать ненужные мысли, протянула руку к дымящейся чашке.

– Как дети и Вова? – снова спросила Зоя.

Лидия совсем опомнилась:

– Ах да, Зоя! Что же это я? Ведь мне нужно было поговорить с тобой относительно ребят. Весь вопрос вот в чем: идешь ты на осенний бал?

– Это послезавтра, в субботу? Нет, ты ведь знаешь – у меня в этот день всегда маджан.

– Ну пока к тебе соберутся на маджан, дети будут уже спать и не помешают. Я хочу их забросить к тебе с утра, чтобы взять их на следующий

день.

– О Боже, какой сюрприз! Жаль только, что ты их заберешь так скоро. Погостили бы у меня недельку, если не хочешь отдать их мне совсем.

Лидия слегка нахмурилась. Зоя задела больной вопрос. Бездетная, богатая, скучающая – она давно просила Лидию отдать ей детей на воспитание, но Лидия не соглашалась. Они часто ссорились из-за этого, и сейчас, заметив, что Лидия недовольна, Зоя поспешила примирительно сказать:

– Ну не сердись, Лидок. Больше не буду. А скажи, пожалуйста, почему это ты решила меня осчастливить своими ребятами послезавтра?

Лидия грустно улыбнулась.

– Владимир пригласил меня на бал. Решил меня побаловать. Если бы ты знала, как мне не хочется ехать. Я уже отвыкла от подобных удовольствий. Но не хочется огорчать Владимира. Ему самому не мешает встряхнуться. Ведь он ничего не видит, кроме нашей лачужки и бесконечных уродливых игрушек, – голос ее дрогнул.

Зоя сочувственно смотрела на нее.

– Одеваться будешь у меня?

– Еще не знаю, – Лида взглянула на часы. – Пора идти. Я опоздаю на службу.

Они поспешно собрались. Направляясь к двери, Лидия невольно обернулась в сторону Горского и попрощалась с ним чуть заметным наклоном головы. Он проводил ее грустным взглядом. От Зои не укрылась эта немая сцена, и она вся загорелась любопытством.

– Я пройдусь с тобой до твоего магазина, – предложила она Лидии, когда они вышли из кафе.

– Если ты думаешь, что я могу пройтись, то ошибаешься, потому что мне нужно бежать. Мне осталось семь минут.

– А, ну тогда беги. Значит, до послезавтра! – и, не утерпев, Зоя спросила: – Кто этот интересный господин, что сидел у окна в кафе и пожирал тебя глазами? Не секрет?

– Это? – Лидия на минуту остановилась. – Это тот, кто, может быть, сумеет заставить меня отдать тебе моих ребят.

И, нервно засмеявшись, Лидия быстро пошла через улицу, на ходу кивнув головой Зое, оставшейся в полном недоумении от этой загадочной фразы стоять на месте.

4

После обеда в магазине было душно. Лидия чувствовала себя особенно

утомленной от неожиданного нервного взрыва после напряженного состояния в кафе. С трудом заставляла себя быть внимательной и любезной с покупателями. Кончив отмеривать очередной покупательнице ленту и складывая ее, она глазами поискала талонную книжку и снова вздрогнула, как в кафе. В дверях магазина стоял Горский. Он направился прямо к Лидии, но, заметив, что она занята, остановился у одной из внутренних витрин, сделав вид, что рассматривает выставленные в ней галстуки.

Лидия бросила в его сторону недовольный взгляд. Она просила его никогда не заходить к ней на службу, во-первых, чтобы избежать лишних толков, и, во-вторых, потому, что ей было неприятно, что он увидит ее в непривычной роли. Отпустив покупательницу, Лидия отнесла покупку в экспедицию и вернулась за прилавок. Горский тотчас же подошел к ней.

– Будьте добры показать мне перчатки, – громко сказал он и, когда Лидия разложила перед ним несколько пар, он, как бы выбирая, наклонился над ними. – Лиля, мне нужно поговорить с тобой. Могу я встретить тебя сегодня? – тихо спросил он, не поднимая головы.

Лидия молчала, не зная, что сказать. Она так устала от постоянных тяжелых сцен с Горским, так боялась их, что просила его в последнюю встречу дать ей некоторое время, чтобы отдохнуть и успокоиться.

Горский поднял голову:

– Лиля, я в воскресенье уезжаю. Может быть, это наша последняя встреча. Неужели ты откажешь?

– Хорошо, – согласилась Лидия также шепотом и громко добавила: – Значит, вам не подходят? К сожалению, больше ничего предложить не могу, – стала собирать разбросанные на прилавке перчатки. Когда она, сложив их в ящик и задвинув его на полку, обернулась, Горского в магазине уже не было.

Томительно тянулись часы. Вереницей проходили больные мысли в голове. «Скорее бы конец. Конец всему. Зачем нужна была эта встреча? Зачем ему нужно было приезжать?».

Совсем стемнело, когда Лидия и Горский встретились у ворот городского парка.

Поцеловав Лидии руку, Горский протянул ее себе под руку, и они, молча, пошли по широкой аллее, свернули в боковую и, подойдя к скамейке, на которой всегда сидели, опустились на нее.

Несколько минут продолжалось молчание. В парке было пустынно. Чуть шумели деревья высоко над головой. Еще выше над ними сверкали яркие звезды холодным осенним блеском. Сухие листья, медленно кружась

в воздухе, с чуть слышным шорохом падали вокруг.

– Итак, Лиля, – начал Горский, – в воскресенье я уезжаю. Сегодня я просил тебя встретиться со мной, чтобы окончательно решить нашу судьбу.

Он помолчал немного. Молчала и Лидия.

– Так вот, решай, – снова заговорил Горский. – Или это наша последняя встреча, или в воскресенье ты уедешь вместе со мной!

Лидия вздрогнула.

– Уехать с тобой? – не проговорила, а прошептала она от волнения. – Уехать с тобой? Боже, как ты меня мучишь! Как вы все измучили меня. И ты, и Зоя, и все… – и она неожиданно расплакалась, как маленький обиженный ребенок.

Горский растерялся. Он склонился к Лидии, взял ее руки в свои и заговорил. Требовательные нотки в голосе сразу изменились на нежные:

– Лиля, милая, прости меня. Я и не думаю мучить тебя. Если бы знала, как я сам измучился. И при чем тут какая-то Зоя? Не плачь, пожалуйста. Объясни, в чем дело?

Лидия улыбнулась сквозь слезы:

– Зоя – это та дама, с которой я была сегодня в кафе.

– Ну и что же? – удивленно спросил Горский.

– Она спросила меня о тебе, и я ответила, что ты тот человек, который сможет заставить меня отдать ей детей. Она каждый раз просит у меня их. И мучит меня всегда. И ты тоже.

Она на минуту замолчала. Потом продолжала порывисто и нервно.

– Временами мне кажется, что я тебя ненавижу, что я никогда тебя не любила, никогда не мучилась из-за тебя так, как мучаюсь сейчас, и за это ненавижу. Сегодня в кафе мне казалось, что я задохнусь, так были натянуты нервы. Все время и там, и целый день в магазине – стихотворение. Хочешь, скажу его тебе? Вот, слушай!

Лидия умела читать стихи. Вкладывать в каждое их слово значение, оттенять мысль. Так и сейчас, читая стихи, вся ушла в их певучий ритм. Над головой, как аккомпанемент к ним, шумели деревья.

Увидела знакомый резкий профиль
И, как девчонка, опустила взор.
На столике давно остыло кофе.
Я не пила ни кофе, ни ликер.

И то, что говорил мне собеседник,
Казалось мне ненужным и смешным.
Я знала лишь – за столиком соседним
Есть пара глаз, холодных и стальных.

Чужие лица проплывали мимо,
Как будто бы в тумане, в полусне.
Взяла со столика букет увядших примул,
Пробормотавши что-то о весне.

И к собеседнику прилив внезапной злобы
Почувствовала, в сердце затая.
Ведь тот, другой, прочтя во взгляде робость,
Наверно, скажет: «Все-таки моя!»

Лидия кончила. Несколько минут молчали. Горский вынул портсигар, открыл его, постучал по крышке взятой из него папиросой и, не закуривая ее, медленно проговорил:

– Все-таки моя?! Как бы я хотел иметь право и уверенность, чтобы сказать эти слова. Но у меня их нет. А ты? Ты не дашь мне это право, Лиля, когда-нибудь назвать тебя своей? – вопрос прозвучал тоскливой мольбой.

Лидия молча сидела рядом. Горский закурил. Вспыхнувший огонек спички выхватил из темноты резкие, красивые черты его лица. Лидия вспомнила встречу у набережной месяц тому назад. И вдруг внезапно решилась.

– Виктор, послушай меня. Сейчас я не могу тебе ничего сказать. Мне трудно придти сейчас к определенному решению. Нужно подумать. Два дня мы не должны встречаться совсем. В субботу вечером осенний бал. Ты будешь там, хорошо? И там узнаешь мой ответ. Не подходи ко мне, не спрашивай. Только увидишь меня и уже поймешь. Если на мне будет черное платье, значит, молча, не прощаясь, – прошу тебя об этом, – постарайся уйти с бала. Черное платье будет значить «нет». Если же я буду одета в зеленом, также не подходи, но жди меня в два часа в саду, у беседки. Я выйду к тебе, уйду с тобой, а утром ты меня увезешь. Я боюсь объяснения с мужем. Уеду так, не прощаясь. Потом напишу. Так будет лучше. Не нужно больше говорить, не нужно встречаться. Сейчас простимся, и я пойду. Не провожай меня.

Она встала со скамьи. Поднялся и Горский, отбросив в сторону папи-

росу. Лидия протянула ему руку, к которой он приник губами.

– Прощай, Виктор. Не сердись на меня, если моим ответом будет «нет». Постарайся понять меня тогда.

– Лиля! – тоскливо сорвалось с губ Горского ее имя.

– Не надо, Виктор, не надо. Мыуже решили. Не говори больше ничего!

И, подняв руки, Лидия обвила ими шею Горского и, наклонив его к себе, нежно поцеловала. Он хотел прижать ее к себе, но она отстранилась и, шепнув еще раз: «Прощай, милый», – повернулась и легкой тенью заскользила от него по аллее.

Шаги ее замолкли вдали. Горский продолжал стоять на месте. Легкий поцелуй Лидии, как дуновение ветерка, холодел на его губах.

Над головой по-прежнему шумели деревья, и холодные равнодушные звезды сияли в вышине.

5

В субботу утром Лидия по дороге на службу завезла детей к Зое. Пока шумно встретившая их Зоя душила детей в объятиях, а потом раздевала их, Лидия, не снимая пальто, стояла рядом, безучастно наблюдая за ними. Холодная тоска давила ее сердце.

«Боже, неужели конец? Неужели я их больше не увижу?».

Дети, попавшие в новую обстановку, соскучившись по всегда веселой, добродушной и ласковой Зое, были всецело заняты ею и забыли о присутствии матери. Первая обратила на нее внимание Зоя.

– Лидочка, ты что не раздеваешься? Ах да, ведь тебе на службу. Платье привезла?

– Нет, я буду одеваться дома, – медленно, как бы что-то обдумывая, ответила Лидия.

– Дома? Как же ты успеешь? И в лодке в бальном платье? Ведь неудобно же…

– Я сегодня без обеда, до трех. А с платьем ничего, надену поверх пальто дождевой плащ.

– Ну, как хочешь. Я с удовольствием бы помогла тебе одеться. Ночевать к нам?

– Ночевать? – Лидия удивленно взглянула на нее. Подумала: «Боже, какое мучение. Ведь она ничего не знает».

– Ну, чему же ты удивляешься? Кто же ночью переправит вас на ту сторону? Переночуете, погостите у меня воскресенье. Хорошо?

– Ну да, конечно, спасибо, – согласилась Лидия и, встрепенувшись, сказала: – Мне пора, опоздаю. Дети, прощайтесь со мной.

Первая подбежала Ирочка. За нею, смешно переваливаясь на толстых коротких ножках, подошел маленький Толя.

Лидия судорожно прижала их к себе.

– Мои сокровища. Родные мои!

Губы ее вздрогнули. Слегка отстранив, она принялась по очереди крестить их. Потом снова прижала к себе. Девочка, как бы что-то почувствовав, неожиданно заплакала. Глядя на нее, громко всхлипывая, залился плачем мальчик. Лидия, сдерживая слезы, снова поспешно закрестила их.

– Боже, что это с вами? – удивилась растерявшаяся Зоя. – Что за драматическое прощание? Я могу обидеться. Как будто ты детей оставляешь не у меня, а у какой-то Бабы-Яги. Разве можно так распускать их? Не навсегда же прощаешься? Давай их сюда, целуй меня и отправляйся на службу. Счастливо тебе веселиться на балу, а мы будем веселиться здесь, как нам хочется.

И решительно отстранив детей от Лидии, Зоя поцеловала ее, а затем, повернув за плечи, шутливо подтолкнула к дверям:

– Иди, иди, не мешай нам.

Лидия обернулась на пороге. Толя, уже весело смеясь, обхватив руками шею Зои и болтая ногами, висел на ней. Ирочка же стояла и смотрела на мать. В глазах ребенка таился вопрос.

«Никуда я от них не уйду», – сразу решила Лидия и, почувствовав, что тяжелый камень сомнения, давивший на сердце, исчез, ласково и спокойно улыбнулась дочери.

Словно отразившись в зеркале, ясная улыбка озарила личико Ирочки. Подбежав к матери, она порывисто обняла ее еще раз и, целуя, шепнула:

– Не беспокойся, мамуля, все будет хорошо.

Лидия нежно поцеловала ясные детские глаза и со спокойной душой вышла из дома Зои. Твердое решение остаться с детьми и мужем придало ей силы и радости.

До трех часов время в магазине промелькнуло незаметно. В четыре часа она была уже дома и, весело улыбаясь, раскладывала перед мужем принесенные с собой покупки.

– Ограбила совсем магазин. Набрала в счет жалованья. Вот тебе новые носки, воротничок, запонки, а себе рискнула купить чулки. Ты не будешь сердиться на меня за расточительность? Да, впрочем, посмей только. Сам

виноват, что затеял этот бал. Ну, давай скорее обедать. У меня еще столько работы. Платье еще не готово.

Владимир Александрович принялся помогать жене накрывать стол. Жизнерадостное настроение Лидии передалось и ему.

После обеда Лидия, приготовив все для глаженья, подошла к гардеробу и, не раздумывая, сняла с вешалки черное атласное платье.

Собираясь натянусь его на гладильную доску, Лидия неожиданно услышала голос мужа из соседней комнаты.

– Нет, нет, Лидочка, только не это платье, прошу тебя.

И Владимир Александрович, войдя в комнату, взял платье из рук жены и положил его на стул. Лидия растерянно взглянула на него.

– Но у меня нет другого, кроме еще зеленого.

– Я и хотел просить тебя пойти на бал в зеленом платье. Оно такое воздушное, так идет тебе. Оно напоминает мне нашу первую встречу на балу. Помнишь? Ты тогда тоже была в зеленом платье, правда, в кружевном, но это так похоже на то. Пожалуйста, Лида, сделай это для меня. Не нужно этого мрачного платья. Я хочу вспомнить прежнее.

Лидия попыталась возражать.

– Но, Володя, что за фантазия… Ведь это же будет только иллюзия прошлого.

Но, встретив умоляющий взгляд мужа, замолчала. Подумала: «В конце концов, не выйду, как обещала, в два часа в сад к Горскому. Просто постараюсь уговорить Владимира уехать с бала до двух часов, и все будет в порядке».

Черное платье снова исчезло в шкафу, и под утюгом, в быстрых руках Лидии, замелькали нежно-зеленые оборки пышного шифонового платья.

Лидия была спокойна. Принятое с утра решение не оставляло ее. Она помогла одеться мужу и в то время, как он ждал ее в соседней комнате, принялась одеваться сама.

В десять часов Лидия была уже одета. Оглядев себя в зеркало последний раз, она вдруг бессильно опустила руки.

Нежное исхудавшее лицо казалось бледнее и тоньше от зеленого цвета. Огромные глаза на этом похудевшем лице светились лихорадочным блеском, но в глубине их таилась привычная грусть. Во всем облике молодой женщины была душевная усталость и надломленность.

«Что во мне осталось прежнего? – подумала Лидия. – Разве я не говорила Владимиру, что будет только иллюзия».

Медленно, с внезапно пропавшей охотой ехать на бал, она стала собирать сумочку, платок, перчатки. Так же медленно с потухшими глазами вышла к мужу.

Он поднялся ей навстречу из кресла, тоже бледный, похудевший, с рукой, висевшей на черной ленте. Невольное сравнение с Горским промелькнуло в мыслях. Поток сомнений снова нахлынул на нее. Она испугалась их.

«Может быть, лучше не ехать на этот бал? Уговорить Владимира. Если бы он знал. Ведь я могу не вернуться с ним оттуда».

Она судорожно сжала руки.

– Готова, Лидочка? – с восхищением глядя на нее, спросил Владимир Александрович. – Как ты хороша! Мне кажется, лучше, чем прежде. У тебя в лице сейчас больше одухотворенности.

И, подойдя к Лидии, он обнял ее здоровой рукой и нежно поцеловал в лоб:

– Я приготовил кофе. Пей скорее. Я успел выпить. Максимов уже приходил, просил торопиться с переправой. Говорит, на реке затишье, как бы не было бури.

«Если бы он знал, какая буря у меня в душе, – тоскливо подумала Лидия. – Попросить остаться – огорчится. А потом, если уйду, еще сильнее огорчу».

Лидия, не допив кофе, отошла от стола. Владимир Александрович стоял, держа ее пальто, поверх которого помог ей набросить длинный дождевой плащ. В свою очередь Лидия помогла ему надеть пальто. Последние приготовления были окончены. Они вышли из дому и сразу погрузились в глубокую темноту.

Пока Владимир Александрович запирал дверь, Лидия оглянулась кругом. Стояла томительная тишина. В темном небе, затянутом тучами, не было видно звезд. Изредка сверкала молния. У берега на корме лодки, ожидавшей их, горел одинокий фонарь.

Они быстро спустились под откос. Максимов, куривший в ожидании их, бросил папиросу и помог Лидии и Владимиру Александровичу сесть в лодку. Затем, оттолкнув ее от берега, сел сам.

– С Богом! – сказал он, взявшись за весла, и легко вынес лодку далеко от берега. – Как бы успеть до бури вернуться назад. Буря осенью! Редко это бывает.

Лидия молча сидела рядом с мужем. Мысли и сомнения вихрем кружились в голове.

«Вернуться назад до бури… А я вернусь ли? Может быть, последний раз еду с ними, с этим милым Максимовым. Зачем я еду? Лучше вернуться сейчас… Увижу Виктора… встречусь с ним взглядом… и уйду с ним. А дети? Боже мой, обязательно уговорю Владимира уехать пораньше с бала».

Лодка была уже на середине реки. Сильное течение в этом месте относило ее вниз, но Максимов уверенно правил и постепенно подвигал ее вперед.

Огни города, разбросанные по берегу, приближались к ним. Небо было еще темнее, и тяжелые тучи, казалось, нависли над самой рекой.

Внезапно яркая стрела прорезала их и как бы расколола надвое небо. Раздался продолжительный, раскатистый удар грома, и сильный порыв ветра рванул лодку резким броском в сторону. Максимов с трудом удержал весла в руках и только что направил лодку, как новый порыв ветра бросил ее в другую сторону, и, наклонившись, она зачерпнула воды.

Лидия, почувствовав, что ее тонкие парчовые туфельки промокли, испуганно вскочила, и от этого внезапного движения лодка мгновенно перевернулась. Все очутились в воде.

Первая мысль Максимова была о Владимире Александровиче, и он бросился к нему на помощь. Но когда, подплыв к нему, он хотел обхватить его, Владимир Александрович крикнул:

– Спасайте жену! Меня не надо, – и, оттолкнув его рукой, исчез под водой.

Максимов попытался крикнуть, позвать Лидию, но новый удар грома заглушил его крик. При свете молнии он на мгновение заметил что-то светлое прямо внизу, уже далеко от себя. Снова наступила темнота. Максимов, борясь с течением, продержался несколько минут на одном месте, прислушиваясь. Все было тихо, и стрик, поняв всю безнадежность попытки спасти молодую женщину, принялся бороться за свою жизнь, плывя к берегу.

Лидия, очутившись в воде, несколько минут продержалась на поверхности, сумев отстегнуть и сбросить плащ, но длинное, сразу намокшее платье, запутавшись в ногах, потянуло ее вниз. Молодая женщина, с трудом борясь с течением, все еще пыталась плыть.

«Владимир, бедный… Он не сможет плыть… Но Максимов… он поможет, не оставит его… Боже, помоги им… Дети… Ирочка… – мелькали отрывки мыслей, и вдруг одна из них ярко, как молния, сверкнула в голове. – Вот и хорошо. Не надо ничего думать, ничего решать. Так хорошо».

Лидия перестала бороться и в ту же минуту погрузилась в воду.

Яркая молния сверкнула последний раз в глаза, а затем темнота, продолжительный звон в ушах, и ей показалось, что она не тонет, а, оторвавшись от воды, летит куда-то в вышину.

6

Горский пробыл на балу до двух часов, все еще надеясь, что Лидия появится. Он одиноко бродил среди разряженной толпы, мучаясь тревогой ожидания, сомнениями и надеждой.

«Не приехала. Значит, все кончено», – наконец решил он и, одевшись, с опустевшим сердцем вышел на улицу.

После прошедшей грозы ярко сверкали как бы омытые дождем звезды.

Горский медленно и бесцельно пошел по улице. Возвращаться в отель, где все было приготовлено к отъезду, с лишним чемоданом для Лидии, ему не хотелось. Он, незаметно для себя, дошел до парка и долго сидел на скамье, где последний раз был с Лидией. Как и тогда, шумели над головой деревья, осыпая мокрые на этот раз листья, сверкали звезды, но в душе были холодная безнадежность и тоска.

Уже совсем рассвело, когда Горский вернулся в отель. Утренний поезд отходил в 8 часов, и, не ложась, Горский закончил последние приготовления к отъезду, выпил кофе и отправился на вокзал.

Целый день в поезде прошел как длинный бредовый сон, и вечером, остановившись в отеле приморского города, откуда утром он должен был отправиться дальше с пароходом, Горский тотчас же лег и, усталый, погрузился в настоящий сон.

Утром он был уже на пароходе и после легкого завтрака вышел на палубу. Ярко сияло солнце, и белые чайки, скользя по волнам, гнались за пароходом.

Поместившись в лонгшезе с газетами, купленными в отеле, Горский медленно развернул вечернюю и тотчас же вздрогнул, как от толчка. Большие буквы траурных объявлений запрыгали перед его глазами. Ему показалось, что он видит страшный, кошмарный сон.

«Лидия Николаевна, Владимир Александрович Ольшевские… соболезнования по случаю безвременной смерти».

Горский нервно перевернул газету и на следующей странице, увидев крупный заголовок «Трагическая гибель супругов Ольшевских», впился глазами в строчки. Ему казалось, что он не читает, а видит все происшедшее на экране.

Драма на реке по словам старика Максимова; поиски утонувших; полный трагизма рассказ Зои Красинской о прощании Лидии с детьми, «как бы предчувствовавшей, что она больше не увидит их»; непередаваемое словами горе девочки, от которой не могли скрыть несчастье, и вот, наконец, описание найденных утопленников.

«По всему было видно, что молодая женщина упорно боролась за свою жизнь. По рассказу лодочника, когда она садилась в лодку, на ней поверх пальто был надет плащ. По-видимому, она сбросила его, так как когда утонувшая была извлечена из воды, плаща на ней не оказалось. Должно быть, ей удалось сбросить его, и она осталась в пальто и бальном зеленом платье, которое, по-видимому, и было главной причиной ее гибели, так как плыть в намокшем, обвившемся вокруг ног, длинном платье было невозможно, и молодая женщина, обессилев, пошла ко дну».

Горский с трудом дочитал до конца. Медленно, бессознательно аккуратно сложил газету. Поток мыслей нахлынул, закружился, забился в голове:

«Прощалась с детьми… чувствовала, что не увидит их. И платье, платье – зеленое платье! Значит, если бы не это несчастье, то сейчас Лиля была бы со мной… Боже мой, какой ужас в этой нелепой смерти. Значит, когда я ждал ее на балу и потом сидел на нашей скамье в парке, ее уже не было».

Вспомнилась последняя встреча, нежный голос Лидии, читавшей стихи.

«Все-таки моя… Она хотела дать мне право, о котором я просил, – право с гордостью назвать ее своей. Она умерла моей, все-таки моей, но разве это утешение?».

Горский почувствовал, что рыдание готово неудержимо вырваться из груди, и, резко поднявшись, подошел к перилам палубы.

Он долго стоял неподвижно, глядя в бескрайнюю синеву моря. По-прежнему ярко светило солнце и белые чайки ныряли в волнах. Жалобно крикнула одна из них, и Горский вздрогнул.

«Может быть, так же жалобно кричала Лиля, теряя последние силы в борьбе за жизнь, которую хотела отдать мне… Может быть, это ее душа следует за мной. Боже мой, я сойду с ума от этих ужасных мыслей!».

И, повернувшись, Горский шатающейся походкой направился в каюту. Вошел, запер дверь, бросился на койку и, больше не сдерживаясь, глухо зарыдал, вскрикивая:

– Все-таки моя… все-таки моя… моя!

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1945. № 7. С. 1, 4–12.



Дмитрий Владимирович ЗАГОСКИН *(1872–1937)*

Литератор Дмитрий Загоскин родился 1 июля (ст. ст.) 1972 г. в дворянской семье. Потомок (внук) известного беллетриста М.Н. Загоскина. Окончил Псковский кадетский корпус и Александровское военное училище. С 1900 г. служил на Дальнем Востоке. Участвовал в подавлении восстания ихэтуаней («Боксерское восстание»), в русско-японской войне и Первой мировой войне, главным образом, в артиллерии. Генерал-майор. В Гражданскую войну вступил в Особый Маньчжурский отряд атамана Г.М. Семенова, инспектор артиллерии. С 1920 г. жил в Маньчжурии. Очерки и рассказы Загоскина печатались в журналах «Рубеж», «Луч Азии»; газетах «Заря», «Харбинское время» и др. Автор книги рассказов «Казаки» (Харбин, 1936). Умер 1 мая 1938 г. в харбинской больнице от повторного воспаления легких. Похоронен на Новом кладбище.

Ист. и лит.:

<Б.п.> Умер генерал Загоскин [некролог] // Луч Азии. 1937.

Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны: Биографический справочник. М., 2003.

Лушников А. Потомок Загора // Алтайская правда. 2005. 8 декабря.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 125-126.

МЕСТЬ

По глубокому дну крутобокой промоины «волчьей цепью» спускалась большая конная группа вооруженных людей в самых разнообразных одеждах − от серой солдатской шинели и до бурятского тарлыка включительно. Отделившись от основного ядра сажен на пятьдесят, в офицерских пальто с блестящими золотыми погонами ехало двое.

− Теперь надо полегче, товарищ, − перегибаясь в седле проговорил чернявый с редкой бородкой, опасливо поглядывая вперед. − Поселок-то сейчас за сопкой… Разведать бы надо как и что… Неровен час, на кого-нибудь из белой банды наткнемся.

− Ладно уж, знаю! – недовольно пробурчал в ответ широкоплечий всадник огромного роста. – Тоже не лыком сшит.

Тем не менее он придержал коня и, тяжело отдуваясь, слез с седла. Вслед за ним спешился и его спутник, оказавшийся на земле почти карликом, с длинной талией и короткими толстыми ножками. Его голова в высокой барсучьей папахе еле доходила до плеч товарища.

Ведя лошадей в поводу, оба двинулись дальше пешком, и через несколько шагов перед ними открылись первые домики поселка.

− Ключи, − торопливо подсказал чернявый, быстро осаживая коня.

− Не слепой! – грубо отозвался великан, видимо, от души презиравший посланного ему судьбой в спутники уродца за его убожество.

Он расправил могучие плечи, начальническим взглядом окинул первые ряды подъезжавших всадников и, делая высоко поднятой рукой знак остановиться, вполголоса крикнул:

− Зеньков! Сюда!

Смуглый казачок выдвинулся вперед, рысью подъехал к великану и, привычным движением ловко соскочив с седла, подбежал к начальнику отряда, волоча за собой упиравшуюся лошадь.

− Все помнишь, чего тебе вчера говорилось? – насупливая густые брови, грозно уставился на него великан.

− Точно так, товарищ командир, – торопливо доложил казак.

− Смотри, не подгадь! – строго погрозил толстым пальцем великан. – Не обмишулься! В оба гляди… А коли все будет благополучно, помаячишь вон там, − указал он нагайкой на крайнюю хату у самого выгона. − Ну, вали…

Когда разведчик скрылся за поворотом дороги, начальник отряда повернулся и начал широкими, размеренными шагами разгуливать взад и вперед по дороге, доходя до первых рядов своих спешившихся всадников и снова возвращаясь к наблюдательному пункту, где на минуту останавливался и, нервно постучав каблуком сапога о землю, снова поворачивался, продолжая свою прогулку.

Чернявый молча бегал рядом с великаном, стараясь попасть и не попадая в такт его шагу. От времени до времени он вскидывал украдкой глаза на лицо спутника, но не решался заговорить с ним первым из опасения быть оборванным в присутствии всей команды.

Прошло около получаса, и из-за крайней хаты поселка показался всадник и стал описывать по выгону небольшие круги.

− Маячит! Маячит! – радостно затараторил чернявый, первым заметивший появление разведчика.

− Отстань! Сам вижу, − рыкнул на него великан. – Эк тебя, товарищ, за язык дергает. Будто старая баба какая, − презрительно добавил он, подходя в своей лошади.

Чернявый побагровел, хотел огрызнуться поядовитее, но сдержался и, молча проглотив обиду, последовал примеру начальника отряда.

При въезде в поселок Ключевской отряд был встречен кучкой стариков, старух и детворы − все рабочее население находилось в разброде по заимкам. Кое-где среди толпы мелькали молодые смеющиеся девичьи лица.

− Хороша девка! – подмигнул чернявый начальнику отряда, ехавшему рядом с ним, на высокую, стройную девушку, стоявшую у ворот одного из домов и с любопытством посматривавшую исподлобья на пришельцев, с шумом и гамом спешивших наперегонки занимать для себя под постой лучшие помещения. – Можно сказать «штучка с ручкой»!

Великан покосился в указываемом направлении, и в глубоко сидящих глазах его вспыхнул плотоядный огонек.

− Заворачивай! – грубо оборвал он эстетические размышления товарища, дергая лошадь за повод. – Занимаю эту хату под штаб.

− Хи-хи-хи, − мелким смешком рассыпался чернявый, следуя за начальником отряда. – Забрало, Петр Денисыч, забрало! Валяй, брат, валяй! Не девка – мармелад!

По мере приближения вечера равнодушие жителей поселка, встретивших утром прибытие белого отряда довольно «прохладно», начало понемногу переходить в откровенную враждебность.

Депутацию из трех старых казаков, пришедших приветствовать начальника отряда и поговорить о «политике», последний с места в карьер обругал большевиками и объявил, что он покажет им «кузькину мать». Кур, баранов и поросят по всему поселку приезжие стали подвергать поголовному избиению, не удовлетворяясь предложенными им хозяевами яствами местной кухни. Ближе к закату солнца во всех домах вспыхнуло поголовное пьянство. Отовсюду неслись дикие голоса и слышались пьяные песни, временами прерываемые отчаянными женскими визгами и криками: «Помогайте!.. Спасайте!..»

Вырвавшись от насильников, простоволосым молодым женщинам и девушкам, прибегавшим к дому, занятому штабом отряда, пьяный казак, стоявший у крыльца в качестве часового, нагло заявлял, что «командир спит и не велели будить».

Одну старуху-казачку, кричавшую громче всех и угрожавшую обратиться с жалобой «по начальству», часовой так толкнул прикладом винтовки в грудь, что она замертво покатилась на землю. Двух казачат, попытавшихся ускакать на заимки за помощью, избили нагайками до полусмерти и связанных бросили в чулан при штабе.

Разгул, грабеж и насилие длились всю ночь напролет, и только когда, наконец, забрезжил неверный свет приближающейся утренней зари, из дворов стали выезжать тяжело-нагруженные телеги, за которыми шли привязанные коровы и запасные лошади, с забористой матерщиной подгоняемые непроспавшимися, озверелыми всадниками.

Орда грабителей с ревом и уханьем понемногу подтянулась к площади, откуда нестройной, гикающей толпой двинулась из поселка в обратный путь. Начальник отряда вместе с чернявым ехал впереди.

Сразу за околицей навстречу им из предрассветного полусумрака неожиданно вынырнула пара конных силуэтов, и через секунду два молодых казака, без папах и сапог, но с винтовками за плечами, осаживали своих конец, посадив их почти на хвосты.

− Что за люди? Почему грабите, варнаки? – звонким сорвавшимся голосом крикнул один из подскакавших, наклоняясь вперед, чтобы лучше

рассмотреть, с кем он имеет дело.

Увидев блестевшие офицерские погоны начальника отряда и его спутника, он резко отшатнулся в седле, обводя вокруг себя совершенно ошалевшим взглядом.

− Ах ты, большевицкая морда… − зарычал великан. – Не видишь, с кем разговариваешь? Получай, мерзавец!

Вслед за выстрелом, гулко прокатившемся в утренней тишине, казак мешком покатился с седла, а испуганный конь, сделав дикий прыжок в сторону, поволок по земле его тело, зацепившееся при падении сапогом за стремя.

Товарищ убитого, не дожидаясь следующего выстрела, волчком повернул своего коня на месте и, низко пригнувшись к луке, полным махом понесся в сторону заимок.

− Ловко срезал! – одобрил чернявый великана, прятавшего наган в кобуру. Теперь все проделали честь-честью, в аккурате… Пущай разбираются… Черта с два догадается гуранье! Как же!

* * *

Вследствие раннего утреннего часа станционная платформа Борзи против обыкновения была почти пуста. Лишь в одном конце, у пыхтевшего паровоза, весело болтал с машинистом атаманского поезда станционным милиционер, да возле дверей залы первого класса одиноко сидел на скамейке какой-то залы молоденький казачок. Он сидел, низко согнувшись, медленными движениями водя концом нагайки по каменным плитам перрона, от времени до времени украдкой скашивая глаза в сторону салона вагона, у входа в который стояло двое парных часовых.

Наконец, на ступеньках вагона показалась широкоплечая, статная фигура атамана в простой защитной рубашке, с беленьким крестиком на груди. Он спустился на перрон и быстрым шагом направился в помещение станционного телеграфа. Следом за ним выскочили из вагона несколько запоздавшие адъютант и начальник личного конвоя и вприпрыжку пустились наверстывать опоздание.

В тот момент, когда атаман проходил мимо одиноко сидевшего казака, последний выпрямился, мгновенно вскочил, словно вскинутый скрытой пружиной, одним броском подскочил к атаману и, выхватив из рукава длинный кинжал, нанес им сбоку короткий удар.

Но еще раньше, нежели удар кинжала достиг намеченной цели, успел адъютант, подметивший подозрительное поведение казака, ударить его по руке с такой силой, что она повисла, как парализованная, а кинжал, выпав из нее, со звоном покатился по каменным плитам. Вторым молниеносным ударом по голове нападавшего адъютант сбил его с ног.

Звон кинжала о камни и глухой стук упавшего тела сразу вырвали из

задумчивости спокойно шагавшего атамана. Он круто остановился и повернул голову. Глаза его с удивлением перебегали с лежавшего без движения человеческого тела на кинжал, густо смазанное лезвие которого загадочно поблескивало своей матовой поверхностью. Но ни тени страха или волнения не отразилось на спокойном энергичном лице − одно лишь глубокое изумление, смешанное с любопытством.

Несколько секунд длилось молчание, нарушаемое лишь стуком сапог подбежавших часовых и шипением паровозного пара. Потом атаман, задумчиво глядя на лежавшего, с расстановкой проговорил, обращаясь к адъютанту:

− Ничего не понимаю… Возьми его к себе в вагон и разберись, в чем тут дело… А я пока пройду по прямому проводу.

* * *

− Ну что? – поднял глаза атаман на вошедшего адъютанта. – Разобрался? Сумасшедший?

− То-то, что нет, господин атаман, − недоумело развел руками последний. – Ни черта не понимаю, хоть убейте, сами судите…

− Ну-ну, − с интересом повернулся к собеседнику атаман, − рассказывай, рассказывай… Надеюсь, допрос произведен без пристрастия? – особенно подчеркнуто произнес он последние слова, пристально глядя в лицо адъютанта.

− Согласно вашего приказа, − с почти незаметным пожатием плеч официальным тоном доложил адъютант.

− Так в чем дело, спрашиваю? – подогнал атаман докладчика.

− Спрашиваю его: «Как ты, сукин сын, решился покуситься на жизнь атамана?». А он в ответ давай какую-то чушь нести: «Все равно мне не жить, − орет, − так получайте свою правду, варнаки-грабители!». Тут я, откровенно говоря, господин атаман, его легонько смазал по скуле ради остраски, − виновато ухмыльнулся адъютант, выжидательно глядя в глаза собеседника. – Нельзя же позволять, чтобы он меня, офицера, в глаза ругал.

Атаман поморщился, дернул себя за ус, но вслух своего порицания не выразил.

− Продолжай, − коротко произнес он только, отводя глаза в сторону.

− Как одернул я его, сократился сразу и орать перестал, − бойко стал продолжать свой доклад адъютант, смекнувший, что гроза миновала. – Повторяю свой первый вопрос. «За сестру загубленную и брата угробленного», − отвечает, а сам так весь и трясется. «Да что, атаман что ли твою сестру загубил?» − спрашиваю. «Офицеры ваши, семеновские, – захлебывается он от ярости, − вот кто над сестрой надругался и брата порешил».

− Офицеры семеновские? – изумленно протянул атаман, откидываясь на спинку дивана.

− Божится, что приходили к ним с отрядом и весь поселок начисто-разграбили, − продолжал адъютант ироническим тоном. – Утверждает, что сам видел двух офицеров в золотых погонах.

− В золотых погонах, говоришь, − перебирая что-то в уме, медленно проговорил атаман. – Погоди… Да он какого поселка? – поднял он глаза на собеседника.

− Ключевского, − заглянул адъютант в исписанный листок, который держал в руке.

− Ключевского? – как бы ослышавшись, вопросительным тоном повторил атаман. – Так ведь в Ключи я еще не разу не посылал никого… Это значит, что либо твой казак врет, либо…

Он не договорил и медленно закусил губу. Какая-то внезапная смутная догадка, видимо, промелькнула в голове атамана. Темные брови быстро сдвинулись к переносью, глубокая резкая складка прорезала высокий лоб, синие глаза потемнели и приняли мрачное, угрожающее выражение.

Адъютант зорко следил за изменениями выражения лица собеседника.

− Ну-ка давай сюда твоего красавца, − первым прервал молчание атаман. − Я сам его поисповедую.

− Но как бы он… − замялся было адъютант, не двигаясь с места.

− Съест он меня что ли? – невесело усмехнулся атаман. – Эх, ты, шляпа! – дружелюбно выбранил он офицера за излишнюю заботливость. – Ступай, ступай, − делай, что тебе приказывают, а обо мне не беспокойся!

Несколько времени атаман в глубокой задумчивости расхаживал по салону из угла в угол, причем печать глубокой озабоченности снова легла на его лицо.

− Самозванщина какая-то! – наконец с полуубеждением вырвалось у него вслух.

Заложив руки в карманы шаровар, атаман подошел к окну и стал смотреть на пустынный станционный садик, в котором несколько пестрых кур под предводительством золотистого красавца-петуха деятельно копались в траве.

− Необходимо во что бы то ни стало докопаться и пресечь в корне, − решительно резюмировал атаман свои мысли.

«Докопаться, − промелькнуло в мозгу смешливое сравнение с курами. – Ну, что ж − покопаемся также и мы. Лишь бы добраться до истины».

Вагон слегка задрожал под тяжестью шагов людей, поднимавшихся на площадку.

«Ведут, должно быть», − подумал атаман, поворачиваясь и прислоняясь спиной к стенке вагона. В сопровождении адъютанта в салон ввалился молодой безусый казак, подталкиваемый сзади дружными пинками конвойцев. Руки арестованного были перехвачены в локтях за спиною верев-

кой. Длинный, вьющийся чуб свисал на лоб, закрывая правый глаз, что вынуждало казака постоянно дергать головой кверху для водворения непокорной пряди на место. Молодое лицо, только слегка покрытое пухом на подбородке, было неподвижно и мертвенно бледно и оживлялось лишь парой небольших, лихорадочно блестевших, карих глаз, которые он почти все время держал потупленными.

− Развязать! – раздалось короткое приказание атамана.

Освобожденный от сдавливавших его веревок, арестованный несколько раз машинально передернул плечами, восстанавливая кровообращение, и затем снова застыл в прежней позе полной безнадежности и отчаяния.

Атаман с минуту пристально в лицо незадачливого убийцы, затем недоверчиво покачал головой и, обращаясь к присутствующим, распорядился:

− Выйдите все! Кроме него, − кивнул он головой на арестованного. – Ну? Что я сказал? – повысил он голос, заметив колебание на лицах адъютанта и конвойцев.

Оставшись вдвоем с арестованным, атаман прошелся несколько раз по вагону и, внезапно остановившись около казака, спросил, глядя на него в упор:

− А почему ты, паря, говоришь, что у вас в поселке разбойничали офицеры?

Арестованный вздрогнул и сразу поднял на собеседника взгляд, одновременно выражавший страх и удивление:

− В погонах… в золотых… Как же ни офицера? – как бы нехотя выдавил он, наконец, из себя.

− И много их было таких… в погонах? – с острым интересом воззрился атаман на казака, ни на секунду не спуская взгляда с его лица.

− Старики сказали, двое их было, − уже увереннее заговорил казак. – Я и сам двоих видел, когда один из их в брата стрелял.

Под влиянием ровного, почти благожелательного тона атамана арестованный постепенно стал приходить в себя, по мере того, как призрак близкой, неотвратимой − как ему казалось − смерти начал отдаляться, и в глубинах сознания затеплилась какая-то робкая надежда. Впервые за все время поднял он низко опущенную голову и бросил осторожный взгляд на лицо допрашивавшего. Учуяв звериным чутьем малокультурного степняка, что в глубине синих глаз атамана не таится ни тени злобы или издевательства, а лишь одно спокойное внимание, казак сразу посветлел лицом.

− Брось трусить, паря, − ободрил его атаман, присаживаясь к письменному столу и принимаясь перелистывать лежавшие на нем бумаги. – Лучше помоги мне найти этих «господ офицеров», − иронически усмехнулся он. – Подумай и расскажи, как они выглядели.

− Братнина убийцу я вот как заприметил! – не задумываясь и уже веселее ответил казак. − Огромный мужик! Ровно гора какая, на коне сидел… Второй много поменьше будет… Сказывали, вроде как мальчонка какой…

− Как будто они, – проронил вслух атаман, озабоченно роясь в груде бумаг. – Ага. Вот она… − нашел он наконец разыскиваемое донесение и быстро пробежал глазами его содержание.

В полевой записке стояло:

«Доношу, что вчера ночью мною пойманы в пяти верстах от станицы Цаган-Олуевской два подозрительных субъекта, назвавшиеся офицерами, яко бы пробиравшимися в Трехречье, спасаясь от большевиков. Вследствие несоответствия их внешности, особенно одного их них, с офицерским званием, подозреваю в них переодетых комиссаров, почему и направляю их под конвоем в ваше распоряжение. Сотник Мельников».

Атаман встал, быстрыми шагами подошел к открытому окну и, высунувшись из него, громко крикнул:

− Андрей! Немедленно приведи к вагону тех двух. Знаешь? Которых Мельников прислал.

Придерживая рукой болтавшуюся шашку, адъютант рысцой отправился исполнять полученное распоряжение.

− Ну, кажется, могу тебя поздравить, − с довольным лицом, протирая руки, обратился атаман к казаку, стоявшему с разинутым ртом и совершенно ошалевшими глазами. – Да, кстати, уже и себя… Ах, мерзавцы! Провокаторы! – сердито покачал он головой. – Ну, ладно, − свое получите…

Приближающийся топот тяжелых сапог и шум человеческих голосов отвлекли внимание атамана от его гневных мыслей. Он снова повернулся к окну и внимательным взглядом окинул группу, собравшуюся на перроне против вагона. Прямо перед окном, окруженные вооруженными казаками, стояли двое арестованных в офицерском пальто с блестящими, новенькими золотыми прапорщичьими погонами. Огромная, массивная, грубо сколоченная фигура одного из них особенно резко, до нелепости, подчеркивала смехотворно малый, почти карликовый рост его коротконого спутника.

− Несомненный маскарад! – сразу решил атаман, зорко приглядываясь к лицам. – Ну и рожи! Пойди-ка сюда, паря, − поманил он пальцем казака, стоявшего в глубине вагона. − Посмотри-ка на эти образины.

Казак нерешительно тронулся с места и, осторожно ступая, в развалку подошел к окну. Но лишь только взгляд его упал на арестованных, он конвульсивно вцепился обеими руками в переплет оконной рамы и на секунду замер, не спуская загоревшихся бешеной злобой глаз с великана в офицерском пальто. Затем он с силой оттолкнулся от окна и с каким-то нечеловеческим ревом ринулся вон из вагона.

Атаман, хладнокровно наблюдавший за поведением молодого казака, удовлетворенно улыбнулся и высунулся из окна.

Одним прыжком слетев с площадки вагона, казак, как разъяренный бык, кинулся на великана, ударом головы в грудь сбил его с ног и, не успели окружающие придти в себя от неожиданности, уже сидел верхом на поверженном противнике, обеими руками сдавливая ему горло.

Парализованный ударом, великан только хрипел, и лицо его сразу стало синеть. Опомнившиеся конвойцы дружно бросились отнимать у казака его жертву, но сделать это оказалось нелегко, пока один из них не догадался сам начать душить за горло победителя.

Еще несколько времени после того, как его оторвали от великана, молодой казак все же порывался вырваться из рук державших его и, мотая головой, сипел, разбрызгивая слюну по сторонам, повторяя без конца:

− Убью! Убью! Убью!

Атаман, молча наблюдавший разыгравшуюся перед ним дикую сцену, не торопясь вышел из вагона, спустился по ступенькам на перрон и медленными шагами подошел вплотную к великану, которого двое конвойцев с трудом поддерживали под мышками в стоячем положении.

− Говорите правду… Кто вы такой? – раздельно прозвучал среди гробовой тишины повелительный голос атамана.

Он остановился в шаге от великана, гипнотизируя его стальным взглядом своих потемневших глаз.

По лицу арестованного пробежала заметная судорога. Налитые кровью глаза из-под густых бровей смотрели в пространство, не видя ничего, апатично и тупо. Все могучее тело его, от головы до пят, дрожало мелкой дрожью.

− Кто вы такой? – уже тоном выше и грознее повторил атаман.

Великан дрогнул, как бы пробуждаясь от сна, огромной ладонью потер себе шею и прохрипел сдавленным голосом:

− Десятник ремонта пути Забайкальской…

− Вот это так, − с довольным видом кивнул головой атаман. – А то – офицер! А эта гнида? – указал он глазами на стоявшего рядом карлика.

− Не знаю, − хрипло буркнул великан. − Всего с неделю как его прислали в отряд комиссаром… Ваше благородие! – умоляющим звуком вырвалось из его порванного горла. – Позвольте доложить! Я…

− Довольно болтать! – резко прервал его атаман. – Отвести в юридический отдел, − обратился он к подошедшему начальнику штаба с резко выраженными восточными чертами лица. – Вопрос совершенно ясен, не так ли?

− Совершенно, − согласно наклонил голову полковник.

− А приводить приговор суда в исполнение я назначаю его, − повернул атаман голову в сторону молодого казака, сделавшего новую попутку

вырваться и броситься на своего врага, когда его проводили мимо него.

− Эк тебя разбирает, паря, − усмехаясь, положил атаман руку на плечо казака. – Успокойся, твое от тебя не уйдет… Кстати, Николай Георгиевич, распорядитесь, чтобы пострадавшему было возвращено награбленное этими скотами… Прикажите купить все, что надо. Если уж брата мы вернуть не в силах, то хоть пусть этим утешится.

* * *

− Там, господин атаман, двое казаков все добиваются вас увидеть, − доложил несколько дней спустя дежурный офицер, стоя в дверях купе.

− Ага. Хорошо, сейчас выйду, − устало потянулся атаман, поднимаясь с дивана.

Спустившись с перрона станции, атаман оказался перед двумя казаками, стоявшими навытяжку возле его вагона, в полной боевой амуниции и с винтовками за плечами. Старика-казака с длинной окладистой седой бородой он не знал, лицо же другого, молодое безусое лицо, покрытое здоровым загаром, он вспомнил почти сразу и весело улыбнулся:

− А-а, убивец! Здорово, здорово!

− Виноват, Ваше Превосходительство, простите, − растерянно забормотал парень, вспыхивая до ушей, − никогда больше не буду.

− Надеюсь! – от души расхохотался атаман, чем привел в полное замешательство казака, лишив его окончательно дара речи.

− Так что, позвольте доложить, ваше превосходительство, − вмешался старик. – Отец я буду евойный, приказный Шестов, Ваше Превосходительство… Как вы, значит, изволили справедливо рассудить и с его, дурака, за евойную вину не взыскали… за кинжал, то ись... Прибежали мы с ним, значит, проситься к вам на службу в отряд. Большевиков бить…

Старик-казак, видимо, не отличавшийся красноречием и, к тому же, смущенный незнакомым офицерским обществом, несколько затруднялся в выборе слов, и благообразное лицо его заметно побагровело от старанья выразиться покрасивее.

− Ну, спасибо, спасибо, старик, − поспешил атаман вывести старика из затруднительного положения, − рад видеть в своем отряде таких молодцов… А как у вас там в Ключах остальные? Куда больше склоняются − к большевикам или к белым? – неожиданно бросил он вопрос старику.

Последний неторопливо полез рукой за борт мундира и, вытаскивая оттуда какую-то бумагу, слегка смущенным тоном заговорил:

− Оно, что греха таить… Спервоначалу, ровно, к большевикам больше склонялись… уж прости, атаман, на плохом слове… − запнулся он на секунду. − «Офицерье, – говорят, – не наш брат…». А как вышло это дело-то… с сыном, значит, так все назад и поперли на попятный… К тебе, значит…И приговор по случаю этого постановили. Вот он приговор-то, − про-

тянул старик вынутую бумагу.

Атаман бегло пробежал глазами несколько строчек, написанных кудреватым писарским почерком, взглянул на остальную часть листа, покрытую многочисленными подписями, и с просветлившим лицом повернулся к старику.

− Еще раз спасибо, дед. Вижу, твоя это работа, − взволнованным голосом заговорил тронутый атаман. − Образумил ты неразумных… Честь тебе и хвала! Ступайте теперь отдыхать и поесть, а потом сыпьте в Ключи за остальными… Да смотри − больше сыну кинжала в руки не давай: неровен час, кого-нибудь почем зря порешит, − смеясь, крикнул атаман вслед уходившим казакам, направляясь с своему вагону.

Опубликовано и печатается по: Загоскин Д.В. Казаки: Рассказы. Харбин, 1936. С. 1-16.

В ПОСЛЕДНЕЕ МГНОВЕНИЕ

Забайкальская быль

− А потому ваш отец арестован, распрекрасная барышнешечка, − развязным тоном договорил комиссар красного партизанского отряда Яковлев, вставая со стула и подходя к Насте. − Что выходите вы с вашим папенькой, бывшим поселковым атаманом, − иронически подчеркнул он последнюю фразу, − буржуи и, значит, враги народа.

Он наклонился к молодой девушке, стоявшей у стены с бессильно опущенными руками, и придвинул вплотную к ее бледному личику свое лицо распутного пьяницы-мастерового. Грозно выпучил налитые кровью глаза и прохрипел простуженным голосом:

− Поэтому я обязан на основании представленных мне полномочий… Понимаете? Полномочий, − раздельно произнес он, поднимая указательный палец к самому носу Насти. − Вашего папеньку ликвиднуть… В двадцать четыре часа! – неожиданно взвизгнул он. – И никаких гвоздей…

Комиссар отряда, из простых заводских рабочих, состоявший в амплуа «начальства» лишь несколько дней, явно «куражился», стремясь произвести своим величием впечатление посильнее как на расстроенную, перепуганную девушку, так, кстати, и на двух подчиненных красноармейцев, с офицерскими шашками наголо, стоявших у двери в качестве часовых.

− За что же? За что? – еле слышным вздохом вырвалось, наконец, из пересохшего горла Насти, и она невольным движением сложила руки, словно на молитву. Комиссар отступил на два шага назад, подбоченился, покрутил головой с видом глубочайшего соболезнования и глумливо повторил тонким «бабьим» голосом:

− За что? За что? Она не знает, за что… Ах, ты невинная сволота! – рявкнул он, надвигаясь на Настю со сжатыми кулаками. – А зачем отец го-

нял тебя в Борзю? А? Зачем таскалась? Говори, сейчас говори правду. Все равно мы все знаем…

− За солью, − через силу проговорила молодая девушка.

− За солью? – иронически протянул, усмехаясь, Яковлев. А к белобандитам в штаб тоже за солью бегала? – бешеным шепотом бросил он в упор обвинение.

− Пощадите! – жалобно отозвалась Настя. − Я только жениха повидать забежала.

Ее голос оборвался, и она замолчала, не спуская умоляющих глаз с лица Яковлева.

− Гм, гм, − откашлялся последний. – Вот что, товарищи… Выдьте-ка на крыльцо на малое время, − кинул он караульным повелительным тоном. − Надоть мне с девкой еще кой о чем в тайности покалякать.

После ухода караульных комиссар прошелся несколько раз взад и вперед по комнате, затем повернулся к Насте, круто остановился перед ней и, бросив украдкой быстрый взгляд в сторону двери, прохрипел пониженным голосом:

− Хочешь, чтоб отец твой жив остался?

− Голубчик! Век буду за вас Богу молить! – так и рванулась к нему Настя. – Что хотите берите… Все берите, только выпустите папашу.

− Что хотите, говоришь? Что хотите? − сдавленным голосом прохрипел снова Яковлев.

Толстые щеки комиссара налились кровью, и заплывшие зеленоватые глазки затянулись мутной влагой. Одной огромной жилистой лапищей он охватил кисть руки молодой девушки и, привлекая ее к себе другой за талию, промычал в самое ухо:

− Любви твоей желаю... Любви... Понимаешь?

− Что такое?.. Что?.. Что? − отчаянно вскрикнула Настя, выбиваясь из сжимавших ее объятий. − Вы с ума сошли! Вы с ума сошли!

− И даже совсем напротив, − расхохотался Яковлев. − При полной умственности состоим и весьма прекрасно понимаем, что нынче наша пролетарская воля.

Он выпустил Настю из рук, и молодая девушка, бледная, как мел, шатаясь подошла к плетеному диванчику, тяжело рухнула на него и замерла без движения.

− Ну, ну... Ничего! − изменил Яковлев насмешливый тон на грубоповелительный. − Вот тебе, девка, мой последний сказ.

Он секунду другую помедлил, что-то соображая, и затем, стукнув кулаком по столу, договорил жестким голосом:

− Как только завтра на зорьке отряд провожу, приду к тебе... Ласково встретишь − помилую твоего батьку... Нет − прощения просим... Эй, караульные! Захаров! Камков!

Грохоча подкованными сапогами, в комнату дружно ввалились, толкаясь в дверях, оба красноармейца и замерли, вытянувшись в струнку. Комиссар приосанился и не без самодовольства бросил в сторону Насти взгляд, красноречиво выражавший мысль: «Царь и Бог! Хочу с хлебом ем, хочу масло пахтаю».

−Товарищи, − суровым тоном обратился Яковлев к красноармейцам, указывая рукой на полубесчувственную Настю. − Вы мне головой отвечаете за арестованную. Отлучаться из хаты − по одному... Спать − вполглаза, по очереди. Разговоров с арестованной − никаких. Завтра утром приеду и сменю вас сам. Поняли?

− Так точно, товарищ комиссар, − загалдели наперебой оба парня.

− То-то же. Смотреть в оба, − погрозил Яковлев толстым пальцем, выходя из комнаты.

* * *

− Стой! Слезай! − протяжно скомандовал, поворачиваясь в седле, начальник отряда, молодой казачий офицер в бурке и енотовой папахе с желтым верхом. − Вот что, паря, − обратился он к адъютанту, − поезжай и скажи командирам, что мы здесь с час простоим. Пусть кормят коней. И люди чтоб чаевали, − кивком головы указал он на ключик, выбивавщийся невдалеке на полугоре.

С места привала открывалась широкая падь, одним концом постепенно понижаясь и расширяясь, уходившая к далеким берегам Аргуни, другим − упиравшаяся в дикие, крутые хребты Богдатского массива.

Солнце еще не показывалось из-за горизонта, но уже кокетливо бросало исподтишка первые бледные лучи на иззубренные края сопок, причудливо окрашивая их в аметистовые, палевые и пурпуровые краски бесчисленных теней и оттенков. По мере удаления от гребней гор краски постепенно тускнели, покрываясь сероватой пленкой, словно тончайшей вуалью, а ниже, в долинах и в падях, еще царил предрассветный полумрак.

− А и красота же!.. − восторженно воскликнул молодой офицер в гусарских погонах на пальто. − Ведь как будто и материала-то настоящего нет у художника для такой картины, − продолжал он, захлебываясь − Ни ледников, как на Альпах, ни уральских лесов, ни водопадов... Никаких резких, поражающих контуров. Одни холмы да багульник... А вот подите же! Недаром говорят, что природа − лучший художник и в материалах не нуждается. Из всего вылепит такое, что заглядишься.

− Хоть весь свет, паря, обойди насквозь, красивее нашего Забайкалья не сыщешь! − с убеждением в голосе поддержал гусара старик-хорунжий с резко выраженным монгольским типом лица, опушенным седоватой реденькой бороденкой. − Как Господь Создатель все благоустроил, так все и стоит по эту пору нетронутым. Степь да падь, да сопки кругом. Пока чело-

веки беспорядку не натворили: фабрик, заводов и прочей пакости.

− Ну, запел, дед, − рассмеялся, махнув рукой, начальник отряда, − теперь до вечера его не уймешь. А ты, паря, лучше скажи мне, где разъезд твой до сих пор шляется? − переменил он тон на официальный, обращаясь к старику.

− Нигде не шляется, господин есаул, − с обиженным видом козырнул хорунжий, − стоит небось там, где указано и наблюдает за поселком. Вон, должно быть, от него с запиской гонят, − торжественно ткнул он пальцем на темную конную фигуру, резко вырисовавшуюся на фоне бледноголубого неба на противоположном хребте.

− Пока подъедет, успеем с чаем покончить, − решил есаул. − Эй, тащи скорей котелки, − крикнул он казакам, возившимся возле костров.

С десяток офицеров отряда уселось в кружок вокруг разостланной командирской бурки и дружно принялось за холодную баранину в ожидании появления кружек с горячим сливаном.

Молодцеватый молодой казак круто осадил гнедого конька возле группы офицеров и, спрыгнув с седла, двинулся в их сторону неловкой походкой прирожденного конника, цепляясь ногой за болтавшуюся шашку. Стащив на ходу папаху, он достал из под подкладки маленький конвертик и, подойдя, протянул его есаулу со словами:

− От сотника... донесение...

Глаза всех присутствовавших офицеров одновременно впились в лицо начальника отряда, вскрывавшего конверт. По мере чтения на энергичное лицо есаула явственно ложилась печать озабоченности. Он вторично пробежал полевую записку, и на высоком, загорелом лбу обозначилась глубокая, резкая морщина.

− Н-да, штука, − обвел он взглядом кружок офицеров, поднимая глаза. − Совсем другой коленкор получается, черт его подери.

Есаул нервно щелкнул пальцами по бумаге.

− Вот, господа офицеры, − понизил он голос, видимо, не желая, чтобы слова его донеслись до ушей простых казаков и добровольцев, − послушайте-ка, что доносит Седых: «Высота к юго-востоку от поселка Мирного. Четыре часа десять минут. Начальнику отряда.

По-видимому, нашим штабом было получено неверное сообщение о силах красных. В поселке находится не менее шести сотен, а не две, как предполагалось. В настоящее время там замечается сильное движение. Похоже, что красные готовятся к выступлению. Продолжаю наблюдение. Ожидаю распоряжений. Сотник Седых».

Офицеры несколько времени молча переглядывались. Затем взгляды их снова сконцентрировались на начальнике отряда.

«Как-то мы вывернемся из этой истории и выполним поставленную нам задачу?», − красноречиво спрашивали их недоумевающее взоры.

Но ни тени страха, растерянности или нерешительности не замечалось на их мужественных лицах, что с нескрываемым удовольствием отметил про себя начальник отряда. Мрачная складка сразу исчезла с его лба, как бы стертая чьей то рукой. Голубые глаза сверкнули удалью и решимостью, и, резким движением сбив папаху на затылок, он выбросил отрывистым тоном несколько коротких, законченных фраз:

− Приказ атамана всем известен. Разогнать красных, собравшихся в поселке Мирном. Предполагалось, что там их две сотни. Оказывается, их шесть. Желаю слышать мнение каждого из вас. Что делать?

После короткой паузы, нарушая общее молчание, есаул повернул голову в сторону старика-хорунжего.

− Пусть, как оно полагается, наперед выскажется младший в чине. Говори, дед, свое мнение. Да не тяни кота за хвост. Руби сплеча, по-казачьи.

Старик-хорунжий вынул изо рта трубочку-носогрейку, которую непрерывно посасывал, недовольно покосился на есаула, сплюнул и коротко буркнул:

− Известно, что делать, − он сердито сверкнул из-под густых, нависших, клочковатых бровей блестящими черными глазками и, стукнув кулаком по земле, выкрикнул с вызовом в голосе: − По-нашенски. По-казачьи... Замахнулся, так бей!

− Ай да дед! Согласен! Правильно! Молодчина! − радостным гулом дружно приветствовал заявление старика хор возбужденных молодых голосов.

− Тише, тише, господа! − поднял руку начальник отряда, сдержанно усмехаясь.

− Ишь как дед растревожил огонь, очень рад, что все мы думаем, как один. Через четверть часа мы выступаем, а там, что Бог даст, − с довольным видом потер он руки.

Кроме явной причины удовлетворенности начальника отряда − обнаружившегося полного единомыслия командного состава, − не меньшую, если не большую роль сыграла и тайная мысль, с момента выхода из Борзи непрерывно точившая душу есаула.

Ночью ли, днем ли, но лишь только он закрывал глаза, перед ним мгновенно вставал смеющийся образ Насти. Отвагой и задором сверкали черные очи, и белоснежными нитями блестели два ряда мышиных зубов, когда она повторяла ему на прощание:

− Не боюсь я их, Андрюша, нисколько! Чего они мне, бабе, сделают?

«И зачем я только отпустил ее вперед? − мучился есаул денно и нощно. − С другой стороны, невеста − не жена. Своя у нее воля – не прикажешь. «Еще за отца, чего доброго, возьмутся, если не вернусь. Беспокоюсь я шибко. А тут соль привезу − ну, значит, все подозрения в сторону. Догады-

вайся, что я вас на них натравила…» Приласкала, облестила, колдунья, а теперь трясись, как бы ее не обидели».

Таким образом, долг и сердце шли в унисон, укрепляя энергию и решимость, крайне необходимые есаулу впоследствии предстоявшей схватки с втрое сильнейшим противником.

− Я так думаю, дед, − обратился он к старику-хорунжему после минутного раздумья. − Забирай свой второй взвод и дуй к Седых. Будет вас там ровно полусотня. Захватишь один пулемет с собой. Обойдешь поселок с востока – и начинай гвоздить по нему из пулемета. А полусотней пугай. Как? Сам знаешь. Не маленький. Не мне тебя учить. А уж я отсюда с остальными полутора сотнями... Ясно?..

− Так точно, господин есаул, − официальным тоном отчеканил хорунжий, прикладывая руку к папахе. − Все в аккурат понял.

− Ну с Богом, если так, дедушка, − хлопнул старика по плечу начальник отряда, − да смотри, не задерживайся. Неизвестно ведь, когда и по какой дороге красные двинутся. Да вот еще что, − спохватился есаул, − коли они поторопятся, двинутся раньше, нежели ты поспеешь обойти, пропусти и бей по хвосту. Ну, теперь все. Езжай.

Через несколько минут невдалеке от оставшихся офицеров по каменной осыпи заскрипели копыта и взвод старика-хорунжего справа по одному начал скатываться по крутому склону в долину, резкими зигзагами обходя огромные валуны, точно чьей-то циклопической рукой разбросанные по пути. Верткие, коренастые коньки, опустив косматые головы, ловко съезжали, почти сидя на крупах. В середине колонны на вьюке виднелся пулемет.

− Только бы успел проскочить, − сквозь зубы нервно вырвалось у начальника отряда.

− Успеет, − успокоительно протянул гусар. − Большевики, видно, не больно-то спешат, − кивнул он в сторону поселка, спрятавшегося от взоров наблюдателей за хребтом, занятым разъездом Седых.

С наблюдательного пункта белого отряда от всего поселка виднелись лишь пара колодцев да несколько изгородей для загона скота. Загоны были пусты, возле колодцев не было заметно ни души.

Докатившись до подошвы, взвод на ходу перестроился в колонну по три и наметом пошел по ровному месту. Достигнув противоположной стороны долины и перейдя в шаг, взвод быстро вскарабкался вверх по скату и почти тотчас же скрылся за перегибом.

− Фу! − с облегчением выдохнул из себя воздух есаул. − Теперь я спокоен. Эй, тащи сюда пулемет, − крикнул он, сложив руки рупором.

Быстро и сноровисто снятый с вьюка пулемет уже через пару минут стоял, хищно притаившись за гигантским гранитным обломком среди густых зарослей цветущего багульника, плюща и дикого винограда. Кроме

пулеметчиков, на позиции оставались лишь сам начальник отряда, адъютант и гусар, командир пулеметного взвода.

Воцарившаяся тишина нарушалась только редкими пофыркиваниями лошадей и приглушенными окриками на них казаков.

Неожиданно, как-то сразу из-за обрывистого зубца отдаленной высокой сопки брызнул яркий, ослепляющий луч, матовым серебром отразившийся на гладком стволе пулемета, и через несколько мгновений на бледную небесную синеву начал выкатываться огненно-пурпурный солнечный диск.

Одновременно с этим из-за гребня, прикрывавшего поселок, поползла узкая темно-серая полоса, медленно вытягивающаяся, подобно змеиному корпусу, в направление наблюдательного пункта белого отряда. Невооруженным глазом стало скоро заметно, что это ползущее змеиное туловище подразделялось на отчетливо различаемые членики.

−Раз, два, три... пять... шесть, − медленно подсчитал есаул. − Шесть сотен, − обернулся он, вопросительно глядя на гусара.

− Верно, и я подсчитал шесть, − согласно кивнул головой последний.

За тыловой сотней показался ряд троечных подвод с какой-то кладью. Колонна красных двигалась по пади, выходя на ту дорогу, по которой недавно пришел белый отряд, видимо, безо всяких мер охранения, совершенно не подозревая об их близком присутствии.

− Наши будут, − с непоколебимой уверенностью обронил есаул, − это уж как пить дать.

− Многовато их больно, − с оттенком некоторого сомнения возразил адъютант, не отрываясь от бинокля.

− Ничего, ничего! Сейчас увидишь, как дед их в оборот возьмет, − усмехнулся начальник отряда. − Гляди уже проходят его...

Сухой треск пулемета, многократно повторенный многоголосым эхо в горах, падях и распадках, подтвердил уверенность есаула, что старик-хорунжий момента не прозевал и свое дело выполнил в совершенстве.

В хвосте колонны красных поднялась сильнейшая сумятица. Часть подвод стала заворачивать обратно в поселок, часть кинулась в сторону высоты, занятой есаулом с его отрядом. Вдоль конной колонны в разных направлениях заметались одиночные всадники. Одна из сотен целиком вырвалась из общего строя и полным карьером понеслась также прямо на наблюдательный пункт, инстинктивно стремясь удалиться от опасного места.

В два прыжка гусар подскочил к пулемету, оттолкнул пулеметчика и быстро повернул ствол в сторону несущегося противника.

− Стой. Не торопись! − раздалось спокойное предупреждение начальника отряда. − Бей пока в середину колонны.

Через секунду резко застрекотал пулемет гусара и стройное тулови-

ще змеи оказалось порванным в самой середине. Десятки всадников выскакивали в стороны и группами неслись в разных направлениях. Паника охватила весь красный отряд. Управление людьми выпало из рук начальников, и люди метались взад и вперед безо всякого смысла, охваченные лишь одним непреодолимым стремлением спастись, во что бы то ни стало выйти из сферы огня, найти какое-либо укрытие от беспощадного ливня пулеметных пуль, крестивших воздух во всех направлениях.

В двух местах часть конных даже спешилась, рассыпалась в цепь, залегла и открыла беспорядочный огонь по невидимому противнику. Голова колонны, никем не тревожимая, махнувшая рукой на принцип взаимной товарищеской выручки, взяла просто в нагайки и, оторвавшись от центра, полным махом уходила с поля сражения.

− Коня! − повелительно крикнул через несколько минут начальник отряда и, поворачиваясь к пулемету, скомандовал гусару:

− Теперь лупи по этим! Огонь!

На полугоре в сотне саженей от гребня показалась длинная линия всадников. Кони, вымотавшиеся на подъеме, тяжело храпели, широко раздувая кровавые ноздри. Всадники, лежа на седлах, ударами нагаек выбивали у лошадей последние силы, чтобы скорее взобраться на гребень, который своим кажущимся безлюдьем сулил им безопасность.

Свист стального бича, внезапно ударившего по неприятельским всадникам и вырвавшего из их рядов большое число жертв, явился ударом грома с чистого неба и уничтожил сразу всякую тень пригодности к сопротивлению. Послышались отчаянные крики «назад, назад», и уцелевшие конные фигуры стали быстро исчезать, торопливо спускаясь с горы.

− Полусотня за мной! − громовым голосом гаркнул начальник отряда в эту минуту, выпуская своего коня. − Крепче держать коней!

Дикий рев, гикание, свист и крики «ура», раздававшиеся за спиной отступавших, превратили их отступление в беспорядочное бегство. Кое-где лошади, потерявшие равновесие, либо споткнувшиеся о валуны, предательски скрытые под буйной растительностью, опрокидывались через голову и всадники летели с седел и разбивались о камни. Там и сям лежали кони с переломанными ногами, тщетно пытаясь подняться. Некоторые всадники, отчаявшись уйти конными, соскакивали с седел и, бросив винтовки, скатывались с горы на спинах или прятались в густых зарослях багульника, подползая под кусты.

Когда полусотня есаула спустилась в долину, перед ней оказалась лишь жалкая кучка от целой сотни, которую есаул и погнал прямо на остатки колонны противников.

− Молодец, дед, догадался! − указал он шашкой скакавшему рядом адъютанту на высоту, занятую перед тем стариком-хорунжием. – Не зевает!

От высоты по гребню параллельно движению отходившего против-

ника быстро неслась небольшая группа конных, среди которой скакала вьючная лошадь с пулеметом.

− Орел! − крикнул в ответ адъютант, перекрикивая топот коней. − Он им перцу прибавит. Теперь до Соктуя их не остановить...

Возвращаясь после преследования разбитого противника, есаул чувствовал себя на седьмом небе. Поставленная ему задача была выполнена в полной мере, причем вместо предполагавшихся двух сотен, он разогнал целых шесть. Потерь в отряде у него не было почти никаких, за исключением трех легко раненых и пары покалеченных лошадей.

Но когда в недалеком расстоянии уже замаячили крайние хаты поселка Мирного, у него вдруг сильно екнуло сердце, и неприятный холодок быстро пробежал по спине.

«Настя как?», − сверкнула тревожная мысль. Он попытался успокоить себя соображеньем, что в самом поселке никто не сражался, а следовательно, ей ничто не могло угрожать. Но тут же он опроверг сам себя, вспомнив все рассказы о кошмарном поведении большевистских комиссаров в занятых городах и селениях в отношении несочувствующих. «Вдруг ее взяли на подозрение за поездку в Борзю?!.»

При одной мысли о подобной возможности есаула всего кинуло в жар, и он почувствовал, как красная кровавая волна захлестывает мозг, туманя зрение. Он постарался взять себя в руки, сделал нечеловеческое усилие и, выпрямившись в седле, скомандовал ровным голосом:

− Прибавь шагу!

* * *

Во всех хатах поселка стали гаснуть огни, и лишь в двух-трех местах еще продолжали нарушать чернильную темноту безлунной ночи слабые отблески потухавших костров.

Словно завороженные ночной тишиной, мирно дремали лошади партизан, опустив низко к земле свои косматые головы. Временами доносился откуда-то из темноты неожиданный храп испуганного коня, вслед за которым следовал ленивый окрик сонного человеческого голоса:

− Тише! Черт!

Быстро проходила короткая летняя ночь, и начинал легонько потягивать прохладный, предрассветный ветерок. Третьи петухи уже звонко завели свою утреннюю перекличку, и только в одном окне домика поселкового атамана продолжал одиноко светиться слабый огонек. Возле овального обеденного стола подремывали вполглаза, свесив головы на грудь, оба караульных. Изредка вскидываясь во сне, они полуоткрывали глаза, но, убедившись, что пленница все еще находится на старом месте, снова поникали головами и продолжали мирно клевать носами.

Настя просидела всю ночь, упершись локтями в колени, судорожно

запустив пальцы в свои густые, волнистые волосы, тихо, с регулярностью маятника покачиваясь из стороны в сторону. Изредка из ее нервно сжатого рта вылетало подавленное восклицанье «Господи!.. Господи!» или просто тихие, едва слышные стоны.

Неразрешимая задача, поставленная молодой девушке безжалостным врагом, своей непереносимой тяжестью камнем давила на ее мозг.

То с ужасающей отчетливостью представлялось ее мысленному взору мертвое, залитое кровью тело отца − и тогда она вздрагивала и впивалась взглядом безумной в икону Богоматери, висевшую в углу над столом, в то время, как ее помертвевшие губы автоматически повторяли:

− Не попусти, Владычица! Не попусти, Владычица!

Минутами горячечное воображение рисовало ей с беспощадной четкостью полупьяную, наглую физиономию фабричного с вызывающе закрученными рыжеватыми усиками, причем явственно слышался его сиплый голос:

− Любви твоей желаю! Любви...

В эти минуты Настю потрясали приступы жесточайшего озноба и молодая, цветущая, здоровая девушка впадала в полуобморочное состояние для того, чтобы через некоторое время снова придти в сознание и снова без конца биться в заколдованном кругу тяжких переживаний.

Порой, словно маленькая, светлая искорка мелькала среди калейдоскопа бурнокрутящихся мыслей какая-то крохотная надежда на спасение, на какое-то чудо, но тот часже гасла.

Резкий, предрассветный утренник, ворвавшийся в открытое окно, отвлек на время внимание Насти от тяжких дум. Она невольно подняла опущенные глаза, воспаленные от бессонницы. Небо светлело и становилось прозрачным. Привычное для ее уха перекликание петухов шло вовсю. В предрассветной мгле начинались возня и чирикание воробьев. По всему поселку раздавались людские голоса и слышался топот копыт коней, выводимых на водопой.

Приближение момента рокового ответа подхлестнуло молодую девушку и придало ей новые силы. Она напрягла всю свою волю, чтобы собрать разбросанные мысли и почти мгновенно пришла к неожиданному, но непреклонному решению умереть. Жить обесчещенной, отказаться от любимого человека, который, несомненно, с брезгливостью отшатнется от нее, казалось ей выше ее сил.

В поисках способа самоубийства лихорадочно блуждавший взгляд молодой девушки остановился на столе, возле которого безмятежно подремывали красноармейцы. На середине стола лежал наган, положенный одним из караульных, спавшим откинувшись назад, на спинку стула. Другой похрапывал, охватив винтовку обеими руками.

Настя медленно и неслышно потянулась, встала и, как тень, неслыш-

но пододвинулась к столу. Не спуская глаз с красноармейца, сидевшего к ней лицом, она понемногу стала протягивать руку к револьверу и уже почти касалась его пальцами, когда взгляд ее встретил широкооткрытые глаза проснувшегося красноармейца. Последний мгновенно покрыл ее руку своей и, прижав к столу, свободной рукой сгреб наган, назидательно проговорив без малейшей тени насмешки:

− Брось, девка! Не балуй!

Покачиваясь, как пьяная, Настя медленно отошла от стола и тяжело опустилась на диванчик.

Конский топот за окном стал понемногу усиливаться и приближаться и вскоре в посветлевшей рамке окна вырисовались первые ряды проходивших всадников. За первой сотней прошла вторая, затем третья. Сколько их еще было, девушка не считала, охваченная одной доминирующей мыслью: «Сейчас он придет!».

Вслед за последней сотней потянулся длинный ряд троечных подвод с реквизированным зерном. Прошла последняя подвода, и вновь наступила тяжелая давящая тишина.

Проснувшиеся караульные недовольно позевывали, потягивались и протирали глаза. Один из них вскоре вышел на крыльцо, но тотчас же вернулся обратно. Лицо его выражало чувство полной растерянности.

− Чтой-то наши стреляют под самым поселком! Пулемет тоже, − недоумевая, развел он руками, глядя на товарища.

− Ишь ты, − как-то нелепо удивился тот, − пойти послушать.

Оба торопливо вышли на крыльцо, позабыв о своей пленнице. Настя быстро подскочила к окну и высунула голову наружу. Против воли растерянность красноармейцев влила в ее сердце целительный бальзам надежды.

С той стороны, куда только что прошел отряд красных партизан, кроме методического татакания пулемета, доносились и еще какие-то крики, приближающийся стук колес и топот сотен конских ног. Прошла минута, другая, третья. Сидевшие на телегах люди с искаженными от страха лицами и перекошенными ртами дико орали во всю силу легких:

− Семеновцы!.. Семеновцы!.. Семеновцы! – и неистово хлестали кнутами бешено мчавшихся лошадей.

Вслед за первыми подводами нестройной массой, по несколько телег в ряд неслись остальные повозки обоза. Пролетев домик поселкового атамана, две телеги сцепились осями и одновременно опрокинулись. На них налетели задние, и тотчасже образовалась каша из подвод, людей и лошадей. Получился непроходимый затор. Возницы начали соскакивать и убегать в соседние дворы, бросая лошадей.

В эту минуту с неистовым гиком и свистом показалась группа всадников в однообразной казачьей форме и желтых погонах. Впереди на се-

ром коньке скакал старик-хорунжий, бешено размахивая шашкой.

− Стой! − скомандовал он, осаживая коня перед образовавшейся баррикадой.

В этот момент взгляд его упал на окно, занятое Настей, которая, конвульсивно вцепившись в подоконник, не спускала глаз с неожиданно явившихся спасителей.

− Батюшки мои! Никак Настя! − радостно раскрыл свои щелочки старик. − Здорово, милая! Принимай гостей! Сейчас и Андрюша будет.

Напряженные нервы ее не выдержали последнего резкого перехода от смертельной тоски к невыразимому счастью, и девушка медленно сползла с подоконника на руки подскочивших к ней караульных, бережно и почтительно подхвативших ее падающее тело.

Опубликовано и печатается по: Загоскин Д.В. Казаки: Рассказы. Харбин, 1936. С. 137-154.

ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Роб Рой шел эластичным, сдержанным галопом, разбрасывая по сторонам клочья густой белой пены, сползавшие с мундштука. Мягко покачиваясь в седле, Нина Анатольевна полной грудью вдыхала прохладный бриз, слабо доносившейся с моря сквозь плотную листву деревьев Александровского парка. Позади себя она слышала дробный топот копыт лошади грума, скакавшего в некотором отдалении.

– Groom, – на английский манер произнесла она вслух улыбнувшись, –groom… а имя – Трофим! Какая глупость! Как раз под стать этому малому, – вспомнился ей несколько придурковатый вид юноши, с какой-то собачьей преданностью таращившего на нее при встречах свои светло-голубые глаза.

Переведя лошадь в шаг, Нина Анатольевна инстинктивно повернулась в седле и встретилась глазами с пристальным взглядом грума, который он поторопился отвести в сторону, вспыхнув до ушей.

– Какая гадость! Только этого не доставало еще, – с брезгливой миной красивого рта передернула плечами молодая женщина, отворачиваясь. – Придется этого идиота прогнать.

Самолюбие одной из красивейших женщин Одессы было слегка «оцарапано» подобной смелостью какого-то ничтожества. Она могла квалифицировать ее как «наглость», требующую самого свирепого воздействия.

Но, по мере приближения к выходным воротам парка, гневные мысли стали понемногу блекнуть, заменяясь цепью приятных картин безоблачного настоящего и интригующих перспектив ближайшего будущего,

щекочущих утомленные нервы избалованной женщины.

– Нечего торопиться, -– взглянула она на часы-браслет. – Пусть подождет мой милый флирт, – с высокомерной усмешкой подняла Нина Анатольевна верхнюю короткую губку, чуть-чуть затягивая поводья. – Не шалить! – ласково прикрикнула она на гунтера, недовольно мотнувшего головой в знак протеста против такого стеснения его порыва.

Вскоре показался скалистый берег Ланжерона и запестрели ряды вычурных дач и длинная зеленая крыша ресторана-веранды. Нина Анатольевна поправилась в седле, выпрямила свой стройный стан, словно облитый темно-зеленой амазонкой, и едва заметно тронула стэком Роб Роя.

Спускаясь по крутому спуску к морю, Нина Анатольевна заметила знакомую фигуру в белоснежном костюме и светлой панаме. Отделившись от стены, фигура двинулась ей на встречу.

«Ага! Караулит мой милый флирт! – пронеслась торжествующая мысль в голове красивой амазонки. – Посмотрим, что будет дальше».

Она продолжала ехать, не ускоряя шага лошади, бросая по сторонам рассеянные взгляды, и только в нескольких саженях от мужчины в белом равнодушное выражение лица Нины Анатольевны сменилось удивлением.

– Вот не думала никогда, что вы – такая ранняя пташка! – с ласковой насмешкой низким грудным голосом произнесла холодная женщина, делая приветливый жест стэком. – Я была более чем уверенна, что эти утренние часы вы посвящаете скучнейшим докладам об овечьей шерсти и виноградниках… Оказывается, вы, Пантелей Викторович, вместо того, как влюбленный гимназист, вздыхаете на берегу лазурного моря, – с искусственным пафосом закончила она, бросая поводья и соскакивая на землю без посторонней помощи.

Во время всей этой длинной тирады Пантелей Викторович Синанов, известный всему югу России под кличкой «виноградный король» и «овечий герцог», стоял молча, приподняв панаму, причем на его смуглом, горбоносом лице выступали попеременно то выражение недоумения, то злости.

– Но ведь вчера за обедом у Ржевских вы мне сказали, что около восьми часов утра вы каждый день ездите в сторону Ланжерона на прогулку, – сверкнув черными, глубоко прорезанными глазами, многозначительно подчеркнул Синанов.

– А-а, – иронически протянула молодая женщина, усмехаясь, – значит, «непобедимый» Синанов решил, что я ему назначаю свидание с места в карьер после месячного знакомства? Недурно! За кого же вы меня принимаете?

Темный румянец выступил на смуглых щеках собеседника Нины Анатольевны, но он быстро овладел собой и, подавив смущение, отпарировал тоном протеста:

- За прелестнейшую женщину Одессы и только! Нашу же встречу – за счастливую случайность… для меня…

С веселым смехом взяла Ни 290 льевна своего собеседника под руку, говоря:

- Браво! Брависсимо! Премило вывернулись: по-рыцарски сказано. Мир! А в знак примирения разрешаю вам напоить меня лимонадом. Смертельно пить хочу!

Молодая женщина изящным движением ловко подхватила длинный трэн амазонки, обнаружив слегка узкий носок высокого лакированного сапожка с серебряной шпорой, и красивая пара двинулась, весело болтая к воротам ресторана, грум пристально, не отрываясь, беспокойным взглядом следил за нею. Он видел, как они прошли в ворота и повернули направо, миновали столики открытой веранды и подошли к низенькому зданию отдельных кабинетов. Он увидел, как к Синанову подскочил лакей и, что-то сказав, побежал вперед собачьей трусцой, и с низкими поклонами распахнул дверь, за которой все трое и скрылись. В светло-голубых глазах юноши появилось выражение беспомощной потерянности и застыло в них неразрешимым вопросом.

Через некоторое время тот же лакей вылетел из кабинета, куда-то побежал и вскоре вернулся с подносом, уставленным бутылками, снова вышел и встал неподалеку от двери, обмахиваясь салфеткой.

Не отводя глаз от двери кабинета, грум опустился на скамейку, держа в руках поводья, и усиленная мозговая работа отразилась на его лбу глубокой морщиной.

Красивая хозяйка была для него недосягаемым идеалом, божеством, которого не должна была касаться какая-либо непристойная, плотская мысль. Мужа Нины Анатольевны грум понимал как какой-то необходимый, неизбежным придаток к своей «королеве» и ровно никакого чувства ревности к нему не испытывал, принимая его как нечто узаконенное, а потому естественное. Настоящий же случай до основания разрушал все здание капища «согрешившей богини», и в разгоряченном мозгу юноши понемногу утверждался такой невероятных хаос мыслей, что он только нервно сжал виски обеими руками и, упершись локтями в колени, так и застыл в позе безысходного отчаяния.

Прошло около получаса, как неожиданно над самой головой раздался смеющийся голос хозяйки:

– Да он, кажется, спит!

* * *

Нина Анатольевна и сама не отдавала себя ясного отчета в том, что именно подвинуло ее на такую не совсем приличную «эскападу» с Синановым. Физического влечения к нему, вообще холодная по натуре, она ни-

какого не испытывала. Скорее всего, влекло ее властолюбивое стремление видеть шествующим за ее «победной колесницей» миллионера, на которого со всех сторон шла планомерная, продуктивная охота всех местных «Дев».

К мужу, представительному и корректнейшему, «гоноровому» Мечиславу Мечиславовичу Подгорельскому, Нина Анатольевна относилась весьма «прохладно», и, если не изменила ему ни разу за пять лет совместной жизни, то произошло это частью от лени, частью от отсутствия темперамента, так как кандидатов на звание «фаворита» признанной красавицы города вокруг нее вертелось великое множество.

– Какая ты ледяная! – нервно жестикулируя и волнуясь, часто говорила ее приятельница баронесса Штрамм. – У всех порядочных женщин Одессы имеются любовники, одна ты, как пальма в аравийской пустыне, живешь без толку: ни себе, ни людям. Даже у моей старшей горничной Юлии, – хохотала она, – двое: пожарный и какой-то писарь. На что уж она личиком не вышла…

– Дорогая, Катишь, – лениво улыбаясь, отшучивалась обыкновенно молодая женщина, - довольно с меня моего почтенного супруга. Не имею ни малейшего желания вносить в свою жизнь какие-то лишние треволнения. Мое душевное равновесие мне дороже всего...

И в настоящем случае молодая женщина не собиралась доводить завязавшейся интриги до конца, предполагая ее капризно оборвать, когда этот флирт ей надоест. Но пока эти «случайные» встречи тешили и льстили ее самолюбию, свидания на Ланжероне стали временами повторяться, и так тянулось дело почти целый месяц

Грум худел, бледнел и, видимо, изводился от терзаний мучившей его ревности.

– Что это ты, Трошка, ходишь точно дюжину мух заглотал? – зубоскалил в людской старший кучер Иван Степаныч. – Человек ты молодой, собою видный, ездок, можно сказать, первеющий… А поглядишь на тебя – плюнуть хочется!

– Должно быть, Трофим Макарыч влюблены, – фыркнула в передней шустрая горничная Даша. – Это, сказывают, завсегда так бывает, значит, без взаимности… Другие так даже руки на себя накладывают от любви от этой самой, – поучительным тоном заключила она свою речь.

– Ну, и дураки! – отрубил словно припечатал старик лакей. – Из-за бабы... Тьфу! Драть таких надо!

– Какая баба, – многозначительно подчеркнула горничная и кокетливо повела плечиком.

– Правильно, Дарья Петровна! – поддержал ее кучер, косясь на «обильный» бюст шустрой девушки.

Из всех присутствовавших в людской один лишь грум не принимал

участия в интересных дебатах, продолжал сидеть «ровно столб соляной», по определению стряпки, и относясь с полным безразличием к шуткам и приставаниям сослуживцев.

Почти все свободное время проводил он в конюшне с лошадьми, замывая, скребя и зачищая их без конца. Особенного же внимания удостаивал грум светло-гнедого гунтера Роб Роя, холя и натирая его до золотистого глянца, словно желая усиленной работой отвлечь себя от какой-то idée fixe, крепко овладевшей его мозгом.

Тем временем свидания на Ланжероне шли своим чередом и понемногу превратились в ежедневные...

Грум, наконец, не выдержал, и, выбрав время, когда Нина Анатольевна выехала из дому с визитами, зашел на господскую кухню и потребовал от горничной, чтобы она доложила «самому барину» о его приходе.

– В посаженные отцы Мечислава Мечиславовича просить пожаловали? – ядовито полюбопытствовала Даша, обиженная на грума за равнодушие к ее прелестям.

– Иди, иди, язва! – мрачно подтолкнул ее в спину грум. – Не твое дело…

* * *

Крупный одесский делец Мечислав Мечиславович Подгорельский-Збышко больше всего в жизни ценил: во-первых, деньги, во-вторых, деньги и, в-третьих, деньги, а в-четвертых, свою супругу Нину Анатольевну. Последнее, т. е. Нину Анатольевну, ценил он, главным образом, потому, что она своей красотой невольно содействовала попаданию этих самых денег в карман Мечислава Мечиславовича. В этом отношеннии Мечислав Мечиславович стоял на так называемой «практической» точке зрения, рассуждая не без основания, что там, где сам дьявол ничего поделать не в состоянии, зачастую может помочь только женщина.

От Нины Анатольевны требовалось поэтому красиво председательствовать на интимных обедах, даваемых Подгорельскими разным промышленным, торговым и административным «тузам», эффектно блистать «родовыми» бриллиантами в ложе бенуара и затмевать своей красотой дам местного бомонда, привлекая всем сказанным к своим изящным ножкам тех или иных персонажей, необходимых Мечиславу Мечиславовичу в его «игре».

Порою люди, любящие совать свой нос в чужие дела, задавали аборигенам города, близко знакомым с Подгорельскими, вопрос:

- А скажите, пожалуйста, на какия средства так широко живет ваш знакомый?

В большинстве случаев ответы получались мало вразумительные, причем обыкновенно упоминались богатейшие каменноугольные копи на

Урале, рыбалки на Белом море, четырехэтажные дома в Варшаве... Словом, делались ссылки на такие статьи дохода, до которых скачи – век не доскачешь.

Менее деликатные или же прирожденные скептики обычно отделывались кратко:

- А черт его знает... Может быть, фальшивками торгует, а может быть, и девчонок в константинопольские лупанары поставляет... Темная копейка...

Но так как добрая половина Одессы искони состояла из «темных копеек», то применить остракизм к Подгорельскому никому и в голову не приходило, и он продолжал спокойно процветать, собирая на своих обедах, славившихся особой изысканностью, сливки местного общества.

В сношениях с людьми Мечислав Мечиславович корректностью отличался самой совершеннейшей, слова цедил сквозь зубы с надменностью английского лорда и прислуге своей всегда говорил «вы», даже кучеру: чем тот чрезвычайно гордился.

После того, как Мечислав Мечиславович с непроницаемым лицом прослушал несколько несвязный рассказ грума о конспиративных встречах на Ланжероне, на его благообразной физиономии, украшенной длинными, пышными бакенбардами, не дрогнула ни одна жилка. Он спокойно поднял глаза на болезненно-худое лицо доносчика, с полминуты подумал и, сделав величественный жест рукой в сторону двери, раздельно обронил лишь два слова:

– Можете идти.

В тот момент, когда грум уже открывал дверь, чтобы выйти, за спиной его раздался металлический голос, проговоривший с угрозой:

– И не болтать!..

Несколько минут Мечислав Мечиславович сидел, задумавшись, перед своим огромным письменным столом, заваленным толстыми цветными папками с «делами», о чем-то размышляя, что-то взвешивая. Затем он сразу вскочил на ноги, с юношеской стремительностью пробежался раза два по кабинету, вульгарнейшим образом щелкнул пальцами в воздухе и рассмеялся.

* * *

Пантелей Викторович Синанов быстро распахнул дверь знакомого кабинета ресторана и обомлел на пороге... Вместо ожидаемой Нины Анатольевны, на него смотрело с дивана любезно-ухмыляющееся лицо Мечислава Мечиславовича.

– Вы?.. Вы? – машинально вырвался у него вопрос.

– Разумеется, я, собственной своей персоной, – весело осклабясь, произнес Подгорельский, вставая с дивана и дружелюбно протягивая руку. –

Вот если бы вместо мужа вы здесь нашли жену, – как будто ни с того, ни с сего прибавил он, продолжая улыбаться, – тогда я бы еще понял ваше удивление, дорогой друг.

– Позвольте, позвольте... причем здесь Нина Анатольевна? – растерянно пробормотал Синанов. – Я не понимаю... я...

Усмешка продолжала змеиться на тонких губах Мечислава Мечиславовича, но одновременно с этим карие с прозеленью глаза его жестким взглядом буравили лицо собеседника.

«Понимаешь, брат!», – отчетливо говорил этот взгляд, в то время как он шутливым тоном ронял слова объяснения:

- Это я так... к слову... А за словом пойдет дело, – уже совсем откровенно рассмеялся Подгорельский. – Очень, очень рад нашей «случайной» встрече, – подчеркнуто произнес он слово «случайной». – Я рассчитывал встретиться здесь с другим лицом, но, раз уже нас столкнула судьба, я попрошу вас оказать мне небольшую дружескую услугу

– Весь к вашим услугам! – нерешительно поклонился его собеседник, стараясь овладеть собой и понять, к чему клонится весь этот разговор.

Мечислав Мечиславович вопросительно уставился на Синанова.

– Мне бы крайне хотелось иметь ваш автограф, дорогой друг, – полушутя, полусерьезно заговорил он после небольшой паузы, вынимая из бокового кармана пиджака пачку вексельных бланков. – Между нами говоря, – понизил он голос, – моя Нина Анатольевна наделала за последнее время порядочно-таки долгов, чем поставила меня временно в затруднительное положение...

«Почему он опять упоминает про Нину? – молотом загвоздила в мозгу Синанова тревожная мысль. – Он что-то знает или подозревает...»

Но вслух он только повторил:

– Весь к вашим услугам.

Подгорельский небрежным жестом бросил на стол пачку бланков.

– Сколько? – решительным тоном справился собеседник, доставая самопишущее перо.

– О, пустячок!.. – успокаивающе поднял Подгорельский обе руки ладонями к верху. – Пятьдесят тысяч всего, но как на грех сегодня у меня срочный платеж.

Не раздумывая ни секунды, Синанов торопливо подписал векселя и отодвинул их от себя.

– Merci, – небрежно засунув пачку в карман, процедил сквозь зубы Мечислав Мечиславович и, сухо кивнув головой, вышел из кабинета.

– Какой отпетый мерзавец! – гадливо поморщился Синанов. – Бедная Нина!.. – невольно вздохнул он, сжимая кулаки.

* * *

С удовольствием проглотив последнюю ложечку земляничного крема, Мечислав Мечиславович медленно поднял глаза на жену, задумчиво помешивавшую свой послеобеден [295] , и заговорил веским тоном с подчеркивавшими и многозначительными паузами:

– Милая Нина... вы бы очень обязали меня, если бы прекратили... ваши утренние прогулки в... сторону Ланжерона... Они мне не нравятся...

Сквозь тонкую кожу молодой женщины пробился нежный румянец и волной разлился по лицу. Некоторое время она молчала, словно не решаясь задать интересующей ее вопрос. Затем высокомерным движением она высоко вздернула красивую головку и, презрительно глядя в бегающие глаза мужа, спросила спокойным тоном:

– Почему?

Мечислав Мечиславович нервно заерзал на стуле, понемногу утрачивая свой надменно корректный вид, побагровел почти до синевы от сдержанной злости и, наконец, не выдержав, крикнул визгливым, сорвавшимся голосом:

– Я так желаю... Тысяча дьяволов!

Молодая женщина медленно поднялась, смерила мужа оскорбительным взглядом с головы до ног, криво усмехнулась и, не произнеся ни слова, вышла из столовой.

* * *

Нина Анатольевна навзничь лежала на низеньком турецком диванчике в своей гостиной, заложив руки за голову. Она тщательно обдумывала спортсменский костюм для очередного яхт-клубского пикника…

– Барыня, вы не спите?.. Барыня! – неожиданно раздался за ее головой прерывистый шепот вошедшей Даши.

Молодая женщина лениво повернула голову и встретила взглядом исковерканное ужасом лицо своей горничной.

– Что случилось? – на мгновение теряя самообладание, тревожным звуком отозвалась Нина Анатольевна, садясь и спуская ноги с дивана. – Да говори же, наконец, толком! – повелительно прикрикнула она на Дашу, дрожавшую всем телом, словно в жесточайшей лихорадке.

– Трофим… Назарыч... повесились... – стуча зубами, раздельно выдавила из себя горничная. – На вожжах... в конюшне...

Нина Анатольевна в полном недоуменна широко раскрыла свои темно-серые глаза и на секунду даже усомнилась, в здравом ли уме ее собеседница.

– Какой Трофим Назарыч?.. Зачем повесился? – машинально переспросила она, пристально вглядываясь в лицо Даши.

– Грум ваш... Трофим... На вожжах... – бессвязно продолжала лепетать девушка. – Барин их после завтрака рассчитали, а они... возьми да повесь-

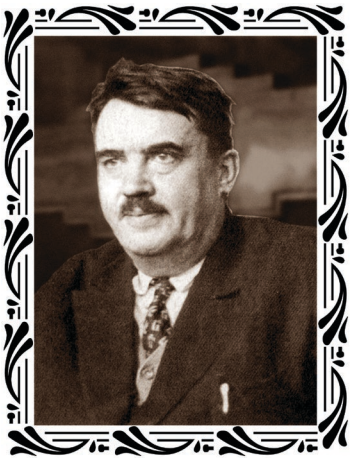
ся...

Едва заметная тень недовольства проскользнула по красивому лицу Нины Анатольевны, и, пренебрежительно усмехаясь, молодая женщина сухо отчеканила:

– Умный человек не повесится... Вот что, – после минутного раздумья приказала она, – передай кучеру, Даша, чтобы завтра к восьми часам утра мне была бы подана маленькая пролетка… Да вытри слезы, а не то подумают, что ты была влюблена в этого... как ты сказала?.. да, Трофима, кажется?

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1937. № 9. С. 1-4, 6, 8, 10.

Проза



Всеволод Никанорович ИВАНОВ *(1888-1971)*

Писатель, журналист и общественный деятель Всеволод Иванов родился 7 ноября (ст. ст.) 1888 г. в городе Волковыске Гродненской губернии в семье уездного учителя рисования. Окончил Костромскую гимназию и историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Участник Первой мировой войны. Работал в газетах Перми («Народная свобода», «Сибирские стрелки»), Омска («Наша газета», «Сибирская речь»), Владивостока («Слово», «Вечерняя газета»). В 1922 г. эмигрировал в Китай. Сотрудничал в газетах «Свет», «Русское слово», «Гун-Бао», «Заря» (Харбин), журналах «Рубеж» (Харбин), «Понедельник» (Шанхай) и др. Уехав в Шанхай и получив советское гражданство (1931), работал в шанхайском отделении ТАСС. Автор книг «В гражданской войне. Из записок омского журналиста» (Харбин, 1921), «Мы. Культурно-исторические основы российской государственности» (Харбин, 1926), «Крах белого Приморья. Из записок журналиста» (Тяньцзинь, 1927), «Рерих – художник, мыслитель» (Рига, 1937), «Огни в тумане: Думы о русском опыте» (Харбин, 1932), «Поэма еды» (Владивосток, 1921; Харбин, 1928), «Беженская поэма» (Харбин, 1926), «1905 год: Роман молодой души» (Харбин, 1929), «Сонеты» (Токио, 1922; Харбин, 1930), «Повесть об Антонии Римлянине» (Харбин, 1932) и др. В феврале 1945 г. вернулся в СССР, жил в Хабаровске, где продолжал заниматься литературным творчеством. Член Союза писателей СССР. Умер Вс.Н. Иванов 9 декабря 1971 г. в своей постели. Похоронен на Центральном кладбище Хабаровска.

Ист. и лит.:
Официальный сайт писателя // www.Vs-N-Ivanov.narod.ru.
Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник. М., 2006. С. 281-282.
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 134–135.
Якимова С.И. Жизнь и творчество Вс.Н. Иванова в историко-литературном контексте XX века. Хабаровск, 2001. 258 с.

1905-Й ГОД. РОМАН МОЛОДОЙ ДУШИ
(Отрывок из романа)

Вторая глава

Домохозяин Чечевицын, кривой, редкозубый и редкобородый, сидел целыми днями в своей лавчонке «Торговля чаю, сахару и бакалеины», как значилось на вывеске, а Переломовы жили у него в соседнем домике. Псы заливались, лаяли, чего же им, псам, делать, а Николай обошел кругом домика с закрытыми ставнями за стрекозиными прыжками босой по ледку Федосьи и, поднявшись по темной, залитой помоями щербатой лесенке, стал щупать, где отстало ухо у обитой войлоком двери. Потянув за войлок, он ступил в низенькую переднюю. Прямо, в столовой, где висела семейная гордость – яркая керосинокалильная лампа «Молния», было темно. Значит, отца еще не было дома. Направо, в комнате с лежанкой, у лампы с

зеленым колпаком сидела бабушка Настасья Ивановна и, шевеля губами, читала «газетенку» «Русское Слово». Она была москвичка, истая и неистовая, и потому никакого другого органа печати не признавала. Из комнаты дышало жаром – она очень любила, чтобы у ней было потеплее. В комнате налево, за ломберным столом, озаренный керосиновой лампой с синим стеклом, младший брат Константин выжигал по дереву. Белый дым струился из-под раскаленной докрасна иглы, пшикала резиновая груша, но он стоически выносил едкость гари и только морщил свой приплюснутый нос. Он хорошо рисовал, и отец, посылавший работы своих учеников в Академию Художеств, гордился тем, что Костя получил оттуда похвальный отзыв, из которого он, впрочем, немедленно устроил крестовку (змея), соблазненный добротностью бумаги.

– Ты, Колюшка? – спросила бабушка, сдвигая очки на кончик носа, и исподлобья всматриваясь в темноту серыми глазами.

–Я, – ответил кряхтя, Николай, снимавший в это время пальто. – Ужинали?

– У нас, брат, сегодня и ужин – каша жареная! – звонко расхохотался Константин. – Не больно попотчуют!

– Попотчую я вас, ребята, об лавку носом, – весело сказала бабушка, снимая на момент очки и набивая ноздри табаком; она любила нюхать табачок. – Ишь, разносолы, котлеты вам подавай.

– Где папа? Не вернулся еще? – спросил Николай, входя и причесывая гребенкой длинные волосы. Расстегивая пояс и курточку, он уселся на сундук, стоявший в голове высокой перинной бабкиной постели и в этом разделанном под орех объеме хранивший богатства бабки.

– Отец-то? Завей горе веревочкой, загни его колечком, – отвечала старуха, добродушно непочтительно отзываясь о своем единственном сыне. – Где? Конечно, ухрял – все туда же!

– Опять, значит, будет выпивать, – мрачно заметил Николай, сдвинув вместе носки сапог и смотря на них прищуренным глазом.

– А как же! — гневно всколыхнулась бабушка. – Нужно же с муженьком компанию держать... Намедни, сам помнишь, утром какой явился, в «реальную» не пошел. Записку написать – не может… А все она змея подколодная, все она!

У Николая Переломова всякий раз, как подходили к этому пункту жизни переломовского семейства, замирало сердце. Простой и прямой, в то же время подсматривающий за самим собой каждую минуту, он чувствовал, как у него останавливается дыхание; отчасти это было известное почтение к отцу. Что бы там ни говорили в гимназии и в кружках, так же ясно и просто, как чувствовал он голод, жажду, усталость, радость, он чувствовал, что отец выше его, что в том истоке событий, который грохоча несется мимо и называется жизнью, отец стоит впереди его. Будет время,

он это знал, когда ему придется столкнуться с этим потоком самому, но теперь, пока, как в тишине оранжереи, в его душе расцветали самые диковинные цветы, он был за спиной отца. Поэтому он не мог не подчиниться внутренне отцу. Но, кроме этого чувства бережной любви к своему родителю, в таких беседах его обуревало еще другое, сложное и темное чувство.

Это было чувство заглядывания в бездну, в пучину отношений к женщине... Застенчивый, он просто не понимал товарищей, когда они говорили так о женщинах. Их разговоры, самые неожиданные предметы и фотографии, которые они таскали с собой в класс, не то чтобы не интересовали его. Они просто казались ему декорацией, внешностью иных, более глубоких, сложных и страшных отношений, которые он знал, но которые, как бы насыщая воздух, носились кругом. В романсах отца, которые он напевал в своем кабинете, в углубленном его голосе, когда он говорил с м-м Фиониной, в том его настроении при уходе, по которому можно было угадать безошибочно, куда он идет, во взрывах буйной отцовской ласковости, являвшейся иногда, или наоборот – в его подавленности и суровости, Николай чувствовал какой-то особый, сложный, затягивающий мир, которого хотя он и не знал, но слышал вот так, как иногда ясно слышат в море, далеко от берега, страстный, сладкий, тяжкий дух цветущей земли.

Этой повинности подлежали все. И Федосья, у которой отец однажды извлек из-под кровати соседнего сапожника, присутствие которого учуяла по сапожному духу бабушка. И белошвейка Катя, не раз о чем-то горячо совещавшаяся с бабушкой и жалко плакавшая, утирая нос заказом. Да, наконец, и сама бабушка, начавшая как-то рассказывать, какие красивые шинели носили когда-то студенты, и в пример приведшая такого одного медицинского студента, у которого она испугалась пепельницы-черепа, вдруг коротко как-то рассмеялась и замолчала, поджавши губы.

Он понимал всю сложность этого положения, но ничего не мог выразить или посоветовать, когда бабушка, снявшая черной проволоки очки и аккуратно, с придыханием задвинувшая очешник, гневно наклонясь к нему, взволнованно говорила:

– Колюшка-батюшка! Я понимаю, он мужчина еще в соку, ему баба нужна. Да он – слава Богу, за него всякая пойдет. Нешто мало ему на шею вешалось... Вот француженка, Алиса Петровна-то, уходить не хотела. Я ему говорю: «Антонушка, да ты о детях-то, о вас подумай…Ну, хорошо, возьмешь ты ее со всем хвостом, сраму не оберешься... Да и до своих руки не дойдут…». Нет, против твоей матери, Колюшка, против Елены Васильевны, что ушла она от Антона, большое у меня горе...

– А где она, бабушка? – спросил тихо Николай.

– Где? Ну и живет с ним, ну с этим, знаешь?

Николай молча кивнул головой. Этого он не знал, но об этом дога-

дывался.

– Ну так-то живет и живет, а ведь твой отец, прости Господи, как дурак около своей крали ходит и не видит того, что люди просмеяли… Намедни пошла я к инспекторше Зинаиде Николаевне – славная такая – чайку попить. А она инда заплакала: «Матушка, – говорит. – Настасья Ивановна, – говорит. – Да как-же, – говорит, – это Антон-то Николаич... Ведь мне детей жалко», – говорит!..

– Ну, не ея это дело, – насупился Николай, вспоминая припудренную, чуть подрисованную «инспекторшу» с глухим воротником черного платья, мысочками, ехидно поднятыми к самым мочкам восковых ушей. – Чертова кукла.

– Я тебе скажу, Колюшка-батюшка, – низко наклоняясь к нему, проговорила бабушка. – Я намедни-то ездила на богомолье... Спасибо, хозяин научил – Чечевицын: «Вы, – говорит, – Настасья Ивановна, съездите к старичку одному, колдует и гадает он хорошо Он, – говорит, – это дело сразу вам обтяпает и Антона Николаича ослобонит. Антона Николаича мне очень жалко, – это про отца-то, – очень чу, образованный барин», – говорит. Хорошо! Поехала это я, доехала до станции Кузьмовны, слезла. А Катя, белошвейка, со мной, говорит: «Барыня, а дальше как?». Ну, сбегала она, наняла дровни, поехали в деревню. Подъехали, спрашиваем: «Где Егор Геннадьич живут?». Показали... Хорошо живет. Горница высокая, по стенам да по полатям все травы какие-то развешаны. Худой такой мужчина, постный. Выслушал он меня – как, что и почему, посмотрел вот так в ковшик с водой и говорит: «Вижу, – говорит, – что сделано, – говорит, – ему на пиве. Где-то пил, вот и околдовали...».

– Ну и что же?

– Да вот что... – и бабушка Настасья Ивановна, поднявшись с кряхтением со стула, со звоном отомкнула сундук, достала оттуда зеленую бутылку пива «завода Дурдина» и, торжественно показав ее, спрятала обратно.

– «Вот, – говорит, – это, – говорит, – пиво отобьет все! Дайте только выпить раз и все кончено. Как рукой снимет... Пивко-с». Теперь она, сука, у меня сына не отобьет.

Николай расхохотался.

– Вот штука-то, ха-ха-ха-ха! Так, значит, пивом пиво вышибай. А сколько надо выпить?

– Дура-ак, дура-ак! – укоризненно протянула улыбавшаяся бабушка.

Глухая возня, стук замка – и слышно было, как вошел отец. Он шуршал за стенкой пальто, потом прошел в столовую и долго сморкался. Из притворенной бабушкиной двери лился красный свет лампады и слышался громкий шепот. Она молилась.

Отец медленно, ощупью вошел к ним, наклонился сначала к Косте, а

потом к Николаю, который притворился спящим. Отец перекрестил сына и наклонился, чтобы поцеловать его; Николай явственно услыхал, что от него пахло табаком, водкой и духами той.

Отец вышел, а Николаю захотелось сжаться под одеялом в маленький-маленький комочек и заплакать. Почему его мать не с ним? Почему-то она живет где-то в Польше, имеет свою семью. Почему она не с ними, с ее детьми? Почему их отец занят той? Почему каждый болван смеет так неосторожно прикасаться к ранам сердца?.. Где же семья, как стена нерушимая?

И ему захотелось завыть под одеялом от сдерживаемой тоски. Так легче... становится совсем легко, если шепотом сказать стих Лермонтова:

Прочь, прочь, слеза позорная,

Кипи, душа моя!

Успокоившись, он вытянулся, устроился поудобнее и, замолчавши мыслями, готовился уже кануть в таинственном море сна. Уже в ушах что-то зазвенело, уже поплыли сливающиеся, переходящие один в другой образы, как вдруг он вздрогнул: басом, обрывисто прорезав глухую ночь, нагнетая с силой воздух, такие необычайные – ударили два выстрела.

Залились, зазвенели, заголосили собаки. Волны собачьего лая разбежались по всей Нижней Дебре, поднялись по Богословской и по Губернаторской горам, добежали аж до Русиной и утихли где-то далеко-далеко под мелодичный перезвон часов Кафедрального собора.

Николай приподнялся было на локоть, перекрестился и медленно опустился в сон, в тишину под жаркий шепот бабушкиной молитвы, не помня ничего до тех пор, пока весеннее солнце не уперлось ему прямо в кровать…

Этими весенними мартовскими утрами было так ясно в столовой. От яркого солнца крутые листы фикуса и лапчатые рододендрона просвечивали ярко зеленым. На старую клеенку стола, на чашки, стаканы, на желтый самовар лился беспощадный, веселый свет, и чувствовалось, что за окном должны весело завести свое бормотанье несущиеся по улицам вешние ручьи.

Николай, стоя, отхлебывал из стакана горячий чай и листал учебник всеобщей истории. О, кто когда запомнил бы их, все эти реформации, реакции, всех этих чужих королей…

Федосья вошла невольно.

– Коля, тебя там товарищ спрашивает, – позвала она.

И веселый, оживленный крепким молодым сном, чувствуя, как легко ступают ноги, он спрыгнул с лестницы прямо на доску, что по кирпичам расстелена была в луже, пустив кругом целый фонтан брызг.

– Пошел к черту! – пробурчал сосавший папироску его одноклассник, плечистый, атлетического сложения Алексей Прозоров. – Дело, брат,

есть…

– В чем дело? — беззаботно спросил Переломов. – Сказывай, девушка, сказывай!...

Но вглядевшись в нахмуренное лицо Прозорова, в его прыгающие губы – он остановился:

– Что с тобой, Алексей? Что случилось?

– Сегодня ночью убит Вася Усов, – сказал Прозоров и неожиданно заплакал, что так не шло к нему…

Человеческая душа – инструмент, первый звук которого кажется неожиданным и пугает. Факты, о которых раньше знали, предстоят в необычности грозного сознавания… Николай Переломов знал, что такое смерть; он никогда не забыл впечатления холода, которое он испытал, прикоснувшись к лобику умершей сестры Люды. Но впервые в сознательном возрасте ударила так близко от него молния смерти.

Первое, что он вспомнил, было то, что Василий оставил у него после гимназии свои ноты, и значит, он их больше никогда не возьмет. И он невольно содрогнулся от лика этого «никогда».

– Где же он теперь? – уставившись в припухшее, обветренное лицо Прозорова, спросил Переломов. Он хотел спросить-то «кто убил», но отзвук мысли об уходе Васи вылился в форму такого вопроса.

– Лежит в полицейском участке на Никольской. Убил его вчера на берегу Волги часовой у интендантства, – отвечал Прозоров и покачнулся. Видимо, он едва держался на ногах.

– А с тобой что? Ты не спал что ли?

– Пойдем-ка, брат, лучше туда, – указал Прозоров на окно сеновала. – Я тебе все расскажу.

Приятели взобрались по шаткой лестнице на сеновал, свиной, мерзлый еще воздух которого был неприятен; сквозь щелястые стены пробивалось солнце, и в нем плясали радужные пылинки.

Прозоров присел на порожке и нервно закурил.

– Видишь ли, вчера поздно вечером собрались мы на массовку на берегу, около акушерки. Прошли мы с ним, ничего не заметили; паролем был «Иван Иванович». Нас провели, собрались вот так же на сеновал.е Нинка Лебедева говорила, толково говорила: «Бастовать, – говорит, – нужно». А Василий и говорит мне: «А ну их к черту, пойдем лучше выпьем пива...». Вышли на улицу, прошли в Дурдинскую портерную...

«И сделано это ему на пиве», – вдруг невольно пронеслось в голове Николая.

– Только присесть успели – полиция. Этот пристав рыжебородый – Слободской-то, сволочь, врывается. «Вот, – говорит, – они оттуда вышли... Бери их». Василий раз ему по глазу, да бежать! «Беги, – кричит, – Алешка!».

Куды тут бежать... Меня сразу схватили, в участке заночевал. А потом смотрю, и его приносят. Он побежал к Волге, городовые за ним; и набеги он на часового... Тот ему крикнул: «Стой», да и пристрелил...

Вот какие выстрелы слышал ночью Николай. Значит, тогда умирал Василий...

И день как-то словно потемнел вокруг Николая. Не стало Николая. Не стало ни солнца, ни весны. Какие-то сложные нити забот вступили в душу.

Подымалось черное светило. Надо бы действовать.

– Кто еще арестован? — спросил отрывисто Николай.

– Были, что в сарае заседали, да их всех выпустили, – отвечал Прозоров. – Анютка Матвеева была, знаешь, красная малинка, потом Серега Огородников. Много на вели, целый участок. Инспектор наш, Алексей Семеныч пришел, начальница из женской. Переписали и выпустили.

– Ну вот что, – сказал Переломов, – ты иди в мою комнату, спи, а я в гимназию пойду...

– А Антон-то Николаич ушел?

– Должно быть. Ему сегодня к первому уроку. Иди!

Но Переломов-старший не ушел, как раз он спускался со щербатой лесенки, когда два приятеля наскочили на него.

– Здравствуйте, молодые люди, – приветствовал он их, медленно закуривая папироску. – Что ж это вы делали на сеновале? Опять очень важное совещание?

Алексей подошел к нему, шаркнул, подал руку. А Николай вдруг взволнованно, потеряв власть над собой, выкрикнул:

– Пап! Сегодня ночью негодяй-солдат убил Васю Усова!

– Что ты городишь вздор! – оторвался от своей папироски отец.

– Да, убил! Убил за то, что они забрались на сеновал тоже для обсуждения своих нужд. Что ж ты на это скажешь?

И Николай в упор смотрел на отца.

– Я, Коля, ничего не скажу! – серьезно ответил отец. – Успокойся и не повторяй прокламаций.

– Да тут и за оружие скоро возьмешься, – истерически выкрикнул Николай и бросился в дом. Отец раздумчиво зашагал в ворота.

Уложив Прозорова на свою кровать, Николай схватил книги, нахлобучил фуражку и помчался в гимназию.

У Николая было два разряда товарищей; с одними он сходился, потому что они были начитаны, образованы, с ними было возможно поговорить. Но он не любил их. Его, напротив, тянули к себе такие простые, спокойные, крепкие люди, как Алексей. Они умели хохотать во все горло, и, если говорили неприличности, то и те не звучали у них отвратительно

грязно. Алексей, например, переплывал Волгу, выжимал пятипудовые мешки… и мог бросить камень так, что тот выл в воздухе. Ни на какие сходки он не ходил и поперся на массовку только потому, что его, наверное, потащил покойный Василий. «Покойный», – подумал Николай, и холодок смерти опять дунул ему в лицо. И Василий-то был противник всех этих массовок, сходок, «истерик», как он говорил, которыми засыпали в тот год учеников гимназии. Начитанный, отличный музыкант и острослов, он умел звонко хохотать над какой-нибудь отчаянной речью той же Нинки Лебедевой в белой шапочке, которая всегда проповедовала малосознательным. «По моменту», наверно, Василий пошел туда, чтобы посмеяться над этими «одержимыми».

Но теперь как-то все это сплыло из сознания Николая, и только одно – месть во что бы то ни стало – жгло ему сознание. Сейчас-же собрать всех в гимназию. Объявить протест. Забастовать. Пусть Аарон скажет там открыто свои слова, что говорил вчера… Прав, тысячу раз прав Аарон. Да, так продолжаться не может.

Он уже вскочил на Муравьевку и бежал, не разбирая луж, в разлетающемся, не застегнутом пальто.

– Эй, Переломов!

Навстречу ему без пальто неслись Соколов Павел и Альбицкий. Сзади неспешно в щегольской фуражке с невероятно большим дном, задранным над тульей, с крохотным гимназическим гербом вышагивал Корольков. Было еще человека четыре.

– Вы куда?

– Ты слыхал? – возмущенно жестикулировал Соколов Павел. – Фараоны убили Усова! Идем к нему в участок.

Внутренне досадуя на себя, что сам не додумался до этого, Переломов помчался вместе с ажитированной парой.

Участок недалеко, на Никольской. Это было невысокое каменное белое здание Николаевской архитектуры; Николай отлично знал его три последних, наполовину заложенных кирпичом ампирных окна с решетками. Обыкновенно, при проходе мимо можно было оттуда услышать ужасающую, богохульную русскую ругань или не менее свирепые протесты против существующего строя. По ступенькам лестницы у фасада, между тем, важевато и чинно двигались городовые в несокрушимых сапогах и в резиновых калошах. И тот же покойный Василий, как-то раз проходя мимо этой роковой для него лестницы, кинул, весело играя глазами:

– Помнишь, в «Сне Якова»? Ангелы восходят и нисходят.

Теперь на ступеньках стояла небольшая кучка гимназистов и гимназисток. Все толпились вокруг одной горько плачущей девочки, которая сидела на ступеньке. Это была Леля Баскакова, «пассия» Василия. «Бедная!», – подумал Переломов.

Они толпой двинулись в участок. Все как всегда: столы, портреты царственных хозяев этого грубого хозяйства, удушливый мужской запах, смешанный с махоркой и портянками..

Справа, у окна на лавке, покрытой холстиной, с синим клеймом на груди «Высший размол Бр. Аристовых» лежал Василий. Мешочина с лица была откинута. Глаза закрыты, а брови удивленно приподняты. Горбинку тонкого носа перелезала неторопливая муха.

И встревоженной стайкой без ободрения и надзора, без утешающего слова старшего опыта около него стояли и глазели мальчики и девочки. Рыжый пристав Никольский с подвязанным глазом спокойно, в шинели с лакированным ремнем через плечо, присел боком к столу и подписывал какие-то бумажки.

«Как бараны! – мелькнуло в голове у Переломова при взгляде на товарищей. – Ей Богу!».

И не успел он всмотреться в спокойное восковое лицо мертвого друга, как разыгралось что-то совершенно нелепое.

Соколов Павел театральным жестом снял фуражку, поправил пенсне на крошечном носу и, отойдя от трупа и став на равном расстоянии между скамьей и дверью, важно начал:

– Товарищи гимназисты и гимназистки.

– Ты, Переломов, говоришь сегодня, как директор. «Вы, учащиеся», – передразнил его Залкинд. – Да, мы граждане, и в качестве таковых нам все равно не дадут…

И он презрительно фыркнул, а Переломов закусил удила и понес:

– Сегодня в большую перемену нужно устроить собрание, принять по этому поводу решение… И никто другой, а именно Аарон должен выступить с речью.

– Я? – переспросил Аарон.

– Да, ты! – твердо, с ударением произнес Переломов. – Согласен?

– Нет!

– Трусишь?

– Считаю несвоевременным. Глупо вылезать без предварительной подготовки. Во всяком случае, если нужно будет кому-нибудь выступить, то пусть выступит Соколов Павел. Я ему поручу…

– Значит ты не желаешь исполнить твоего долга по отношению к убитому. Эх ты…

Он сам с удивлением замечал, что его внутренним скрытым желанием именно было резко и хлестко оскорбить Аарона. Но разгоравшуюся ссору прекратило неожиданное истое явление.

Со звоном растворилась классная дверь, и показался, величественно шествуя, Соколов Павел. Его венчанная пенсне физиономия была важней,

чем когда-либо. Он прямо двигался к своему месту, не снимая фуражки, подрыгивая из-под нее прямо висящими космами.

Кроткий грек прекратил свое никому не интересное вычитывание, оторвался от древнего Гомера и удивленно воззрился сквозь синие очки свои на эту торжественную современную фигуру.

– Соколов Павел! – раздался по классу его носовой тенорок. – Откуда это вы?

– Из-под ареста, – бросил ему через плечо вопрошаемый. — Меня держали под арестом царские палачи.

– Какие палачи?

– Конечно, разве наши люди в футлярах могут знать, что нынче ночью пал смертью храбрых наш товарищ Усов, Антропос!

– Я знаю, что Вася Усов убит, – вдруг неистово взвизгнул Мурашов, – и очень жалею этого юношу. Но как вы смеете разговаривать со мной таким тоном – вы, мальчишка?

Весь класс угрожающе загудел. Мальчишка! Это уж слишком. Извиниться, извиниться должен грек, антропос!

Но Мурашев, сорвавшись с нарезов, продолжал кричать:

– Вы не учитесь! Вы ничего не читаете! Вы невежды! Вы необразованны! Вы ничего не читаете, кроме ваших глупых политических экономий и разной чепухи… Вы безнравственны и антигосударственны, и только моя любовь к вам, молодым мальчишкам, позволяет мне видеть все ваше безумство.

– Николай Васильевич! – звучно прорезал выкрики и гул класса голос Королькова, лениво приподнявшегося со своего места. – Как это будет по-гречески – любовь к мальчикам?

– Вон! Сию же минуту вон из класса! – заорал выведенный из себя педагог. – Вон, или я уйду.

– Я не уйду! – важно сказал Корольков.– Я должен усваивать знания, преподаваемые здесь.

– Тогда я уйду, – закричал Мурашев и, схватив классный журнал, треснул им по столу и с криком «С-с-сволочи!» выбежал из класса.

Класс загудел беспокойно, как пчелы перед роеньем. Дело зашло слишком далеко. Вопрос Королькова был возмутителен, это верно, но нельзя же и учеников обзывать сволочами. Аарон, презрительно улыбаясь, выбрасывал положение за положением. Соколов Павел произносил громовую речь о том, что тут помочь может только оружие. Корольков закурил папиросу и, блестя зубами, о чем-то посмеивался с Садыковым. Сытин встревожено и жалко прислушивался ко всему, что говорилось со всех сторон.

Глубоко засунув кулаки за кушак, Переломов стоял у окна в сад и смотрел. Пушок тонко-зеленого цвета овеял уже вершины обсаженных вороньими гнездами старых берез, и влажная, черная, как бархат, земля

обнаженной вышла на солнце. Из-за деревьев тонко сияли золотые главки всех Святых, а дальше видна была Волга сияющая, ледяная, над которой переливался и дрожал нагретый воздух, колебая с собой заволжские дали. Свет и тишина. Да чириканье воробьев сквозь пропыленные стекла. Что-то видел теперь там Василий?

Как мельник просыпается от тишины остановившейся мельницы, так и наступившая тишина класса заставила вздрогнуть Николая. Он обернулся. У стола, свесив на него свой живот с форменными пуговицами, упершись в стол вторыми фалангами пальцев, стоял инспектор Алексей Семеныч.

– Господа! – сказал он и, наклонил набок седеющий бобрик головы, – неслыханно, господа! Так (он налег на так), так оскорбить вашего преподавателя, как это сделали вы, господа. Едва-ли могли даже самые грубые люди, а не воспитанные юноши с почти законченным средним образованием.

– Я понимаю ваши чувства, господа; эта печальная гибель вашего товарища, Усова Василия, понятно, выбила вас из колеи. Кстати, господа, у меня только что был командир полка. Солдат который стоял на часах – переменив тон, проговорил Алексей Семеныч, – и он обещал мне, что дело будет тщательно разобрано. Кроме того, директором дана телеграмма в имение г-же Усовой. Которая и придет сегодня, чтобы взять тело сына для погребения…

После этих дипломатически-успокоительных фраз Алексей Семеныч продолжал в прежнем серьезно-сострадательным пафосе:

– Все это понятно, господа! Потеря эта тяжела и для нас. Администрации гимназии… Что же делать – эти люди должны охранять государственный порядок и иначе они поступить и не могли. И мы здесь поделать ничего не5 можем – он развел руками назад, - потому что наша область вашего воспитания, образования. А ни как не государственный порядок… Он не касается… Но и начала науки, конечно, не могут снести того, что сказал Николаю Васильевичу ваш товарищ корольков Борис. И мне придется прежде всего просить г. Королькова извиниться перед Николаем Васильевичем… Недопустим далее и тот тон, которым разговаривал Соколов Павел… Ему тоже придется извиниться…

– Не желаю! – громко сказал Соколов, и скрестил руки на груди. – Не могу!

– Как вы на это смотрите, господа? – спросил инспектор еще более вкладывая огорчения в свой примирительный тон.

Снова страстно загудел класс. Но в этом гуле уже не было прежней напряженности.. Да, пожалуй, они готовы извиниться перед классом, потому что нельзя же бранить всех сволочью… Только Аарон молчал и тонко ухмылялся.

Загремел звонок, инспектор удалился. В класс во время перемены

вошла толстая, напудренная вдова Мясникова, у которой жил Усов на хлебах, и стала наводить справки, как произошла эта трагедия. Гимназисты. Толпившиеся около, уже весело передавали ей разные подробности, и так, подобно молодым сатирам, напирали на ее мягкое и сдобное тело, что надзиратель Скорбященский, молодой человек и учитель пения, из семинаристов, в длинном сюртуке в конце концов взял вдову под свою галантную опеку, особенно когда в толпу вмешался Корольков.

Промелькнули уже обычной чередой уроки, и в большую часовую перемену все высыпали на двор и на бульварчик Муравьевку. Переломов сел на бульварчике под чахлой елкой, едва ли не единственным воспоминанием о печальном результате прошлогоднего министерского Праздника Древонасаждения, и глядел на Волгу, когда к нему, путаясь в длинной, опшлепанной шинели, отправился друг Аарон.

«Ну, придется сейчас запутанную конструкцию разбирать!» – подумал с досадой Переломов и, молча, пододвинулся в сторону, чтобы дать место подходящему.

Аарон сел бочком.

– Николай, – хмыкнув сказал он, – мы должны поговорить серьезно.

– Ну?

– Твое сегодняшнее раздражение для меня прямо непонятно. Словно ты задался целью высмеять меня перед классом.

– Конечно! – подхватил Николай. – Давно тебя пора раскрыть. Ты это чего прячешься за спины других-то?

– Как «прячешься»?

– Да так! Ты что вчера говорил у Парфена? И то нехорошо, и это нехорошо…Верно, мы с тобой согласны. А теперь сегодня Усов лежит мертвый. Те, про кого ты вчера так говорил, убили его. Ну, выступай, говори… Помпей над трупом Цезаря. А ты вот давеча сидишь да молчишь… Чужими руками жар загребать – вот твое дело.

И Николай взглянул прямо в лицо Аарону.

– Да что… Э-эх!

– Но ты же должен понять, Николай, что выступать сейчас несвоевременно.

– А Василий погиб своевременно? Эх ты! Поди, полюбуйся. Лежит под мешком. А ты чего бережешь?

– Я – важная революционная сила, – хмыкнув в сторону, уныло выговорил Аарон.

– Чего? – удивился даже Николай. – Важная революционная сила?

Внутренне он так и слышал заливчатый хохоток покойного Василия. Но ему самому было не до смеху.

Бывает так, что когда человек начинает действовать, он уже ничего не

видит, не слышит. Весь мир сдвигается назад, углом, утюгом, и видит человек только тот узкий угол, который обращен к нему. Если посмотреть хорошенько, то все в мире остается, как полагается: и солнце, и небо, и птички чирикают, и самовар кипит. Но в том-то и штука, что для этого для всего надо «хорошенько посмотреть»; этого-то подчас человек и не может. Перед ним угол, отвес, рыло железного утюга, который ему угрожает. Переломов в каком-то журнале для самообразования видал раз картинку: «Как муха видит человека». А вот как она видит: на первом плане огромный, как гора, сапог, а там, уменьшалась кверху – волны одежды, блестит где-то вдали золотая цепь на животе, а уже из-за горизонта, как маленький, затерянный вулкан, возвышается на самом краю из-за видимого горизонта нос.

Вот тут-то и случилось, что Переломов увидал все присущим на него утюгом, каким – он и не понял, а впереди всего, углом самым надвигался на него Залкинд, и что-то грозное мелькало в его черных бархатных глазах.

– Так ты сила? – переспросил Николай, невольно отшатнувшись. – Нет, не думаю, – тихо ответил Переломов.

– Конечно, ты не думаешь, что утром человек с постели встает лучше, чем лег вчера! – тонко улыбнулся Аарон.

– С таким-то прогрессом только на небо живым лезть! – проговорил Николай, вспомнив вчерашние дебаты.

– Зато такие люди очень, очень полезны, – задумчиво произнес Аарон, очевидно думая о Соколове Павле. – Они полезут куда угодно.

Николаю представилась давешня сцена у трупа. Он искоса взглянул на Аарона. У того губы были плотно сжаты, а глаза, не видя, уставились на прыгающего на солнышке воробья.

– Если же люди не хороши, не добры сами по себе и не могут стать лучше, – раздельно выговорил Аарон, – то их нужно заставить быть лучше!

– Что ты говоришь? – изумился Николай. – Кто же тебе дал право заставлять людей поступать так, а не иначе?

– Их глупость, злоба, невежественность!

Громкий взрыв звенящего хохота раздался с нижней террасы бульвара, лежащего уступами по угору; веселая толпа гимназистов сгрудилась там около неизвестно откуда взявшейся пушченки, из которой палили в великие праздники к вящей славе христианства. Одни из гимназистов, здоровенный Саша Виноградов, по прозвищу Мерин, взвалил эту пушку к себе на плечо.

– Ай, Мерин! — раздавались голоса. – Это жеребец, а не мерин... Х-х-ха-ха-ха!..

И здоровый, раскатистый смех звучал умиротворенно, с тем оттенком восхищения без зависти, которое, кажется, рождает одна только физическая

сила, не больше.

По своей привычке думать конкретно Переломов спросил:

– А как же ты заставишь людей делать добро?

– Силой! – отвечал щуплый, сгорбленный, в обмызганной шинели Аарон.

И, порывшись в кармане шинели, выбросив оттуда несколько дрянных бумажек, крошек хлеба, огрызок баранки, который он тут же сунул в рот, Аарон вытянул из недр шинели растрепанную книжку.

– Видишь?

Переломов вслух прочел:

– Химия. Популярные очерки.

– Прости меня, но я ничего не понимаю...

– Я занимаюсь теперь химией, – проговорил Аарон мечтательно. – То есть я думаю ею заняться как следует. Нужно, понимаешь, изобрести такое взрывчатое вещество...

– Ну?

– Которое могло бы взорвать всякого, кто не подчинился бы моей благой воле.

– Ты хочешь, значит, убивать людей так же, как сегодня убили Усова? – жутко спросил Николай.

– Что значит смерть? – задал ему встречный вопрос Залкинд. – Все ведь умрут! Так пускай они умрут с пользой, для блага идеи. Не все ли равно – прожить двадцать лет или пятьдесят?

Химера, жадная, чудовищная, темная! Нет, не все равно – что-то влажно и тепло отозвалось в груди Николая. Жизнь его манила, звала влекущим, несказанным любопытством. Но так вот и захотелось посмотреть – что же будет дальше. И в дымке как бы лунного света будущего вставали перед ним новые, загадочные, прекрасные образы. Когда-то, когда еще мать жила с ними, он, открыв верхний левый ящик ее комода, любил вдыхать пряный, манящий запах духов и пудры, перебирать блещущие искорками разноцветных огней драгоценности. И жизнь представлялась ему как длинный ряд перебирания драгоценностей. Лишаться всего этого ради какого-то залкиндового блага. Какая нелепость!

– Нет, смерть не все равно! – глухо запершись от напиравшей на него силы, сказал Николай. – Такой прекрасный парень, как Васька, погиб напрасно...

– Нет, не напрасно, – вскричал Залкинд. — Его кровь разбудит многих, покажет необходимость этого блага, и тогда те, кто может дать это блага, возьмут на себя и власть.

– Что же это за благо? – хмуро спросил Николай.

– Ты-то, кажется, не должен спрашивать об этом, – презрительно хмыкнул Аарон. – Социализм, что знает всякий сознательный человек! И я

теперь тебя спрашиваю, Николай, – хочешь ты быть партийным или нет? Тебе нужны дисциплина и авторитет. Для тебя лучшим средством для работы будет подчинение своей воли. Ну?

Николай молчал несколько секунд. Милое лицо Василия и его хохоток так и стояли перед ним. Зайду и скажу… «Я подумаю… Пойдем. Звонок…».

Домой Переломов попал только к вечеру: пришлось зайти на квартиру Василия, а потом ехать встречать его мать. Он ее знал раньше, когда она приехала к сыну. Сердце у него сжималось, когда, качнувшись на близкой стрелке, огромный паровоз с красивой поперечиной внизу подлетел к залитой прощальным алым светом платформе. Опять жандарм, опять начальник станции, похожий на снегиря в красной своей фуражке; опять непременная собака, крутящаяся под самым поездом. Из вагона второго класса вышла с саквояжем невысокая, сухая дама, вся в черном. Оглядевшись, она увидела Переломова и кинулась к нему. Он и сам уже с юношеской неловкостью бежал к ней навстречу, расталкивая пассажиров, ушибив себе ляжку об огромную корзину, которую тащил артельщик в белом фартуке с медной бляхой, похожий на муравья. Он припал к ее руке и не мог удержать слез; по тому, как вздрагивает и пульсирует ее рука в черной перчатке, он знал, что она тоже плачет. Потом она вытерла глаза комочком платка и, взяв Переломова под руку, сказала сдержанно:

– Идемте в зал. Вы, Переломов, мне все расскажете!

В зале первого класса они уселись на две минуты на дубовых, тяжелых стульях с гербом и инициалом дороги, таких безучастных к горю своих гостей. От грохота и тяжести маневрировавших промасленных паровозов, закутанных в облака пара, вздрагивали и позванивали разноцветные стаканы на столе, так овеянные, как пылью, железнодорожной скукой. Рядом какой-то железнодорожник ел горячий борщ и со свистом втягивал его в вытянутые дудочкой губы под мохнатыми усами, похожими на усы Ницше. А Переломов прямо перед собой видел серые, скорбные глаза, глаза матери, плававшие в слезах, засевшие в темных кругах горя.

Он рассказывал не более двух минут. С новым взрывом плача, уже обезумев, поняв окончательно, что случилось, мать бросилась к извозчику, забыв свой блестящий, элегантный саквояж… Переломов схватил его, сунул его ей в ноги, едва не падавшей с саней, и, сняв шапку, быстро пошел пешком через Волгу напрямик к дому.

Он не шел, а бежал. Вот та цена, которой куплена «польза» смерти Василия! Э, пусть Соколов подчиняется кому-то. Свобода, доброта и любовь – вот что поведет людей, а не Аароны. Взрывчатое вещество, идиоты!

В лучах уже заходящего солнца за Ипатьевским монастырем лежала перед ним родная Кострома. Горел своими недавно вызолоченными

главами русского барокко Кафедральный собор. Слева от него громоздились розовые прикрашенные, нарядные здания, где жили соборяне, сиявшие багровым золотом отраженного окнами света. Вот женская Григоровская гимназия, духовная семинария. […] Вытянутое здание мужской гимназий стояло рядом с церковью Всех Святых. Внизу, на набережной, дымила – «медведя пускала» – мельница Аристовых. Торчали с реки трубы, мертвые, закутанные рогожей, заткнутые соломой вмерзших в лед пароходов, мачты баржей. Правее, среди розовых, нежных снегов чернели ряды садов, деревянных домиков Татарской слободы, ее прекрасной, иссиня-зеленой, сбегавшей вниз к Волге могучей, кедровой рощей татарского кладбища.

Трудно было идти через Волгу; осенью ледостав был неспокоен, и взгромоздившиеся прозрачные, как магазинные стекла, льдины сияли аквамаринами и сапфирами против закатившегося солнца. Опаловая даль великой реки тянулась вниз, на восток, вольными широкими поворотами, туда, за село Минское, мимо Тиденовских дач…

Спотыкаясь, добрался Переломов до противоположного берега, перебежал по доскам, которые попечением полиции покрывали образовавшиеся окраины, и помчался вверх в город. Миновал гимназию, пробежал две улицы и очутился, наконец, перед домиком, где жил Аарон.

Мерное, занывшее бормотание неслось оттуда; решительно шагнув в темные сени, Переломов отворил дверь в квартиру и попал прямо в столовую. Знакомый дух шибанул в нос, и портрет бородатого, в котелке, Теодора Герцля взглянул на него задумчиво.

Была пятница, и на покрытом скатертью столе стояли горящие свечи. Семья сидела смирно вокруг стола, мужчины были в шапках. Аарон тут же сидел в своем гимназическом картузе и глядел в книжку. Его толстый отец, покрытый полосатым одеянием, нараспев жалобно выкликивал молитву.

Сконфузившийся Аарон выскочил в сени, и Переломов ему сказал прямо и твердо:

– Ты прости, что я помешал вашей семье молиться, но я пришел тебе сказать, что в партию я поступить не могу.

И, словно сбросив с плеч тяжелый груз, он медленно побрел домой по синим, вечерним улицам, где уютно желтели огни в окнах, скорбя душой о дорогом мертвеце.

Опубликовано и печатается по:
Иванов Вс. 1905-й год. Роман молодой души. Харбин, 1929. С. 31-68.

Хрестоматия

БЕЛЫЙ ДЫМ

Ночь опрокинулась над Пекином, черно-синяя монгольская ночь. А снизу к ночи поднимались легкие, зеленоватые огни огромного города, наливали собой высокие пекинские каменные стены. Над зубчатой стеной вышел оранжевый ущербный месяц, а с юга вставала черная, тяжелая, как шуба, туча, закрывавшая серебряные звезды и вся вздрагивавшая яркими зарницами. Прерывистый ветер дышал зноем; и безветрие дышало им же, от кислой пыли, от раскаленных Красным Драконом-солнцем сотни тысяч кирпичных и каменных домов в ящике этих каменных стен, откуда – вид на Западные горы, за которыми уже Монголия, зеленая пустыня кочевников.

Мы сидели на плоской крыше четырехэтажного «Немецкого отеля» и пили ледяное пиво, и от пива духота томила еще пуще. На крыше, как ни в чем не бывало, играл джаз и танцевали. Было странно видеть эти фокстротные пары беззаботно повисавшими на освещенных внутри облаках, на фоне грозовых вспышек дальних синих и золотых молний.

Внизу мелькали свежие фонарики рикш, раздавались их гудочки, и вдали, давя все своей проколотой огоньками черной тушей, высился, как некое капище, «Гранд-отель» рядом с черными абрисами деревьев Посольского Квартала, этой «Немецкой Слободы» Пекина.

– Как это все вам нравится? – спросил меня мой спутник, щелкая серебряной сигареточницей. – Не находите ли вы, что это все же особый мир, особая столица Востока?

– Пожалуй, – истомленно согласился он. – Особенно после того, что мы видели с вами в кино, где буйные страсти на экране бледнеют перед переплетенностью интересов среди дипломатической публики… Пусть контрастны там, в этом кино, советские кепки и пиджаки, но все же скучно видеть толпу людей, побывавших друг у друга в постелях и делающих вид, что не замечают этого. Пусть даже встречи и улыбки двух дипломатов лорнируются третьим и четвертым, и весьма многозначительно – но разве, все-таки, столица Востока в этом?

– Что ж, – пожал плечами Александр Сергеевич, – это пустяки, это пыль дней. Это своего рода фантастика… Но разве вы не чувствуете в Пекине особой тишины, многозначительной и величавой тишины тысячелетий? Этот город похож на эти молнии… Он сверкает, но его не слышно… Это – Восток…

– Восток? – переспросил я. – Где же он? В «Вагон Ли Отеле», где пятичасовой чай собирает сухопарых, тонконогих мисс и миссис в роговых очках, приехавших посмотреть Восток и причастившихся к нему в лавках древностей, накупив разных «кюриос» немецкой фабрикации? Или в Дворцовом музее, где почти все, что накоплено было богдыханами, рас-

продано при очередном перевороте?.. Бросьте!.. Где Восток?.. Его нет здесь. Здесь пошлая и невежественная Европа… Мы пьем немецкое пиво, заедая его немецкими длинными сухарями с солью и анисом. Вот, рядом, европеец отравляет весь необъятный купол неба невероятной Боковской сигарой… Восток! Где же Восток? Восток давно весь экспортирован в Америку вместе с пурпурными ширмами, шитыми стариками в виде богов и богами в виде нищих стариков…

– Хорошо, – сказал Александр Сергеевич, – все правильно… Пойдемте-ка курить опиум.

– Во вкусе Клод Феррера и его «Фюмер д'опиум»? О, эти эстеты из посольских секретарей и моряков, делящих свой досуг между пушкой, трубкой и фарфором фламбоян!.. О, все эти Палеологи, Ферреры, Джоны Пэрисы, лейтенанты Кивгхоллы, все эти неудачные Киплинги, зарабатывающие кое-что на тайнах Востока, пестрых, как дешевые магазины Шанхая! После них представляешь себе Восток вроде музея диковинок или вроде тех открыток с плюшевыми верблюдами под Великой стеной, что продают в холлах всех отелей всего мира рядом с расписаниями поездов… Сплошь фантастика!.. Можно подумать, что тут драконы ходят по улицам, а фениксов продают, как фазанов…

– О, – спокойно возразил Александр Сергеевич, – это отдельный Восток, Восток Кука и Турист-Бюро… Восток – не фантастика, а сама реальность… Правда, он не так пригляден, как эти четыре шара лампиона, повисших над бездной, он коптит, как огонек рикши, но все-таки его надо знать. Едемте… Бой!.. Хау мач?

* * *

Мы лежали оба на прохладном, покрытом циновками канне. Бумажные окна были широко распахнуты во внутренний двор, так напоминавший собой дворик в Помпейских домах. Акация цвела под самым окном, и под ней стояла зеленой глазури большая чаша, в которой тускло поблескивали золотые рыбки. Бедный масляный светильник стоял на каменном столе тут же и пламенел копотно. Небо над стенами вспыхивало зарницами, и на соседних крышах с поднятыми углами вырезывались очертания химерических охранителей-зверей. Окна в домиках направо и налево от нашего были закрыты, и на промасленной бумаге, среди меандра переплетов, бесшумно пролетали иногда черные тени людей.

Мы лежали – я и Александр Сергеевич, а Юн-Пин, высокая молодая девушка с бантом, между нами приготовляла трубки. Из серебряной плоской коробки серебряной же иглой она ловко доставала черно-бурую массу опия, поддевала ее на две длинные спицы и переносила на огонь маленькой лампочки под коротким, пузатым, закапанным стеклом. Опий кипел, пузырился, и она ловко перебрасывала его со спицы на спицу и свертывала

в форму кабошона, как гранят драгоценные камни.

Александр Сергеевич внимательно следил за ее грациозными операциями, и на его лице было написано глубокое, тихое и сладостное удовлетворение.

Наконец, в полной тишине агатовый кабошон был готов – и, проколотый посередине, таинственный, сел в центр серебряной чашечки длинной черной трубки, оправленной в серебро и зеленую яшму.

Аромат акаций смешивался между тем со сладким, дурманящим запахом поджариваемого опия; в окно блистали звезды, и к нам то и дело взносил легкий покров сияющего света зарниц. И лицо этой девушки – широкое, точеное, плотно обтянутое желтой кожей – было красиво, сосредоточенно и даже важно. Поддерживая трубку своей изумительно сформированной рукой над самым багровым огоньком лампочки, она протянула чубук Александру Сергеевичу.

– Юн-Пин, сделай еще одну моему другу, – сказал он ей по-китайски и кивнул на меня. – А вы возьмите и сосите – так, как ребенок сосет грудь матери…

И в его трубке что-то методически захлюпало, а изо рта показался тяжелый белый дым.

Признаюсь, я с робостью неофита поднес ко рту агатовый мундштук своей трубки. Александр Сергеевич, этот скромный таможенный чиновник, смотрел на меня со снисходительной и почти такой же важной улыбкой, которая играла на лице Юн-Пин.

Обстановка меня смущала и подавляла. Я свою трубку отложил; Александр Сергеевич курил, молчал, затем перебрасывался клокочущими китайскими словами с Юн-Пин. После пяти трубок он откинулся на циновочные прохладные подушки и медленно сказал:

– Слушайте!.. Я почти всю жизнь прожил на Востоке и больше 25 лет курю опий… Я расскажу вам, что такое опий…

Я курю давно, я больше уже не могу жить без опиума… Когда я был офицером на Германской войне – мне наш штаб выписывал опий из Китая, туда, на фронт, под Молодечно… Что делать – требовалась работа, а для работы нужна острота мозга… Особенно – для шлифовальной работы… И вот что было со мной однажды… Давно, еще перед той войной, когда я служил в Хабаровске, у меня умерла жена…

Я очень любил ее… Я был один в этом городке, тосковал и стал усиленно курить. Помню как сейчас… Тогда была зима, морозная и снежная… Каждый день, отсидев на службе, я приходил домой. Обед денщик Шубин уносил почти нетронутым, а я хватался за трубку и курил, курил… Сколько?.. До 100 трубок в вечер, в ночь…

Вы правы… Лоти и Фарер, вероятно, просто пишут красивую чепуху об опиуме… Об этих снах… На самом деле все гораздо проще. Восток го-

раздо реальнее, Восток не любит снов, этих побрякушек жизни…Опиум дает не сон, а реальность… Он так обостряет наши восприятия! И на тот диван, на котором я лежал в опийной полузабытьи, ко мне приходила моя мертвая жена… Да, да, представьте себе… Приходила и сидела около меня… И мы беседовали… Долго… Целыми ночами, длинными зимними ночами…

О чем? Не могу сказать… Но я знаю, клянусь вам, что это было именно так. Опий не давал мне никакой фантастики… Я глубоко верю, что опий просто *давал мне возможность преодолевать какие-то препятствия, которые смерть жены воздвигла между ею и мной*… Вот и все…

И это было для меня большая, очень большая радость. В то же время это было прямо ужасно… Просыпаясь каждое утро, когда по синим снегам разливалась красная заря, я чувствовал ужасную головную боль и был желт, как каждый курильщик… и с ужасом понимал, что еще не это главное, – я знал, что я, наверное, сойду с ума…

Да, еще одно… Жена была хорошей музыкантшей, и она играла, много играла в те дикие ночи…

Днем, сидя в штабе, я ясно понимал, что надо кончить эти экскурсии в запретные миры… И, должно быть, потому, что я думал так напряженно, это же однажды сказала мне и жена… В одну ночь… Она была очень мрачна тогда и сказала, что нам видеться больше нельзя. Потом же мы свидимся… Она сказал, что больше не придет… Я умолял, заклинал ее придти…

На следующий день все было, как всегда… Горела наша любимая лампа с голубым тюльпаном… Она пришла, веселая, ясная…

Да, надо вам сказать, что в гостиной тогда, где происходили наши встречи и стоял диван, была дверь из прихожей, диван же стоял так, что с него, с того места, где сидела обычно жена, через прихожую была видна входная дверь, а мне этой двери не было видно. И вот я вдруг слышу, как примерзшая входная дверь открывается с усилием, рывком, вижу, как целое облако пара стелется по нашему голубому ковру…

На бледном лице жены отразилось изумление, словно она никак не ожидала встретить того, чьи шаги уже звучали по прихожей и кого она видела со своего места. Я же похолодел от тяжелого предчувствия, волнуясь о том, кто этот невидимый пока гость… И я вижу, что в гостиную входит мой младший брат – в ту пору гимназист 8-го класса в далеком российском городе… Входит и направляется к нам.

– Андрей! – закричал я, вскочив с дивана и не помня себя. – Ты не должен быть здесь… Андрей!.. Ты ведь не можешь встретиться с Ксандрой!.. (Ксандрой я звал жену), – и с этим криком я нашел себя стоящим в пустой гостиной. Никого не было…

Страх, непередаваемый, холодящий, сводящий руки и ноги, страх, шевелящий волосы на голове, изливающий холод по хребту, охватил меня.

Я не мог оставаться один. Денщик спал далеко. Я рванул одну выходную дверь, другую и выскочил на улицу, на мороз…

Перед рассветом там клубился седой, морозный туман, стоял такой же ущербный месяц, как был сегодня… Дома вросли в сугробы, по дороге маячила какая-то темная фигура, скрипела сапогами по снегу.

Как был (без шапки, в халате, 315 лях), я бросился к этому человеку. Заиндевелый, он спокойно всмотр в меня из-под башлыка и сказал хриплым, стуженным голосом:

– Это вы, ваше благородие?.. А я к вам!.. Вам телеграмма…

Телеграфировала мать… Несчастный случай на катке… Андрей скончался… Он всегда любил спорт…

* * *

– Вот что такое Восток, – сказал, помолчав Александр Сергеевич. – Этого нельзя вывезти ни в какую Америку.

И, грустно улыбнувшись, устало обратился к Юн-Пин по-китайски:

– Еще трубку, Юн-Пин!..

Мы молчали. Пахли акации, пахло опиумом.

Я высосал целую трубку белого дыма, но не испытал ровно ничего, – видно было, что до острова чудес еще далеко от берега этого таинственного моря Востока.

Из домика направо вышли черные фигуры китайцев и ушли на улицу, где буйно завозились рикши. Александр Сергеевич прилег на циновочную подушку и устало закрыл глаза. Юн-Пин посмотрела на него важно, искоса, вышла во дворик, прошла по нему и скрылась…

Пекинская ночь проходила над нами в звездах, тучах и разноцветных щарницах – ночь Востока, пахнущая акацией и белым дымом.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1933. № 19. С. 1–2, 4.

НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ

Ардальон Павлыч выскочил от Змеевых и пустился по Всехсвятской, пылая негодованием. Бобровая его шуба распахнулась грудь под крахмальным пластроном дышала тяжело, черная ассирийская борода и усы колечками встопорщились. Всехсвятская улица тоже бежала рядом с ним вниз, до Площадки, откуда уже она звалась – Разгуляй. На Ардальона Павлыча, и на Всехсвятскую, и на Разгуляй так и сыпало солнце золотые, желтые свои стрелки, напирало ими на высокие сугробины; начинали оттого сугробины те шептать ручейками. И уже звенели сладко капели с сосуль на крышах, и кое-где, на пригорках, на панелях, проглянула черная, теплая уже земля.

Попал в такую землю лаковым ботинком Ардальон Павлыч, выругался:

- Тьфу, что это я! Даже калоши там забыл, а?! Но Анечку я все равно так не отдам… Погоди, Лука Петров, не на такого напал. Вы думаете, что я там адвокатишка какой-нибудь? А я – Ардальон Стебнев, гусар… Да-с, гусар! Не в адвокате тут дело!

Ардальон Павлыч, горячась, махал своей тростинкой черного дерева, испещренною многими монограммами: тут и бутылочки – шампанские и ликерные, и золотые сердца, тут и цветные камешки, и еще кое-что, что всегда пальцем прикрывал Ардальон Павлыч, когда показывал трость свою мало знакомым или молодым дамам.

Ардальон Павлыч бежал, а кругом высились недвижно серые, крепкие, угрюмые наши дома из кондрового леса, что стояли уже лет по сто и, наверное, простоят еще столько же; бежали храмы, где вокруг зеленых куполов шумно громоздились черные птицы; а дальше – развертываясь за Св. Озером угоры, – во-он куда уходили, – крытые рослыми иссиня-зелеными елками.

И когда добежал Ардальон Павлыч до Разгуляя, тут увидел он, как направо, вверх, к Успенскому собору, неслась, грохоча по ухабам, сплошная цепь саней – маленьких эгоисток, больших кошевок, троечных больших саней с бронзовыми решетками, убранных шалями да коврами; рысаки-одиночки шли мерным своим махом, пары и тройки свивали своих пристяжек кольцом, грива по земле, а коренники валили напролом. В санях тех сидел почти весь город наш – все, что было в нем самого правильного, денежного, знатного. Платки купчих и горожанок были в алых розах, в зеленых турецких огурцах и разводах, ротонды их были синих, зеленых, аметистовых, розовых бархатов, жемчужные сетки-ряски приспущены на самые румяные лица, на маленькие глазки, а рядом охранительно высились толстые спины и большие шапки их хозяев. И все это неслось прямо под солнце, словно какой-то весенний поток.

– Масленица! Катаются!.. – скрипнул зубами Ардальон Павлыч и горестно вспомнил, как давеча у Змиевых уговаривал Анечку после блинов прокатиться с ним на его, Ардальона, тройке. Любительская была у него тройка – два года подбирал ее… Были в ней пегие – белые с рыжими пятнами – конишки, а такие что на-поди. И на сегодня был приказ кучеру Пармену – запрячь коней в санки, а санки те покрыть богатым персидским ковром, все приготовить…

И вот вышло так, что испортил все Лука Петрович, старый хрен, Анечкин отец: не захотел стать тестем Ардальона Павлыча, отказал.

– Ах, Анечка, Анечка! – вздохнул Ардальон Павлыч и горестно повел по бороде. – Как же теперь быть?..

В это время скакала мимо белая, как пена, тройка Громова Ивана

Перфильича, того самого, у которого лесное дело. Толпа попов, гимназистов, интеллигентов и баб с почтением взирала с тротуаров, видя, как катается сам капитал.

– У-ла-ла-ла! – кричала толпа. – У-ла-ла!

Поднялся в санях в синей поддевочке статный и седой Громов Иван Перфильевич, купец знатный, и, держа мешок одной рукой, другой стал разбрасывать в толпу серебряные мелкие деньги.

– Ур-р-р-р-ра! – кричала толпа. – Ур-ра!

Тут одна серебряная денежка, просверкнув в воздухе, ударила вдруг пребольно Ардальона Павлыча прямо в нос, а лихой гимназист в синей фуражке скакнул за ней в воздух и потом лягушей прямо в сугроб, как будто пловец на чудесном острове Суматре прыгнул в океан…

Ардальон Павлыч взмахнул предупреждающе тросткой, готовясь сказать громкие хулы, сорвать сердце, но тут вдруг его взяли под руку:

- Мон шер Ардаша! – сказал невыносимо слащавый, улыбающийся голос. – Ты в расстроенных чувствах… Я давно наблюдаю за тобой по Всехсвятской… Что с тобой?

Неимоверно дурен лицом, угреват, но невыносимо воспитан и учтив был поручик местного полка Сигизмунд Юлианович Неконечный, и дышал он на Ардальона Павлыча скукой, водкой, одеколоном и табаком.

– А… Сигизмунд! – сказал Ардальон и притворно зевнул, чтобы не видно было, как он горячился. – А ты почему не катаешься? Вон ведь ваши офицеры едут на вороной тройке. А хороши, хороши кони!

– Васька захромал! – ответил Неконечный и улыбнулся горестно, не разжимая губ, чтобы не показывать дурнейшие зубы свои. – Вестач, сукин сын, заковал! Прямо и не представляю, что делать.

Но словно не понял Стебнев, куда гнул Наконечный: «Как же-с, вместо милой Анечки, повезет он эдакую образину! Держи карман!».

– А знаешь, сейчас этот каналья Громов бросал деньги и мне чуть в глаз не угодил. И чего смотрит полиция, – сердито стал говорить Стебнев. – Какой хамский обычай, однако, бросаться деньгами в публику… Это ведь только народ дразнить! А раздразнят – что будут потом делать? Ведь это – революция же! Поймите, господа!

– А, адвокат! – отмахнулся Неконечный. – Левая душа! Если ты не хочешь кататься, не пройдем ли к нам в собрание, душа моя, по праздничному, скатаем партию на бильярде, а? Там и будет видно, что дальше делать, а то с этими блинами да с катаниями все как с ума сошли…

– Пойдем, – сердито сказал Стебнев, – а деньгами кидаться – в соблазн вводить… Не следует-с!

В офицерском собрании было темновато и уютно; в старинных ампирных комнатах барского дома тоже пахло блинным чадом, табаком,

водкой и одеколоном. Вестовые шмыгали по коридору, а из столовой то и дело доносились взрывы раскатистого барского смеха.

– Должно быть, кто-то анекдоты говорит! – заметил поручик, сбрасывая шинель на руки солдату. – Прими шинель, Чуриков, да воротника не помни… Бери ее нежно, как обнимаешь женщину… Хе-хе!

– Слушаюсь, ваше благородие, – серьезно сказал Чуриков и из осторожности приподнялся с шинелью на цыпочки.

В бильярдной, над зеленым сукном, Ардальон Павлыч выпил мартовского пива, и ему как-то полегчало.

«Что, собственно, произошло, – думал он, приседая на корточки, держась за борт рукой и выцеливая, как тонко надо срезать «четырнадцатого», чтобы мягким ударом сбросить его в среднюю. – Бороться, бороться надо!»

Перед ним вместо шара так и встал опять худой Лука Петрович Змиев, Анечкин отец, в длинном черном сюртуке, в высоких сапогах, с бородой серебряной веревкой, и загудел, сильно напирая на «о»:

– Не скажу, Ардальон Павлыч, тобой мы очень довольны, человек ты хороший, и дела, тово, понимаешь, и судишься хорошо, и наши дела выигрываешь, и все справить можешь, ежели когда и што… Но не могу за тебя Аньку отдать – из-за этого вот самого и не могу. Потому… суди сам – ну рази ты нам ровня?.. Ты вот адвокат, человек образованный, из дворян… А мы… мы…

Тут Лука Петрович завздыхал, смотря на золотокованные образа, перед которыми горели три лампадки, уже белые (по-великопостному), и продолжал:

– Мы ведь люди простые, темные… Как звери из лесу. А ты тем ведь и держишься, что ты учен и можешь то одного, то другого из нас облапошивать. Ты вон на всякаго человека жалобу можешь принести и можешь его в липку засудить, потому что ты законы знаешь. А разве тебя рукой пымашь? Ежели тебя, скажем, в семью взять зятем, так – я это прямо говорю – тебе надобно все имущество отписать, потому ты все равно все высудишь, крапивное семя, чернильная твоя душа… Нешто супротив тебя сустоишь? И рази я поверю тебе, что ты Аньку там полюбил? Кака там любовь – девка простая, худая, и любить-то нечего. Нет Аньке за тебя ходу, нет и нет, не обессудь… Денег ежели нужно – возьми, а дочери – нет, не дам!

Ардальон Павлыч, вспомнив такие речи, с ожесточением засучил киём по левой, меленой руке и тонул «свой» с накатом, но в «четырнадцатого» вовсе не попал.

Сигизмунд Юлианович даже затанцевал в длинном своем зеленом сюртуке вокруг бильярда:

– Тонкая резь хуже известной болезни, дюша мой! – горланил он. – Ого-го! Теперь мой дебют. Десятку в угол направо. Подставка! Климс!

Есть!.. Вестовой, бери и помни!

Досада разъела душу Ардальону Павлычу, когда за десяткой и «четырнадцатый»упал в середину, мастерски срезанный поручиком.

– Тридцать и четыре! – бесстрастно крикнул вестовой у доски.

И тут же Ардальону Павлычу представилась Анечка давеча… Из столовой так и несется стук, звон тарелок, грохот, крик. Черные копны вокруг белого стола – мирские гости; лиловые и зеленые – попы. А на дальнем углу пылают шали, платки, мантильи дам. Лица у всех полные, распаренные, и кажется, что они так же, как и их дома, будут стоять лет по сто еще и никогда не упадут. Башнями между ними на столе блины под салфетками – блины гречневые, пшеничные, пшенные, блины царские, блины со сливками, блины с припекой – со снетком, с лучком, с яйцом, с сыром. Из лавки самого Луки Петровича предоставлен самый отборный припас: балыки янтарные, нежнейшие, белорыбица провесная, белорыбица вяленая, осетрина, семги да лососи розовые, икры – одна, как черный жемчуг, другие – розовая сиговая да желтая щучья, да масла, да сметаны, да огурцы, да грибы… И пестрые бутылки сияли, как иллюминация.

И только она, Анечка, была совсем другой среди этого плотного мира: ангелом, розовым и нежным, в легком своем шелковом платье с воланчиками казалась она.

Она ушла из-за стола, где хозяйничала в ковровой шали ее мать Анна Михайловна, тучная, безбровая и испуганная, и села у черного, блестящего рояля, перебирая клавиши, красивая, как цветок.

Ардальон Павлыч опять и опять зря проверял кий на свой хмельный глаз, смотрел вдоль него на окно и вдруг как-то сразу, нутром понял, что он впрямь не ко двору пришелся этим людям, к этим серым кондовым домам. В чем тут было дело, он понимал смутно, но чудилось ему, что то обстоятельство, что вот он живал в столице, учился там и знает что-то другое, чем одни пироги да блины, да пьяные потом песни, налагает на него какую-то обязанность… Ведь почему-то он понимает, что когда Анечка играет Шопена, то над лакированным чудовищем-роялем встают какие-то образы – замки, шествия, монахи и женщины… А здесь, в действительности, не то, не то, здесь что-то томит, давит душу, здесь тяжелая провинция, сытая, но тупая… И ясно поэтому, что спасти надо Анечку, увезти отсюда, сохранить ее свежесть чувств и восприятий, умчаться с ней, а не только изо дня в день улаживать путанные да грязные кляузные дела клиентов, судиться, консультировать, проводить противозаконные подчас сделки, а потом в благодарность слышать, что ты – «не их поля ягода»…

«Да, не «их»! Это вы, Лука Петрович, правильно изволили сказать», - подумал про себя Ардальон Павлыч и на клопштосе вдруг яростно уложил «девятку»: «Не их, так не их!».

И Стебнев нашел определение, какое искал: «Что ж! Объявить войну этому городу, увезти у Луки Петровича его дочку Анечку, умчать – и все тут…».

Ободренный этим решением, он принялся так класть шары по всем направлениям, что Неконечный возопил:

– О, пся крев, то цо то ест?! Этак то я могу проиграть. Смотрите, а, прошу вас покорно!

И, пока Стебнев, сжав губы, клал свои шары в лузы, из столовой доносились все время говор и хохот, беспечальный и здоровенный; по коридору шмыгали вестовые.

Нет, решительно, так жить было нельзя! Надо рассчитывать на свою силу, ловкость, на саблю, наконец; надо рискнуть отнять свою царевну, умчать ее. Ведь недаром Стебнев когда-то был вольноопределяющимся в гусарском полку и уважал их, этих людей, гусар, за их особую ухватку.

– Партия! – вдруг лениво возгласил маркер-вестовой.

Ардальон Павлыч не спеша вымыл руки под кривым фонтанчиком умывальника, расправил великолепным жестом свою ассирийскую бороду и, выслушав со стороны Сигизмунда Юлиановича смущенное заявление, что проигранную пятерку он доставит завтра же немедленно, простился дружеским рукопожатием:

– До свидания!

В противность этому наружному спокойствию все в Ардальоне Павлыче билось и дрожало как в лихорадке:

– Анечку, Анечку сегодня надо увидать… Попробую на катке!

* * *

Каток в нашем городе был во дворе Общественного Собрания. Сумерки вступали в мир, синее небо было свежо по-весеннему, на нем теплились редкие звезды. Черная махина Собрания чеканилась на рыжей заре, и от этой зари, а потом от больших керосиновых фонарей на столбах, по голубому льду катка цвели золотые и розовые цветы. «Чирк-чирк-чирк!» – слышалось на льду, да изредка всплывал в морозной тишине звонкий смешок, – и вкруг, широким потоком легких теней летели наши знаменитые конькобежцы. Костя Селитренников, гимназист, несся даже на норвежских, поджимая ноги, то одну, то другую, судорожно, к самому животу, а в центре корчились другие – петляли, выписывали восьмерки, вертелись волчком и вообще удивляли сами себя. Девушки мелькали в этой круговой стае, и среди их меховых шапочек, вязанных рукавичек, маленьких муфточек бочонком – Ардальон Павлыч издали увидал почерк Анечки и направился по льду наперерез, в дальний угол, к березам, подальше от фонарей и теплушки.

Полковой оркестр рванул оглушительный марш «Под двуглавым

орлом», и над синим зеркалом льда, над снегами, над деревьями, над погребенным в сугробе фонтаном летнего ресторана с голым амуром взлетели ракеты, разрывались золотом или мягко рассыпались синим, красным, зеленым, соперничая со звездами, скрестились с черными ветками деревьев; замахали на льду, закружили фырча огненные плюющиеся колеса, забухали швермера, катальщики устремились на лед, подпрыгивая на ступеньках, их будки, скамейки – и все это полетело в круговом вихре, сопровождаемое тайными скользящими тенями, неведомыми до того…

Но, черт его возьми, вдруг увидал Ардальон Павлыч, что Сигизмунд Юлианович летел ему наперерез, держа руки крестом с какой-то длинной дамой в белой барашковой шапочке и с белыми обшлагами кофточки; коньки у них сверкали на длинных взлягивающих ногах.

– Га-га-га! – хохотал Сигизмунд Юлианович. – Не на свиданье ли уж?!

Стебнев сказал ему тихонько дурака, и поручик улетел в разноцветную тьму, как пребезобразный чей-то фантом.

И вот уже смотрел Ардальон Павлыч в темные, большие, смелые под взлетающими бровями глаза Анечки, и она дышала от смущения в дырку муфты жарко и сильно.

– Анечка! – говорил Ардальон Павлыч и сам не понимал, откуда у него такой небывалый нежный и милый голос. – Анечка! Я в отчаянии… Я хотел с вами поговорить… Что ж теперь нам делать?

– Папенька очень рассердились, – сказала Анечка, и голос ее звучал свирелью среди медных ворчаний оркестра. – Очень!.. Они говорят, что хотя я гимназию и кончила, за вас идти не могу, потому что я вам не пара… И еще потому…

– Почему, почему же?.. – торопил Ардальон Павлыч. Он уже забыл окончательно, что ему под тридцать, что он адвокат, что у него прекрасная квартира в пять комнат, ковры в кабинете, старое оружие на коврах, и пахнет там старым холостяком, что жизнь ускользает, и мало ли о чем забыл Ардальон Павлыч! Он видел только блеск милых Анечкиных глаз, и она казалась ему душой этого сонного города, представшей ему на весеннем закате, в час, когда творится чудо и от земли к небу летят волшебные разноцветные кометы.

– И потом еще они говорили, – быстро-быстро передавала монотонно Анечка, – чтобы я выходила за Громова… За молодого…

– Это за Мишку-то? – вскрикнул Стебнев. – За этого-то шалопая!

Мишка! Да вот он еще сегодня тройкой правил, когда отец Громов денежкой ушиб нос Ардальону Павлычу. И бросил, значит, подлец, нарочно. Со значением. Нет, этого так оставить положительно нельзя!

Анечка стояла под голыми березами, в тени, и по ней слабыми радугами проносились отсветы фейерверка. И Стебнев чувствовал, что пришел

его конец, конец его вольной жизни, что влюбился он, как гимназист, и даже еще страшней, потому что дело любви шло для него к концу.

Из теплушки вышла какая-то пара в толстых шубах и, держась за руки, спустилась на лед: обыватели пришли посмотреть на ловкое ледяное действо и уселись на скамейку, грузные, как медведи.

Анечка смотрела снизу вверх на Стебнева, и она-то ничего не думала; женская душа ее чувствовала себя подле мужской души – чего тут думать-то! И глядя жалостно то в один, то в другой мрачный глаз Стебнева, она говорила молчанием:

– Я – твоя! Я готова! Куда мне идти?

– Анечка! – глухо крикнул Стебнев и сжал ее руки. – Анечка! Давайте уедем со мной?.. Ей Богу! Любите ли вы меня или нет, Анечка, – все равно, но вам нельзя здесь оставаться. Вас тут просто съедят с блинами и пирогами, да, да, да!.. Вы покроетесь пылью, вы погибнете со всем вашим талантом. А я, если останусь здесь, я сопьюсь с моими клиентами…

Оркестр теперь играл уже что-то нежное, печальное, похожее на угасавшее небо, на исходивший дымом, умиравший фейерверк. За домами вставал багровый щит луны.

– Анечка, – говорил безумно Ардальон Павлыч, – выбирайте же: или эта сонная, жирная жизнь, жизнь до смерти, жизнь прочная, как ваши дома, или же другое – новое, яркое, что мы должны сделать и мы сделаем!

– Я сделаю, Ардальон Павлыч, – сказала Анечка нежно, – все, как вы скажете! Я на все готова.

– Родная!.. Едем?

– Едем!

– Навсегда?

– На всю жизнь!..

– Так слушайте: завтра будьте на дневном разгонном балу в Общественном. Пред концом, когда стемнеет, я подам мою тройку, и – айда… Только нас с вами и видели. Ах, Анечка, на век, на наш долгий счастливый век мы будем с вами!.. На моей тройке Пармен домчит нас до станции, там поезд, Москва, и – поймите, какая новая сильная жизнь перед нами! Я буду работать; вы, конечно, заниматься музыкой… Ах, какая это будет чудесная жизнь, свободная, далекая от этих сонных домов, которые стоят веками и не двигаются!.. Вдали от этих людей, которые вон там вдали сидят, как два медведя…

– Это, вы разве не знаете, кто? – сказала Анечка и тихо засмеялась. – Да это братец, Петр Лукич, с Настенькой, с женой. Они пришли посмотреть да сидят квашнями…

Вальс теперь плыл певуче и взвиваясь, и луна путалась между деревьями и прислушивалась к тому, что говорилось под ними на темнеющем катке.

– Так завтра, Анечка!.. И скачем прямо к московскому поезду и прости-прощай и Ардальон Павлыч, и Анна Лукинична! Правда, правда!

* * *

Сегодня прощеное воскресенье – значит, уж, почитай, Великий Пост, Покаяние и Воздержание. Размышление и молитва. И, чтобы тело было к молитве внятливей, завтра постная, легкая пища. Завтра на базаре горами из наших неоглядных зелено-синих морей-лесов навезут мужики гриб – сушеный, моченый, соленый. И груздь, и рыжик, и белый, и подберезовичек, и опенок… И станет в кадках капуста соленая, шинкованная и рубленная, квашеная – и все что освобожает голову и очищает совесть. И рыба пойдет постная - не богатый осетр, а так, пустяк, Ардальон Павлыч… белозерский, только слава, что рыба, а греха в нем нет никакого, еды почти что нет.

Но это – завтра, а сегодня пока что во всю бушует Масленица. Она еще жива до заката солнца… Еще движутся по улицам катающиеся, и, конечно, – масса пьяных. На льду Святого Озера копошится тоже муравьями народ, старым обычаем готовят там Масленицу, чтобы ее сжечь; делают из соломы огромную бабу, катят смоляные бочки из-под нефти, что вырабатывает Нобель и К°.

Цветной метелью вьется последний перед Великим Постом бал в Общественном. Веселятся русские люди изо всех сил, во как веселятся, потому что покаяться можно будет потом за все грехи сразу. В раздевальной, в конторе внизу столько шуб навалено, что они ворохом лежат до потолка – медвежьи, бараньи, куньи, лисьи…

Кучами же лежат ботики валенные, калоши, валенки серые с красными пятками, черные с золотыми клеймами…

Еле сбросил свою шубу Ардальон Павлыч, когда подъехал на своей тройке к Собранию, еле протискался в ульем гудящий буфет, хлопнул там для храбрости одну рюмку, поднялся наверх, в залу с зеркалами и люстрами, куда смотрело закатное солнце.

Полковая музыка рыкала вальс на хорах, и внизу летела цветная душистая метель материй, бантов, кружев, лент, причесок всех видов и форм… А больше всего это было сверкание глаз, молодых и счастливых, как всегда во время бала.

Вот и Анечка… Она кружилась в вальсе с каким-то черным студентом. Головка в белом веночке склонилась к плечу, к ее иссиня-голубому, небесному платью, и только блестящие глаза показывали, что она как бы отлетала от этого мира.

Увидав Ардальона Павлыча, она улыбнулась и чуть кивнула ему одобрительно. Или, может быть, этот кивок только почудился Ардальону

Павлычу?..

Нет, не может быть, чтобы кивка не было! Был он, был!

И, спустившись опять в буфет, Ардальон Павлыч спросил себе для успокоения стакан густой, почти горькой малаги.

Как медленно приближаются часы, которых мы ждем! Как они цепляются в своем ходе за всякие препятствия! Но, с другой-то стороны, они все равно должны придти! И вот, когда уже синие тени хлынули на небо, когда село солнце, рванул оркестр наверху последний перед Великим Постом марш, и началось шарканье ног – общая променада в зале.

Заслышав, Ардальон Павлыч бросился в прихожую, набросил на себя шубу, и вот видит он, как с лестницы быстро спускается его Анечка, ловко уходит от толстой мамаши своей, Анны Михайловны, завязающей в толпе.

Вот она выскочила из дверей, и, не помня себя, подскочил к ней Стебнев, полы шубы взлетали в воздух:

– Аня! Сюда, за угол!

Бег, последний, решительный бег сквозь толпу, чрез ряды саней, и вот – кошева, и вот – Пармен, и вот – тройка, от нетерпения прыгающая на месте… Гимназисты, купцы, барыни, чиновники – все это неслось на Святое Озеро жечь Масленицу, и всем было не до того, как отлетела прочь знаменитая тройка Ардальона Павлыча. Мелькали, оставались по сторонам серые, кондовые дома, что хранят свои тяжелые тайны связанных душ целые сотни лет, что блазнят роскошью русских праздников. Развязаны колокольцы, гремят бубенцы-шеркунцы, и несется тройка, уже огибает Святое Озеро, где уже в сумерках зажглись, пылают огромные костры из нефти, дегтя и соломы, пляшут, мечут ввысь свои алые лохмотья…

Мягким тулупчиком, теплым и кисловатым, охватил, одел Стебнев Аню, обул ее в припасенные тоненькие чесанки на шелковые чулочки, закутал в оренбургский платок, и гром колокольчиков, бормоток бубенцов, огни на озере и всходившая луна сливались в один гимн матери жизни…

– Аня, – говорил Ардальон Павлыч и целовал ее безответные губы, – Аня… Извини, брат, я по-военному: раз и два… Да и чего же было нам ждать?! Мы любим, мы связываем себя на всю жизнь… Лука Петрович погневается – и обойдется все. А ведь он, пожалуй, правду сказал, что я его могу обойти… Почему же он просто не сказал тогда нам: «Любитесь-де, мол, венчайтесь, и Господь вам помоги…». Нет, это не по нем… Это не по-старому…

И лицо Стебнева казалось бледнее, а борода еще чернее от луны.

Пармен дипломатично смотрел вперед. Кони скакали. Стали уже гаснуть вдали зарева Масленицы, и дорога понеслась изгибами, подставляя лесу то одну, то другую сторону саней. И никого не было уж, кроме Ардальона Стебнева, смелого и решительного, бегущего к новой жизни из этих крепких, темных мест и увозящего с собой душу этих мест – нежную

Аню…

* * *

Но не так легко выпускают старые места души, которые им принадлежат. Что же им самим-то делать без души? Им самим нужно свежее дыхание, ясный взор, тихий шелест платья, чтобы не жить же все на грубых окриках, на храпе после тяжелой еды, на молитвах.

Любил наш город Аню, и пришел к нему на помощь страшный случай…

Жил в нашем городе на самой окраине близ озера мещанин Ларивон Чуваев в том самом месте, где роща монастыря Умиления в белых оградках своих сбегает почти что к самой воде. Тут-то и жил Ларивон, тут-то и чинил он разный специальный снаряд – замки, ружья, часы; был он очень хороший мастер.

Рыжий, конопатый, приземистый, с большой башкой – он дни и ночи сидел в своей лачуге с копченым потолком и стенками. Работал… И не было у Ларивона друзей, а был лишь пес Мухтарка, и потому думал Ларивон, как осчастливить все человечество сразу.

И думал он вот что: почему это так сделано, что у Змеева или у Громова денег сколько хошь, а у него, Ларивона, денег нет? Разве это справедливо? Чего же начальство смотрит? Ларивон работает, не покладая рук, а Змиев только рыбой торгует и жмет народ ценами. А если бы ему, Ларивону, немного денег, то стало бы дело иначе. Он ведь давно уже знает, как построить тот чудесный снаряд, что будет вертеться все время сам по себе и любую машину крутить без расходу…

Вот что удумал Ларивон!.. И планы уж у него готовы.

Но чтоб построить машину, нужны деньги, а денег нет! Значит, надо достать, чтобы народ осчастливить, – ведь не в одном Ларивоне дело… Имеет ли это право Ларивон? Конечно, имеет.

Вот почему Ларивон в пятнадцати верстах от нашего города и засел на тракту, поджидая почтовую тройку. Сегодня воскресенье, да какое – масляничное! Почтальон, Никита Мосеич, несомненно пьян, а ямщик испугается Ларивонова ружья и остановит коней… Правда, может, придется все равно стрелять, но что же поделаешь? Разве иначе поможешь людям, если стрелять забоишься?

Скачет лунным лесом тройка Ардальона Павлыча, несет с собой его и Анечку; мелькают зеленые и синие от луны пятна по звонкой дороге. И вдруг видит Ардальон Павлыч, как какой-то зайчишка сдуру перекатился через дорогу да в кусты…

«Ох, не к добру!» – подумал он, и тут же враз захрапели кони, шарахнулись, стали укорачивать бег в узком заснеженном месте. И стоит распятым

крестом посреди голубой лунной дороги к счастью Ларивон.

И обратно – стоит Ларивон и видит, что вот скачет тройка… Несет она, эта тройка, заветную мечту его голубой души. Надо ведь ему, Ларивону Чуваеву, весь мир осчастливить – так Бог велел!

– Стой! – орет Ларивон, и так властно, как в избушке своей никогда не орывал, – некому орать-то, один пес, Мухтарка, и все тут. – Стой и больше ничаво…

Разгневался Ардальон Павлыч, видя на своем пути такое препятствие, понимает: надо бороться. И вот выхватил Стебнев свой «Смит и Вессон» и стрельнул в Ларивона, в изобретателя.

Мелькнул красный пузырек огня, слабо раскатился выстрел.

– Мни его конями, Пармен! – кричит Ардальон Павлыч. – Пошел!

Стегнул Пармен по коням, взвились кони, поскакали, и отскочил Ларивон в сторону.

– Ах, ах! – тонко вскрикнула Анечка, закрыла лицо руками, повалилась на дно саней. Не любит человек, как человек человека убивает.

Но приложился тут из сугроба к ложу осатаневший Ларивон, ударил из своей винтовки. Синяя струя огня вылетела из дула, нахлестом стегнула по воздуху, закаталась эхом в лесу, и Ардальон Павлыч сник, стал сползать с сиденья на дно, к Ане.

И видит с ужасом Аня, что нельзя уж ей больше уклоняться, лицо прятать, – падает прямо на нее мертвый Ардальон Павлыч, и по белому от луны пластрону его расползается, курится черное пятно…

– Ай! – вскрикнула Анечка. – Ай! Убили. Убили!

Отскакал вперед Пармен, сдержал тройку Ардальоновых пегих, слез с козел, стал смотреть. Потом снял шапку и перекрестился.

– Царство небесное! – сказал Пармен и смахнул слезу. – Эх, барин, Ардальон Павлыч! Думал, я тебя к венцу везу, а вот что вышло! Что ж делать, барышня, – едем назад, вон дело-то какое… Авось, проедем.

И когда тройка пегих вскакала во встревоженный двор дома Змиевых и люди выбежали с фонарями, засуетились, сверху, с лестницы, раздался истошный материнский вопль Анны Михайловны:

– Анька!.. Что ж это? А! Анечка-а!..

Но твердо поднялась бледная из саней Аня, и брильянты броши сверкнули на голубом, черной кровью выпачканном ее платье. Медленно, опустив голову, она подымалась по лестнице старого родительского дома. А когда поднялась, то наверху лестницы со свечой встретил ее грозно отец, Лука Петрович:

– Ну, сказывай, дочка, Анна Лукинишна, где изволила гулять?..

Но еще грозней глянула в ответ на него Аня и молча прошла к себе, в свою комнату, мягко ступая чесанками, что поверх чулочков обул ее в последний раз голубчик Ардальон Павлыч.

И от первого грозного взгляда голубицы Ани – закачался, пошатнулся старый дом.

Опубликовано и печатается по: Рубеж. 1935. № 11. С. 3-4, 6-8, 10-12.

МАТЬ

Бескозырка вольнопера лихо надвинута набекрень – на один палец расстояния от правой брови. Кокарда проверена привычным движением – прямо ли ребро ладони против нее и против носа. Пояс стянул серую, с кислотцой шинель, и настолько, что с трудом под него пролезают два пальца. Штык на левом боку – на два пальца от левой пуговицы хлястика, за которым лежит поясной ремень.

Рекомендуюсь:

– Вот я, лихой вольноопределяющийся 28 пехотного Полоцкого полка, подтянутый, стройный, молодцеватый… Прошу любить и жаловать.

Все промеры произведены. Взгляд на ноги – сапоги чисты. И громко:

– Мама, я пошел!

И слышу медленные, но бодрые, такие бодрые шаги. В нашу маленькую провинциальную гостиную, где скучают диван и предзеркальный стол под бархатной скатертью, с лампой-тюльпаном, на котором уныло, но гостеприимно виснут бумажные под парафином цветы, входит мама. Проститься – это обычай, который нельзя преступить. Она кутается в уютный, серый, оренбургский платок, сейчас лежала после обеда с «Русским словом»: щека красновата, в узоре от подушечной прошивки, и только глаза, чудесные мамины глаза сияют – темно-серые, бархатные, с какими-то необычайно синими белками.

– Ну, в поход? – спрашивает она.

– Да! – весело говорю я.

Она пытливо смотрит на меня, молчит, потом тянется мягкими губами к моему носу:

– Ну что ж. Иди, иди сынок!

Я вижу, что она хочет меня спросить; я знаю, о чем она хочет меня спросить. Поэтому я откозыриваю и вылетаю во двор, прыжком переношусь через лужу, сберегая свои сапоги, с визгом хлопает ветхая, серая калитка, и – я на улице.

Ах, опять весна, весна, законченная пятая неделя Великого Поста… Вот он, воскресный день у матери, отпуск из Учебной команды. Вот они, деревья, тончайшими жилками на синем небе, по которому просыпан желтый тон солнца; на деревьях громоздятся грачи… Улица – в плешинах,

черных и белых, – пегая, расползшаяся, но тротуары сухи, и на них ребятишки дуются в бабки и в свайки. Под солнцем уютно, по-соседски расселились невысокие серые домики нашей улицы, – все больше в три, четыре окошечка, со ставнями, с наличниками, – греются. Из Богоявленского женского монастыря, из его тончайшей рощицы, где разбросаны домики-келейки, – размеренный унылый звон. Вечерня, должно быть! Белые стены взбегают и сбегают по горам; по углам – зеленые шапки башенок с узкими окнами за железными решетками. Под монастырем бушует овраг. Он бурно играет быркой водой, над ним трубно кличут серые вороны, в нем скачут боком маленькие, ледащие галки; пласт, сажня в полтора, бурого снега подточен, и вода несется в ледяную пещеру… Ребята кличут, как галки, и отправляют кораблики в подснежное плавание.

А мне что! Я – солдат! Я казенный человек! Я иду на пружинах моего выработанного, почти гимнастического шага, меня подбрасывает сила моих двадцати трех лет. Я сбегаю и взбегаю по тротуарам, откозыриваю офицерам четко, ловко. Все в порядке, и я весел, как может быть весел вольнопер в отпуске, в праздничный день, в двадцать три года, когда он идет на свидание…

Все в порядке, и тут, на улице, все блестит, словно начищенные на вербовке пуговицы дома – тоже все в отменном порядке. Там распространил надо мною свою душу, словно пуховый оренбургский платок изымать. Там – скала, мягкая и нерушимая, к которой я не прикасался за время университетских умствований, сомнений, исканий, переживаний. А теперь в этом провинциальном городе мать опекает меня, как только может опекать мать, от чего я уже отвык, и ее заботы так откровенно сладки мне.

Вчера, когда я пришел в отпуск, в саду была вытоплена подслеповатая, подкосившаяся баня среди лиловых вечерних снегов. Мать сама свела меня туда, зажгла утлую золотистую свечку, тревожно понюхала печной дух – нет ли угара, и, когда я стягивал уже рубаху, хлопнула по спине, и ушла со словами:

– Ну, мойся, мойся, солдат!

И даже ее голос словно улыбнулся нежностью. А сегодня утром, в весеннее воскресенье после крепкого сна, она пришла к моему дивану своими мягкими, словно кошачьими, заботливыми, нетревожащими шагами матери:

– Спишь? А то вставай! Чай готов!

И многозначительно вкусно добавила:

– И еще кое-что.

Весеннее утро. Солнце светит на клеенку стола. На желтый пол. На фикус в углу. Моя любимая чашка – синяя с золотом – блестит янтарем чая, и от этих удивительных пряженцев – с капустой и грибами – идет парок!

О, дети-эгоисты! Дети не видят ласки матери, не замечают ее… А вот когда они вырастут, когда поживут одни, когда потоскуют и попьют водки в белые петербургские ночи, когда заглянут в глаза шумной и пыльной жизни столиц, – только тогда они поймут, что такое мать, как нежно прикосновение ее легчайших рук к слегка уже оплешивевшей душе, и, выйдя утром к столу, скажут с восторгом:

– Ва-ажно!

Мать тут же сияет, как это солнце, как эта икона; время в ее присутствии медленно, но легко, и она, погрузившись в наш «Листок», ахает удивленно:

– Ах, ах, ах, опять на Спасской кража... Ах! Агаша! Агаша! Надо куриц-то запирать начать на ночь… Смотри у меня, Агаша. Ответишь!

Мать – это душа в доме, мать – запах дома, потому что материнским запахом – немного пачули, немного сафранора – пропах весь наш дом. Мать – душа нашего дома в пять окошек, бодрствующая, живая душа. Она живет – и все живет вокруг. Умри она – и дом бы умер, перестали бы звенеть хрусталики на канделябре, блестеть зеркала. И обратно: если бы, оборони Бог, случился пожар и дом бы сгорел, пожалуй, и мать умерла бы, ушла бы душа из исчезнувшего тела – из дома, из его сеновала, погребов, чуланов, сараев, баньки, комнатушек…

Вот и теперь я знаю, что делает мать: она, наверное, сидит у себя в комнате, что-нибудь шьет для сестры, гимназистки Сони, и мурлыкает себе под нос, однообразно и уютно, как кошка… И поэтому, стремясь по улице, я несу в душе ее женскую тишину и покой. И поэтому я так уверен в себе.

Я уже за монастырем. Солнце клонится к закату и заливает весеннюю, рыжую, еще голую, неоглядную степь, над которой в синеве плывут белые облака, волоча по равнине вуали теней. На этой равнине крадется в крутых берегах реченька, которую еще пленные турки когда-то после 1877 года отвели от города вторым руслом. Сзади, вправо и влево, сам город на правом берегу, над старым руслом. Солнечным светом, словно сахарной пудрой, припудрены его черные, коричневые сады, зеленые и красные железные крыши, купола, шпили его церквей… А впереди, в полуверсте передо мной, на бесконечной равнине точкой горит издалека красная яркая шапочка.

Я бросаюсь по шаткому мостику над вспухшим льдом, выбираюсь скачками на другой берег речки, продираюсь напрямик сквозь сухой, острый ивняк и режу пространство отделяющее меня от этого красного пятна. Вот оно.

Поднятая на холмике, против плывущих облаков, среди щетины старого трепещущего ковыля, охватив руками поднятые колени, сидит

горестно Лиза. Ветер, степной и вольный, носится тут же, треплет темный локон из-под красной шапочки, шелестит ковылями и, как пьяный, выписывает круги – все шире, все шире и шире. Моих шагов, должно быть, не слышно из-за звонов и ветра.

– Лиза, – кричу я, – Лиза! Вы уже ждете… Ведь вы озябли!

– Удивительно! – бросает Лиза, не покидая своей курганной позы. – Замечательно! Назначать свидание в версте от города!.. Восхитительно! И назначать в такой ветер!.. Я знаю, я знаю! Это все нарочно… Вы боитесь, боитесь подло и мерзко!

– Чего же я боюсь, Лиза? – недоумеваю я и замечаю, что ветер, этот холодный, пронизывающий бродяга, слизывает с моей души прочь краску дня. – Ну как же я мог знать, что будет такой ветер? И я не опоздал!.. Напротив, это вы пришли слишком рано.

– Ах, рано?! – спрашивает Лиза, и бросает обе руки на рыжую землю по сторонам. – Если рано, я могу уйти… Пожалуйста! А чего вы боитесь… Вы не знаете?.. Вы вашей мамы боитесь, Александры Николаевны, вот что-с!..

Лиза говорит запальчиво. Она широко раскрывает свои огромные, чудесные глаза, на которых уже выступают обильные слезы.

– Я знаю, я знаю… – бормочет она и с каждым словом прогибается вперед. – Я все знаю, все ваше дурное отношение ко мне… Не смейте меня обнимать! Не смейте! Вы – гадкий.

Я знаю в чем дело: она ревнует меня к матери…

О, Лиза чудесна! Лиза неповторима. Какие у нее глаза, черные, сплошные – какие-то пятна темноты… У нее цвет лица старого жасминового фарфора… У нее чудесные, обильные черные волосы. А голос?

– Удивительно! Прямо замечательно! – говорит Лиза и трясет перекошенными кулачками. – И как это вас мама пустила?! Небось, спрашивала, куда идешь?.. О, и вы, конечно, сказали… сказали, что не ко мне?!

– Нет! – говорю я и смущаюсь, вспоминая, как я убегал от материнского вопроса, словно слыша раздумчивый голос матери:

– Ну, иди!

Но через две минуты Лиза уже забывает свое раздражение и начинает весело болтать…

– Какова погодка! – говорит она, и я вижу, что и впрямь все облистано светом, солнцем, все овеяно чистейшим весенним воздухом. Видно, что шестая неделя… – А вас дома, правда, в коротких штанишках водят? Ха-ха-ха! Как маленького… Ну, дуся! Дуся, не сердитесь… А правда, что Диодоша Ивинский попал под арест? За что?

Она, как наша полковая Маскотта, издали знает о нас почти все. Она живет и сочувствует нашей солдатской жизни, простой, грубоватой, для которой так много значит женщина. Может быть, она и меня хочет

утешить, обласкать и чутьем слышит, как у нее есть соперница. Моя мать… Но она так молода, так искрення, так забавна… И главное – так красива!

Солнце быстро скатывается за бушующий красными протуберанцами горизонт, и на парче заката – черный контур города и высокая крупная звезда. Прямо над равниной, над далеким чернолесьем, подымается овалом золотая луна, и скоро весь горизонт, вся равнина начинает светиться нежным пепельным колдовским светом. Скрипучий ветер пышет нам в лицо, треплет нас за полы, за лица и радуется с нами простой и сильной радостью. Лиза широко шагает со мной к городу, рука ее под моей плотно прижата, она греет обе кисти в муфточке и мелко дрожит – не то от свежести, не то от счастья.

– Сережа! – говорит она и останавливается. – Ах, Сережа, если бы вы знали, какой вы удивительно хороший!.. Прямо замечательно хороший!

И, не выдерживая силы этой мысли, оны выхватывает руку из-под моей, жмет обе щеки, словно у нее больные зубы: луна светит в ее большое лицо с двумя морями темноты, и слезы восторга блестят в них золотыми каемочками. Я целую ее в темный, тугой рот, сильно изогнув назад, почти до земли.

* * *

Окно столовой светится, я стучусь. Сквозь занавеску я гляжу, как со стула медленно поднимается тень… Знаю, это – мать. Она ждет.

Из-за двери, во дворе слышится ее спокойный голос:

– Сергей?

– Я, мама!

Гремит тяжелый крюк. С крюком я намеренно долго вожусь, чтобы мать ушла в сени. Но я знаю – она стоит в передней.

Я намеренно долго раздеваюсь. Долго снимаю шинель. Бросаю неловко штык.

– Тише, – говорит мать, – тише!.. Соня-то ведь спит!

Снимаю тут же, в темноте, мундир.

– Ужинать будешь?

Надо бы не ужинать, а не то ведь мне – 23 года; столько воздуху, столько переживаний. Я знаю – рано ли, поздно, я дойду до столовой, где горит и пищит керосин в висячей лампе, где на уголке в накрытые салфеткой стоят хлеб, молоко и котлеты.

И вот мать опять против меня в своем оренбургском платке. Смотрит, улыбается…

– Ну, – говорит она, – где был?

Я-то самостоятелен?

– Да!

Я взрослый?

– Да!

Я кончил университет?

– Да! Да! Да!

И все равно – этот вопрос неотвратим, потому что это – вопрос матери. Между мной и ею нет стен – я – она. Здесь передо мною сидит сама совесть в оренбургском платке. Сидит и смотрит на меня своими серыми и умными глазами.

– Рассказывай, рассказывай! – негромко говорит она и поглаживает рукой по клеенке. Чуть улыбается. – С ней был?

Она знает: там – закат, пыльный свет луны, ветер, другая женщина. Я куда-то уходил от нее, от матери. Уходил. Это и страшно, но немного – ничего… Вернулся я или нет?

– С кем это – с ней? – спрашиваю я, пробую отвертеться.

– С Бетси, конечно, – вдруг немного в нос говорит мать. – С кем же… Весь город говорит. Что ж, она была интересна?

Она знает все. Фарфоровое лицо. Темные пятна глаз…

– Ах, мама, мама, – залезаю я носом в стакан с молоком. – Да, очень интересна. Очень!

– В какой шляпе? В этой красной, с черным пером? Пожалуй, это к ней идет. Но слишком как-то экстравагантно. Она, знаешь ведь, как-то простовата.

Мать играет со мной, как кошка с мышкой. Мать хитрит. Я знаю – я могу встать, уйти. Могу не говорить о том, что еще звучит симфонией во всем теле. Но я знаю – уйди я, я бы обеднил сам себя. Стихия – огромная, ласковая, материнская стихия идет на меня.

– Ага! – продолжает мать. – Значит, это она так долго не пускала тебя домой. Удивительные свидания по шесть часов подряд!.. Где же вы были?

Я молчу.

– Чем же она тебе нравится? – допытывается мать. – Ну, скажи, – чем? И очень нравится? А?

Да, Лиза или Бетси, как с чуть заметной, легкой усмешкой зовет ее мать, мне нравится. Правда, она экстравагантна. А эта шляпа – кто ее не знает в нашем городе? Но, черт возьми, как же объяснить матери, как она, все же несмотря на все это, чуть заметно расхолаживающее, хороша.

Я молчу. Мать тоже молчит, раздумчиво качает головой.

– Что ж, – говорит она наконец, – ты взрослый… Ты, вероятно, возмущаешься, что я втираюсь в твои дела? Видит Бог, я не хотела бы этого… Но если бы я не сделала этого, я не была бы матерью. А ведь во всем мире, в целом мире, сынок, ни один человек не встретит тебя вот так, как я, не будет тебя ждать, не будет волноваться за тебя… Вот вы гуляли там… я не знаю, где, не знаю, что вы делали… Целовались, может быть. А у меня изболелось все сердце, вся душа… Потому что ты… – она остановилась и с

трудом сделала глоток. – Уходишь от меня… Это – судьба! Но куда ты уходишь, вот – моя забота. К женщине… Но мы знаем, мы, женщины, знаем лучше вас, что такое женщина… Скажи, ты ее любишь или нет?

– Мама, это же мое дело! – восклицаю я с отчаянием.

– Знаю, Сережа, знаю, – говорит мать. – Ты не можешь ответить на этот вопрос – значит, тебе о нем и думать некогда. Ты ведь об этом и не думал… Ага! А я думала. Ты силен, молод, в тебе сила бушует – вон ты какой… когда ты родился, и я стала кормить тебя в первый раз, ты укусил меня за грудь так, что потекла кровь… Где тебе думать от твоей силы. А кому же думать за тебя, как не матери? И вот я думаю про Бетси… У нее бедная душа. Ты посмотри, сынок, как она одевается, посмотри на все эти ее кофтулечки – как они сидят на ней. Бедно? Да не в этом дело. Безвкусно – вот что беда!.. А этот романс ее, который, знаешь, она всегда поет, этот… ну, как его? «Уголок» что ли. И как она плохо поет его. У нее сильное тепло, но ведь этого мало…

– Мама! – говорю я. – Объясни мне одно: ты когда-нибудь говорила с ней обо мне?

– Спаси Бог, сынок, – говорит мать и даже крестится. – Что ты! Что ты! Ведь что-нибудь говорить о тебе – значит, признать, это…

– Почему же она так не любит тебя? Почему она мне сегодня сетовала, что ты не пускаешь меня к ней?

– Что ж, она права, – говорит мать и тянется к моему стакану, чтоб подлить еще молока. – Все это очень просто, она – женщина, и я – женщина. А мы устроены иначе, чем вы, мужчины. Ты думаешь, я не знаю, что ты делал, где ты был?.. Знаю! Сердцем знаю! Вот и она, поверь, сердцем тоже знает, что мы вот сейчас тут сидим и разговариваем. О нас поговариваем… Завтра к бабке побежит, бедная! Ах, Сережа, мы боремся за тебя, и не явно боремся, как вы, мужчины, а так, как умеют бороться только женщины… Мы боремся взглядами, словами, мыслями, проклятиями или благословениями, и это наш женский мир, Сережа, в котором вы ничего не смыслите. Да, да! Но есть между нами и разница: она борется за себя, а я – за тебя, не за себя… Я могу быть искренней, а она – нет.

Мать помолчала, потом сжала на груди руки крестом, повела приподнятым плечом:

– А, впрочем, делай, как знаешь. Но помни, сынок, одно: не начинай роман с конца! Пожалей ту женщину... Ведь после этого она пропала, она уже не блестит, она остается с грязью в теле, с грязью в душе… Ну, иди спать. Я тебе постелила. Иди! И я лягу.

И, засыпая в гостиной на диване в свежих простынях, от которых тоже пахло матерью, я слышал как будто шепот…

Мать молилась.

Проза

* * *

– Поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения, – раздельно и важно произнес среди своих густых эполет командир нашего полка, полковник Корнаковский. – И желаю… Желаю, чтоб… Дай Бог… Христос Воскресе!

И полез в карман за словом, но вытащил только надушенный белоснежный платок, чтоб начать христосоваться.

– Воистину Воскресе, ваше высокоблагородие! – дружно подтвердили мы, вся учебная команда, incorpore.

Сияли офицеры, сияли лампы, начищенные до безумия, до феноменальности, сияли лампады перед образами святых Кирилла и Мефодия, сияли и мы. На всех нас были мундиры первого срока, все мы были чисты, бриты, все мы были страшно сильны, молоды, и все мы стояли в разведенных шеренгах, и к нам, как к изваяниям прикладывалось начальство, седой строгий командир, начальник и веселые наши младшие офицеры. Потом были разговены колбасой и яичком, потом была здравница, и, наконец, словно потухла половина ламп: начальство уехало к своим веселым пасхальным делам.

– Господин подпрапорщик, разрешите домой! – метнулся я к нашему Ивану Федоровича Рускакову.

– Ах, нет, вольноопределяющий, ах, нет-с, оставьте, не лукавьте, – пропел хрипло фельдфебель, и его малиновый лик расцвел во всех направлениях. – Покамест вы со мной не выпьете на посошок, уволить вас по уставу службы праздничного распорядку никак невозможно-с… Прошу-с!

Выпили. И, когда я выскочил наконец из казармы под черное, теплое, искрящееся огнями небо, на меня пахнул уже тот свежий воздух, который приходит только после полуночи и льется все чище и чище к рассвету.

А кроме этой свежести, ночь дышала березками, топольками, какой-то травкой, которые тоже вышли в мир к этой Пасхальной ночи, и, должно быть, тоже хотели, чтобы с ними христосовались или хотя бы с ними радовались, их поздравляли. И высокие лампы пролетали надо мной, как дымные облака на фоне звезд

Шинель плащом вилась за моими плечами, штык я придерживал и мчался вперед, туда, к городу, над которым вставало зеленое марево от огней на улицах, откуда доносился дальний звон и где всходили, означая церкви, золотые дуги ракет. Собор на горе казался прозрачным от бенгальских огней, от полыхающего зарева смоляных бочек, словно тут и там в городе вспыхивали веселые пожары. И, когда я бежал уже по улицам, во всех окнах был свет, никто не спал, и по тротуарам, по мостовым бежали темные фигуры с задранными белыми подолами, с узлами съестного в руках.

Какая была ночь! Какая счастливая ночь!

«Лиза! – думал я с отчаянием, – Лиза!... Я опаздываю… Я задержался в команде, в красных казармах. Бежать прямо в собор?.. А мать?.. Надо ее поздравить! А если я там задержусь?.. А если мать меня не пустит? Замечательно будет!».

На темной улице пять желтых четырехугольников – дом. Я влетел во двор, рванул в дверь, неистово загрохотал.

– Кто там? – тоненько спросила сестра. – Кто-о? Ты, Сережа?

– Я. Отпирай скорей!.. Кто у нас?

– У нас мно-о-ого! – восторженно зашептала сестра в темноте, тоненько, счастливо засмеялась и положила мне руки на плечи. – Скорняковы, Дьяконовы, потом этот… ну, пьяница Ершов… Все, все!.. Нарядные! Тебя только не хватало… А какое у меня платье!.. Ай, Христос Воскресе! Я грешница и забыла!

И она серьезно, мерцая в темноте белым бантом на голове и благоухая помадой и одеколоном, припала к моим губам своими мягкими губами.

Я бросил шинель в темноту, на сундук, где пахло куличами и вином, и проскочил прямо к матери.

Мать в белом, причесанная, свежая и моложавая, командовала в ажитации на кухне.

– Мама! Христос Воскресе!

Она сразу обернулась, подошла, взяла мою голову своими сильными ладонями, качнула вправо и влево, посмотрела в глаза и трижды звучно поцеловала.

– Христос Воистину Воскресе, сынок! Спасибо! Спасибо! Спасибо!

– За что спасибо? – недоумевал я.

– А за то спасибо, – говорила она и вся искрилась от теплого и широкого чувства, – за то спасибо, что сразу не удрал, негодяй, туда, куда, наверное, убежишь, а зашел поздравить мать. За это. За то самое, что не забыл! Ах, сынок, если бы ты знал, как матери мало нужно!.. Ну, а теперь – беги! Иди… Повертись только для приличия в столовой и исчезай! Твоя судьба! Моя жизнь прошла…

И она тихонько смахнула набежавшую слезу, выбирая какую-то слишком поджаристую миндалинку из второочередного кулича с пышным розаном и в белой сахарной шапке.

* * *

Четверть века минуло с того времени. Прошла война, пробушевала революция, всех нас завертело, унесло, засыпало снарядами, пулями, словами, ненавистью, упреками… Но всякий год, как приближается этот Великий Праздник, я опять вижу нетленной, неизбывной ту удивительную

ночь, в которой вокруг меня было столько женской любви.

Когда я извлек Лизу из собора на бульварчик, – на который смотрела с нашего луга темная ночь, от собора лился свет, а с иллюминованной колокольни сыпались медные звуки, – она заплакала.

– Такая ночь! – говорила она. – Такая ночь, а вы не могли придти пораньше! Я давно уж вас жду! Вероятно, у мамы спрашивались?.. Удивляюсь!

От зарева бочек было видно, что у нее жалко жмурились глаза, но губы морщились от улыбки.

– Милая! – сказал я. – Милая Лиза!.. Не надо гневаться в такой праздник. Не надо!.. Мать отпустила меня сама в эту ночь, отпустила от себя, отпустила потому, что она – мать, что она хочет, чтобы мое счастье было моим счастьем, а она о себе не думает…

И до сих пор, в каком-то чуланчике неизбывной памяти, вижу я до боли ясно, как мы с Лизой сидим у них дома за столом, а потом, на свету, выходим в сад, который залит вишневым и яблонным цветом, и сквозь цветы всходит розово-золотистое солнце, и маячит густо-синее небо.

Но всего крепче в сердце память мне врезала маму – маму в белом платье, над глупым куличем с шелковым розаном, как она вынимала пригоревший миндаль крупными белыми пальцами, на одном из которых такое знакомое заветное кольцо с тремя цветными камнями – с якорем, сердцем, крестом.

Тогда она отдала меня, своего сына, навсегда жизни, и это была последняя Пасха, когда я был с матерью.

Где хранится это все, что ведь было когда-то в те «баснословные года»? Было – или нет! Время коснулось нас своим жестким крылом, душа наша огрубела, постарела, одеревенела от бурь, крови, передряг, боев и клеветы. Она словно не верит даже, что то и впрямь было… Да и где же он, этот стройный юноша в черном мундире с синими погонами, с цифрой «28» на них, вокруг которого так явно вздымались тогда волны любви, плещущей в мире, двигающей все вещи и замирающей все больше и больше теперь?

– Прошло... Прошло!

Впервые опубликовано и печатается по:
Рубеж. 1935. № 18. С. 7-9, 11, 14-16.



Наталия Иосифовна ИЛЬИНА *(1914–1994)*

Писательница и журналистка Наталия Ильина родилась 6 мая (ст. ст.) 1914 г. в городе Петербурге в дворянской семье. В 1920 г. вместе с родителями уехала в Харбин. Окончила гимназию ХСМЛ, училась на ориентальном факультете Харбинского института ориентальных и коммерческих наук. В 1936 г. уехала в Шанхай. Непродолжительное время состояла в браке с поэтом Л. Гроссе, репрессированным после репатриации в СССР. Писала фельетоны под псевдонимом «Мисс Пэн». Публиковалась в журнале «Рубеж» (Харбин), газетах «Шанхайская заря» (Шанхай), «Новая жизнь» (Шанхай). Организовала сатирический еженедельник «Шанхайский базар». С 1941 г. сотрудничала с ТАСС. В 1946 г. в Шанхае выпустила книгу фельетонов «Иными глазами. Очерки шанхайской жизни». В 1948 г. вместе с группой репатриантов возвратилась в СССР. Закончила Литературный Институт им. Горького. Печаталась в журналах «Крокодил», «Юность», «Новый мир» и др. как критик и фельетонист. Автор книг «Возвращение» (М., 1957-1963), «Дороги и судьбы» (М., 1985) и др. Умерла 19 января 1994 г. в Москве.

Ист. и лит.:

Ахмадулина Б., Бакланов Г., Можоев Б. Памяти Н. Ильиной // Литературная газета. 1994. 26 января.

Бикбулатова К.Ф. Ильина Н. // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги: Биобиблиографический словарь. М., 2005. Т. 2. С. 92-94.

Биуль-Зедгинидзе Н. Литературная критика журнала «Новый мир» А.Т. Твардовского (1958–1970 гг.). М., 1996.

Грекова И. Разветвление дорог // Октябрь. 1983. № 10.

Иванова Т. Наталья, Ольга, Мариетта // В мире книг. 1986. № 12.

Киреев Р. Обретение лада // Знамя. 1985. № 11.

Рощин М. Долгие дни возвращения // Новый мир. 1966. № 5.

ШАНХАЙСКИЕ ДЕТИ

Было воскресенье − благословенный день, когда не нужно идти в салон, мерить платья и лицемерно восхищаться фигурами капризных толстых дам. Вера Сергеевна вспомнила, что сегодня она решила взять детей в церковь к причастию.

Из соседней комнаты уже доносилось монотонное, успокаивающе ворчанье амы и капризный голос Мирика:

– Ай но уончи плей уис ю! Уходи!

Вера Сергеевна опять с тоской задала себе вопрос, что будет дальше с тремя ее белоголовыми произведениями. Четырехлетий Мирик говорит на странном англо-русском жаргоне, двухлетняя Киска вообще ни одного слова по-русски не знает. Одна Майка, рассудительное и спокойное существо шести лет от роду, совсем хорошо говорит по-русски. Но надолго ли? Уже полгода она ходит во французскую школу. Скоро и она будет мешать русский язык с французскими словами.

Шум в соседней комнате усиливался. Плакала тоненьким Киска. Ама стойко уговаривала Мирика надеть чулки, а он упрямо твердил:

– Но уончи! Уходи!

Выступила Майка:

– Тише, Мирик. Она спит. (Она – это мать).

– Мирик, – строго позвала Вера Сергеевна, – пойди сюда.

В соседней комнате все испуганно затихло. Только Киска продолжала жалобно хныкать. Через несколько секунд в дверь просунулась белая кудрявая голова.

– Мирик, ты почему не слушаешься амы?.. Если ты будешь так себя вести, то уходи от меня. Мне такого мальчика не нужно.

Мирик засопел и часто заморгал глазами.

– Я больше не буду, мами. Я не уходи, да?

– Посмотри, на кого ты похож? Без чулок. Ты же простудишься... ну, тэйк колд, понимаешь?

– Понимаешь, – покорно вздохнул Мирик и вскарабкался на кровать.

– Ну, расскажи, что ты видел во сне?

– Пони… И еще – ты.

– Тебя, Мирик.

– Тебя.

Мирик посмотрел в угол, где по случаю воскресенья пред иконой теплилась лампадка, и добавил задумчиво:

– А Боженька дринк ти.

Потом Мирика увели одеваться и явилась Майка. Она села на край кровати и озабоченно вздохнула.

– Мам, возьми нам гуверняню, тебе будет меньше хлопот.

Вера Сергеевна не стала объяснять, что на «гуверняню» нет денег, а вместо этого сказала:

– Ну, вот что – мы сегодня пойдем в церковь. Ты иди, Маечка, а я буду одеваться.

– Ничего, мам. Ты одевайся, а я буду посидеть.

Через полчаса все семейство ехало в трамвае. На руках у амы моргала и улыбалась Киска. Веру Сергеевну вывела из задумчивости какая-то глухая борьба, происходившая рядом, и голос Майки:

– Пусти меня! Я тоже хочу посидеть…

– Майка, оставь Мирика. Ты же большая девочка.

– Но, мам, он же должен мне уступить место: он же кавалер, а я кавалерия.

В церкви дети стояли смирно. Майка широко крестилась и низко кланялась – точь-в-точь как ее учила няня, умершая два года тому назад. Вышел священник со Св. Дарами:

– Со страхом Божьим и верою приступите.

Громкий шепот Мирика:

– Майка, Майка, что Боженька говорит?

Детей повели причащаться. Шепотом говорила Вера Сергеевна имена: Екатерина, Владимир, Мария…

– Глотай, глотай скорее, – торопил батюшка медлительную Майку.

А на обратном пути в трамвае Майка жаловалась:

– Мам, зачем он мне так говорил? Это же не в животик я глотала, это в душу.

Майка все знала. Она была воспитана няней, которая умерла. Старая няня была – еще из России. А вот кто будет воспитывать Мирика и Киску?

После обеда Киска спала в детской, а Вера Сергеевна у себя думала невеселые думы… Жалованья не хватает. Все так невозможно вздорожало. Даже две маленькие комнаты в бординге скоро станут не по карману.

Из задумчивости вывел голос Мирика:

– Мами, а мы сегодня пойди дэдди?

– Непременно пойдем. Вот когда Киска проснется. Поиграй пока.

Странно подумать: вот уже два года, как она не видала их отца. С самого рожденья Киски. Уж очень сильно оскорблена была тогда. Решила никогда больше не видеться с ним.

Знала, что живет он неважно, женился второй раз. Детей водит к нему амка по воскресеньям. Майка еще, вероятно, помнит их совместную жизнь. А Мирик – смешно подумать – никогда даже не видел их вместе. Вернее, совсем этого не помнил.

Майка играла в углу со своей куклой-солдатиком, носящем странное имя – Горошин. Когда ее спросили: «Майка, почему ты так его назвала?», она ответила: «Ну, как же, мам, ты же мне сама рассказывала сказку про принцессу на горошине. Принцесса у меня уже есть, а это будет Горошин».

Из коридора послышался звонкий голос Мирика:

– Анти, можно ты дом?

– Господи, опять он пошел мешать соседке Софье Петровне!

Мирик страшно любил ходить в гости и, когда за ним не смотрели, обходил все комнаты бординга.

– Майка, пойди, приведи сюда Мирика.

Майка взяла в объятия своего Горошина и пошла исполнять поручение. Через несколько минут в углу торчали уже две белокурые головенки.

Майка укачивала Горошина и пела тоненьким голосом:

– Ноэль, Ноэль, скоро будет Ноэль!

– Ноэль, – подпевал Мирик, – и придет Санта-Клаус.

– ...и принесет много, много игрушек...

Надо еще подумать, откуда взять эти «много, много игрушек».

Пришел соседский мальчик Глеб звать детей играть на двор. Тот самый, которому Майка как-то раз нежно сказала:

– Глебочка, я хочу на тебе венчаться.

– Но уончи играть двор, – заявил Мирик. – Мы идем дэдди.

Когда дети ушли, стало сразу пусто и тихо. С ними легче жить. Меньше как-то идут в голову ненужные, тяжелые мысли.

Пришли поздно – в 7 часов. Мирика и Киску ама сразу повела мыться и укладывать спать. Майка явилась поговорить с матерью.

– Ну, расскажи, хорошо было у папы?.. Что вы делали? Играли?..

– Сначала пили чай, – сказала Майка, – потом немножко гуляли с папой. Потом играли во дворе, там был новый мальчик – Коля.

Майка замолчала и о чем-то задумалась.

Вере Сергевне мучительно хотелось задать ей несколько вопросов: расспросить подробно об ее отце, о его новой жене, о его жизни... Но нельзя же ее впутывать во все эти истории. И потом это как-то так унизительно выспрашивать у ребенка...

– Мам, я все-таки думаю, что Коля лучше.

Вера Сергеевна не сразу поняла:

– Что? О чем ты говоришь?

– Коля. Новый мальчик. Я думаю, мам, я лучше на него буду венчаться. А Глебочка пускай будет помощником.

Майка была легкомысленна и изменчива.

В Сочельник Вера Сергеевна украшала елочку. Удалось достать все-таки. Елочка маленькая, чахлая, но зато настоящая. Под ней лежали игрушки, правда, не «много, много», но дети, вероятно, все же будут довольны. Они сидели в соседней комнате и торжественно ждали, когда их позовут посмотреть на елку.

А потом послышался стук, и... вошел «он».

Вера Сергеевна в первый момент даже не поняла и не узнала. Руки задрожали, стеклянный шарик упал на пол и разбился.

– Зачем вы пришли?..

– Вера, можно мне провести с вами и с детьми всего один час? Мне так мучительно захотелось побыть с вами в этот вечер!..

И она любила когда-то этого человека! Мелкий, ничтожный, легкомысленный человек. Дешевенькие эффекты (ну совсем как в трогательных рассказах) – придти в Сочельник или встретиться на Заутрени. Вера Сергеевна ничего не чувствовала, кроме раздражения и внезапной усталости.

В дверях стояли Майка и Мирик и смотрели на отца и мать удивленными испуганными глазами.

– Майка, Майка, – прошептал Мирик, совсем округлив глаза, – они знакомы?..

– Ну, конечно, – ответила разумная Майка, – они же венчались.

Впервые опубликовано (под псевдонимом «Мисс Пэн») и печатается по: Рубеж. 1939. № 2. С. 12, 16, 18.

Проза



Мария Павловна КОРОСТОВЕЦ *(1899?–1975)*

Поэтесса и переводчица Мария Коростовец родилась (предположительно в 1899 г.) в городе Петербурге в семье российского дипломата, синолога-лексикографа П.С. Попова. В эмиграции жила в Пекине. В 1943 г. переехала в Шанхай. Увлекалась астрологией. Участвовала в литературном кружке «Пятница». Стихи М. Коростовец печатались в журнале «Рубеж» (Харбин), сборниках «Остров» (Шанхай, 1946), «Песни с Востока» (Аделаида, 1989) и др. Писала также прозу. В начале 1950-х гг. уехала с семьей в Австралию. Умерла 18 июня 1975 г. в Брисбене после продолжительной болезни. В конце 1980-х гг. стихи М. Коростовец были включены в антологии «Остров Лариссы» (Орендж, 1988), «Песни с Востока» (Аделаида, 1989).

Ист. и лит.:
Бакич О.М. // Встречи. 2007. № 31.
Мейя Н.В. Уход М.П. Коростовец // Оккультизм и йога. 1976. № 64. С. 149-150.
Перелешин В. Два полустанка. Амстердам, 1987. С. 91-93.
Штейн Э. Поэты русского Китая (иконография) // Новый журнал. 1997. № 206. С. 150-151.

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАМОК

Так славно поскрипывает снежок под ногами!

Ботики новые, серого сукна, опушенные полоской меха. На блестящей, в мелкую клеточку нарезной подошве посредине – ярко-красное клеймо «Треугольник». И в них тепло.

Конечно, поддеты вязаные длинные гамаши, а суконная шубка – на беличьем меху. Меховые наушники у шапочки опущены – тепло. Только вот руки зябнут, несмотря на пуховые варежки, а муфту брать не к чему: трудно управиться одновременно и с ней, и с туго набитым ранцем.

Алла Батурина легкой походкой идет по запорошенному снегом тротуару. Сегодня был дополнительный урок, практические занятия по химии; потом задержались с разговорами в раздевалке, и вот, когда вышли из гимназии, уже темнело, и начали зажигаться фонари. Но лезть в душный трамвай определенно не хотелось – уж очень сказочно падают, тихо кружась, крупные снежные звезды, оседают на плечах, на рукаве, на завитках волос. Коварно заваливаются за воротник и холодят шею.

Но они такие красивые, такие фееричные, что хочется долго-долго, далеко-далеко шагать сквозь их замедленное, нежное круженье, и даже не тянет домой, в уютное тепло, к письменному столу под спускной на блоке лампой с зеленым абажуром.

Конечно, таким и должен быть вечер накануне сочельника. И, конечно, в такой вечер просто грех не пошататься немного по улицам.

Подруги – Алла идет с любимой товаркой своей, Женей Кречинской, – останавливаются у ярко освещенной витрины магазина: за большим

зеркальным стеклом вперемежку, но с изящной аккуратностью, разложены писчебумажные принадлежности, игры для взрослых и много красивых безделушек, ненужных, но для подарков соблазнительных.

Посредине – небольшая, пышная елочка, мигающая яркими разноцветными огоньками электрических свеч, то вспыхивающих, то угасающих. Под елкой разложена вата, искрящаяся кристаллами разбросанной по ней борной кислоты, и по стальной ленте круглящихся рельс с легким треском обегает вокруг елки миниатюрный поезд, ныряя в тоннели, проносясь по мостам, мимо нарядной станции с узким перроном, мимо поднимающихся и падающих полосок семафоров.

Совсем прижавшись к смолистому стволу дерева, добродушно улыбается, взирая на это торопливое «perpetuum mobile», классический Дед Мороз в красном кафтане, опушенном ватой, в островерхом шлыке и высоких черных сапогах. Борода у деда длинная, широкая, а за плечами – объемистая корзина с подарками и неизменной розгой.

Рядом с ним задумчиво сидит коричневая плюшевая обезьяна, на суконном лице – рот до ушей и глаза, блестящие плоские черные пуговицы. Немножко поодаль – голубой бархатный бульдог с высунутым лоскутиком красного языка и огромным бантом.

Почему – голубой!?..

Алла Батурина смахнула кончиком варежки всю длинную полоску пушистого снега с загибающейся медной рампы, охраняющей стекло витрины, и, оперевшись на металл, с интересом разглядывает чудесные предметы по ту сторону прозрачной преграды.

Алле недавно минуло пятнадцать лет, но масса вещей из заманчиво там разбросанных ее пленяет. Даже голубой бульдог…

А вечное перо и набор принадлежностей для маникюра в синем сафьяновом футляре – просто желанны.

Интересно, что она получит на елку?.. Несмотря на войну, несмотря на тревожность истекающего шестнадцатого года, елка у них обязательно будет – завтра, в сочельник, после всенощной.

Это своя, домашняя елка – просто посидят все вместе в гостиной при мягком свете елочных свеч, обменяются подарками. Сестра будет играть на рояле что-нибудь рождественское, и трудно будет оторваться от наваленного на подносы рождественского угощения – изюм на ветках с маленькими цветными бантиками; винные ягоды и липкие финики; длинные палочки пастилы – самая вкусная рябиновая! – и склеенные помпончики зефира; пряники темные и пряники мятные – легкие, с шероховатой поверхностью.

Отдельно орехи: грецкие, мелкие волошские и длинные американские, с такой твердой скорлупой… Зато миндаль очищается легко, даже зубами. Фисташки уже сами расколоты, для них не нужно щипцов, хотя

щипцы непременно будут лежать тут же рядом, на подносе, – никелированные, перекидные, с витыми ручками…

А в самый день Рождества – обед своей компанией у Кречинских – у Жени всегда так оживленно и весело! А после – бал, то есть не совсем бал, ведь сейчас война, а просто танцы, но молодежи, по-видимому, соберется много. Зажгут елку… Женя говорит – елка чуть ли не под потолок!

Алла весело улыбается, предвкушая такую уйму удовольствий.

– Посмотри, посмотри, что за прелестное личико!.. Справа, вон сероглазая, в синей шубке…

Два молоденьких офицера, натягивая перчатки, стоят на ступеньках известного ресторана, темными силуэтами выделяясь на фоне ярко освещенной открытой двери.

Алла инстинктивно оборачивается направо, ища сероглазую особу, привлекшую их внимание, и вдруг густо краснеет, сообразив, что сероглазая особа – она сама.

«Какие симпатичные!» – невольно мелькает у нее в голове, и она улыбается весело и благодарно.

* * *

На обед к Кречинским Алла, конечно, чуть-чуть не опоздала. Днем еще, наспех, Женя телефонировала ей и сообщила последнюю новость:

– Ты знаешь, ужасно кстати… Оказывается, Сережа Свиягин третьего дня приехал в отпуск с фронта и только что нам звонил по телефону. Мама, конечно, его пригласила на сегодня, и он обещал приехать к обеду… Я так рада, что ты с ним, наконец, познакомишься!.. Он такой умный и веселый…

После этого разве можно было попасть вовремя!?..

Прическа никак не хотела выходить, широкий черный бант в волосах не ложился ровной бабочкой, и Алла, нервничая, снова и снова перекладывала туго заплетенные косы, раскидывая шпильки по толстому стеклу туалета.

У чулок поползла петля… В последнюю минуту отлетела кнопка на поясе. Словом, тысяча и одно несчастье… Зато когда она, наконец, в полной боевой готовности взглянула в зеркало на свое отраженье во весь рост – она осталась очень довольна собой, волновалась недаром. Но теперь – скорей, скорей галоши, шубку, перчатки и – на извозчика. Она уже опаздывает…

Еще из передней, раздеваясь, Алла слышала доносящийся сдержанный гул голосов и шум отодвигаемых стульев и, наскоро поправив перед зеркалом смявшийся бант прически и тоненькую ниточку жемчуга на шее, проскользнула прямо в столовую, как раз вовремя, чтобы, незаметно

смешавшись с рассаживающейся толпою гостей, занять единственный оставшийся свободным стул.

Усевшись поудобнее, она расправила платье, раскинула на коленях салфетку и тогда только принялась незаметно изучать своих соседей.

Справа от нее очутился Юра Колосов – незначительный и неуклюжий юноша, слегка шепелявящий. Неинтересно.

Слева… Алла глянула и обомлела. Слева от нее собственной персоной сидел никто иной, как тот самый молодой офицер, который вчера со ступеней ресторана обратил внимание своего товарища на ее сероглазое очарованье.

Сомнений быть не могло. Как ни мимолетна была встреча, как ни плохо освещено было его лицо, Алла отлично запомнила и упрямый подбородок, и карие смеющиеся глаза за стеклами пенсне, и умный, резко очерченный рот под стрелкой подстриженных усов – так редко кто носит усы.

Кто же бы это мог быть? Она его еще никогда не встречала, а между тем она знает, кажется, решительно всех молодых людей, бывающих в доме Кречинских.

И вдруг неожиданная догадка мелькнула у нее в голове: да, конечно же, это – Сергей Свиягин! Какая она глупая, сразу не сообразила…

Разумеется, он. Она внимательно изучала его уголком глаза сбоку. Очень интересный – Женя права. Не красив, но лицо умное и приятное. И как странно, что вчера они уже встречались, и он сразу обратил на нее внимание!..

В общем, конечно, с его стороны это было дерзостью, и она могла бы даже обидеться. Но кому придет в голову в пятнадцать лет обижаться на такой явный, такой искренний комплимент!.. При воспоминании о нем Алла почувствовала, как снова непрошенный румянец заливает ее щеки. Так глупо…

Молодой офицер в свою очередь разглядывал ее, не стесняясь, в упор и с легкой усмешкой, видимо, наслаждаясь ее смущением.

– По-моему, мы с вами уже на днях встречались, – наконец сказал он. – И не скрою от вас, что сегодняшнее наше соседство явилось одной из приятнейших неожиданностей в моей жизни… Итак, выпьем за нашу вторую встречу и за много-много встреч в будущем! Ваше здоровье! – он приподнял в ее сторону свой бокал. – А теперь я хочу угадать ваше имя.

Алла, смеясь, тряхнула головой:

– Ну, это-то вам как раз и не удастся! У меня имя не совсем обыкновенное.

– А вот подождите, я попробую. Ведь вы не знаете, что я немножко колдун! – он на минуту замолчал, и лицо у него стало серьезным, почти напряженным. Алла ждала со скептическим любопытством.

– Алла, – наконец нерешительно произнес он.

Девушка взглянула на него в изумлении:

– Откуда вы знаете?

Но на его лице уже снова играла прежняя, чуть насмешливая полуулыбка:

– Ведь я сказал вам уже, что я колдун!

Алла с недоверием покачала головой.

– Ну, хорошо, – сказала она. – Но я все-таки вас перещеголяю: вы угадали только мое имя, а я скажу вам не только ваше имя, но и фамилию. Вы – Сергей Свиягин.

– Верно, – засмеялся он. – Не хватает только отчества. Впрочем, и не надо – зовите меня просто Сережей. Но все-таки – вы-то откуда догадались?

– Ну, я не так таинственна, как вы, и сразу открою вам свои карты – мне Женя сегодня звонила и предупредила, что вы приехали и будете у них на елке, а так как я всех здесь знаю, и единственный для меня незнакомец – вы, то ясно, что вы и есть Свиягин.

– Логично, – засмеялся он и лукаво прибавил, – только я не совсем согласен с тем, что я для вас незнакомец. А как же вчерашняя встреча?

Так болтали они весело и непринужденно, как будто знакомы уже были тысячу лет. После обеда танцевали оживленно и радостно, почти все время друг с другом.

А в десять часов зажжена была елка. И, когда догорела последняя свечка на самой верхушке, около звезды, предложено было каждой даме унести с собой на память какое-нибудь из украшений.

– Подождите, – слегка пожимая руку девушки, шепнул Сергей. – Я сам выберу вам что-нибудь по своему вкусу. Идет?

Он взял ее под руку, не выпуская маленькой ручки, и медленно-медленно обошел с нею дважды вокруг елки, внимательно всматриваясь в пышные, изукрашенные ветви.

– Вот, – наконец сказал он уверенным голосом, протянув руку.

Почти на самом кончике ветки, прямо над ее головой, висел прелестный, как серебряная мечта, средневековый замок с подъемным мостом, высокими, узкими окнами и легкими стрелками башен.

– Вот в таком замке, – улыбался он, снимая картонаж, – мы будем жить с вами вдвоем. Всю жизнь. Хотите?

– Когда? – наивно спросила Алла, поднимая на него свои большие серые глаза. – Вы знаете, мне только пятнадцать лет.

– Пятнадцать лет… Как хорошо!.. Кончится война. Пройдет года два. Я подожду, и тогда мы, наверное, поселимся в таком же чудесном замке. И он будет даже не серебряный, а золотой, потому что вы – солнышко!.. А

пока я обязательно хочу, чтобы вы познакомились с моими родителями. Я с вами сговорюсь об этом в начале той недели через Женю. Можно? Или, еще лучше, я сам приеду просить об этом вашу маму. Да?

* * *

Алла Русанова задумчиво шла по неширокой модной и бойкой улице, идущей от Дипломатического квартала прямо на север. Справа и слева тянулись магазины, вперемежку китайские и европейские, и оживленная смешанная толпа густым потоком двигалась вдоль тротуаров.

Люди, особенно европейцы, входили в магазины и выходили нагруженные пакетами. Седоки на рикшах исчезали за горой картонок разной величины и формы; у многих в ногах пышно цвели сказочные зелено-красные кусты зимних рождественских роз.

Чуть темнело. Кое-где загорались огни витрин. Нежно кружась, падал тихий мокроватый снег, но не таял. Под ногами незаметно вырастала снежная пелена.

Да, ведь завтра – сочельник! Недаром в воздухе чувствуется особое, предпраздничное, приподнятое настроение. И погода какая – как по заказу, настоящая рождественская. И снежок такой ласковый…

«Совсем как тогда!» – вдруг вспомнила Алла, и услужливая память с необычайной ясностью нарисовала ей вот такой же снежный тихий вечер – поморознее, два мужских силуэта в рамке освещенной двери, сероглазую, совсем юную девушку в синей шубке – ее самое – и буйную радость жизни – желанье все охватить, все победить…

– Как же, победишь! – горько усмехнулась Алла, а потревоженная память, как фильма, выбрасывала из недр сознания еще и еще воспоминания.

«Посмотри, посмотри, что за прелестное личико там, справа!..».

Где-то теперь Сережа Свиягин, ее первая хрупкая любовь? Так неожиданно налетевшее знакомство и так же неожиданно канувшее в Лету. Елка у Кречинских и игрушечный замок из папье-маше с подъемным мостом и стрелами башен…

Она так ясно представила себе пышную зелень елки и стройную фигуру юноши, вдруг ставшего таким близким, любимым… Как волновалась она тогда, возвращаясь домой, вся – гордость, вся – возбуждение!

Еще бы! Предложение ей делали в первый раз. И не всякая получает предложение в пятнадцать лет – в сотый раз углублялась она тогда **в** воспоминание этого знаменательного вечера. А вдруг это все было лишь шуткой? В конце концов, совсем определенного он, в сущности, ничего не сказал.

Но… он так тепло держал ее руку в своей! И потом, если бы это было не всерьез, зачем же он хотел познакомить ее со своими родителями? Алла улыбнулась, припоминая, как страшно она волновалась. Даже есть не могла,

даже похудела немножко. Под разными предлогами заводила она с Женей беседу о Свиягине, скрыв от нее знаменательный разговор под елкой.

– А вдруг это все было только так?! Тогда будет ужасно стыдно…

Алла вздрагивала от каждого звонка, выбегая с трепещущим сердцем на каждый телефонный вызов. И, гуляя, неуклонно проходила мимо подъезда «того» ресторана, в тот же примерно час.

А на туалете ее, отражаясь в тройном зеркале, пристроился хрупкий серебряный замок из папье-маше…

Какой невидимый стрелочник, иногда совсем незаметным движением, переключает ход нашей жизни на вовсе неожиданные рельсы? Ведь вот тогда могла ли она, Алла, представить себе, что все кончится так коротко и просто!

Телефонного звонка она дождалась, но то, что она услышала, больно резнуло ее по сердцу разочарованием.

– Мне ужасно, ужасно жаль, что продолжение нашего знакомства придется отложить. У меня сестренка заболела скарлатиной, и мы все сидим в карантине. Я все же надеюсь, что в самом конце отпуска мы все-таки увидимся. Благополучно ли довезли до дома наш замок?

Он так и сказал: «Наш замок». Но из встречи следующей ничего и не вышло. Случайно узнала она потом от Жени, что Свиягин впопыхах и до срока уехал обратно в полк, вызванный телеграммой (почему же не позвонил?). А через месяц чуть ли не так же срочно она сама, Алла, уехала с матерью на Кавказ. Врачи настаивали на этом отъезде во что бы то ни стало.

Тут Алла инстинктивно остановилась и обернулась по сторонам. Так и есть, она так задумалась, что пропустила поворот в свой переулок. Она поежилась, зашагала назад и потом направо, вдоль бесконечной слепой серой каменной стены.

Толкнула небольшую дверь, проделанную в массивных красных деревянных воротах с блестящими медными бляхами, и через квадратный, вымощенный каменными плитами дворик прошла в обширное помещение китайского типа с передней стеной из сплошных окон, которое она занимала.

Каменный пол затянут был большим синим ковром. Наискось от двери, у жарко натопленной печки, стояло кресло в синем чехле с атласной подушкой, на которой золотой дракон, извиваясь, держал в лапах красный шар. На печке приятно булькал пузатый медный чайник, ослепительно начищенный.

Алла бросила на стол перчатки, сняла шубу, шляпу и, взяв книгу, опустилась в кресло. Но потревоженные воспоминания не хотели угомониться.

Как она плакала тогда! Как она плакала тогда… Все мечтала вернуться

домой, встретиться снова. И не вернулась, и не встретилась. Постепенно острота обиды на судьбу сгладилась. Нахлынули новые впечатления, замелькали новые лица. Воспоминания, постепенно сглаживаясь, уходили в туман. Но долго еще стоял на письменном столе игрушечный замок, не серебряный уже, а сероватый от въевшейся в него пыли.

Потом куда-то исчез и он.

Алла вышла замуж за Русанова и, овдовев после девяти лет не очень удачного замужества, не пожелала возобновлять опыта, хотя к тому и представлялись случаи. Она предпочла прокладывать самостоятельную дорогу в жизни и ухватилась за кстати подвернувшееся предложение: иностранная семья искала солидную образованную даму в качестве не то гувернантки, не то компаньонки к шестнадцатилетней барышне в отъезд в Китай.

Алла по сердцу была мысль, как-то совсем по-новому в новой стране направить ход своей судьбы и, кто знает, может быть, найти то счастье, о котором в глубине души мечтает каждый из нас, редко умея определить, в чем он его полагает.

Вначале пестрая смена непривычных впечатлений, иной уклад жизни захватили ее, но скоро стала томить жизнь в чужом доме, по чужому расписанию, шумному, противоречащему ее привычкам.

Вереница поверхностных знакомств утомляла, отсутствие близких друзей часто ощущалось болезненно. И когда юная воспитанница ее вышла замуж и уехала обратно в Европу, Алла переселилась в один из тихих переулков полюбившегося ей, засыпающего Пекина, занялась уроками и повела жизнь замкнутую и уединенную, тяготясь иногда своим одиночеством и, вместе с тем, не желая, а может быть, не умея из него выйти.

А сегодня, в предпраздничный суетливый вечер, когда мысли о тепле, уюте, семье, казалось, носились в самом воздухе, когда каждый каждому хотел что-то подарить, едва ли не единственный день в году, когда почти все люди, даже самые закоренелые эгоисты, думают не только о себе, а пытаются какое-то заботливое внимание проявить хотя бы по отношению своих близких, своих друзей, в такой вечер одиночество серой, холодноватой змейкой сковывало и жалило сердце.

Алла вздохнула, протянула озябшие ноги к огню и раскрыла книгу.

Простая до жути, героическая книга «История одной души», написанная совсем молоденькой девушкой, в пятнадцать лет добровольно и сознательно отвергнувшей и семью, и тепло, и уют во имя высшего идеала.

Твердо зачеркнувшая землю, так как в душе своей она уже ощущала касания неба, и решительно, через холод, голод и изнурительные приступы болезни, через тяжелые, темные провалы сомнений, ломившаяся в двери рая.

Но для этого надо было быть святой Терезой, ибо только святая,

ценой всей своей жизни добившаяся, наконец, рая, могла так легко и просто отдать его другим: «Мое пребывание на небе хочу употребить на то, чтобы делать добро на земле...»

С неослабевающим интересом, страница за страницей, следила Алла за великой борьбой, незаметно для мира протекавшей за стенами кармелитского монастыря, в неизвестном дотоле городке Лизье, всего каких-нибудь пятьдесят лет тому назад.

Дочитана последняя страница. Алла с сожалением захлопывает книгу и бережно кладет ее на стол.

Два часа ночи.

Господи, как поздно! Но завтра сочельник. Уроков нет. Завтра она приглашена завтракать к чуть ли не единственной приятельнице своей, Люсе. Люся замужем за богатым немцем, и у нее двое очаровательных ребят. Натягивая одеяло, Алла соображает, какие подарки купить завтра детям. В голове почему-то мелькает серебряный замок. Мысли сонно путаются. Ночь.

* * *

Завтрак у Люси как всегда изысканный и обильный. Но особенно хорошо потом, сидя в глубоком мягком кресле маленькой гостиной, потягивать горячий, дымящийся кофе из тоненькой фарфоровой чашечки, на стенках которой в причудливом беспорядке густо переплелись «тысячи цветов».

Алла сидит и задумчиво смотрит на стройную елку, стоящую в углу на столе. Все деревцо густо завешано игрушками и блестками. Только свечи электрические – жаль. Все-таки вечером, когда зажгут, будет очень хорошо.

– Так люблю Рождество! Так люблю, – щебечет Люся, быстро шевеля спицами вязанья. – Хоть один день можно провести мирно, в тесном своем кругу! Я нарочно услала детей на каток, чтобы закончить последние приготовления. Муж хочет одеться рождественским дедом, позвонить у дверей и войти с подарками. Но ты знаешь его фантазии – это будет стилизованный китайский рождественский дед! Действительно, как-то неудобно в древнем Пекине являться нашему Деду Морозу или Санта Клаусу. Среди китайских вышивок и статуй он будет чувствовать себя неловко… Посмотри!

Она вышла в соседнюю комнату и вернулась с большой глубокой картонкой, из которой торжественно вытащила темно-лиловый китайский халат, отороченный белым мехом; огромные бархатные туфли; кругленькую шапочку с коралловым шариком и длинную узкую седую приставную бороду.

– Ну, конечно, и неизменная розга!

Алла засмеялась.

– Действительно, концепция оригинальная.

– Я надеюсь, что детям понравятся подарки, – продолжала тараторить Люся. – Я выбирала их очень тщательно, чуть ли не за неделю все магазины избегала. Да они сами тебе их завтра покажут… Приходи завтра к вечеру, мы опять зажжем елку. Мы будем ее зажигать по-нашему – до Крещенья каждый вечер…

«Почему – завтра?» – недоуменно подумала Алла, ставя кофейную чашечку на стол.

– Мужу подарю теплый свитер… Я сама вязала его тайком. Ты знаешь, теперь надо привыкать к полезным подаркам. Но что он мне подарит – представить себе не могу. Страшно интересно. Такой чудный праздник – Рождество!..

Темнело.

Бесшумный слуга, войдя в комнату, длинной бамбуковой тростью сдвинул тяжелые портьеры и удалился. Пробило половина пятого.

В глубине своего кресла Алла блаженно молчала. Люся прислушалась.

– Вот, кажется, и муж вернулся. Он хотел только на минутку заехать в клуб. Дети придут через полчаса. Пока они умоются, переоденутся, в половине шестого зажжем елку… Мы никого не приглашаем в этот день. Муж настаивает на том, что это семейный праздник. А завтра придет много детворы, чуть ли не двадцать человек. Ты мне поможешь управиться с ними, не правда ли? Я чувствую себя совсем беспомощной с такой толпой.

Алла кивнула головой. В комнате наступило молчание. Пробило пять. Внизу раздались детские голоса. Люся вышла и вскоре вернулась. Она выжидательно взглянула на подругу.

– Ты хочешь пройти? Я тебе мешаю? – Алла подобрала ноги.

Люся подошла к окну и слегка откинула портьеру.

– На улице уже совсем темно, и все небо в звездах... Хороший вечер! – она помолчала. – Ты будешь у себя зажигать елку? Ты, кажется, говорила, что ни одного года не провела еще хотя бы без еловой веточки?

– Да, у меня куплено маленькое деревцо, и я запаслась пачкой разноцветных свеч.

– Ну, так вот... – Люся замялась. – Вот, видишь, я хотела бы, чтоб ты еще сегодня получила мой подарок, – она быстро выдвинула ящик письменного стола и вытащила из него изящно перевязанный красным шнурком пакетик в пестрой рождественской бумаге. – Пожалуйста, положи его сегодня себе под елку.

Алла недоумевающе на нее посмотрела и, взяв сверток, машинально отметила про себя: «На ощупь — чулки».

– Но почему же... – начала было она и вдруг осеклась, заметив выражение легкого нетерпения на знакомом лице подруги. Ярко блеснувшая мысль внезапно ее осенила: «Да весь Люся с нетерпение ждет ее ухода, чтоб остаться в своей семье, зажечь свою елку, иметь свою радость, и поделиться этой своей радостью она вовсе не желает даже с ближайшей своей подругой. Она никому не хочет уделить кусочка своего счастья. И сегодня – в рождественский вечер – Алла здесь лишняя...

– Ты не хочешь передать мне его на завтрашней елке? – закончила она начатую фразу, с легкой заминкой изменив ее на лету.

Внезапная горечь острой болью пронизала ее сердце и слезами обожгла веки. «Только бы не расплакаться!» – подумала она и, повернувшись спиной, медленно натянула шубу, сброшенную на диван.

Под шубой лежало два пакета. Она взяла их в руки и обернулась, усилием воли прогоняя внутрь твердый клубок, застрявший в ее горле.

– Вот, Люся, от меня твоим пупсам на елку, – сказала она. – Пусть им передаст рождественский дед. Я побегу скорей домой.

Люся в некотором смущении приняла подарки, но подругу не удерживала.

– Все-таки возьми свой подарок сегодня. И вот, постой... – она взяла с письменного стола кусок бумаги и, высыпав в него лежавшее в сухарнице печенье, неловко завернула и сунула Алле в руки. – К елке...

Алла молча кивнула головой и вышла.

– Ты прости, что я тебя не провожаю…

– Ну, что ты, что ты, Люся…

* * *

Алла вышла из ворот и пошла медленно, шаг за шагом. На душе было пусто, серо, тоскливо. Таково, вероятно, чувство приблудившейся собаки, которую из жалости накормили на теплой кухне и потом с чувством выполненного долга вновь выгоняют за ворота в бездомный холод и тьму.

Насколько легче жилось бы человечеству, если бы люди приучились не хранить так ревниво своей радости, своего комфорта для своего исключительно пользования, попытались бы пробить хоть узкую брешь в каменной ограде личного эгоизма, которым они ограждают себя...

Бедная Люся и не подозревает, что своим легкомысленным желанием радости только для себя она больно и незаслуженно ранила чью-то душу, доверчиво искавшую тепла у нее в рождественский тихий вечер…

«Неужели в такой вечер я буду совсем одна?» – в жгучей тоске подумала Алла, пройдя несколько шагов и вновь останавливаясь. Она прислонилась к красной кирпичной стене, бесцельно смотря прямо перед собой в пространство, и по холодной щеке ее тихонько сбегала непрошенная слеза.

Под ногами лежала грязноватая пелена нерастаявшего еще снега. Врезанные в темное небо блестели крупные переливающиеся звезды.

– Какой вечер!.. Господи!!.

У противоположной стены как будто что-то колыхнулось, точно легкое облачко тумана. Но нет, это не туман, а смутная фигура в полутьме быстро сгустившихся сумерек.

Коричневая длинная одежда и нежное девичье личико в рамке белой косынки... Большие синие глаза так сияют, что, кажется, освещают все лицо мягким лучистым светом. И в руках – охапка белых-белых роз...

Алле кажется, что до нее доносится их тонкое, свежее благоухание.

Вся подавшись вперед, Алла бросает на землю свертки, которые держала в руках, и печенье рассыпается по земле.

– Если я не нужна никому, – с горечью думает Алла, кажется, вслух, – то не нужно и мне от них ничего, что не идет от сердца. Но от тебя, от тебя, я буду ждать подарка, потому что я в тебя верю, и ты меня любишь, даже злую, даже пустую, даже ничтожную! Ты ведь любишь всех, и ты мне дашь радость!..

Коричневая монахиня чуть улыбается уголками пухлого, детского рта и тихонько роняет из рук белую розу. Алла невольно делает несколько шагов и нагибается, чтобы ее поднять, но на земле нет никакой розы.

Она поднимает голову – на грязной белой стене длинное пятно облупившейся известки. Кругом ни души. Но на сердце у Аллы стало вдруг радостно и тепло, и ощущение такое, как будто ей вымыли душу изнутри.

Она задумчиво идет домой и, равняясь с двумя молодыми европейцами, ловит обрывок разговора:

— Ну, этот сочельник надо считать прошедшим. Будем ожидать следующего…

В пустом переулке, из-за угла появляется фигура старой нищенки в ватных рваных штанах и вылинявшей голубой кофте. Она с любопытством поднимает с земли подмокший пакет и вытягивает из него две пары тонких шелковых европейских чулок.

Подслеповатыми, слезящимися глазами она осматривается кругом и, присев на корточки, начинает подбирать рассыпавшееся печенье.

Худая, скелетообразная собака с торчащими клочьями шерсти, неизвестно откуда взявшаяся, опасливо хватает откатившийся большой кусок кекса и, отбежав в сторону, давясь, его пожирает.

Кому-то и это Рождество принесло неожиданную радость...

* * *

«7 января, в день Рождества Христова, в здании русской гимназии в городе Циндао состоится детский спектакль «Путешествие Деда Мороза» – пьеса в двух действиях с пеньем, танцами и апофеозом. После спектакля

елка. Детям, записавшимся заранее, сделаны будут подарки. Начало спектакля ровно в 3 часа».

Заманчивое объявление привлекло много детворы, да, пожалуй, не меньше и родителей. Стоя у высокой, нарядной, под потолок елки с блестящей переливающейся звездой на верхушке, Алла едва успевает отыскивать по номеркам подарки, грудой наваленные на столе, и раздавать их жадно толпящейся вокруг нее детворе.

Алла еще в августе уехала из Пекина отдохнуть от изнурительной жары и провести самые мучительные три недели на берегу моря. Но подвернулись неожиданные уроки, получила предложение преподавать вот в этой самой гимназии, и так приглянулся ласковый зеленый город, протянутый вдоль берега, что Алла подумала, подумала и осталась. В конце концов, не все ли равно, где жить?

Здесь, правда, она уже почти совсем никого не знала. Даже Люси не было.

– Вот посмотри, Лидок, какой славный домик висит на елке! Видишь, красный с трубой? – худощавый господин с проседью слегка пригнул непокорную ветку, показывая игрушку пухлой девочке лет восьми в синем бархатном платьице с кружевным воротничком. – У нас в России игрушки были куда наряднее. Давно-давно я снял с елки чудесный серебряный замок для одной большой девочки с серыми глазами. Только она не захотела в нем жить.

– А разве она могла бы жить в таком игрушечном доме? Это неправда. Да?

– Могла бы…

Алла, вся подавшись вперед, заглядывает в лицо неизвестного господина и ищет в нем знакомые черты. Узнать все-таки можно. Те же чуть ласковые, чуть насмешливые глаза под стеклами круглых роговых очков…

– Почему же вы не позвонили мне по телефону тогда, перед отъездом? – срывается с ее губ вопрос, мучивший ее чуть ли не двадцать лет.

Господин вздрагивает и, быстро оборачиваясь, хватает ее за руку и всматривается в ее лицо.

– Вы?.. Вы здесь, в Циндао!?.. Алла, это не бред, не сон? Ради всего святого, как вы сюда попали?

– Так же, как и вы, – тихонько смеется она. – Вероятно, только несколько иными судьбами... Но неужели вы еще помните мое имя, Сережа?

Она так и сказала невольно – Сережа.

– Как же мне было забыть ваше имя! Ведь вы тогда разом и навсегда вошли в мое сердце. С первого взгляда. Потом много было женщин, но это все было не то, не то. Вы на всю жизнь остались единственной – принцессой серебряного замка! – он крепко держал ее руку, как будто боясь, что

она исчезнет, растает, как облачное виденье. – А чем больше я всматриваюсь в вас, тем больше признаю, хотя вы, как и я, как все мы, достаточно изменились за эти годы.

– Но почему же вы не позвонили мне? – повторила она свой вопрос.

– Звонил, – с горечью ответил Свиягин. – Звонил три раза, но меня каждый раз спрашивали, кто говорит, и отвечали: «Ошибка». К телефону подходили не вы, а те, кто подходили, очевидно, не знали моей фамилии. А раз, по-видимому, горничная ответила: «Барышня с барыней уехали…». Ни заехать к вам, ни написать записки я не мог из-за еще не кончившегося карантина, а посвятить в свою тайну Женю Кречинскую я не хотел, пока не буду уверен в том, что мои надежды воплотятся в жизнь. И потом, кто же мог предположить, что вы так внезапно уедете? Ведь я вернулся через два месяца и пришел в отчаяние, когда узнал, что вас уже нет. Но это уже просто была судьба, как просто судьба то, что мы с вами встретились здесь сегодня…

– Это ваша дочь? – спросила Алла, с некоторой тайной болью смотря на девочку в синем платье.

– Нет, это моя племянница, Лида, дочь моей сестры, из-за которой я и приехал сюда на Рождество из Шанхая, и без нее мы с вами так бы и не увиделись. На горе всем нам, она у нас грамотная и, прочитав объявление в газете, так приставала ко мне с этим «Путешествием Деда Мороза», что пришлось мне принести себя в жертву и идти с ней в эту детскую толкотню. И видите, как я чудно вознагражден за это самоотверженное согласие дать кому-то радость за счет маленького собственного неудобства! И сероглазая принцесса вернется теперь в свой серебряный замок! Да?

Алла стояла с растерянной счастливой улыбкой. Теплая дружеская рука сжимала ее руку, и на минутку ей почудилось, что на фоне зеленой елки коричневая монахиня с охапкой белых роз в руках приветливо ей улыбнулась.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1944. № 4. С. 1–11, 14.



Юстина Владимировна КРУЗЕНШТЕРН *(1903-1983)*

Поэтесса и журналистка Юстина Крузенштерн (в замужестве Крузенштерн-Петерец) родилась 19 июня 1903 г. в городе Владивостоке в семье кадрового офицера. Впервые попала в Харбин вместе с родителями в 1906 г. После гибели отца в 1915 г. вместе с матерью и братом уехала во Владикавказ. В 1920 г. семья вновь вернулась в Харбин. Писала стихи, прозу, занималась переводами. Сотрудничала в газете «Гун-Бао» и журнале «Рубеж». В 1930 г. переехала в Шанхай и продолжила свою журналистскую деятельность. Печаталась в газетах «Шанхайская заря», «North China Daily News». Писала фельетоны под псевдонимом «Merry Devil» и др. Участвовала в шанхайском литературном кружке «Пятница». В 1934 г. вышла замуж за поэта и публициста Н. Петереца (в первом браке была замужем за поэтом С. Степановым). В начале 1950-х гг. уехала в Бразилию, а затем переехала в США. Работала комментатором на радиостанции «Голос Америки». Продолжала печататься в русских эмигрантских изданиях («Грани», «Возрождение», «Современник» и др.), была редактором ежедневной газеты «Русская жизнь» (Сан-Франциско). Автор сборников «Стихи» (Шанхай, 1946), «Антигона» (Шанхай, 1948. № 1), «Улыбка Псиши» (Торонто, 1969). Автор мемуаров «Чураевский питомник (о дальневосточных поэтах)» («Возрождение», 1968), «У каждого человека есть своя родина…Воспоминания» («Россияне в Азии», 1994-2000). Скончалась 8 июня 1983 г. в городе Сан-Матео (шт. Калифорния).

Ист. и лит.:

Бакич О.М. Поэзия Ю.В. Крузенштерн-Петерец. Материалы к библиографии и сборнику стихотворений // С другого берега: Прошлое и настоящее русских писателей за рубежом. Торонто, 2003. Т. 3. С. 129-146.

Крузенштерн-Петерец Ю. Воспоминания // Россияне в Азии. 1997. № 4. С. 124-210; 1998. № 5. С. 25-83; 1999. № 6. С. 29-104; 2000. № 7. С. 93-149.

Моравский Н. Ю.В. Крузенштерн-Петерец // Новый журнал. 1983. № 153. С. 302-304.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 172–173.

ПОРТСИГАР ЖЕЛТОЙ КОЖИ

Где вы нашли эту карточку? В старой книге? Ох, уж вы, дамы, до всего-то вы докопаетесь! Спрячьте ее скорее, видеть ее не могу...

Вас интригует почему?

Что ж, так и быть расскажу, чтобы вы не ревновали меня к этой курносенькой гимназистке.

Когда-то мы были с ней большими друзьями... Как сейчас помню ее, сама маленькая, шустрая – желтенькая до пояса косичка, а на затылке огромный бант, как-то эдак на отлет. Я в шутку называл этот бант аэропланом, на что Леночка ужасно сердилась.

Как-то зашел я вечером к ее брату – Борьке (старый мой товарищ по полку), и остался пить чай. Было еще несколько человек молодежи. За столом хозяйничала Леночка, так как мамаша ее куда-то ушла.

В числе гостей был Вика Червинский – бывший гусар, тогда молодой еще человек, очень смуглый и красивый какой-то своеобразной, грубой

красотой.

Мне, признаться, он не особенно нравился. Что-то жестокое было в его ястребином профиле и угрюмых, черных глазах, за которые Леночка прозвала его янычаром...

Присев к роялю, Вик меланхолически напевал свой любимый фокстрот, ну, да как его... вот этот – знаете?

Много дней, веря в чудеса,

Сюзанна ждет...

Тем временем молодежь увлеклась охотничьими воспоминаниями. Борька только что окончил трогательный рассказ про собаку, спасшую его от волка.

– Собаки, вообще, умеют и любить, и умирать, – заметил я. – Иногда, кажется, что они чувствуют и переживают все, совсем, как люди!

– Как женщины, господа! Как женщины! – неожиданно обрывает игру Вик. Порывисто вскакивает с места и подходит к столу.

– Вот, – говорит, – могу рассказать вам два забавных случая из своей жизни, очень похожих друг на друга... Была у меня собака, какая-то помесь сетера и дворняжки. Приблудилась она ко мне где-то в походе, в Забайкалье, да так и не отставала. Вид у нее был самый безобразный – худая, облезлая, с противной, заискивающей, мордой... Кроме того, грязнуля, вечно умудрялась щениться, когда это было меньше всего кстати, и отчаянная воровка. Словом, я никогда не встречал собаки отвратительнее и драл ее беспощадно. Она же меня нежно любила и шаталась за мной повсюду. В конце концов, она умудрилась схватить чесотку. Лечить ее не было возможности. Где там, в походе, возиться с собакой?.. Оставалось одно – пристрелить ее.

В сумерки, перед чаем, я позвал Жучку гулять. Она весело побежала за мной. Я вывел ее в поле, скомандовал ей «куш», отошел на несколько шагов и выстрелил**.**

Она взвизгнула, откинулась на спину, раза два дернулась и вытянула лапы… Решив, что она уже кончилась, я спрятал револьвер и, облегченно вздохнув, побрел назад. Но едва я прошел сажени две, как послышался стон... Я оглянулся... Боже мой! Это чудовище было еще живо и, представьте себе, виляло хвостом, и смотрело на меня печальными глазами, из которых катились слезы. Вы не поверите, но собака плакала, и я до сих пор не могу забыть этих глаз, в которых я прочел не злобу, не упрек даже, а одну любовь, бесконечную любовь. И знаете, был момент, когда я готов был броситься перед нею на колени испросить прощения... Выхватив револьвер, я всадил в нее еще несколько пуль…

Всех нас от этого рассказа как-то передернуло, но высказалась только одна Леночка.

– Замечательно красиво, – с отвращением произнесла она. – Ну, а

второй ваш случай в том же духе?

– Да, как я уже сказал! – отвечал Вик с бравадой. – Только на этот раз героиней была женщина. Познакомился я, – начал он, – уже здесь, в Харбине с одной молоденькой дамой – вдовой. Сначала она была очень мила, и незаметно мы с ней подружились. И вот, как-то раз, от нечего делать я предложил ей поехать ужинать. Я был уверен, что она откажется, клянусь Богом… Но она согласилась. Расстались мы с ней уже под утро, хорошо, по-дружески и до сих пор, может быть, были бы приятели, если бы она не забрала себе в голову, что эта ночь связала нас на всю жизнь. Надо сказать, что я, в сущности, ни на минуту не увлекался ею, а она возьми, да и влюбись в меня... Да как!

Тут-то и начались мои мытарства... Она стала буквально преследовать меня. Я избегал ее, как только мог, перестал даже бывать в тех домах, где мы могли бы встретиться, но она всегда находила способ поймать меня... Она подстерегала меня при выходе из дому, по часу прогуливалась у парикмахерской, где я нарочно задерживался, а увидев издали, за квартал, летела мне навстречу, как угорелая, расталкивая прохожих.

К чести моей, я никогда ее не обманывал ни нежностью, ни обещаниями… Наоборот, обращался с ней всегда очень холодно и даже клеветал на себя, говоря, что связан с другой женщиной. Но на все это она неизменно отвечала до тошноты монотонным голосом:

– А я вас люблю!

Как-то вечером она устроила засаду в сквере и чуть не силой затащила на какую-то скамейку. Лил дождь, я весь промок и в ту минуту за теплую комнату и сухой костюм готов был отдать всех женщин в мире. Увидя ее, я обозлился и высказал ей все. Она плакала, бормотала что-то бессвязное и, кажется, хотела обнять меня. Я никогда в жизни не ударил ни одной женщины... Но тут совершенно потерял всякое самообладание и, отшвырнув ее, как кошку, ушел.

Однако мне не везло. Пройдя квартал, я вспомнил, что забыл на скамейке портсигар... Дешевенький кожаный портсигар, который я так любил, что решил вернуться за ним, несмотря на дождь.

Вообразите мой ужас, когда я, войдя в сквер, увидел – эта прелесть еще там. Тусклый фонарь освещал ее лицо, мокрое от дождя или от слез – не знаю... Прижав к губам мой портсигар, она смотрела в мою сторону, и глаза у нее были точь-в- точь такие же, как у той, убитой мною собаки... У меня не хватило храбрости подойти... Я предпочел пожертвовать портсигаром.

– Ну и что же потом? – спросила сухо Леночка.

– Ничего особенного! – пожал плечами Вик. – Она куда-то делась! Кажется, умерла...

– Отравилась?

– Возможно! Вздорная была женщина, и истеричка вдобавок!

– А какой был портсигар? Желтый?

–Да, желтый! Но откуда вы знаете эти подробности, Леночка?

– И на нем еще выгравировано одно слово! Подождите!

Леночка вихрем вылетела из комнаты.

– Вот! – взволнованно объявила она, вбегая через минуту с потертым кожаным портсигаром. – На этой стороне выцарапано чем-то острым: «Чевка».

– Да, так звали меня еще в корпусе! Но как он попал к вам? – и Вик протянул руку за своей вещицей.

– Я знала ее! – воскликнула Леночка. – Она служила у нас экономкой. Это была милая, интеллигентная женщина. Она отравилась и умерла в страшных мучениях, все зовя какого-то Вика. А вы? О Боже мой!

Я думал, что она разрыдается, но Леночка вдруг выросла в женщину и тихо с невыразимым презрением отчеканила:

– Вам было жаль вашего портсигара! Получайте же его!

И злополучный портсигар шлепнулся в физиономию Вика.

Разумеется, после этого Вику ничего больше не оставалось, как поднять портсигар и удалиться, что он и сделал.

Весной Леночку отправили в Циндао. Там она и замуж вышла за какого-то американца из Ханькоу. Я встретил ее недавно после трехлетней разлуки там, где никогда не ожидал встретить – в самом низкопробном кабаке...

Да еще с кем бы вы думали? С Виком!..

Из прежней девчурки она превратилась в великолепную женщину, несколько даже чересчур модную. Он наоборот – постарел, подурнел и вдобавок был сильно пьян.

Заиграли «Филибера».

– Много дней, веря в чудеса,

Сюзанна ждет, – стал напевать Вик.

Я видел, как Леночка улыбнулась и что-то сказала. Вероятно, она ему что-то напомнила. Он ответил ей пренебрежительно, через плечо.

Меня это взорвало.

Я подошел к ней, напомнил о себе, пригласил ее на фокстрот.

Она танцевала с закушенными губами, и я чувствовал, как все ее тело дрожало от рыданий.

– Леночка, – сказал я, – что вы с собой делаете?

– Оставьте, – прошептала она. – Это – Судьба! Вспомните Жучку.

Вы знаете, с тех пор я не могу смотреть на этот портрет. Мне кажется, что у него собачье выражение.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. № 3. С. 4-6.

Хрестоматия

ВСТРЕЧА В ПАСХАЛЬНУЮ НОЧЬ

Нас было только двое русских в экспрессе, мчавшемся из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Немудрено, что мы скоро подружились той короткой вагонной дружбой, которая не налагает никаких обязательств, но располагает иногда к самой интимной откровенности.

Нарядный обсэрвэйшен кэр казался таким чужим и неуютным в эту Пасхальную ночь… Ничто вокруг не напоминало о Пасхе с куличами, разговеньем, с трогательными возгласами «Христос Воскресе!».

Вместо этого были сифон, два бокала да наши неразлучные трубки.

Было около одиннадцати часов вечера, но как-то не хотелось расходиться.

Вошедшая пара привлекла вдруг наше внимание.

Это были – сухой, породистый англичанин и стройная дама, одетая с той дорогой простотой, какую можно встретить только у англичанок, принадлежащих к аристократическим кругам своей страны. И в то же время я готов был пари держать, что дама эта не была англичанкой – слишком была она грациозна.

Равнодушно окинув нас серыми глазами, дама села у противоположного окна, вынула из сумки нефритовый длинный мундштук и закурила довольно крепкую сигаретку.

– Вот так фокус! – неожиданно слетело с уст моего спутника.

– В чем фокус? – спросил я, не понимая.

– Да вот – эта дама! Черт возьми! Неужели, она? Да нет. Быть не может!

Несмотря на то, что он старался говорить пониженным тоном и владеть собой, в голосе его слышалось сильное волнение.

– Она вам кого-нибудь напомнила? – осторожно спросил я.

– Да, и очень сильно. Так как я, безусловно, ошибся, то я могу рассказать вам эту историю.

– Вы знаете уже, – начал мой собеседник, – я никогда не был военным. Я вообще ничем не был, так как мои тогдашние средства вполне позволяли мне эту роскошь.

Германская война застала меня в Париже, где я проматывал уже второе наследство, а впереди предстояло еще несколько. Помогала мне в этом приятном занятии очаровательная Мими или, как я ее называл, Мимишка, существо с чертовским темпераментом и таким же характером, состоявшее некогда на ролях камеристки у одной из моих тетушек.

Я похитил ее у тетушки и увез в Париж, где выдавал за свою супругу. Надо отдать ей справедливость, за все время нашего двухлетнего «брака» она ни разу не скомпрометировала меня ни одной выходкой, за что я был

ей чрезвычайно благодарен.

Когда началась война, я решил идти добровольцем во Французскую армию. Решение это возникло у меня совершенно внезапно, и также внезапно я объявил его Мимишке.

Против моего ожидания, она не закатила мне никакой сцены и спокойно произнесла:

– Ну что ж. Это хорошее дело. Не все же жить для себя. Но только имей в виду, Сашка, что и я тогда пойду с тобой!

– Ты? – воскликнул я. – Да что ты там будешь делать?

– То же, что и другие сестры! – пожала она плечами.

Я не стал возражать. В конце концов, что ей было делать в чужом городе без родных, без близких друзей? Да к тому же она была ко мне все-таки привязана, два года – не два дня.

Через несколько времени я оказался рядовым пехотного полка, а еще через два месяца в район расположения нашей части явился летучий отряд Красного Креста, в котором была и моя Мимишка.

Пасха следующего года застала меня в окопах.

Невыносимо тоскливо было мне в Святую ночь среди солдат, с которыми я хотя и сроднился за время войны, но все-таки чужих мне и по крови, и по духу. Вы представляете себе поэтому мое удивление и радость, когда на следующее утро я получил пакет с миниатюрным куличиком, такой же сырной пасхой и несколькими крашеными яйцами, украшенными «Христос Воскресе»…

Это был ее последний привет, последняя весточка ее любви, которую я когда-то считал вполне оплаченной привольной жизнью и роскошью… И мысленно посылая ей ответное «Воистину Воскресе», я дал обет: если останусь в живых, сделать Мимишку своей женой.

А через несколько дней был бой.

Снарядом, разорвавшимся поблизости, меня оглушило и отбросило далеко в сторону. Поле оставалось на этот раз за противником. Вражеские санитары подобрали меня, и весь остаток войны я провел в плену.

Когда я очутился на свободе и приехал в Париж, Мимишки там и след простыл. Оказалось, что в списках французской армии я числился убитым. По получении этого известия, моя Мими оставила свою службу и уехала неизвестно куда…

Больше мы не встречались…

Во время этого рассказа я все время следил за дамой.

Если это была Мимишка, если бы это была вообще русская, она хоть повернулась бы, вздрогнула, выдала бы себя каким-нибудь жестом.

Но она продолжала спокойно читать свой журнал.

– Ясно, что я ошибся, – грустно сказал, вставая с места, мой приятель. – А жаль.

Мы попрощались, и пошли спать.

А когда на следующее утро мы снова встретились за завтраком, он протянул мне миниатюрную карточку, на которой изящным почерком было написано: «Христос Воскресе».

– Мимишка?! – воскликнул я.

– Нет, конечно! В этом же поезде едет один знакомый ее мужа. Я расспросил его. Она – русская эмигрантка, но дочь бывшего камергера, тогда как у моей Мимишки, вероятно, вообще никогда не было отца.

– Тогда чем же объяснить этот неожиданный привет? – спросил я.

– Она слышала наш разговор, – задумчиво ответил мой собеседник. – И как знать… Может быть, у нее тоже когда-нибудь был свой «Сашка». А, может быть, в эту ночь она так же, как и мы, тосковала по родине…

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. № 19. С. 14, 16.

СОДЕРЖАНИЕ

Забияко А.А. На проселочных дорогах русской литературы: казус харбинской беллетристики 3

От составителей 37

Алексей Ачаир 39
Тайна северной тайги 39
Николай Байков 46
Корень жизни 46
Великий Ван. *Отрывки из повести* 64
Хунхузы 71
Ланцепупы 78
Контрабандисты 80
Черный капитан. *Отрывок из романа* 86
Дань Великому Вану 91
Борис Бета 95
Сны 95
Чудесное явление 99
О любви к жизни 102
Возвращение Люсьена 115
Лель 127
Пепел 131
Анатолий Вележев 137
Три рождества 137
Николай Веселовский 147
Фельдмаршал Суворов 147
Серебряный бор 156
Борис Волков 166
Потомок Чингис-Хана 166
Игорь Волков 182
Гамма 182
Солнце всходит на Востоке. *Отрывок из романа* 184
Координаты точки 193
Любовь самоедки 197
Георгий Гранин 209
Рассказ на тему 209

Она 211
Радость 212
Монна Ванна 219
Прикосновения 222
Стихи 225
Дуэль 227
Федор Даниленко 233
Оторванный. *Отрывок из повести* 233
Фаина Дмитриева 240
Цай-Шин — добрый бог 240
Все-таки моя 248
Дмитрий Загоскин 268
Месть 268
В последнее мгновение 278
Душевное равновесие 289
Всеволод Иванов 298
1905 год: Роман молодой души. *Отрывок из романа* 298
Белый дым 314
На Масленой неделе 318
Мать 330
Наталия Ильина 340
Шанхайские дети 340
Мария Коростовец 344
Серебряный замок 344
Юстина Крузенштерн 358
Портсигар желтой кожи 358
Встреча в пасхальную ночь 362

Содержание 365

Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: Хрестоматия: В 4-х томах. Т. 1. Проза: В 3-х частях. Ч. 1 (А–К) / Сост. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиева.

Дизайн – *Ю.М. Гофман, В.А. Долгов*.